

ISSN 0012—6756

Дружба народов

4'91
ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал



4'91

Дружба народов



Л. ДИНЕРЕ Цецилия Динере. «Борозда в никуда». Иллюстрация

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

Дружба 4'91 народов

**Основан в марте
1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
121827 ГСП
Москва, Г-69
ул. Воровского, 52
Телефоны
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы — 291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений —
291-64-50

Художественный редактор
Николай ПШЕНЕЦКИЙ

Технический редактор
Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Сдано в набор 05.01.91
Подписано в печать
26.06.91
Формат бумаги 70×108 1/8
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Таймс»
Печать высокая
Усл. печ. л. 23,8
Усл. кр.-отт. 26,25
Уч. изд. л. 30,02
Тираж 200 000 экз.
Зак. 177
Цена 2 р. 15 к.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5

Ордена
Трудового Красного
Знамени
типография «Известий
Советов народных
депутатов СССР»
имени
И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл. 5

<i>Главный редактор</i>	Александр РУДЕНКО-ДЕСНЯК
<i>Первый заместитель главного редактора</i>	Юрий КАЛЕЩУК Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ Евгений БУДИНАС Денис ДРАГУНСКИЙ
<i>Ответственный секретарь</i>	Игорь ЗАХОРОШКО Наталья ИВАНОВА Наталья ИГРУНОВА Елена МОВЧАН
<i>Зам. главного редактора</i>	Бронислав ХОЛОПОВ Сергей ЯКОВЛЕВ

Редакционный совет

Лев
АННИНСКИЙ
Василь
БЫКОВ
Альгимантас
БУЧИС
Юрий В.
ДАВЫДОВ
Тиркиш
ДЖКМАГЕЛЬДЫЕВ
Нафи
ДЖУСОЙТЫ
Иван
ДЗЮБА
Фазиль
ИСКАНДЕР
Грант
МАТЕВОСЯН
Геннадий
ЛИСИЧКИН
Евгений
ПОПОВ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Константин
ЩЕРБАКОВ
Атнер
ХУЗАНГАЙ

Булат Окуджава

**Пока я на волю
отпущен...**



Московская фантазия

Виктору Астафьеву

Ворон над Переделкиным черную глотку рвет.
Он как персонаж из песни над головой кружится.
Я клювом назвать не осмеливаюсь его вдохновенный рот,
складками обрамленный скорбными, как у провидца.

И, видя глаз прозорливый и слушая речи его,
исполненные предчувствий, отчаяния и желчи,
я птицей назвать не осмеливаюсь крылатое существо:
как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем.

Когда бы я был поэтом — я бы нашел слова
точные и единственные, не мучаясь, не морочась,
соответствующие склонностям этого существа
и скромным моим представлениям о силе его пророчеств.

Но я всего стихотворец: так создан и так живу
в пристрастии к строчке и рифме, в безумии этом нелепом,
и вижу крылья, присущие этому существу,
но не пойму души его, ниспосланной ему небом.

Я выгляжу праздным и временным в застывших его глазах,
когда он белос облако рассекает крылом небрежным.
Я царствую здесь, в Переделкино, — он царствует в небесах,
и в этом его преимущество передо мною, грешным.

Ворон над Переделкиным черную глотку рвет.
что-то он все пророчит мне будто бы ненароком,
и, судя по интонациям, он знает все наперед..
Но тут уж мое преимущество перед лесным пророком.

* * *

Власть — администрация, а не божество.
Мы же все воспитывались в поклонении власти.
В этом был наш стимул, в этом было счастье..
Вот мы и холопствуем все до одного.

К цели заветной и праведной узкая вьется тропа.
Общество, мир, население, публика, масса, толпа,
как они сосредоточенно (оторопь даже берет)
двигутся, верят... и все-таки это еще не народ.

Не обольститься б истерикой, не доверять никому,
тем, что клянутся расхристанно в верной любви к нему
Эта промашка нелепая может возникнуть в толпе
Видел все это воочию. Знаю про то по себе.

* * *

Не от гриппа или умопомрачения,
не на фронте. не от пули палача —
как обидно помирать от огорчения,
раньше времени растаять, как свеча.

Между жизнью и смертью покачаешься,
не успеешь даже родины понять;
пообщаешься с друзьями, поотчаешься,
и пора уже итоги подбивать.

Не поплакаться уже своим родителям —
из задуманного вышла только часть...
Не успеешь нагуляться победителем,
а выходит в побежденные попасть.

* * *

Мимо кладбища едет купец молодой.
теплой пылью дороженьку вымостив.
Колокольчик звенит под дугой золотой:
видно, Бог к нему все еще милостив.

Ни тревоги какой, ни беды под рукой,
ни тоски, под колеса подброшенной,
и вокруг как в раю, да и сам он такой —
не незванный, не лишний — а прощенный.

Ни морщинки пока на счастливом лице,
невдомек ему горечь прощания.
Ждут подарки его на заветном крыльце,
и счастливые ждут обещания.

Он другим оставляет суму и тюрьму,
что легко своим ближним даруем мы,
и разлуки — другим, а себе самому —
только празднички да с поцелуями.

А послушать: как песни покуда чисты,
как безвинны пока прегрешения...
И плывут мимо брички кресты да кресты,
как природы живой украшения.

* * *

О. и Ю. Понаровским

Под крики толпы угрожающей,
хрипящей и стонущей вслед,
последний еврей уезжающий
погасит на станции свет.

Как будто из недр человечества
глядит на минувшее он...
И катится мимо отчества
последний зеленый вагон.

Потоки проклятий и ругани
худую рукою стряхнет,
и медленно профиль испуганный
за темным стеклом проплывет.

Весь мир, наши судьбы тасующий,
гудит средь лесов и морей...
Еврей, о России тоскующий,
на совести горькой моей.

Калужская фантазия

И. Коржавину

Кони красные купаются в зеленом водоеме.
Может, пруд, а может, озеро, а то и океан.
Молодой красивый конюх развалился на соломе —
он не весел и не грустен, и не болен, и не пьян.

Он из местных, он из честных, он из конюхов безвестных,
он типичный представитель славной армии труда.
Рядом с ним сидит инструктор в одеяниях воскресных:
в синем галстуке, в жилете. Тоже трезв как никогда.

Рядом с ним сидит начальник — главный этого района.
Областной сидит поодаль. Дальше — присланный Москвой,
и над ним-то, между прочим, ну не то чтобы корона,
но какое-то сиянье над кудрявой головой.

Волны к берегу стремятся, кони тонут друг за другом,
конюх спит, инструктор плачет, главный делает доклад.
А москвич командировочный, как бабочка над лугом,
и в глазах его столичных кони мчатся на парад.

Там вожди на мавзолеях: Сталин, Молотов, Буденный.
И ладошками своими скромно машут: «Нет, нет, нет!...»
То есть вы, мол, маршируйте по степи по полуденной,
ну а мы, мол, ваши слуги: значит, с нас и спросу нет.

Ну а конюх тоже видит, что и он на мавзолее,
что совсем не удивляется величию своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердия, поклоняется ему.

Александр Бородыня

Дикий лес

РОМАН



Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живем в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.

Владимир Высоцкий

Вместо пролога — звезда

Занесло к вечеру пятницы в город с полтора десятка синих звезд, расшвыряло. Сдуло белые дневные комья с неба, в морозной высоте запульсировали живые точки, будто бригада сварщиков работает, скрытая мраком, на черных лесах невидимого, самого огромного в мире здания.

— Люблю! — вглядываясь в лица сварщиков, пощипал человек, сидящий на ящике из-под пива на задворках винного магазина. Тяжело покачался огромным жирным телом в потертой шубе — искусственный мех заскрипел — засветел заледенелым носом, пояснил: — Ужасно люблю, когда вот так чудненько над головой: и темно... и магазин вроде еще как и открыт...

Сквозь вибрирующее желтое стекло долетали ошметки мата и скрип запревших в обуви ног.

— Любу твою!.. Любовь вчера ребята по машинам всю ночь таскали, — сказал некто небритый в телогрейке — в черных взлохмаченных волосах седина и снег.

— Э-э-эх! — у третьего в пиджачке и новеньких крагах — под пиджачком надут, как на штангисте, лыжный свитер, на ногах драная кирза, на голове берет. — Не о том же!.. А хорошо, хорошо ты, Данила, сказал... Вон то, они, — он поковырял пальцем в свободной перчатке звездастое небо. — Домостроители!..

— Чего хорошего, дурень ты?! У нее, шалавы, муж сидит, а она творит чудеса небесные!..

— А ты, значит, ангел?

Розовое тепло вермута, икающее начало счастья, полилось из круглого отверстия в губы, лязгнуло трижды стекло. Бомба шлепнулась пустая в синий сугроб: «Хрясь!»

— Все мы ангелы...

— А вот, посмотри, посмотри! — шуба вся зашевелилась. — Вон там, на доме, на самой верхотуре!..

Журнальный вариант.

Поэтический эпиграф дан в одной из авторских версий.

А. Бородыня (р. 1957) принадлежит к тому роду писателей, чей путь в литературу лежал не через лекции и семинары Литературного института — будущий прозаик перепробовал с десятком рабочих профессий. Первая публикация в альманахе «Истоки» (1989). Первая книга вышла в издательстве «Московский рабочий» (1990).

· Башня?

· Ну, звездочка это или все-таки сварка?

Над ярко белой кромкой домов, ровно залитых фонарным электричеством, рядом со стройной вышкой тридцатизетажной башни в тоненьких, блестящих слочках лесов стояла и вторая башня, и наверху тихо горела, подмигивала, потрескивала по-доброму синяя звездочка.

— Это через дом звезду просто видно...

— Просто?

— Какая разница?! Открывай, ты!

Три человека выпили из горлышка еще одну, вторую по счету на троих бутылку розового вермута, и пошел добрый тихий разговор. Для Данилы в искусственной шубе это была уже седьмая с утра, для Иннокентия, Кеши попросту, с красными ушами, торчащими из-под берета, четвертая с шести после смены, для Карасыча — телогрейка подобралась на спине, и спине было все-таки зябко — вообще непонятно какая, может, первая, а может, и последняя, это в зависимости откуда начинать счет.

Щелчок! Мягкая белая резинка повисла на острых зубах. Пробка.

— Кеша, ты не понимаешь, я ведь что тебе хотел сказать...

— Изволите сообщать? — икнул, передернуло все тело снизу вверх, небритый подбородок закачался на волне шерстяного ворота. — У-уфф! Лепота!..

Спички ломались. Карасыч ударил зеленой головкой сырую, коричневую серу. Нет. Короткая вонь. Треск. Длинная искра.

— На!

Карасыч повел дико бесцветным глазом: желтый язык замалевал полнеба.

— Давай руку, жарко! — Данила убрал пламя, снова чиркнул. — Ну!

— Газовая?! Что ли, украл?

— Держи, украл! Ох, и люди же вы, люди!..

Папироска задымилась. Закружились розовые созвездия в морозном клубе дыма, заплескала-заходила звезда на верхушке недостроенной башни.

— А я заснул в машине... Думал, она освободится и мною тоже не побрезгует, хочется же... Ждал, ждал и заснул!.. А вот ведь иногда так прищемит. — Он чувствовал, как жидко трясущееся его тело наливается горячей плотностью, натирает сивушные губы горячей шершавостью рукава. — И прищемит!.. — Поводил беспокойной рукой. — Зажмет вот тут!.. — Ткнул себя в бок тупо. — И вот никак не пойму что, а что-то так вот... Прищемит!..

— На-ка, закуси-ка! — из кармана пиджака явился мятый бутерброд с сыром. — Закусывай, закусывай!..

— А страшная!.. — Карасыч наклонился вперед и несколько раз покачнулся. — Ежка-бабка, бабка-ежка... — вобрал после кашля ледяную вечернюю взвесь. — Звезды, етить твою!.

— Ага, заметил!.. — голая белая рука Данилы полезла в тяжелую шубу на уровне груди, она покопалась под сердцем, и в шаткой лодочке с длинными, неровными, мягкими ногтями оказались черные точки семечек. — Семечек хошь?!

— Они, с медицинской точки зрения, вредные, но все равно давай!

— А вот, смотри, интересно, сварка это или что? — в голосе Данилы, мягком баритоне, столько вдруг появилось ласковой тоски, что Кеша сразу его почувствовал всего целиком — живого человека, а сам уже занялся быстрыми своими мыслями.

— Можно проверить! — бравируя, как ему показалось, от стеснения, Кеша покашлял нарочно, чихнул. — Сходить туда и проверить. — Ему сделалось стыдно. — Еще взять надо, а то закроют лабаз!

— Закроют?! — Данила встал и потоптался на месте возле ящика. Он почувствовал стеснительную браваду собутельника и попытался возбудить в себе злость. Но злости не получилось, наоборот, теплое чувство.

«Чертова кожа! — встряла в голову мысль. — Черти полосатые!..»

Карасыч кашлял долго с подвывом и мокротой, утирался рукавом, кашлял опять. Кашель походил на болезненный крик раненого лося. Лосей Кеша стрелял в белорусских лесах с отцом двадцать лет назад.

— Будет лето... — он поежился, свитер не шуба. — Будет, точно будет!..

— попробовал восстановиться на приятной мысли, размотать этот клубок. — ...И поведем на озеро!

— И вот чего хочется... Зараза она, вьелось!.. — опять кашель, мокрота. — Ну никак, красивое такос... — Палец Карасыча описал в воздухе круг. — Большое...

— Пойдем сходим, поглядим! Может, все-таки сварка?.. У меня там ребята знакомые работают, у них спирт бывает!.. — Даниле показалось, что он задумался, но не прошло и мгновения. — Больницу строят, большая больница будет... — он опять провалился в себя. — Вот эта башня, представляешь ты, сука, себе — башня и еще шесть кремowych корпусов... На шестом этаже селезенки пересаживают, на восьмом печенки!.. — с шорохом просыпался снег. — Бывает, всегда есть спирт, им выдают на протирку!.. И протираются, ха-ха!..

— Это как, как? Ты скажи как, от собаки?..

— От хорошего человека, непьющего пересадят тебе сердце!..

— А хорошего куда?

— Вроде донор, как кровь...

— Да надоел, — сапог ударил косо торчащую из сугроба зеленую «бомбу», и та со звоном покатилась через задворки на обледенелый асфальт тротуара.

— Да тихо ты!

А чего тихо, чего тихо?! — закипел Кеша. — Это ты мне будешь говорить, когда тихо!.. — он не помнил ни озера, ни теплого чувства, он выскочил из него. — Думаешь, если больной, тебе можно?! — он выглядел смешно: на голову ниже Данилы, размахивал руками.

— А я весь больной, потому что живой!.. Здоровый человек, как покойник, он минуты не проживет...

— Ладно, сядь! — сам сел на ящик. Данила спустился, подпернул шубу.

Опьянение Карасыча достигло приятной точки. Образ перед его сомкнувшимися глазами был один: личико дочки, остальное состояло из огромного количества цветных плывущих кругов. Остальное переливалось, множилось. Здесь был звук и запах, исчезли всегда превалирующие зеленый и коричневый, такого запаха он не чувствовал в настоящем, реальном мире. Мир, уже десять лет смазанный водкой, сделался, восстанавливаясь и принимая мало-малыски трезвые очертания, плоским и черно-белым. Он открыл глаза. Все исчезло. Но во мраке стояла над далекой башней синяя, яркая точка сварки. Звездочка.

Он закрыл глаза, точка не исчезла. Открыл — осталась, закрыл — здесь она, открыл...

— Не обижайся ты! — сказал Кеша. — Не надо, я так пошутил! — клубок мечтаний распался, на его месте был настойчивый интерес, что же там, звезда или сварка?

«Если звезда, то точно завтра договоримся поехать на рыбалку, ловить можно и зимой! Прорубь маленькую, костерок...»

Карасыч покачивался назад, вперед, встал, помычал что-то и пошел. В амбразуре его прищура ласково играла ярко-синяя звезда. Ударился коленом об ящик, поперхнулся, закашлял, заикал...

— Мать, мать, мать...

Треснула сухо доска.

— Смотри не обмочись!.. Во вторник Петька-то что уделал!.. Да я рассказывал... — Берет под нажимом скрипнувшей в ухо краги поехал на затылок. — Прелесть!

— Сторож там знакомый, — морщась, вспоминал Данила. — Кажется, знакомый, хороший мужик, нальем ему!

— Нальем, а как же! Обязательно, если он сторож! Конечно! — Кеше показалось, что он сказал что-то смешное, и он искренне удивился, что никто не среагировал. — Не смешно, да? Да ладно, не в этом счастье!

Газовая зажигалка шелкала в пальцах. Из пластмассового малахита вылетал желтый огонь. Длинный язык высвечивал коричневую потертость шубы, выявляя существование множества отдельных ворсинок, и при этом слизывал с ледяной черноты звезды.

— Отличная вещь!

— Отличная, куда ж!..

Карасыч тяжело обернулся:

— Завтра, — забубнил он. — Завтра я ее достану!

Личико дочки совместилося с сифилисным провалом Любки, расплылась, зеленея плесенью, круглая радуга.

— Обязательно, шалава! Подвернем гайки, и вроде ничего, ездить можно, полный газ!.. Был один парень, малахольный, Емелей звали, как его там?.. Черт!.. — он говорил и говорил, и слова, разорванные в своем смысле, сливались в одно правильное гармоничное ощущение, в гармонию.

— На завтра одна гадость останется, вспомнить же будет страшно, — накладывались на бессвязные построения Карасыча логичные фразы Данилы. — А ведь как хорошо, ведь, ей-богу, хорошо! Ведь вот мы трое!..

Они шли по белому снегу под белым светом фонарей среди легкой массивности освещенных домов. Споткнулась о камень рваная кирза, заскользила стертой ледяной подошвой по наросшей в несколько изморозей асфальтовой дорожке тротуара. Но не камень, вросшая в землю, припорошенная, отвердевшая мертвая собака посмотрела на Кешу снизу из-под ноги, на его теплый свитер. Ее убило машиной два дня назад. Труп, откинутый капотом свежеекращенных «Жигулей», даже не сбросивших скорость, так и лежал, мерз.

«А чего я морщусь? Морщусь чего? Прямо весь съезжился под свитером!.. Плевать я хотел! Людей сколько в Афганистане, просто так, и на кладбище валяются! А данный случай — чистая псина!..»

— Вот ведь только, можно сказать, недавно познакомились, — выстраивал Данила. — А делом заняты, ведь чего бы нам это ни стоило, мы эту звезду достанем!.. А со стороны, между прочим, мы... Если посмотреть глазами хоть вон того дяди с чемоданом... Между прочим, ты заметь, Карасыч, ни одного слова матом!.. А душа-то у нас какая! Ведь они не видят, что внутри у нас, мы же светимся...

— Светимся, — согласился Кеша. «Светимся, — подумал он. — Правда, светимся!»

«И чего она мне въелась? — крутилось и крутилось в голове Карасыча. — Зачем это?»

— Вот если меня сейчас кто-нибудь заденет или оскорбит! — вопил Данила. — То я ему спасибо скажу и скажу: бей еще, если приятно, бей! Мне себя не жалко!..

В одном из городов, если смотреть с орбитальной станции, маленькой точке земного шара, а если снизу из колодца улицы — огромном, забитом кирпичом и движущейся человеческой плотью пространстве, три пьяных человека шли от закрывающегося винного магазина в сторону недостроенной тридцатизэтажной башни — центрального здания будущей клиники, над которой пылала яркая синяя звезда. Им хотелось узнать, что это: электросварка, оптический обман, явление природы?..

Когда подошли уже к строительному забору, замыкавшему в себе башню, звезды никто не видел, они забыли о ней. Осталось только движение вверх, из пьяной бессмысленной неподвижности в пьяное малоосмысленное действие.

Карасыч, пролезая под прогнутой железной воротинкой, зацепился за проволоку. Ржавый конец прошелся по спине, выдирая из телогрейки теплую живую вату.

— У-у-у!.. Больно, больно!.. — он завертелся, сидя на снегу, нелепо хватаясь за спину.

Яма будущего подвала. Черные дыры подъездов, еще без дверей, лампочка на столбе скрипит, покачивается, ребра ступеней в ее свете. Завалившаяся набок, ужасная бетономешалка, восходящая узкая луна — отражение в ее мятлом боку.

Лампочка тоже отражалась в бетономешалке, она соперничала с луной.

— А где ж твой сторож?..

— А что здесь, я извиняюсь, сторожить?..

Радуга рухнула. Под ногами волны замерзшей глины. Даниле захотелось оброчно на задворки, на уютный ящик из-под пива.

Покачивался с ваткой на конце коричневый от ржавчины конец проволоки.

— Больно, больно, больно как!.. — тихонечко уже выговаривал, выражая свою боль словами. Карасыч.

Потекла соленая икота по подбородку за ворот свитера. По ворсинкам шубы, по трясущимся синим опухшим рукам. Руки вытирались о горячую шершавость телогрейки и замирали.

Ледяная бутылка смотрела распечатанным круглым глазом горлышка на сияющую луну.

— А ты глянь, еще поднасыпало!

Ледяной ветерок теребил сухое небо, и из складок этой эфирной материи, тихо грубеющей на морозе, выкатывались новые и новые искры. На огромных лесах вселенского здания невидимые сварщики продолжали свой труд.

1

глава

Он не обращал внимания на то, что еще зима. Большая фигура замершего человека, смешно увернутая в старенькое пальто, черной резинкой натягивающееся на спине, чуть колыбалась от прохватывающей тошнотворно легкой дрожи. На голове его был меховой лезущий берет. Не хватало пуговицы в вороте. На ногах переломанные в изгибах пятирублевые ботинки из дрянного кожзаменителя. Человек подвинул чемодан и с трудом сел на него, не вынимая из карманов своих огромных замерзших рук.

Дышал сгорающий, быстро чернея на солнце, ноздреватый мартовский снег. Само солнце, живое в прозрачной глубине неба, отражалось в доме неподвижным желтым пятном, стояло рядом с людьми на промерзшей красной кирпичной стене.

Спешили, чертыхались, лезли люди, с трудом перепрыгивая ледяной сугроб. Легкая, картонная, летала с треском дверь магазина.

— Какое время? Какое время сейчас?! — удержав подле себя на миг выплывающего навстречу цветущего розовомордого толстяка, утопив в отворотах его шубы свои маленькие натруженные руки, хрипло частил горлом тощий строительный рабочий в вымазанном разными красками, распахнутом ватнике, похожем на свежую палитру.

Толстяк, полный медлительного достоинства, сверился со своими часами.

— Конец, — просопел он. — Кончено...без пяти минут!.. — он хотел еще что-то добавить, но передумал и только выпустил из щек воздух, приготовленный для некоторой речи.

Строительный рабочий вскрикнул неразборчиво громко, взмахнул яростно развернувшейся спецодеждой, как птица крыльями, и нырнул, не глядя, головой вперед в распахнувшуюся ударом дверь.

Живой на холоде, приглушенный крепкими стенами, выходил на улицу изнутри винного магазина примитивный, тупой мат.

Без всякой связи, до смерти перепугав маленькую старушку, целиком ушедшую в свои платки, пять раз кряду перекрестившую невидимый лоб, осыпался лед. Падая с высоты огромной сверкающей глыбой и, разметавшись в острые брызги, лег наравне с погибающим снегом таять.

«Звона почему-то там мало от падения, — медленно подумал человек, сидящий на чемодане. — Если с такой высоты такая сияющая глыба летит, обязательно должен быть звон... Не убило, хорошо, никого... Хорошо ведь, — его изнутри одолевала дрожь, сбивая слова со смысла. — Ведь как хорошо!»

По-морозному сухо стучала дверь, билась задубевшей ладошкой о мерзлый косяк.

Брякал плохо вделанный замок, срастаясь с пластилиновыми остатками каменеющей пломбы.

У человека, сидящего на чемодане, неожиданно кровь стянуло в узел под береткой в затылок, будто ударили сзади по черепу поленом. Он потерял

сознание, но не упал, а остался сидеть с открытыми глазами, только несколько мгновений двигался всем телом вперед, навстречу солнцу. Сознание вернулось, он зажмурился ненадолго, но изо всей силы. Мягкое, пролезая сквозь горло, пыталось выбраться из тела на мороз собственное сердце.

Он подумал, глотая ледяной воздух: «Это от голода, меня просто тошнит. Ведь с головой у меня все в порядке, нужно просто что-нибудь быстренько закусить или водички попить... Хорошо ведь, как хорошо, — дрожь, наверное, усиливалась, но он перестал ее ощущать. — Значит, так, последний раз я ел вчера, нет, сегодня!.. Красный холодный кисель в институтской столовой... Нужно было что-нибудь купить, не успел!..»

Комендант настиг лжестудента, когда тот засовывал в карманы единственный на столе бесплатный хлеб. Стол, протертый, блестел, хлеба в тарелке было немного.

— Для учащихся! — холодная рука бесцеремонно взялась за его руку.

Он и сейчас чувствовал на рукаве твердые пальцы и слышал голос: — Вы, Иван Федорович, у нас в списках не значитесь! И в соответствии на данную столовую права не имеете! Вы пойдите купите хлеб в булочной, ведь очень просто!.. Вы, Пауков, человек чистоплотный, и не надо на прощание себя вором показывать!

Иван вышел из общежития, крепко шарахнув дверь. «Я убью его!» — думал он, дергаясь на чемодане, стряхивая с рукава неприятные пальцы.

В эту дверь, массивную, цельную, продержавшуюся сто лет, он вошел девять месяцев назад, полный счастливой уверенности. Этой тяжелой двери он боялся, когда, провалив экзамены, начал полулегальную свою жизнь в общежитии, надеялся дотянуть до следующего лета. В январе он уже точно знал, что поступит, определил себе готовиться не менее семи часов в сутки, определил себе не реже, чем раз в неделю, появляться на кафедре, он всматривался в лица педагогов в курилке, пытаясь угадать возможного члена приемной комиссии, примелькаться.

Все кончилось мгновенно — и страх, и надежда. Олег Ревич, сосед по комнате, пропивал очередную стипендию. На спор он затащил в общежитие американца. За общим столом Иван зубрил биологию. Олег со своим гостем, постепенно переходившим с русского, изучаемого, на родной английский, бутылка за бутылкой уничтожали портвейн.

Оторвавшись от Менделя, Иван задумчиво смотрел, как американец снимает носки и как после этого медленно падает спиной на его, Иванову, застеленную кровать. А потом утро. Иван отчетливо видит, как Олег Ревич трясет за плечо полумертвого гостя:

— Ну, ты чего?! Жив, Америка? — он хлопает в ладоши, пытаясь разогнать тяжелую судорогу мышц. — Пивка попьем?

С минуту гость сидел на Ивановой кровати в майке, в растегнутых брюках, босой, совсем русский, потом начал озираться.

Вспыхнувшая в памяти картинка столь ясна, что хочется вмешаться, исправить. Американец хватается руками за голову и кричит:

— Пиво?! Опохмел?! Нет!!!

Носки так и остались лежать на грязном полу общежития.

— Кто напоил американца? — тихо спрашивает комендант.

У Олега Ревича светлые волосы, ослепительно голубые глаза.

— Наверное, Пауков. — говорит он. — Но это предположительно, а точно не скажу, не видел.

«Я убью его!»

Теперь Иван Федорович Пауков сидел на чемодане в чужом городе в час дня по московскому времени, и ему было некуда и незачем идти. Варианты будущего возникали и отпадали в нем, как отпадал, очищая блестящий металл крыши, подтаявший лед.

«Только не на вокзал, там просто плохо кончится!»

Поехать домой, вернуться? Лучше лечь на рельсы прямо под прибывающий поезд! Домой побитой в Москве собакой?! Никогда не случится!.. Хорошо, как хорошо!.. Ну, так что же? Сидеть здесь на чемодане, ждать чуда?»

Он ждал чуда и отдавал себе в этом ясный отчет. потому что больше ему ждать было нечего.

Мир стоял перед Иваном цветной картиной. в картине главное место занимал холод, второе место делили звук и цвет, мысль, оценивающая произведение искусства. была на третьем, последнем месте.

После краткого обморока Ивану сделалось легко, а слова в голове стали невесомыми. как и тело, лишились, как и тело, какой-то физической своей основы.

Картина мира немного изменилась. Упал пьяный. Он тяжело заскользил по ледяной сверкающей дорожке, переворачиваясь, его занесло резко назад, и из-под ватника вырвалась, как на пружине, длинная белая рука, похожая на голую кость.

Рука замерла торчком, дрожа в круглом широком рукаве. На горле бутылки сцепились худые пальцы. Траурные ногти алкоголика медленно чернели от напряжения. До слуха, как гром, опоздавший за молнией, донесся удар. Хруст, стон и долгий вялый, безжизненный мат! Из глаз человека закапали слепые слезы. Он замер, неся над своей неподвижностью огромный зеленый флакон, полный темнеющей влаги. Сквозь влагу медленно пробивались знобящие винные пузырьки.

«Ужасно ведь, как смешно! Это зеркало, все так же и все наоборот, — думал про чужое Иван. — Кто-то говорил... Вот только кто?.. А, не важно!.. «История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса!»

Человек, поскользнувшийся на сверкающей отраженным солнцем ледяной дорожке, только еще удобно устраивался в сугробе, пытаясь подняться, опустил стеклянную «бомбу» бережно в снег, тер вскипевшие пеной губы, а на самих ступенях магазина все уже повторилось. Рухнул, дернув ногами, полетел спиной вперед второй, точно такой же в ватнике человек.

Бутылка водки скользнула, прозрачная, из его руки. Тихо без звона раскололась о ступеньку и встала золотой пробочкой вверх.

Пауков не пошевелился. ему захотелось умереть, повеситься, зацепив шарф прямо за зеленую букву «В».

Рваная кепка, сброшенная, валялась в снегу, в стороне. Второй человек, как и первый, выпустил из глаз обильные безжизненные слезы. Они текли по его трясущимся щекам и замерзали; утекали внутрь, на тело, за плотную вонючую каемочку ворота.

Чуть позже он встал и, расшвыряв ботинком сверкающую кашу осколков, шагнул несколько раз и сел рядом со своей кепкой в тлеющий черный наст.

«Ну и что дальше? Как теперь? — легкие мысли были беззлобны, но не добры. Краткое безумие, мгновенно атаковавшее рассудок, так же мгновенно оставило его. Оказалось, достаточно вспомнить, что шарф уже продан. Иван просто наблюдал и чувствовал наравне с тошнотворной легкостью, что больше ничего нет. Решал ребус, построенный цветной картиной, стоящей перед ним. — Как быть?»

Пьяный завыл. Громко, всем телом. Голос шел не только из разинутого рта, из напряженной кишки разрывающегося в стоне красного горла, не только из дергающейся груди, он кричал весь целиком, каждой своей живой клеткой, по-человечески невыносимо и протяжно. Он сидел над кепкой и орал, глядя в прозрачную небесную пустоту прозрачными бешеными глазами, орал просто так, без видимой цели, убивался по погибшей бутылке «столичной» водки.

Снимая руками снег с колен, поднялся строительный рабочий. Тщательно спрятал на груди свою портвейновую зеленую бомбу. Запахнувшись в цветастый ватник, постоял недолго, как бы оценивая ситуацию, странное проявление скорби. Как показалось Ивану, он хотел быстро уйти, но вытащил из сугроба собственную кепку и взялся сперва задумчиво, а потом неистово рыть изодранные бездонные карманы телогрейки. Палитра ватника шевелилась, набухая, как живая.

Наконец нашел, уверенно шагнул к вопящему человеку и, стесняясь, даже,

как показалось Ивану, с некоторой бравадой высыпал в кепку, подобную его собственной, несколько медяков. Несчастный продолжал орать.

— Ты как думаешь, это он чего? — спросил благодетель у человека сидящего на чемодане. — Дурку вызвать, что ли?

— Нет, не стоит! — остановил его, и не собиравшегося никуда бежать, Иван. — Это он от горя, покричит и утихнет. — И спросил: ни на что не надеясь, просто так, повторил любимую присказку Олега Ревича. — Может, нальешь мне капелёк, с утра трубы горят?

Алкоголик посмотрел с тяжелым сомнением на парня в не по размеру маленьком демисезонном пальто и кивнул:

— Налью капелёк! Капелёк не жалко...

Оскальзаясь на горящем льду, к кричащему человеку пошел, мелко перебирая ногами, гражданин в шубе, до этого лишь на правах зрителя созерцавший картину. Он что-то сказал, никто не услышал. Он добыл из шубы квадратное портмоне с тощей русалкой, выдавленной в коричневой свиной коже, порывшись в нем двумя пальцами и, еще ниже склонившись, положил в кепку блеснувший на солнце рубль.

Зашумели голоса:

— Нищий? Батюшки, нищий!..

— Расстреливать, расстреливать надо, без суда!..

— Умереть так можно, ты ж вразуми, умереть!..

Из голосов выделился один, как что-то неестественное:

— Поможем человеку, — по-деловому предложил он. — Соберем на бутылочку? Бабе ребенка не вернешь, а водка-то!.. Водка-то, она одинаковая!..

В кепку сыпались деньги: желтые медяшки, серебряные большие и маленькие монетки, желтые рублевки, кто-то положил даже, судя по мелькнувшей зелени, троячок.

Провокатор — очень приличный человек: длинное серое пальто, тросточка, он размахивал ею, внося порядок в пожертвования. Он был без головного убора: узкое лицо, хорошо подстриженные рыжие усики, абсолютно трезвые глаза.

«Надо бы его запомнить, — отметил Иван. — Такого лучше в памяти держать, а не в записной книжке».

— Ну куда? Куда уж?! Хватит ему! — улыбался этот человек, втыкая трость в черный снег и останавливая маленькую старушку, развязывавшую узелок в увлечении общего дела. — Тут уже на литр! — Он пошевелил кепку концом своей трости. — А то ведь выпьет лишнего и умрет!

Пьяный замолчал. Крик прекратился в нем, как прекращаются некоторые болезни, как проходит жар, как останавливается поезд, долго, со скрежетом железа о железо, визгом тормозных колодок.

Он уже молча весь дрожал и обильно в снег плакал и потел. Перед ним была полная кепка денег. Люди расходились. Минуту назад охвативший граждан подъем мгновенно сменился легким стыдом и желанием исчезнуть с места действия. Они покидали цветную картину, стоящую перед Иваном, легко и быстро, бесшумно растворялись в прозрачной солнечной глубине.

Человек над кепкой неуверенно поднял руку, потрогал деньги. Он смотрел на закрытую дверь винного отдела. Теперь у него было на что купить последнюю бутылку водки, но не было где ее купить.

Плохо установленный замок защелкивался на ключ изнутри, на два оборота. Пластинки пломбы слетел от очередного удара и был размазан мягкой ногой продавщицы Дуняши, обутой в белый войлочный тапок, по линолеуму от двери до самого прилавка.

«Самое простое — уговорить этого налить тому в долг. Во-первых, я смогу участвовать на равных паях, а во-вторых, доброе дело сделаю... Только стоит ли вообще пить? В чужом городе, без жилья, без знакомых напиваться в подъезде с первым попавшимся алкоголиком. Хорошо ли это?! А что делать? Так и сидеть на чемодане, ждать невесты чего?»

Решение он принял независимо от себя, легко. Уже в середине мысли, не успевающей за действием мышц, он стоял, правой рукой отрывая тяжелый

чемодан от промерзшего асфальта, чтобы через десять минут поставить его на грязную от мокрого снега ступеньку в закрытом подъезде.

Денег оказалось десять рублей сорок семь копеек, кроме Ивана, сосчитать их никто не мог. У собутыльников руки тряслись и мир множился в уже счастливых глазах. Они выпили, и им стало весело на высоких ступенях чужого подъезда.

— А меня в мед завалили!.. — картины мира не было больше. Иван вошел в нее сквозь цветное полотно. — Я все экзамены сдал, и по баллам тоже хорошо... Но сперва других, всех разных гадов, а потом школьников!..

Краски блекли, они не были уже столь выразительны и яркие, а внутри то ли от усталости, то ли от выпитого вина становилось невыносимо жарко.

— Хочешь, я тебя устрою?! У меня ректор знакомый... Только ты, вот что, сбегай, водки возьми, а то у нас, смотри!.. Все кончилось! Нет, честное слово, Прохор Гаврилович Летальный, я его знаю, собаку, он лично, наверное, тебя и зарезал! Не любит человек школьников! — его пьяное лицо сморщилось. — «Жизнь нюхать надо, жизнь!»

Слепились рядом в одно живое целое три человека в грязной зимней одежде, три алкоголика на ограниченном пространстве каменной ступени. Срослись и перемешались их чувства и голоса. Ни потолка, ни стен, провалы голосов за дверьми и обдающий снизу холод.

— А то сбегай и пошли в мою больницу работать!.. Летальный практиков уважает, а у меня больница своя есть, клиника!.. — горячим лицом он сильно наклонился к Ивану. — Ты мне не веришь?! А у меня есть!.. Пойдем, пойдем покажу!.. — ребром ладони он мягко провел себя по горлу. — А это по дороге возьмем!..

— Ты капиталист, да?! Капиталист! Своя клиника у него!.. Ух ты, стухли...

— Не веришь, да? Не веришь, сволота! Я тебя трудоустрою, хочешь, по высшему классу!..

— Устройте меня! — попросил Иван.

— И тебя, ладно, тоже устрою... Пойми, башка! — у него вдруг появился легкий грузинский акцент и спина, прижатая к крашеным перильцам, будто выпрямилась. — Я все могу, я у себя дома — бог! Нет прописки, будет прописка! Нет квартиры? Будет квартира! Или тебе нет, тебе квартиры много, тебе, дорогой, и комнаты хватит!..

Иван смотрел на свою большую, отдохавшую в тепле руку, на коротенькую, жирную линию жизни и продолжал пить, теперь уже водку, и не из горлышка, а из стакана. Стакан тяжело оттягивал руку, скользкий, сальный до отвращения.

Он заснул.

Рядом сидела сильно накрашенная крупная девушка без пальто. Одета она была в медицинский халат и тапочки на босу ногу. Иван ее не интересовал. Прикусывая губы, девушка изо всей силы то левой, то правой рукой отведывала звонкие пощечины, избивала сгрудившегося на ступеньках недавнего нищего. Третьего рядом не было.

На месте палитры-ватника, там, где сидел пьяный строительный рабочий, тихо спекалось густое портвейное пятно.

— Георг Шалвович, ну миленький! Очнитесь! — звонко шептала девушка красивым голосом. — Американцы завтра приезжают... Бумажки!.. — она потянула голову алкоголика за волосы опытной рукой, процедила сквозь зубы: — Бумажки подписывать надо.

— А что, у него действительно есть своя клиника? — подал голос Иван.

— Есть, когда трезвый!.. — пару раз она встряхнула безжизненную голову. — Ну, ладно, — бросила голову, и та стукнулась о камень ступеньки. — Ладно, не можем идти, значит, будем нести!.. — резко повернулась к Ивану. — Вы, молодой человек, в состоянии перемещаться в пространстве?

— Не знаю, — Иван смутился. — Наверное, могу.

— А вы, молодой человек, как считаете, мы с вами товарища Главного до кабинета донесем?.. Ну в конце-то концов, — она потянула бесчувственное тело под левую руку снизу вверх, от напряжения высывая язык. Иван

послушно взял его за правую. В войну раненных как-то ведь выносили?.. медленно и тяжело они двинулись по лестнице вниз. — Ну, скажем, тяжелораненных, без рук, без ног... — Медленно они двигались вдоль стены, в которой все еще желтым пятном стояло мертвое солнце. — Ну, скажем, совсем тяжелых?! Неподвижных, контуженных?! — Свободной рукой она вытирала текущую с пота косметику. — Предположим, мертвых, командиров, генералов, маршалов..

Они пересекли улицу. Медленно, в три тела. Ноги нищего капиталиста, обутые в рваные сапоги, сжали сзади как бы отдельно. За всю дорогу Георг Шалвович не издал ни звука, он только хрипло и жадно дышал. Иван видел, как в закатившемся его левом глазу играло радугой, отражаясь, утихающее небо.

— А кто он вообще-то? — задыхаясь, спрашивал Иван.

— Эвадзе, неужели не слышали?! — Говорить ей было тяжело, но говорить ей хотелось, видимо, так было легче. — Специализируется по операциям на сердце.

— А он слово держит?

— Обещал чего-то тебе? Он вообще человек слова, когда трезвый, а напивается вот так не чаще, чем раз в месяц. Зато за два дня успевает так опуститься с высоты своего авторитета... Представляешь, утром распинает на ковре Карапкина за пропитый унитаз, угрожает с акцентом своим!.. «Уволю! — кричит. — По статье уволю! Волчий билет!..» А вечером весь в слюнях, в чужой телогрейке у того же Карапкина чинарик выпрашивает на пару затяжек!..

Восемь кремовых двенадцатиэтажных корпусов, красиво нарисованных на фоне заходящего солнца, мало походили на медицинское учреждение, скорее они напоминали Олимпийский гостиничный комплекс, увенчанный стройной красавицей — тринадцатиэтажной башней.

— Сюда, сюда, в лифт его тащи! У-у, мерзость!.. — Она крепко, вероятно, в последний раз хлопнула врача по щеке. — Но ты запомни, если он тебе спяну наобещал, не надейся, если только чудо...

На четвертом этаже, в кабинете, отделанном дубовыми панелями, пьяный неожиданно ожил и, буркнув по-грузински что-то непонятно-неразборчивое, вскочил на ноги, со всего размаха ткнулся головой в стену. Иван хотел подхватить его, но стена разошлась и сомкнулась скрытой дверью за спиной Георга Шалвовича.

— Все в порядке, садись, чего стоять-то! Глядишь, и поможет тебе, чего не случается!.. — усталыми губами она тянула сигарету. — Зовут меня Алуша. — Девушка протянула Ивану маленькую, испачканную черно-красной косметикой руку.

Отворилась потайная дверь, и в кабинет вошел (Иван Пауков не узнал его в первую минуту) с отечным синим лицом, но совершенно прямой спиной, в дорогом костюме и приличной обуви Георг Шалвович Эвадзе, главврач хирургического центра. Волосы грузина были мокрыми и зачесаны назад, по всей вероятности, там, за дверью, имелся холодный душ.

Георг Шалвович смерил Паукова коротким практическим взглядом и задал всего один вопрос:

— Документы при вас?

Иван инстинктивно полез во внутренний карман пальто.

«Что это? Где я? Что происходит?! — в нетрезвом еще сознании Ивана медленно всплывал своей роскошью огромный кабинет. Живая, мягкая кожа кресел, разлитое по дубовым панелям, по плоской сверкающей крышке стола закатное розовое солнце. — Ну, хорошо, допустим, нельзя только останавливаться, нужно принимать все как есть!..»

— Ладно, ладно! с мокрых волос Георга Шалвовича медленно спускается прозрачная капля, останавливается на щеке стеклянным нарывом. — Можно не повторять, все помню. Милая. — он поворачивается к Алуше, забираясь в кресло за стол, добывая из ящиков бумаги. — Отведи молодого человека в кадры. — Щелкает красивыми длинными пальцами,

ищет авторучку. — Ну, я не знаю, на что у нас там есть лимит? Слесарем, еще кем-нибудь скажешь... Я распоряжусь, позвоню!..

В отделе кадров все свершилось коротко, три бумажки, мелькнувшая печать, выдвинули и задвинули маленький ящик.

«Я ведь смотрю на все со стороны», соображал Иван, следуя за Алушей. Он видел, как Иван Пауков и Алуша спускаются по лестнице, спускаются в лифте, спускаются вниз в темноту, в подвал. Он мог оценивать и понимать происходящее, но не мог вмешаться, потому что все происходило по его воле, а чувство, руководящее мыслью, та плоть, из которой лепились в голове слова, было иным, не отсюда.

2

глава

Навалился подвал. Длинный, заставленный рухлядью, полный запаха формалина, железа, мокрой хлорки. Запахи вытеснялись только густым горячим паром. Пар выбирал вечно работающий мотор вакуумного насоса. Коридор двигался углами, лежали на потолке очень толстые зеленые трубы. Они заставляли пригibasъ, вдыхать все ниже и ниже. Стены от пара мокрые, выпуклые, и нечастым рядом ободранные двери. Далеко, в другом мире, голоса, шорох резиновых колес... Будто метроном, что-то неясное. Под ногами битый грязный кафель, и везде мигающие неровно неоновые трубки. Алуша остановилась.

— Это здесь, иди сюда, Ваня!

Была открыта одна дверь. В раме сырого бетона стоял большой, раздутый человек с очень красным лицом, одет он был в грязный медицинский халат, почему-то бросилось в глаза маленькое красное пятнышко в районе плеча. В вороте халата торчал галстук. Из-под залеplивающих глаза и лоб прямых седых волос он долго смотрел на Ивана. Он протянул руку и грудным низким голосом сказал:

— Виктор! Давай, заходи! Если полностью хочешь, то Виктор Дмитриевич Карапкин. Но полностью я не люблю, у нас просто.

В небольшой комнатке, узкой и круглой, имелся стол. На столе пустые бутылки. Среди поломанных сигарет, винтов и узлов из алюминиевых трубок, просыпанного желтого табака огрызки хлеба и сыра. В грудe изношенных ватников на маленькой банкетке разместились рядом, бок о бок, еще двое: крепкий низколобый парень в толстом свитере и неплохих джинсах и непонятного возраста человек, лицо его было похоже на размятое тесто, и оно дрожало. Он кутался сразу в две телогрейки и трясся.

Перешагнув порог, Иван Пауков как бы оказался вне времени. Несколько месяцев превратились в один долгий вечер, в один бесконечный разговор. Они проглотили и его тело, и его сознание. Здесь, в подвале под первым, самым нижним этажом клиники, обитали слесари-сантехники.

Виктор Дмитриевич жил здесь всегда. Где-то там, в городе была у него жена и, кажется, взрослые дети. В прошлом шофер первого класса, он водил тяжелые фуры в «загранку», но та, прошлая, жизнь его была как шаги над головой, как далекие голоса с первого этажа. Последние семь лет Карапкин не выходил из запоя.

Кроме Карапкина был Крепов Вася, он домой иногда ходил, кажется, к жене, и Валентин Дрябов. Дрябов работал в больнице по пяти чужим трудовым книжкам и трем справкам. Он был всегда в клинике, но редко, даже в свою смену, на рабочем месте.

Эвадзе обещал Паукову комнату, но этого обещания не сдержал, не устроил, и Иван тоже ночевал в подвале. Он старался уходить утром, возвращался поздно ночью, но его задерживали, заговаривали, придумывали работу. Он пил наравне со всеми, и скоро стало невозможно понять, где его смена. И был бесконечным подвальный вечер, нетрезвые разговоры соединялись в один тягучий, невеселый треп.

— Ты не смотри, что я здесь, — говорил негромко Карапкин. — Меня нет, понял, ты! Меня нет! — он налил и выпил. — Это мне штрафная за то, что подсчитал, полагается. — Дрябов не возражал, пережевывал жесткий черный хлеб. — То, что я здесь с тобой сижу, это я у тебя в гостях сижу!.. Я сейчас не работаю... Я не на работе, а на работе ты!.. — он ткнул Ивана пальцем в болящий от голода живот. — Вот ты сегодня и должен трудиться, верно я говорю, а?! Скажи, Василь Аркадьевич!

Дрябов откупоривал очередную бутылку, он любил откупоривать бутылки, а Крепов любил до страсти говорить спорные тосты. Ему доставляло удовольствие, когда тост переходил в спор, а еще лучше в открытое физическое безобразие.

Неожиданно для всех Крепов провозгласил, подтягивая к себе мутный стакан:

— За победу!

— За чью такую победу? — удивился искренне Карапкин.

— Ну, как за чью?! За нашу победу! Она у нас одна, кажется, и может быть!.. Никакой другой.

— А я думал, ты вообще за победу хочешь... Чтобы в конце хоть кто-нибудь окончательно победил, — Карапкин тщательно жевал слова. — А то, что выходит, — в свое огромное горло он опрокинул немного спиртного из стакана. — То мы немножко победили, то они немного победят, то еще кто-нибудь выиграет, — он икнул сивухой. — Полставки. А война, вона, пожалуйста!

— А ты, Ваня, как считаешь? — Крепов потянул Паукова за рукав. — Ведь нужно до победного конца, так? До победного конца, и точка в приказе. Только представить, если бы мы Гитлера до победного конца не доделали, что бы было?

Иван тяжело, опершись на обе руки, так что стол хрустнул под его возрастающим весом, встал, покачался на ватных ногах и, ни слова не ответив, вышел. Он был пьян и, еще окончательно не свыкнувшись с состоянием привычного опьянения, физическим действием и сразу прекращал всякое движение своей души, когда его переставал организовывать хоть во что-нибудь приемлемое разум. Он делал несколько слепых шагов и падал в кошмарный сон в соседней клетушке на продавленный диван.

— Нет, война — это процесс! — ехидно продолжал Крепов, к состоянию опьянения привычный и способный перепить здесь любого.

Дрябов бубнил:

— Война — это очень страшно и очень плохо, и не болтай, — он выплевывал на ладонь крошки, кидал их с ладони обратно в рот.

— Нет, война — это процесс, — настаивал Крепов. — Процесс не может быть плох или хорош... Процесс — это только процесс... Он как болезнь в организме! Кстати, куда спирт делся? У нас есть еще спирт?!

Уже отяжелевший разумом Карапкин не к месту вставил:

— Я пью все, кроме аптеки, — он пытался раскрутить пальцами проволоочный узел, удерживающий на стене холодную тонкую трубу.

Крепов наседавал:

— Мы пьем спиртосодержащие напитки за победу разума, мы разрушаем свой организм, и это неразумно, хотя вполне в духе военных действий!.. Выпить за победу, это вполне в духе военных действий...

— А Ванька спать пошел, на бочок, — засыпая, прошамкал Дрябов, но тотчас проснулся. — Такой умный, да?! Такой умный? Самый умный?! — зашипел он на незамечающего его Крепова.

— В организме болезнь — это процесс, и процесс этот ведет к смерти, а выходит: вторая воюющая сторона — это здоровье, скажем, нежелание смерти нашего конкретного естества... — Василий Аркадьевич продолжал пить, и голос его становился твердым и отстраненным. — Но и то и другое, и первое и второе, одинаково пагубно и одинаково естественно!..

— Бредишь ты, Васька!.. Потом забудешь все... Не дерешься, и то хлеб, — шептал Дрябов. — От слов, от них вреда мало, если в закрытом помещении друг дружке говорить...

— Ты и мертвый, и все равно будешь убивать: трупным ядом, пеплом,

озлобленной душой-единоличницей, оторвавшейся от родного тела. — голос Крепова мерк. — А ты и живой делаешь то же самое. смешаешь яды, испел тоже...

— Не надо, не надо говорить. — ощутив обиду. Дрябов взял пустую бутылку за горлышко, хотел сделать из нее «розочку», но удар по краю стола получился вялый и стекло только чуть разветвилось внутри трещинами. Миг он очумело смотрел в стену перед собой и сел на место.

— Ладно. — Крепов угасал, стакан скользил из его потной руки. — Выпьем за победу разума! — он цитировал что-то, давно ушедшее, истлевшее в памяти. — Разума, самого идеального убийцы из всех известных убийц.

— Рейган хуже. — встал Карапкин.

— Разум, идеальный убийца, извращенец... Разум умерщвляет жертву не из необходимости, а из разумности! — Напрягшись, Крепов заорал. — Разумность порождает идею, а идея порождает абсолютную смерть... — Он упал головой на стол, разбил стакан, разлил полбутылки «фанты» и мгновенно заснул.

— Слабак!

— Василь Аркадьич? Точно, слабак! Наливай, Витя, по полной.

— Слышь? — Карапкин попытался обернуться. — Вроде собака воеет, из вивария небось сбежал кобелек?.. Отловить бы надо!..

— Да нет... Это хозяйская, это Тюльпан у сторожа.

Виктор хорошо представил себе, увидел: ночь ясная, яркая, и мрак от полного безлуния. Собака рвалась напряженным в шерсти горлом из кольца ошейника, гремела на тяжелой цепи, кричала, охрипши, как человек.

Этого животного крика Виктор Дмитриевич Карапкин не смог спокойно вынести (очнувшись наяву, он как бы перешел из одного неясного сна в другой неясный сон).

В этом втором сне, разбуженном собачьим криком, логика предметов и явлений сделалась необычно иной.

— Ишь, надрывает горло! Как человек орет!.. — не открывая глаз, бормотал Дрябов. Он придавил тяжело лбом большой черный хлеб и спал. — Все ж таки из вивария сбежала... Испугался оперироваться кобелек, — продолжал он, обращаясь он уже к кому-то, Карапкину не видимому, какому-то своему, во сне собеседнику.

Заснул Дрябов моментально, но ему сразу показалось, что спит он уже давным-давно, много часов, а может быть, и суток...

Иван тоже спал за стеной. Он хватал ладонью мокрую стену и думал во сне, что это губы Алуши. Ему снилось: светлое утро, он положил свою руку на ее живой рот...

В узком и тихом подвале Карапкин перелез через шевелящееся во сне тело Дрябова, пихнул кулаком слабую дверь и полез в темноте сквозь остро пахнущий хлам.

«К Верочке, к ней... Вера моя, где ты, Вера!.. Надо кричать. Где ты, Вера?! А я даже не шепчу, я думаю громко... Душа моя перевернулась, Вера, от этого собачкина крика. Хочу сейчас в женское, живое... Влепиться хочу в брюхо твое головой, и больше ничего не надо!..»

Он двигался по чутью, наугад, подчиняя своей реальной боли нереальные пустые ноги, обутые в тяжелые мокрые туфли, приклеивающиеся к полу. Полы, липкие от разных лекарств, разлитых, растертых при ходьбе подошвами. Налетев на ярко освещенное место, Карапкин встал, прекратил свое дальнейшее передвижение.

Перед ним холодел железом в запекшейся собачьей крови операционный стол. Вокруг ремни, прогрызенные и оборванные. Приспособленные для человека, они с трудом удерживали животное, проснувшееся во время операции. Пол здесь блестел, залитый голубым потрескивающим неоновым светом. Тихо булькала перекошенная капельница с трещинами, вверх по колбе, сквозь желтый остаток жидкого лекарства живо взбегали маленькие шарики воздуха. С раскачивающейся сверкающей иглы мерно падали жирные капли на большой инвалидный ботинок спящего на столе человека. Саша Дергачев спал всегда чутко и очень крепко и во сне думал. Он шевелил во сне паль-

цами парализованной в детстве ноги и о них думал. Карапкин потряс Сашу за плечо:

— Из вивария, что ль, собачка сбежала?! Слышь, как воеет!— сам своему голосу не доверяя, на пробу спросил он.— Я так соображаю, пойти надо, отловить ее... А то перебудит всю клинику сердечную... Слышь, как мучается животное?!

— Ты это определяешь?— открывая глаза, но не меняя положения головы, спросил Дергачев.

— По голосу слышно!— вкрадчиво объяснил Карапкин, обретая интонацию.— Ты, что ли, сегодня резал?

— Резал,— отдирая голову от спекшейся крови операционного железа, соглашается Дергачев.— Только она все равно издохла... Удачно получилось, три часа жила... В прошлый раз и получаса на этой штуке не протянула... Он плюнул куда-то в сторону стеклянных высоких шкафов.— Эвадзе приходил... Георг Шалвович, пьянь!.. Процесс созерцал. «Гений,— говорит,— ты, Шурик!.. Хирург, золотые пальцы!..» Завтра человека зарежет, и тоже хорошо получится... Может, и полмесяца протянет... Сволота в костюмчике, галстучек с бриллиантом!.. Японцев они принимали, запонки березовые!..

Александр Александрович Дергачев после этих слов, разбредивших его, вскочил и побежал на улицу, отпихнув Карапкина.

«Там среди весны по шоссе едут машины на четырех колесах с фарами, хочу видеть!»

От бег по ступеням сводило и дергало каменную левую ногу. В ночи, во дворе собачий хирург остановился, послушал тишину. Собака умолкла, не баламутила больше ночные кошмары пьяных слесарей. Наверху, в башне, кольцо горели окна операционной и весь четвертый этаж.

По белым окнам хирургии ходили прозрачные синие тени.

Светился намытый кафель, и засыпал в сладких парах закиси азота очередной безнадежный великий подвиг во имя науки. Из человека вынимали сердце и вкладывали другое — чужое.

С полчаса Саша походил вдоль пустого шоссе, сто шагов туда, сто обратно. Остановился, выбил кулаком без размаха желтую жестянку, на которой было нарисовано расписание автобусов в час пик. На толстой ноге, вырастающей из пудового круга — основания, осталась железная черная рамка. Он отволлок, хромая, оскудевший указатель на середину шоссе и стал ждать.

Машина, урча мотором и обрызгивая фарами дальнего света ближайшие здания, последовательно извлекала из темноты: толстые стекла фанерной пельменной, узорный чугун изгороди, оббегающей по кругу корпуса клиники, голые черные ветки сада, маленький бревенчатый домик с заборчиком и огородом — последний оплот давно снесенной деревни.

«Ну, ты только не обижайся на меня, я же не нарочно буду тебя калечить!.. Я чисто случайно, просто так!.. Хотел кинуть, посмотреть, сколько пролетит, вроде молот... И попал?! Извини, неизвестный друг, частный автолюбитель!» — Дергачев взялся обеими руками за рамку и, раскрутив, швырнул указатель в набегавшие на него фары свинцовой подковой вперед...

Они сидели с шофером покалеченной машины под черными ветками соседней яблони и, пытаясь найти в небе несуществующую луну, пели.

Дергачев обещал лучший в мире автосервис, знанием узко специальных терминов доказывая свою состоятельность.

Имея страсть калечить ночные автомобили, он затем ласково отбирал монтировку или нож у взбешенного водителя, доказывал веско и определенно, что машина завтра уже будет на ходу, мол, и покрасят, и лачком покроют, заблестит покалеченный механизм, как новый.

Во всей больнице не было трех санитаров, что могли бы, собравшись вместе, справиться с одним калекой Дергачевым. Он знал свою силу и пользовался.

— Фару завтра поставлю, ты не беспокойся!— обнимая стянутые лайкой худые плечи водителя, ласково бубнил Саша.— Ни копеечки тебе стоять не будет! А будет лучше прежнего!.. Ведь главное что?! Мотор. Так сказать,

сердце машины. А мотор у тебя где? В отличие от некоторых идиотов мотор у тебя сзади и поэтому цел.

Бессшумно подкравшись, сторожевой пес Тюльпан лизнул Дергачева, сидящего на земле, в шею и задышал ему в ухо.

- Тюльпан, Тюльпанчик, зверюга!.. У ты мой умненький!.. Не будешь больше стонать на луну?! Не будешь? - Тюльпан тихо-тихо завыл. - Ведь ты сам посуди, и луны-то никакой нет!

Человек копался в своей покалеченной машине, не шел. Наконец вернулся под яблоню к милующемуся с псом Дергачеву.

- Нечего пить, — он звонко хлопнул себя по джинсовому, толстому колену. — Вдребадан! Один запах на сиденьях, и мех залил!

- А я вообще не пью. Люблю, когда народ рядом выпивает, понимаешь?!

- Не очень-то.

- А ты выпьешь? — Дергачев приподнялся, опираясь на послушно напрягшуюся под его рукой собаку. — Выпьешь ты? — голос его резко изменился.

- Я? Нет, нет, я же за рулем... Не хочется пить. Ночью пить одному — дрянное дело, ведь ясно же!..

- А ты не один выпей, пошли! — и Дергачев повел его в подвал, приказав увязавшемуся Тюльпану отправляться баиньки, на бочок. — Хорошие собачки ночью спать должны!

Подвал, бесконечная сеть темных коридоров, располагался под всеми корпусами, под парком. Он связывал все службы под землей, пересекаясь и петляя огромным непознанным лабиринтом. Он заходил в ярко освещенные тупики, прерывался непонятного назначения железными дверями или вдруг одним, вполне изученным коридором переходил в другую.

Александр Александрович Дергачев, несмотря на свои двадцать два, работал в клинике уже десятый год и мог с завязанными глазами в любом направлении пройти этот горячий шумящий лабиринт.

В клетушке слесарей сидел один Дрябов, он не спал. Он смотрел на появившихся людей, упорно смахивая несуществующую слезу.

- Выпить нету! Совершенно все, — сообщил он, смаргивая. — Скушали!

Водитель погрузился, разглядывая свои измазанные где-то по дороге мелом джинсы, он, вероятно, уже соображал, что выбираться отсюда придется одному. Стараясь, чтобы вопрос прозвучал по-мужски, по-свойски, с ехидцей спросил:

- А дежурные медсестрички у вас тут водятся? Так сказать, мужички... — Он аж подпрыгнул, обрадовавшись своей мысли. — Если кончилось вино, пусть будет женское лицо!

- Покойницу хочешь? — поинтересовался Дрябов. — Тут, — он ткнул пальцем в стену. — Тут рядом. Чудесная женщина, тепленькая, только что из оперблока спустились, и это... уже голая.

Автомобиль затошнило, он ощутил свою лайковую куртку, по которой Дергачев все проводил и проводил в задумчивости рукой, как обнаженную кожу.

- Никакой возни, — продолжал пугать Дрябов. — Ну совершенно, ни тебе пуговиц, ни резинок... Уговаривать тоже не надо... Простынку только снимешь...

«Ишь какой красивый, — одновременно с речью продумывал Дрябов. — Медсестричку ему! Скот какой, «женское лицо»!..»

Пауков за стеной вдруг понял во сне, что спит. Он сел в темноте на завывающем пружинами диване, встал, потянулся, проглотил сухие слюни. Хотел по сложившейся привычке вернуться к столу пить, но опустился назад в теплое рваное одеяло, посидел минуту, ничего не видя, лег и уснул.

Спирта оказалось две двухсотграммовые бутылочки.

«Детские рожки. Куда соски дел?» — подумал Саша.

Карапкин вынул сначала одну бутылочку, поставил на стол, потом другую. Водитель болезненно поморщился, потер ладони.

- Ты что, руки вымыть хочешь? спросил Карапкин.

Очень скоро Дергачев унес подергивающегося всем безжизненным телом шопера спать то ли к себе в собачью операционную, то ли к нему в разбитую машину с целым мотором.

— Спиртиком-то Вера... Вера моя попотчевала!.. Не женщина — бриллиант, золотые зубки, люблю ее!..

— Бабы — зло людей! — оскалился Дрябов. — Ну их!

— Ты не понимаешь! Немножко женщины, немножко денежек... — Карапкин пил, не разбавляя, этиловый спирт и, как ему чудилось, методично трезвел.

«Деньги, — подумал Дрябов. — Какая гадость! Они же еще хуже женщин!»

— Мне не нужны деньги твои!

— А я тебе что, денег разве дать обещал? — удивился Виктор.

— А мне и свой, и свои тогда не нужны! Вот, хочешь, завтра, — он подумал, пошевелил кожей на лбу. — Завтра получу зарплату и все проклятые бумажки изничтожу на клочки!.. — Он сделал пальцами обеих рук несколько движений. — На кусочки, на клочки!.. Стереть эквивалент труда с лица земли!.. Стереть бумажное воплощение!.. Эквивалента не будет, а труд останется!..

Труд Дрябов представлял себе сейчас в виде физического напряжения, которое он испытал, устанавливая на прошлой неделе вместо пропитого сверкающе-голубого унитаза реставрированный желто-коричневый.

— Я сегодня денег не люблю!.. Могу не есть, — он загибал пальцы. — Но выпить найду!.. За квартиру заплатил уже, алименты в получку!.. И все, и вся любовь!.. — худые безволосые пальцы Дрябова кончились, сгруппировались в длинный белый кулак. — Завтра все, что получу, уничтожу! — пообещал он.

— Любовь, — задумчиво простонал Карапкин. — Любовь, Вера моя!

Он опять рвался сквозь темноту, ломая ногти на ногах, цепляя мягкими передками ботинок вывернутый кафель, хватаясь за стены.

«Гадина я какая, мразь! Шел ведь к ней с чем? Себя нес, а пришел — спирту обрадовался!.. Спирт выпил, а тепло ее... тепло?! Тепло у нее мое осталось!.. Мое недополученное...»

3

глава

Подрагивал, шумел, как живой, старенький шелковый флаг. Разметалась прозрачная гибкая тень по светлому сухому асфальту.

«А ведь неделю назад зима была, черный снег лежал! — Дрябов поскреб подошву об острую решетку у двери. — Надо рвать!.. Где расписался, там и получил! — мучительно решал он. — Если бы с ходу соврал, решил не делать... А сказал, что сделаю, тогда не так, тогда иначе... Теперь так абсолютно можно, истребить эквивалент! Честно перед собой стоять до конца!.. Перед народом необязательно, перед другими и одного вида хватит, а перед собой до конца!»

Мир вокруг в своей неподвижности слегка частил, раздваивался холодком. Легкая весенняя дрожь проникала внутрь под теплый и единственный пиджак, любимый, подбитый кожей на рукавах. Заплатки Дрябов ощущал круглыми своими локтями иногда до счастья.

Голова Валентина Дрябова немного ходила внутри, в нее двигался неподвижный больничный парк. В парк въезжал бревенчатый дом сторожа — домик из сказочки... про Ваньку-дурачка!.. Сквозь вибрацию проворачивалась и проворачивалась в голове одна и та же, теперь уже пустая, изжевавшаяся в буквенный фарш, кровоточащая мягкая мысль:

«Где расписался, там и получил. — Каждая буква выдавливалась как сквозь сито. Кусочки орнамента повторялись. — Где заработал, там и получи!..»

Он разомкнул руки, стараясь не думать больше ни одного слова, состоящего из букв. Вернулся назад к чувству правильного действия.

Он взял аккуратно сложенные бумажки и тихо, безвольным движением разорвал. Помедлил, порвал еще раз. Выбросил изо рта на ладонь комок

липкой, долго копившейся слюны и в ней, как в клею, скатал из дензнаков розовый шарик.

Медлительный и небольшой розовый шарик — эквивалент, поплыл по воздуху. И через минуту неощутимо приземлился в рыхлую топь прошлогоднего газона, мягко лег в коричневую мертвую гниль травы.

В коричневую мертвую гниль въехал неожиданный лакированный сапог. Усатый до улыбки милиционер, переполненный счастьем дня, наклонился, протягивал руку, другой рукой подправляя фуражку.

— И откуда ты свалился, фрукт в сапогах? — неуверенно, но все же вслух пробормотал Дрябов. — Скот новорожденный!

То ли Дрябову чудилось, то ли милиционер заикался, но буква «р» у него выходила звонкая и двойная:

— Гражданин, вы задержаны! — сообщил он, неся в пальцах розовый комочек-эквивалент. — Прошу пройти!

— У меня ноги больные, не могу ходить, — сообщил Дрябов, тщательно продумывая обман. — Жду, пока такси заказное подъедет. Вообще я не понимаю, в чем дело, стою трезвый! Вроде ничего, так все тихо... Вас, как подошли, не заметил... Вы подкрались, что ли?

— Вы, гражданин, государственные дензнаки разорвали на моих глазах, а это карается...

— Как так карается?! Они мои законные, — потихонечку зверея, пошел на обидчика грудью Дрябов. Ноги его стояли на месте, а все тело как бы поехало вперед, наседая и пугая. — Я их что, сжег?! Десятки эти ваши!.. — Дрябову смутно припомнились чужие какие-то события. — Я их собирался подобрать и отнести в банк!

Милиционер отступал:

— Ничего, ничего, ладненько! — заговорил он быстро, теряя букву «р». — Где здесь телефон?!

Мелькали черные, белые световые полосы на железе, лифт небыстро плыл к четвертому этажу. Дрябов опять думал словами, но ничего придумать не мог.

«Деньги мои! Заработанные мои деньги, — ложился теперь бесцветный черно-белый знаковый орнамент. — Я имею право на свою зарплату!.. В них труд вложен, я что хочешь с ними могу сделать!»

«Нельзя сжигать?! Если номер цел?.. Правильно, главное, номер цел! Я их только покромсал и плюнул. Кажется, за издевательство над людьми статья есть, а за издевательство над деньгами?..» — но вспомнить, вытащить из памяти не удалось. Вместо ответа на вопрос полезли заштампованные чужие обороты: «Деньги — двигатель прогресса», «реклама — двигатель торговли»...

Подчиняясь его, Дрябова, внутреннему желанию, милиционер шел за ним туда, в отдел, где пять минут назад были получены проклятые червонцы.

Выпирала из лакированных полуоткрытых дверей, галдела очередь. Галина Петровна рисовала в ведомости красные галочки, пересыпала прямоугольные бумажки из кучки в кучку, не пропуская наслонявленным пальчиком ни одной купюры. Она приятно для себя шевелила под столом голыми живыми ногами, левой ногой раскачивала мягкую красную туфлю (туфля медленно сминалась на боку, сбитым каблучком в сторону). Из квадратного, белой рифленой пластмассы громкоговорителя гремели потоком знакомые марши.

— Радость моя, как же я тебя люблю и как же я по тебе соскучился!.. — пробившись сквозь толпу-очередь, весело кричал Виктор Карапкин. — Отдай мне мои законные! Отсчитай, родной мой человек, а то поцелую!.. — Он протиснулся между подоконником с умирающим фикусом и острым краем стола, подобрался к Галине сзади, так что леденцовая радуга, солнечный зайчик оказался на его затылке. Он навалился, ухватил своего кассира деревянной ладонью за халат, за мякоть, отвердевшую в пластмассовой чашке бюстгалтера.

— Ой, да отвяжись! — отбивалась локтями Галина. — Иди в очередь, такой же ведь, как все, человек!..

Карапкин тяжело насадал на нее, забиваясь щетиной в губы.

— Сердце-то, оно круглое, Галочка, как мячик!..

Милиционер пробивался, шел сквозь толпу к телефону.

— Прошу пропустить, граждане!— он говорил сухо и громко, увядая от такого количества людей.— Разрешите!

Коротко брякнул телефон, брякнул еще раз. Через голову Галины Петровны Карапкин снял трубку. Минуту он слушал, потом изменившимся голосом, так что очередь застыла, спросил:

— Кислородчики здесь есть кто-нибудь?

Дрябов, работающий по совместительству и кислородчиком, закивал и попятился к двери.

— Есть, а как же, обязательно, все здесь,— он отступал, увлекая за собой Паукова. «Не могу, понимаешь, работа!» — думал он, теряя из виду милицескую фуражку.

— Засор системы. Эвадзе сердечко-то уже вынул, а наркоз не поступает.— Карапкин смотрел сначала в пушистый Галинин затылок, потом, так же не видя, в глаза милиционеру.— Он же проснуться может на столе.— Виктор Дмитриевич погрузился всем своим существом.— Но как же он проснется, если у него сердца в груди нет?!

Иван Пауков бежал за Дрябовым по белому коридору, ноги его колотили в линолеум, сердце рвалось о ребра. Дрябов на ходу выдавал информацию:

— Деньги твои куда от тебя не убегут!.. Вечером получишь, завтра с депонента снимешь!.. — Мелькали, мелькали белые двери, как будто не ноги людей несли, а машина.— А я тебе обещаю, ставка твоя, по совместительству! Ну, может, полставки...

Под ногами оказалась красная черта. Красная черта пересекала кафельный сверкающий пол. Светилась, не мигая, стеклянная надпись: «оперблок».

— Сюда, сюда же, ну скорее!.. Там ничего делать особенно не надо!.. Просто поможешь мне систему немного почистить!.. — Дрябов прямо на пиджак натягивал белый балахон, а на ботинки белые большие чехлы.— Бахилы! Обязательно бахилы надень!..

«Любопытно, существует ли ситуация, обязующая мое полное, безраздельное участие?— медленно продумывал Иван, завязывая длинными шнурками чехлы-бахилы.— Наверняка слияние возможно, как в учебнике, синтез!»

Мельком увидел Иван отгороженную от тела, как бы отрезанную туго натянутым крахмалом, спящую голову больного.

Развернутая алая грудь под пылающей стоголазой лампой, яркой средь бела дня, как фары машины, в груди ковырялись резиновые гибкие пальцы.

Дрябов толчком заставил Ивана сесть на пол. Из отверстия в кафеле выходили медные трубки, немного выше были краны. Упругие шланги тянулись к маске, проникая в ноздри и рот «отрезанной» головы.

Дрябов очень быстро вертел мелкие разноцветные краны, чистил трубки. Болтались на белизне, извивались пустые шланги без газа.

Роль Ивана сводилась к подаче инструментов. Инструменты лежали в чемодане-дипломате, стоявшем рядом, на полу. Шнурки, шайбы, мелкие гаечные ключи...

— Не тот,— шипел Дрябов,— другой номер!

Рядом с чемоданом, закутанные в бахилы, крепко стояли ноги Эвадзе, чуть дальше, немного левее, ноги операционной сестры.

— Нет, так совсем ничего не получится, другой давай!— Дрябов отодвинул какую-то тележку и заставил Ивана присесть прямо на ее место.— А теперь вот так попробуем!— по-деловому все повторял и повторял он.

— Тампон, еще тампон!— звучал напряженный голос Эвадзе где-то над головой, в пределе чудовища-ламп.— Пинцет!

— Я так больше не могу!— отвечал в ответ тихий голос операционной сестры.

На металлическом операционном столе была двенадцатилетняя девочка без сердца.

«Наркоз, ерунда!— думал главврач.— Допустим, сделают? Какие здесь еще ходы?— он смотрел в развернутое, сцепленное в нужных позициях зажимами тело на распорках.— Нужно принять решение, а его нет, вопрос технологический, или уже нельзя решить, эндшпиль или уже мат?»

Он взглянул на смешной голубой бантик в тщательно причесанных волосах маленькой женщины, и ему хотелось швырнуть скальпель о сверкающий пол так, чтобы он сломался.

«Мне нужно?» Что мне сейчас нужно? Мне нужно то, чего у меня нет! Почему же нет, кое-что необходимое есть, нужно открыть сейф и только. Это эндшпиль. Препараты эти все равно ценному товарищу больше не нужны! Так же, как и телефон в его палате, телевизор. Эвадзе отдыхал на внутреннем бессмысленном перечислении. — Хотя телефон нужен до упора. Телефон да, препараты нет! Скандал? Да. Плюнем!.. Неприятности? Да. Зато девочку спасем, сю и отобьемся!»

Губы Эвадзе сжимались все сильнее и сильнее, наконец он приказал, сознательно нарушая закон:

Быстро, Полина Дмитриевна, все, что нужно, милочка! Вы меня понимаете, вы же умница! Чтобы все было здесь через пять минут! — в голосе Главного неожиданный сильный акцент. — Через три минуты! Я отвечаю.

Пауков не видит Эвадзе, но чувствует напряжение, что-то происходит, перелом, кульминация? Он чувствует величие момента спасения человеческой жизни и одновременно понимает всю свою непричастность к этому величию.

«Потом, когда-нибудь!» — думает он.

Отодвинутая Дрябовым тележка сама медленно покатилась. Сквозь стеклянное ее дно просвечивает что-то окровавленное, кажется, ткани, марля, тампоны.

Иван лежит на полу, затылок на кафеле, только в этом положении можно удержать нужный рычаг. Он смотрит сквозь дно тележки и вдруг видит, что потолка у операционной нет или он где-то высоко, вне его зрения. Он видит, что сверху, как с галерки в театре, смотрит много молодых медицинских лиц.

Послушный Дрябов, Иван садится, отпускает рычаг, протягивает нужные плоскогубцы, весть выгибается, прикручивая указанный вентиль, и чувствует, что на спину его опускается что-то мягкое, уже мертвое, но еще теплое, оно пропитывает своей кровью балахон, рубашку, майку, достигая самого его тела.

— Газ есть! — громко хрипит Дрябов. — Пошла закись!

Закричали десятки шепотков. Лица на галерке увеличились, пытаясь рассмотреть невероятное происходящее получше, наверное, кто-то из них отождествлял себя будущего с нынешним Эвадзе.

В оперблок, во вторую операционную, в дыхание чистоты и лекарств, в сосредоточенный свет, в котором, как в обмороке, двигались белые люди, чеканя шаг, ворвалось то, чего здесь просто не могло быть. Красную черту перешли высокие черные сапоги, вошел милиционер с застенчивыми глазами.

Ни пылинки на форменном костюме, ни соринки на черно-блестящих в свете фары-мучительницы узких сапожках, широкая золотая черта на погонах, усаемое молодое лицо.

Дрябов стоял на коленях, осторожно выводил, выкручивая отвердевшими от холодного газа пальцами очередной кран.

Задрожала утрированная буква «р»:

— Гражданин, вы задержаны!

Дрябов с улыбкой выполненного долга поднял отекавшее от напряжения лицо, всмотрелся в обидчика.

«А настырный он. — подумал умиротворенно Дрябов. — Хрен чего ему объяснишь! Видишь, как сапоги к полу подошвами прилепились! Хорошо, сразу не схватил, в кассе! Он, конечно, не нарочно, но все равно молодец, что замешкался! Не буду больше от него бегать, буду за ним послушный ходити!»

Впервые за четыре часа тяжелой, отнимающей все внимание операции, почувствовав неладное за пределами работы, за спиной, Георг Шалвович Эвадзе снял свой взгляд с раскрытого тела, перевел его на стриженный лоб милиционера, но ничего не сказал, потому что не увидел его. Он просто не мог увидеть человека без бахил, халата и шапочки во время операции, такой человек — темное пятно на кафельном фоне — не существовал для него.

Операционная сестра вдруг сообразила, что пациенты Главного чаще умирают, чем выживают. Сосредоточившись на своем столике, на сверкании инструментов, она вспомнила будущий вечер в теплом кафе: «Я надену зеле-

ную юбку, он любит зеленую... Надсну коричневый плащ и чешские сапоги...» — она от души порадовалась предстоящему бездумному отдыху.

Трос в белых халатах тащили милиционера к распахнутым стеклянным дверям. Он немного упирался, как зачарованный, глядя прямо перед собой, переставал что-либо соображать. В последний момент кто-то вывернул ему руку, милиционер ощутил боль, что-то понял и как ужаленный сам выбросился в коридор.

«Что происходит? Почему так долго? — думал главврач. — Почему не принесли еще препараты?»

Сверканье, белизна углов, ткани, окна в солнце, невыносимая лампа, плывущий в никуда голубой бант.

Острый, как скальпель, блестящий взгляд Главного замер на открытом сердце.

Дрябов тяжело шел по коридору. От усталости соображал он очень медленно. Он хотел выпить хотя бы пива, но ощущал себя заключенным и пытался за чувством выполненного долга от своего желания скрыться.

— Жди здесь! — бросил милиционер и, поправив фуражку, исчез в суете административного корпуса. Дрябов примостился на низенькой новенькой банкетке под дверью отдела кадров и стал ждать. «Почему же он мне так абсолютно сразу поверил? Сказал: «жди», а сам и убежал? А если я скроюсь? Пива пойду попить... Или совсем скроюсь?! Нет, нельзя, он поверил, потому что я сам себе верным быть внутри обещал!...»

В «кадрах» шелестела бумага, говорил длинными гудками телефон, била электрическая печатная машинка. Неопытные пальцы чуть касались черных ее клавишей, подолгу задерживаясь после каждого касания. Возникало на листе буква за буквой слово: «Приказ».

— Чего сидишь, дурыя башка?! Убегать надо! Или он у тебя уже паспорт взял? — Карапкин, раскрасневшийся и веселый, комкал в кулаке только что полученную зарплату. — Нажмем на жижу! Пивка попьем? Пойдем, Валя, я же вижу, ты пива хочешь!

— Хочу, но не буду, — твердо сказал Дрябов. — Иди, я, наверное, приду, когда меня отпустят.

Железная буква за дверью упала на лист, вдавилась силой электрического мотора машинки и отпечаталась точка.

4

глава

Худенький парнишка, присевший рядом на банкетку, кого-то Дрябову неожиданно напомнил, потревожил. И вдруг тут же оказался совершенно незнакомым, чужим человеком.

Дрябов изучал его от собственной невозможности двигаться, парень же внимания на Дрябова не обращал. Он с удовольствием сосредоточился на подпирающей стенку девице: остролицая, в белом, глухом на горлышке, коротком платьице, девочка нервничала, теребила в руках носовой платок.

«На работу люди впервые устраиваются. — развлекал себя Дрябов мыслью, ожидание милиции в нем делалось бесконечным. — И не знают люди, что такое она, эта работа! Ни про труд не знают, ни про эквивалент, жуткое дело!»

Мысль Дрябова прервалась, потому что он увидел: из скоростного лифта выходит Георг Шалвович Эвадзе, идет, увеличиваясь, из яркой глубины коридора.

«Всё удачно, жива покамест девица-то!» — определил Валентин Дрябов по сиянию Главного. — Состоявшийся факт, хирургическое чудо!»

В костюме, при галстуке, в крахмальных манжетах березовые запонки... Живые нервные пальцы хирурга отдыхают. Только маленькая, засохшая уже капелка крови сбоку, на лакированном ботинке.

Главврач с удовольствием шел по коридору, шел весело и открыто, волосы его блестели. Несколько минут назад он сорвал с головы белую

шапочку, пропитанную насквозь потом, чуть отжал и бросил на пол операционной. Эвадзе нравилось, что все смотрят на него, на победителя, он не чувствовал усталости. На него действительно смотрели, завидовали, и многие боялись до восторга. Георг Шалвович решал задачу: кого обласкать, кто достоин его руки.

Мгновенно вычленив из подобострастной суеты подростка, сидящего на низкой банкетке, Эвадзе удивленно воскликнул:

— Витенька, мальчик мой, как папа?! Но это потом, позже, пойдем, пойдем, мой дорогой, ко мне в кабинет! Сюда ты всегда успеешь!..

Дрябов увидел улыбку Главного, за дверью в «кадры» долбила машинка.

Утонув в кожаном огромном кресле за тремя лакированными дверями, подросток следил за возникающими из бара коньяком и рюмочками, за их перемещениями на столе. Он чувствовал себя не очень уютно.

Эвадзе плеснул в хрусталь коньяка.

— Ну, как проживаем всем семейством? Я думаю, тебе уже можно? Чисто по-французски, тринадцать грамм! Ты ведь у нас уже большой мальчик! Сколько лет?

— Восемнадцать, я насчет работы, Георг Шалвович. Папа в порядке, что с ним делается?!

— Хорошо, я понял, но сперва тринадцать грамм, за тебя!

Они выпили. Витеньке обожгло рот и гортань, он с трудом скрыл перемену в своем дыхании. Эвадзе убрал бутылку и рюмочки в шкаф, за полированную дверцу.

— Ну так кем мы хотим быть? — главврач разместился за своим столом.

— Как говорится, «все работы хороши, выбирай на вкус»!

«А у нас в квартире газ, — подумал Витенька. — А у вас?»

— Хочешь?.. Ну, я не знаю. Ну, своим заместителем я тебя назначить пока не могу...

«А не худо было бы!» — подумал Витенька.

— ...А могу я тебя... — Эвадзе забарабанил пальцами по крышке селектора. — Что, собственно, я могу тебе предложить? Хочешь санитаром? — пальцы остановились. — Нет, санитаром ты, понятно, не хочешь. Лаборантом?

Витенька снизу вверх задумчиво посмотрел на грузина, но головой все же не покачал.

— Значит, тогда поработаешь в техническом отделе! Кислородчиком, техник газообеспечения, это неплохо звучит. Оформим тебе две ставки, хочешь, можно три.

Демонстративно подтягивая ногу, вошел Дергачев, вошел без стука, подтолкнул впереди себя девочку в белом платье.

— Вот ее, Георг Шалвович, на работу не берут, — нависая над столом и опуская на дубовую крышку свои тяжелые руки, продавливая ее, сказал Дергачев. — Потому что нет восемнадцати, хотелось бы уладить!

— Саша, Саша!.. Иди, води ее в «кадры», я позвоню, они сделают, как ты хочешь! — Эвадзе весело смотрел на Дергачева. — Надеюсь, это весь твой вопрос?

— Нет, — Дергачев снял руки со стола. — Но я вижу, вы тут заняты!

Он повернулся, вытолкнул ни слова не сказавшую свою протезу и закрыл снаружи не скрипнувшую дверь. Саша был отчего-то зол, но в злости этой отчета сейчас, днем, отдавать себе не хотел.

— Ну, Дергач, ну, миленький, ну что ты наделал?! — еле успевая на своих длинных детских ножках за криво, но очень быстродвигающимся по коридору Дергачевым, ласково говорила девушка. — Ну зачем ты так с живым человеком?! Он же Главный, ты же сам говорил, что всем ему обязан!..

— Да, обязан, обязан! — Дергачев стукнул в пол своей полуногой.

Саша вспомнил ночного шофера, даже не всего его, а сколько весило тело в джинсах и дорогой тонкой коже. Он пытался сообразить, куда в конце концов дел это тело, где положил, но не смог. Воспоминание обрывалось на каком-то неуловимом моменте, и, что было заключено между двумя сонными действиями, вполне сохранными в памяти, восстановить не удавалось.

Из отдела кадров Аннушка выскочила счастливая, подпрыгивая на одной ножке, как школьница после экзамена.

— Оформили, оформили! — напевала она, опять следуя за Дергачевым. — Спросили, с когда, а я говорю, с сейчас! — она задыхнулась от быстрого шага. — И мне поставили сегодня первый рабочий день, а что не с утра, не считается!..

— Кем оформили-то? — как мог бережнее, поинтересовался Дергачев.

— Санитаркой, санитаркой! Так что можешь, если хочешь, отвести меня сам в третью хирургию, присмный покой. Если у тебя, конечно, время есть. А то лень искать!.. Правда, Дергач, проводи меня, ну честное-честное слово, лень!

Дрябов посмотрел им вслед, он улыбнулся. Он забыл про свое маленькое несчастье и вдруг увидел: на том месте, где только что скакала девочка в белом платье, шел Пауков. И тут же Дрябов переменялся, вернулся к своему первоначальному, ноющему беспокойству. Пауков двигался по коридору, не глядя, устало. Плечевые кости его как бы искривились, и создавалось впечатление, что удлинненные руки Ивана достигают пола, волочатся пальцами по ковровой дорожке, забирая под ногти красный ворс.

Аннушка шагнула к первой двери налево и открыла ее рывком на себя. Желтая старуха, кости выпирали во всех местах, где только возможно, совершенно лысая, была неподвижна, только подрагивала щека. Старуха сидела в ванне и смотрела на яркую от наружного солнца занавесь, запахивающую нижнюю часть окна. Красной мочалкой санитар медленно тер ее спину, старуха мычала. Лежала на краю ванны ее недвижная рука в коконе грязного бинта, торчали из растянутой марли старые-старые пальцы, они были как что-то отдельное, уже ампутированное от всего остального старухино тело, но и рука была живой.

— Вот и отлично, подмога к нам! — восхитился санитар. — Вы ведь Анечка, я правильно догадался?

Бессознательно Аннушка сделала шаг назад и тут же сознательно резкий шаг вперед с линолеума на кафель.

Аннушка обмывала одного за другим больных, одевала их в чистые рваненькие пижамы, усаживала или укладывала на каталки и, заполнив аккуратным почерком все нужные документы, везла каталки по бесконечным больничным коридорам в нужное отделение.

Случилось все так быстро, что возможное отвращение удалось преодолеть ей за полчаса. Вытирая вафельным полотенцем голову четвертого пациента, Аннушка, счастливая возникшей усталостью и тем, что она такая крепкая, пела внутри себя, насвистывала любимую мелодию.

— Ну как, ничего? Или устала? — санитар был милостив. — Иди отдохни, а я поработаю.

«Хорошая какая деваха. — думал санитар, раздевая молодую женщину с травмой черепа. — Жалко ее, дуру!»

Наполняя комнату отдыха мокрым горячим паром, кипел на электроплитке чайник, шумел, фыркал, легко покачивалась занавеска, разделявшая стол и диванчик. Медленно багровея, падало за окном солнце, втягивалось за двойную белую раму подоконника. Оно лежало от ножек стола широкой тепловой полосой до самой закрытой двери... Большое круглое лицо, пунцовый рот покачивался перед уставшими неожиданно глазами. Второй санитар что-то говорил и говорил, и Аннушка слышала только его низкий, сладкий голос. Одна из его фраз выпала и встала, как неожиданность. До этой минуты девушка механически отвечала на все вопросы, а тут подумала:

«Неужели и так бывает? — подумала спокойно, чувствуя в самой глубине усталого тела легонькое, колкое отвращение. — Неужели бывает?!»

Пунцовый рот точно так же, как спрашивал о чем-то другом, естественном, спросил:

— Ну так что, Анечка, будем чай пить или займемся телом?

— Прямо сейчас?! — она поставила быстрое ударение. — Так?! — захотелось смять сырое тесто лица, перелепить как было, как нало — Зачем это?!

Она смотрела, как плывут легкие его слова, как уходит солнце за белую черту рамы, угасает где-то далеко на заднем плане.

Она знала, что сидят тут же, в комнате, в полуметре, отстраненно переговариваясь, шуточные, чистые сестры.

«Сестры, Господи, сестры — какое слово! Сестра, сестры, много сестер... Они — мои сестры! — усталость делала свое дело. — И эта рожа спрашивает у них, у моих сестер, задает им свой кошмарный вопрос?!»

Издалека Аннушка смотрит на сестер, уже видит их, начинает оценивать и вдруг понимает, что оценивает не то. Дорогой прозрачный халатик, проступает сквозь него напекший черный узорчатый шелк, скрывающий крупноватое тело. У другой сестры, измятой, быстро стареющей в нарастающем электрическом свете, обсосанные губы, и не определить, бесцветные они или мокро-яркие. Сестры едят бутерброды, сдоба с нежнейшим балыком, и говорят, говорят пустое, звучат их голоса:

— Ну, Галка меня совсем удивляет! Главный ее, дуру, спрашивает: «Почему вы ушли с работы?» Чувствуешь, на «вы». — Голос пытается изобразить другой голос, такой же, но не понимает этого и изобразить не получается. — «Вы понимаете, у меня мама, мне позвонили, мне сказали, я не могла...» — голос возвращается к себе. — Простая, как три копейки!..

Аннушка присматривается, напрягает глаза. В руке сестры трехкопеечная начищенная монета.

— Три копейки сорок первого года! Всю войну монетка прошла и после, между прочим, тоже, соображаешь?!

Монетка упала в кармашек халата, закатилась за черную острую грудь сестры, прилепилась ниже соска, как медалька.

— Не бери в голову, мне так просто... Показалось!

— Чего не бери?! Чего показалось?! — голос вдруг надрывный. — Ты что, совсем, что ли?! — голос сорвался, упал. — Дура!

Аннушка посмотрела еще раз вокруг и поняла: санитар, откинувшись на стуле, как в кресле, естественный и толстый, все тем же голосом читал стихи, подвывая, пуская слюну и дергая кадыком.

«Читает? — Аннушка почувствовала, но не отвращение, это был ужас. — Стихи читает?! — Подумала жестко и раздельно. — Он читает стихи».

— Я подумала, чай пить будем, — сказала Аннушка.

— Тоже хорошо! Чай тоже хорошо, — он достал из высокого стеклянного шкафа чистые стаканы и наливал в них густую заварку — из разогретого фарфора. — Следует усвоить, — он говорил. — «Смерть не делает разницы между ночью и днем!»

— А это что, тоже стихи собственного производства?

— В этом нет поэзии, она не делает, и мы не должны! Задано школой!

«Мы так не будем, мы так не хотим. — У больного, маленького старика с твердым телом, все чесалось. — Мы выдержим, а иначе что мы стоим! — Работала Аннушка быстро и, как ей казалось, с улыбкой. — Здесь родилась, здесь и жить нужно, только получше узнать про законы!.. — Она с такой силой драла мочалкой спину своей ровесницы, кашляющей в воду, что та, зажимая мокрой ладонью рот, перестала кашлять и посмотрела из глубины ванны на странную сестру-садистку почти с упреком. — «Так-то, Анечка, не нравится — терпи, не терпится, постарайся, чтобы понравилось!..»

Возвращаясь в комнату отдыха, она три раза по системе йогов вдохнула и выдохнула мокрый воздух. В комнате находилась только одна сестра. Санитара и второй сестры видно не было, только ритмично колыхалась занавесочка, прикрывающая диван, предназначенный для краткого двухчасового отдыха, и валялись под белой чертой отсутствующего подоконника смятые туфли. Прозрачный халат лежал на стуле, сквозь него отчетливо проступала красная обивка. Сестра отлеживалась теплый чай и улыбалась, она грызла сахар. Вошел и сел, налил себе чаю долговязый усталый санитар. Как Аннушка уже поняла, он работал здесь практически один за всех.

— Не бери в голову... — сказала сестра, улыбаясь и протягивая Аннушке стакан. — На жизнь нужно смотреть попроще. — Аннушка сунула себе в рот кусок сахара и с хрустом сломала его зубами

Слышали, девчата! — долговязый санитар покосился на занавесь. — А Эвадзе-то, говорят, в министерство переводят!

— Туда ему и дорога! — послышался голос с дивана.

— Вот и я думаю, — продолжал санитар. — Как он Дергача с собой потащит, в качестве чего?!

— А зачем ему Саша?! — спросила Аннушка.

— Ну, ты прям совсем! — удивился санитар. — Он же все его операции делает на собачках. Эвадзе приходит в собачью «хирургию», смотрит и учится... Фактически копирует. Дергач разрабатывает, а он премии гребет!

— Разрабатывают вообще-то на кафедре, — поправили с дивана, — там целый коллектив!

— Я не это хотел сказать. — Аннушка чувствовала его уставшим и безразличным. — Ведь он ему даже в мед поступить не дал! В лаборантах держит для собственного удобства!

— Скорее уж для безопасности, — занавеска дернулась, и из-за нее перестали отвечать.

Открылась медленно дверь, как бы задетая словом. Она распахивалась все сильнее и сильнее. Аннушка смотрела в косо изменяющийся угол проема и уже ждала, что за дверью найдется что-то в мире самое главное, спасение! Но дверь открылась и за ней оказался просто незнакомый еще один человек. Санитар искренне обрадовался:

— Привет, Василий Аркадьевич! Присаживайся к столу!

Крепов не вошел и не присел на подвинутый стул. Стул только напрасно царапнул железными ножками мягкий ковровый линолеум. Слесарь оперся обеими руками о верхний косяк, оставаясь снаружи, но проникая одновременно, наваливаясь и внутрь помещения.

— Я, ребята, вот что хочу попросить, — официальным голосом сказал он. — Я сегодня жену сюда привезу на четвертый этаж, вы уж с ней, ладно, поласковее!

«Он, наверное, очень любит ее, — провожая Крепова глазами, подумала Аннушка. — Он просто обязан любить ее, если она так больна!»

5

глава

Крепов спускался в подвал. Казалось, только одно горизонтальное перекрытие отделяет подвал от первого этажа, но нужно было пройти мимо окон, мимо незаконных, освещенных неонов помещений, плюнуть в сторону лифта, вот уже полгода не опускающегося ниже первого этажа, бросить слово на ходу дуре-охраннице на вахте и вспомнить, что у самого низа выбита ступень.

За проволочной плотной сеткой в клубах густого пара ревел двигатель вакуумного насоса. Он наполнял низкие коридоры клиники своим гулом, своим паром, своей неотвязной жизненной необходимостью, он был хуже запаха формалина, хуже отбойного молотка поутру в воскресенье, высверливающего твой похмельный мозг.

С силой Крепов толкнул легкую дверь. Кутаясь в цветастый ватник, на диване неподвижно спал худой человек.

Так же Крепов толкнул вторую дверь рядом и спросил:

— Кто там спит такой красивый, как недописанный натюрморт? — и задумчиво добавил: — Там же Пауков спит.

— Ты, что ли, трезвый?! — заинтересованным голосом спросил Карапкин.

— Трезвый и пить не буду.

— Ну тогда выпей! Обязательно выпей, если не будешь! А то ломаться, ломаться будешь, лучше сразу, чтоб без вранья! Сашка не пьет, это правда, но его я одобряю и понимаю! Он не пьет, потому что никогда не пьет... А этот, который спит, — Карапкин икнул. — Этот как раз напротив, очень даже с нами выпил!.. Я правильно изъясняюсь, Верок?! — он опять икнул. — Натюр-

морт, говоришь?! А он выпил и заснул! И, между прочим, много выпил, непонятно даже, как в нем поместилось?!

— Он сюда пришел стенку какую-то ремонтировать, вроде каменщик, — пояснила Вера, она сидела на банкетке рядом с Карапкиным, огромная, белая. Золотые ее зубы вспыхивали во рту при короткой улыбке, долго улыбаться Вера не умела.

На вид не старше тридцати пяти, пышноволосяя, всегда, даже после праздников, свежая, она продолжала разговор, прерванный появлением Крепова:

— Так вот я чего, ты, Сашок, не обижайся, что я тебе не даю. Я же не потому, что ты инвалид, а потому, что молодой, я же со стариками любовью занимаюсь, я Витю люблю! — она сделала неудачную попытку, обхватив Карапкина за крепкую шею, рывком переместиться к нему на колени и вместо этого по-кошачьи, но с нежностью потерлась своей гладкой щекой о его шершавую щеку и, в золотую щелочку скосив глаз, показала Карапкину кончик языка.

— Дрябова нету? — на всякий случай спросил Крепов.

— Совершенно нет его, там сидит!.. — Виктор Дмитриевич попытался представить себе, как он там сидит у самой двери в отделе кадров в ожидании казни, увидел сквозь мокрый бетон стены, как сквозь стекло, высоко в граненных переплетениях лестниц и лифтовых шахт был где-то там стул, и на нем сидел Валька Дрябов, маленький-маленький в ожидании... Карапкин встряхнул головой мелко и резко, чтоб никто не обратил внимания, ногтем щелкнул себя по лбу. Он не любил, когда вот так смешиваются неожиданно его «здесь» с его «там». — Уйти же можно, — сказал он, как показалось, продолжая прерванную свою мысль. — Сидит и ждет, пока посадят, идиот! — Он смотрел на спокойное лицо Крепова, — Понимаешь, не может он убежать!.. Я понимаю почему, но сформулировать не могу. — Слово «сформулировать» получилось у него из пяти частей, но Виктор Дмитриевич все-таки завершил свою мысль, ему представилось это необходимым. — Не получается, нельзя убежать!

Крепов вернулся домой на несколько часов раньше. Он бесшумно порывлся в кармане, достал ключи, бесшумно открыл дверь. В кратком потоке сквозняка он ощутил на груди под шелковой майкой золотой крестик на цепочке, каков он холодненький, и порадовался всем телом, даже потянуло как бы электрическим током из ног в затылок. В полумраке спокойно снял плащ. Замер. Полуоткрытая, белела дверь в комнату, глаза быстро привыкали. Почти в темноте, под цветным ночником Ирина лежала там, в глубине постели. Задержал дыхание и нырнул в комнату, на колени, головой в дрожащие ладони жены.

Мелькнуло красное, белое, мутное стеклышко — маленький пузырек, стакан, полупустая серебряная упаковка... нервные пальцы Ирины, волосы... Он зарылся губами во все это, в запах лекарств.

— Не подлизывайся, подлец, — мягко сказала она. — Я каждую твою мысль знаю, в больницу меня положить решил? Сегодня? — Дыхание, полное лекарств. — Наверное, машина у подъезда стоит? Стоит?

— Мне никто не звонил? — приподнявшись, Крепов потянул жену за руку, поднимая ее из постели. — Не ленись, вставай! — Ирина поморщилась от боли. — Ну, не нужно, не умирай!..

— Нет, погоди... — Рука ее цепляется за теплый, пружинный край дивана. — Погоди, — она громко задышала, и, вспухшие на лбу у корней волос, поехали грязные полосы пота по бледному лицу. — Ты куда-нибудь собираешься сегодня?

— В общем, да, — отозвался Крепов. — Подожди, не перебивай, я знаю, что ты хочешь сказать.

— Ну, и что я хочу тебе сказать? Ты давай, давай, говори, я слушаю свою речь, мне интересно!.. Оставь меня в покое и иди, куда ты хочешь!.. — Она откинулась на подушку. Ноты, развернутые на невидимом в полутьме концертном рояле, заметно белели, они привлекали ее взгляд, успокаивая, наполняя музыкой и приводя в порядок.

Немного подумав, Крепов неуверенно признался:

— Понимаешь, может быть, и не будет ничего сегодня... Мне должны

позвонить... Вот что!.. Он задвигал руками. Давай договоримся, если все-таки позвонят и нужно будет ехать, поедем вместе. Такой вариант тебя устраивает?!

Ирина быстро, с трудом одевалась.

— Я выдержу, Вася. Лекарства нужны только прихватить! — С глазами ее происходило счастливое преображение. — А завтра тогда и в больницу лягу с чистой совестью, как считаешь?

Пока Крепов говорил по телефону, сердце, прыгающее в груди его жены, заныло, но она остановила боль желанием, перенесла ее на потом, на после, не в силах отказаться от страдания совсем. Боль утихла, перешла сначала в легкие спазмы, скоро оставшись в самых кончиках пальцев, сошла в закуренную сигарету, улетучилась вместе с выдыхаемым дымом.

— Зря ты куришь! — бросил Крепов, натягивая плащ. — Нужно быстро, нас ждут через сорок минут.

— И все-таки, куда же мы едем, Вася?

— На диспут, — буркнул Крепов. Ирина молчала, и он был вынужден продолжать. — В общем, отец Сергей встречается со своей паствой... Понимаешь, они там разговаривают.

— Если он отец, — Ирина опять задышалась, — так это его профессиональный долг, по-моему?

— Понимаешь, это не служба в церкви... Собрание на дому, в квартире одного из прихожан, будет много неверующих...

— Почему ты все-таки думаешь, что я неверующая? — приподняв голову, она снизу вверх изучала его лицо. — Все люди веруют, и я тоже, только я в твои игры не играю!.. Ты все равно не поймешь, не хочешь!..

Пришла в себя Ирина только на улице, в сыром дыхании и гудении московского вечера. Висит дождь, блестят холодом асфальтовые широкие площади, фонари. Отражаясь и множась, вырастая в длину, искривляются ноги прохожих. Падает с метрооста короткий гул поезда в многократные повторения ночи, заставляя вздрогнуть.

Он выделился из толпы один, как что-то не принадлежащее к ней. Резковатый в движениях, с деловым видом, он, и это было сразу заметно, ожидал в брезгливом нетерпении. Очень приличный человек: серое пальто, тросточка (он не мог не манипулировать ею), узкое лицо, хорошо подстриженные усики, абсолютно нормальные глаза.

— Это он? — спросила Ирина.

— Леонид Борисович, господи!.. — обрадовался Крепов.

Тростью приличный человек ковырял кучу мусора рядом с опрокинутой урной. Он сделал резкое движение и воткнул свое оружие в ледяной свежий асфальт.

Через минуту толпа внесла их в автобус, вдавила, впрессовала друг в друга.

Прикоснувшись к пуговке звонка, Крепов вдруг осознал себя в клинике, внизу, в подвале. Он видел перед собой обыкновенную городскую квартиру, но чувствовал себя там, в подземном лабиринте, наполненном запахами формалина и спирта. Он даже слышал отдаленный шум вакуумного насоса. Слабо пахло ладаном. Тихо-тихо гудел агрегат финского белого холодильника. Хозяйка перекрестилась.

— Добрый вечер!

«Уходить! Уходить с работы!» — думал Крепов, переступая порог и аккурратно вытирая ноги о половик. Он спросил у хозяйки, молодой опрятной женщины с очень белым лицом:

— Батюшка приехал небось? Сергей Антонович приехали?

— Нет, пока ждем. Все его ждем, — женщина суежилась, будто не в своем доме. — Задержался батюшка, но обещал — будет!

В малогабаритную двухкомнатную квартиру народу набилось человек сорок. Все было чинно, сидели, смотрели по цветному, плохо работающему телевизору футбол. Негромко перешептываясь, ругались. По какой-то другой программе шел фильм.

Рядом с телевизором над пустой детской кроваткой светился ночничок, и Крепову долго не удавалось отвести взгляд от этой слабо светящейся точки.

В белой, ярко освещенной кухне хозяева, мать и две большие девочки, готовили закуски: зелень, селедка, в эмалированном голубом ведре картошка. Крепов заметил и водку, увидев бутылку, он инстинктивно пощупал карман с паспортом, вдруг приняв будущее, как настоящее, коротко и неприятно.

В коридоре, в углу у заваленной вешалки стояла худая женщина вся в черном. Резким движением поднося к губам сигарету, она затягивалась, выпускала дым и громко говорила, обращаясь к сидящему на стуле возле телефона Леониду Борисовичу.

«А какая молоденькая, и вся в черном, или она не молоденькая вовсе? Лицо злое, или оно не злое?»

— «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти. — Она затянулась, резким кашлем выпустила дым и почти скороговоркой закончила: — Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве».

Леонид Борисович сладко улыбался, перебегая глазами с телефонного аппарата на ее юбку, на распахнутую в комнату дверь, где двигался по экрану в широких трусах советский футболист.

— Восхитительно, — неожиданно ласково прогнусавил он. — А ты знаешь, Фрида, мне даже льстит такое подходящее определение. Как это там? Кто внутренне таков?..

«Почему же она все-таки в черном?» — думал Крепов.

— Фрида, девочка, а почему ты сегодня в трауре? — спросил Леонид.

Фрида легко шепотью перекрестила лоб, глядя куда-то в угол за плечо Крепова.

— У меня умер ребенок, — сообщила она.

— Господи, помилуй, а я и не знал! — Леонид потерялся на стуле. — У тебя ведь, кажется, трое их было?

«А ведь с виду совершенно девчонка, восемнадцать лет, не больше, — думал Крепов. — И откуда у нее трое детей?»

Фрида загасила недокуренную сигарету.

— Он, конечно, не был крещен, — немного медленнее говорила она, — но шестимесячный человек — тоже человек.

— Господи, помилуй, Боже мой, напугала!.. Туману-то, туману, траур черные тряпки!.. — Леонид Борисович хлопал себя по коленкам. — Аборт, что ли, сделала?

— Он родился мертвым, и я не вижу поводов для веселья.

В соседней пустой комнате Крепов обнаружил красный угол. Стараясь не думать о пальцах, он невольно несколько раз перекрестился, боковым зрением поймал зеркало на левой стене. Отражался проем двери, в проеме двери стояла Ирина. Она улыбалась, щеки ее чуть порозовели.

— Мне здесь нравится, так спокойно все, тихо, люди приятные. Пойдем телевизор смотреть!

В коридоре Крепову удалось услышать еще несколько фраз:

— Или, может быть, ты не догадываешься, что сейчас произойдет, — спрашивал Леонид.

Усадив Ирину в кресло, Крепов встал сзади и, наклонившись, шептал в ухо жене, показывая на людей, уставившихся в телевизор:

— Смотри, Иринка, овцы Божьи уже все в сборе, а пастыря все нету! Когда вот так натыкаешься, действительно противно все это становится до икоты. Ты только послушай, послушай, как они говорят! Посмотри, как крестятся!.. А вон тот, вон, видишь? Крест щупает, как я паспорт, думает — потерял.

— Уходить отсюда надо, — шепотом сказала Ирина. — Плохо сейчас будет.

Крепов смотрел, как в пластмассовой розовой чашке абажура горит электрическая лампочка, и тупел. Он продолжал шептать, но уже не чувствовал и не думал, когда в дверь дважды резко позвонили.

Вскочил в квартиру, оттолкнув хозяйку, дурно одетый, в мятой обуви человек, одновременно с криком массирующий пальцами потную плешь.

— Вот, я же говорил! Секта тут! Блудодейцы!.. — он вращал глазами, и по отечному лицу его бегала длинная судорога. Он тащил за собой участкового милиционера, медлительного огромного олигофрена в квадратных очках.

— Приехали, — процедила Фрида, выплевывая сигаретный дым. — Начинается!

Крепов опять пощупал паспорт, паства зашевелилась и замерла.

Замер зеленый спортсмен на экране, не в силах нанести ответный удар.

— Не нужно оскорблять, не нужно! — хорошо поставленным голосом осаживал своего провожатого близорукий милиционер. — Разберемся!

Он опустился в кухне на маленький белый табурет, скрыв широкими лапами шинели часть стола с закусками.

— Кто хозяин квартиры?

Ходил и тихо говорил себе под нос, кидая взгляды то на одну «овцу», то на другую хихикающий в кулак Леонид:

— Ребята, нужно встретить Серого! Нужно встретить Серого! — он подергал Крепова за плечо. — Серого встретить нужно!

— Да не знаю я никакого Серого, не знаком!

— Не знаем мы, отойдите, — добавила Ирина.

Резким движением Ирина поднялась из кресла, шагнула к милиционеру с развернутым своим паспортом в руке.

— Я, собственно, не представляю, в чем дело, — сказала она. — Но, извините, нам с мужем нужно уйти, мы торопимся!

Застегивая плащ, Крепов заметил, что у него дрожат руки. Ирина улыбалась.

— Любопытное приключение!..

«Ну и дура!» — подумал Крепов, но не сказал.

У лифта на площадке четвертого этажа курили два дружинника. Один из них, здоровый парень в меховой куртке и такой новенькой повязке, что золотые буквы на красном фоне невозможно было сразу прочесть, отделился от стены, сделал шаг, перегораживая им путь.

— Вы знаете, товарищ! — сказал Крепов, пытаясь подавить дрожь. Ирина перебила его:

— Да бросьте ребята! Я в Бога не верю!

— И я больше не буду! — с трудом перестраиваясь в тон ей, сообщил Крепов.

На автобусной остановке не было навеса. Дрожал на ветру желтый четырехугольник в черной рамке, на черной железной ноге, поскрипывал под дождем. Стояли молча. Крепов обнимал Ирину за плечи. Ему хотелось скорее доставить ее домой, согреть, уложить в постель, напоить чаем, чтобы ей так долго не нужно было торчать здесь в сырости, в часе езды от уютной квартиры.

Улица, ровная и мокрая, стояла перед ним, раздражал бешеный фонарь, он был ближайшим к остановке и горел, казалось, втрое сильнее остальных фонарей.

Ни шума мотора, ни крика Крепов не уловил. Покачнувшись, он только увидел, как рванулась ледяная дождевая пыль, и миг спустя осознал, что больше не обнимает Ирину за плечи. Сразу, толчком ему сделалось холодно, он обернулся.

— Такси! — крикнула Ирина. Она, с трудом удерживаясь на ногах, быстро делала резковатые, неуверенные шаги.

Крепов видел, как медленно распахиваются дверцы машины, как отец Сергей, сползая с сиденья, переступает узкий железный порожек. Ряса выпала из-под пальто и черным концом захватила разбитую мягкую лужу.

— Святой отец! Святой отец!.. — задыхаясь, закричал Крепов. — Не надо!..

На него посмотрели из темноты смешистые глаза старика.

— Не нужно туда идти! — выдохнул Крепов. — Там милиция!

В жестком фонарном свете прямой проспект обметало дождем. Машина

летела плавно, без рывков. Прыгала в пелене впереди красная мигалка светофора.

Крепов низким голосом что-то спрашивал. Священник отвечал, но Ирина почему-то не могла связать логикой эти обрывочные фразы.

— Давно, давно нас не трогали... Я не должен, не должен был уходить!..

— Да что вы, что вы, Сергей Антонович!.. Все же правильно. Бог с нами, это сразу видно. Бог за нас.

Собравшись с силами, Ирина повернулась и грустно сказала, вглядываясь в глаза священника:

— Вот интересно, Сергей Антонович, а вы знаете, я в Бога не верю!..

Он ответил взглядом, улыбнулся и сразу сказал:

— Он простит.

— А ты заметила, — спросил Крепов, — как этот дружинник по квартире ходил, иконки разглядывал? Дурацкая такая рожа, молодой!..

Мгновенно возникший контакт между женщиной и священником оборвался легко и безболезненно.

6

глава

Дома боль усилилась. В тепле и уюте Ирина легла в постель и опять, в который уже раз, возненавидела свою мысль, свою плоть и все, связанное с жизнью, с такой чудовищной силой и логикой атаковала ее боль. Сквозь боль она поняла, что дождь кончился, что гудит за стеной телевизор, что Крепов говорит с кем-то по телефону, напряглась, вычленив его голос. Он говорил зло и сухо:

— Хорошо, приду!.. Сказал, приду! Это дело не мое, и им придется заплатить.

— Вася, миленький, — уговаривал Дрябов, напряженно вглядываясь в глаза дежурного лейтенанта, разрешившего ему воспользоваться телефоном. — Девочка-красавица, шестнадцать лет!.. Вы уж извините, товарищ лейтенант, внематочная беременность, спасти ее нужно!.. А там, в кислороде только этот Витенька-дурачок, ничего не умеет...

— Ладно, спасем, — пообещал Крепов. — Ты откуда звонишь?

— Я откуда звоню? — Дрябов попытался улыбнуться лейтенанту. — Я из очень хорошего места. Ты понимаешь, тут и чай, и телефон. — Милиционер повел узкими плечами. — В общем, все удобства, только на работу не пускают... Ты спаси ее, а?! А спирт они тебе нальют, ты же не обязан! Обязательно нальют, только не забудь сказать, что не обязан.

Быстро шагая под ночным дождем, Крепов чувствовал губами кожу лба Ирины. Перед тем как выйти, он поцеловал ее в лоб, и губы немели теперь до судороги, ему было физически страшно за нее.

«Зря я ее в лоб поцеловал, нужно было руку».

Явилась сквозь ливень прыгающая белая полулуна, кремовые корпуса в ее свете казались серыми и живыми. Они двигались, наползали друг на друга, переговаривались. Сверкали окна операционной, горели окна реанимации, где, по всей видимости, и лежала девочка-красавица шестнадцати лет.

Крепов долго и сильно бил кулаком в запертую дверь корпуса, наконец в холле зажгли свет и появилась сильно шаркающая ногами заспанная вахтерша.

— Чего не спишь тебе, — прошамкала она. — Полуночник бешеный! — На ночь, как и дома, вахтерша вынимала свои челюсти.

Крепов оттолкнул ее. Проскочив зеркальный холл сразу, мимо лифта спустился по битой лестнице в подвал. Оказавшись в привычной сырости и дрожащей полутьме, он с трудом заставил себя двигаться в нужном направлении, идти в кислородку, ноги желали в слесарную, на рабочее место. Он прошел мимо отвратительно ревущего вакуумного насоса, повернул в темноте налево, прошел мимо узких высоких дверей маленького морга, сюда спускали больных после неудачной операции, и оказался перед новенькой крупной

решеткой в человеческий рост, перегораживающей полумрак. Просунув руку в прямые металлические сплетения, Крепов из всей силы тряхнул решетку, загрохотал навесной замок, железо о железо.

Появилась угрюмая физиономия — подросток в белом отутюженном халате.

Миг назад, низко наклоняясь к столу, Витенька работал авторучкой при свете очень яркой настольной лампы, и теперь он ничего не видел, перед глазами танцевали длинные черные строки.

— Чего надо? — не в состоянии разглядеть человека по ту сторону решетки, спросил он. — Чего надо-то?!

— Открывай! — потребовал Крепов.

— Это зачем?

— Ты, гаденыш! — Крепов вцепился обеими руками в решетку и тряхнул ее с такой силой, что прикрученные проволокой ушки замка выскочили. — Люди умирают, а ты кислород не даешь!.. Или закись!.. Чего не дал?

— А ничего не дал. — совершенно спокойно сообщил Витенька. — А дверь вы зря сломали, могли бы сказать, что помогать пришли. — он вернулся за стол в огромную низкую комнату без окон. — Я первый день, ничего здесь не знаю. Мне ничего не показали. Вот, три крана сломал. — Он ткнул пальцем в отломанный кран, валявшийся тут же на столе, кран покатился по пластику. — Что я могу?

Крепов открывал какие-то металлические дверцы, тихо ругался, изучая показания приборов, а Витенька так и не пошевелился, оставаясь за своим столом. На столе стоял телефон, а над столом висел огромный, потрепанный временем плакат: серебряная сигара — «Аполлон-11», на плакате было написано: «Вся власть человеческого познания». По «Аполлону» ползала зеленая жирная муха. Витенька подумал, что либо это она уже народилась в новом поколении, либо удачно перезимовала прямо здесь, в подвале.

Крепов изучил манометры, на «входе» ноль, но на выходе давление еще держалось. Он взял со стола ключи, открыл железную дверь и загромыхал ботинками по металлическому полу рампы. С минуту он выбирал из пяти железных шкафов один. Выбрал, с трудом отодвинул скрипучую дверь.

«Каменный век! — с ухмылочкой думал он. — Рассказать кому-нибудь, что в экспериментальном хирургическом центре, в самом сердце вот такое!..»

С тихим звоном лился по медным трубкам невидимый газ. Быстро, механически точно Крепов перекрыл кран, снял гайку, откатил голубой в свете маленького прожектора баллон, выбрал свежий баллон, поставил его на место снятого, притянул гайку и, медленно постукивая ладонью по ключу, отпустил кран...

...Тихое-тихое шипение, очень знакомое, очень далеко. Крепов увидел над собою луч прожектора и понял, что лежит на спине.

«Ну, если дырка в системе, почему так тихо? — подумал он и сразу понял: — Это не тихо, это я не слышу, оглушило немножко!»

Хватаясь за голову, он сел на металлическом полу. Отброшенный баллон валялся рядом, из него выходил газ. Оторванный взрывом вентиль пробил металлическую стенку и валялся под сеткой в другом конце рампы. Крепов повертел чугунной головой, потер виски. В раскрытую дверь подвала было видно, как подросток в чистом белом халате сидит там за столом, даже не обернулся.

— Вот сволочь! — Крепов поднялся, сделал несколько шагов на ватных ногах, подобрал вентиль.

Шипение иссякло. Взрыва никто не слышал.

— А вы тоже краны ломаете?! — подросток улыбался, вентиль катился по столу.

— Ладно! — Крепов кричал в телефонную трубку, потому что сам плохо слышал. — Ладно, а вас устроит, если я вам баллон прямо в реанимацию прикачу?! Нет, не задаром! А как же, есть кислородчик, здесь сидит!.. Вполне!..

Дежурный врач был на редкость вежлив, и это помогало Крепову хамить. Слух медленно возвращался к слесарю.

— Договорились, минут через пятнадцать я его доставлю! Да, я правильно понял, в старую реанимацию!

«Один как-нибудь докачу,— сталкивая стокилограммовый баллон по ступенькам, думал Крепов.— Обойдемся без сопливых!»

— Может, помощь какая-нибудь нужна?— без энтузиазма в голосе спросил Витенька. Крепов не ответил, он только швырнул на стол ключи.

Через коридор тянулась широкая, когда-то красная полоса. Легкий след под лампами на полу: граница реанимации.

— Давай сюда!— навстречу из яркого света шагнула белая фигура.— В самый раз подоспел!

— Четыреста грамм,— не забывая свою выгоду, забубнил Крепов.

— Ну, какой ты! Договорились ведь, кажется?! Кати его сюда!

— Что, прямо так, без бахил?— Крепов постучал по полу своими грязными ботинками, с них посыпалась глина.

— Давай! Давай, так... Кати! Погоди здесь!

В палату баллон втащили уже без его участия. Отдыхая, он стоял перед открытой дверью и смотрел внутрь.

Стерильность достигалась ярким электрическим светом. В раме открытой двери медленно двигалась картина, более всего напоминавшая Крепову сцену насилия из вестерна.

На почти квадратный скелет кровати жестко натянут без морщинок тюфяк. Среди свисающих шлангов и разнокалиберного, укрепленного на тонком металле звенящего стекла четверо мужиков в грязных от крови белых халатах с серыми лицами быстро разворачивают, восемь рук в резиновых перчатках, совершенно голую грудастую девицу. Детское напуганное лицо.

«Девочка-красавица, обгрызанные ногти.— От ботинок Крепова на кафеле тянулась сухая полоска глины.— Голубой баллон. Внематочная беременность!»

Он хотел досмотреть, но отвернулся, все же шестнадцать лет. Она была еще жива и мычала в стеклянный стакан маски.

Витенька слышал, как лязгает по кафелю баллон, как загудел, вплетая свой тихий звук в рев вакуумного насоса лифт, брякнула дверца. Отбросив рукой волосы с глаз, он осмотрел «Аполлон-11», мухи не было, упорхнула.

Он прислушивался, стараясь по звуку определить, когда в морг после неудачной операции спустят очередного покойника. Витенька никогда не видел вблизи покойников, но рассчитывал, что мертвой окажется молодая женщина.

В полутьме коридора оказалось тяжеловато дышать, откуда-то принесло воздух с формалином, Витеньку затошнило. Почти на ощупь он подобрался к двойной створчатой двери в морг и двумя пальчиками тихо приоткрыл ее. Дверь неприятно скрипнула, подросток отскочил, но через минуту вернулся на свою позицию. Некоторое время изо всех сил он пылился во мрак, потом увидел: на высокой металлической каталке лежал женский труп. Судя по отчетливо различимому во тьме красному педикюру на синеватых маленьких ногах, она была молода и следила за собой даже в больнице.

«А может, просто от баловства ногти покрасила?— шепотом подумал Витенька, брезгливо пятясь.— А может, ее как привезли, так сразу и зарезали?»

Груды покойницы были проколоты, и выделялись только твердо торчащие вверх темные соски. Волосы аккуратно прибраны, и белый профиль столь оказался отчетлив для привыкающих к темноте глаз, что в реальности, уравнившейся с воображением, сделался фантастически красив.

«Напьюсь завтра! Как я завтра напьюсь! Вдрсбадан, вдребеззину, в стельку! Нет, в стельку — это сапожники, а во что я напьюсь?! А напьюсь-ка я в вентиль! Ну вот, сам себе начинаю хохмить от ужаса! Потому что не нужно врать, я же испугался, и сильно!— он опять сидел за столом, смотрел на серебряный «Аполлон».— Ведь, может, она из-за меня умерла, из-за того, что я газ не дал? Но все равно, даже если и из-за меня, я не должен смешить себя от страха!»

Витенька с силой отодвинулся на стуле и одним коротким движением повалился с него на диван. Он с головой закутывался в куртку, зажимивался.

внушал себе, что сильно устал, но заснуть не удавалось. Против собственного желания он продолжал прислушиваться. Ничего, кроме далекого рева мотора.

«Как стыдно, стыдно бояться! Это же кошмар!.. А я и не боюсь, это нервы, нервы, а не страх!.. Просто я рефлексирую, а как человек, как личность я в полном порядке! Точно, завтра напьюсь в вентиль, завтра!.. А почему завтра, уже сегодня?!» — он разомкнул глаза и посмотрел на свои ручные дорогие часы, было два часа ночи.

По округлому бетону стен бесшумно сочилась вода. Покачивалась, тоже бесшумно, распахнутая металлическая решетка.

Он приподнялся. Блестел лист пластика на столе. Где-то совсем недалеко скрипнули петли, тихо-тихо ударила дверь.

«Показалось?»

И вслух сам себе ответил:

— Это, наверно, крысы, здесь полно крыс.

В коридоре было дыхание, больше ничего, только прерывистое дыхание. Кто-то стоял там, в темноте, в метре от раскрытой решетки, и он не двигался. Витенька прислушался, изо всех сил помотал головой, пытаясь сбросить навязание, но было совсем тихо, гудел мотор. Он чувствовал, как носится внутри его обширной спортивной груди тренированное сердце.

— Ну вот же, говорят тебе, рефлексирую! — собственный голос успокаивал. — Нужно куда-то позвонить, а то так и свихнуться недолго! Завтра напьюсь! Завтра, между прочим, праздник! Точно, праздник! Большой, хороший праздник сегодня.

Он говорил вслух и вдруг поймал себя на том, что просто старается не замечать этого звука в коридоре. А звук был, он присутствовал. Тихий, будто всхлипывал кто-то.

— Ерунда какая, просто нужно пойти и посмотреть, — но оторваться от дивана не получилось. — Трус несчастный!

Почудилось, что эхо будто повторило его голос, превратив в повторении мужскую интонацию в женскую. Задрожал воздух в комнате без окон, тихо-тихо зазвучало:

— Трус несчастный, трус несчастный!..

«Жалко, что я в Бога не верю, следовало бы перекреститься».

Сердце вырвалось с болью из его груди и, как показалось, ударило, горячее и мокрое, в лицо. Отчетливо, в этом звуке ошибиться было нельзя, в коридоре по кафелю пола тихо зашелестели босые женские ноги.

— Нет! — заорал Витенька. Он вскочил на диван с ногами, загораживаясь курткой. — Мама!.. Я не хочу!..

Почувствовав спиной ледяной бетон стены, остановившимся взглядом смотрел в противоположный темный угол. Босые женские ноги, судя по звуку, сделали еще шаг и остановились, их не стало.

— Ты, призрак, иди сюда! — опять заорал Витенька, пытаясь сам себе зажать рот. — Иди сюда и делай со мной что хочешь, только не пугай!.. — Он зарыдал. — А если ты человек, сволочь, — продолжал он прерывисто, сквозь всхлипывания, — то я тебя, гада, зарежу!

В истерике Витенька наконец соскочил с дивана и, выкрикивая что-то уже малосвязное, оскользаясь на кафеле, кинулся навстречу собственному страху. Обеими руками ухватившись за косяк, он медленно съехал на пол. Он хотел зажмуриться и не мог, тело одеревенело, дрожь пошла по позвоночнику. В колышавшемся полумраке коридора прямо перед ним белело обнаженное женское тело. Грудь с твердыми сосками, красный педикюр на ногах, в лукавых больших глазах танцевла яркая настольная лампа.

— Уйди, уйди! — тихо-тихо постанывал Витенька, уже лежа на полу. — Убью!..

Он не сопротивлялся, когда холодная рука коснулась его лба и женский голос спросил:

— А разве можно убить мертвого?

Алуша хотела еще пугнуть мальчика, но тот наконец закрыл глаза и обмяк.

— Эй ты, дурень! — хлопая его по щекам, привычно, но не сильно, совсем другим голосом позвала она. — Ты это, не умирай мне!

— Сигареты где-то здесь забыл.— Крепов рылся в столе, выдвигая ящики.— Куда он их мог засунуть?!

— Посмотри, там нет нашта тыря или чего-нибудь в этом роде?!— попросила Алуша, втаскивая бесчувственного Витеньку на диван.— Вот судьба моя, мужиков на себе таскать!..

— А ты чего голая?— равнодушно спросил Крепов.— Смутила мальчика?

— Ага, насмерть!

— И правильно.— Крепов нашел какие-то чужие сигареты, закурил.— Правильно, правильно!— Он сел на диван, приятно облокотил усталое тело.— Так его, мерзавца!— спросил: — А где Витька? Ты не знаешь, я никого найти не могу, все испарились?! Сначала подумал, может, по домам разбежались, но ведь это вряд ли! Только этот, Натюрморт на пауковском диване пьяный дрыхнет!..

Алуша накинула халат, брошенный ею в коридоре, сунула ноги в тапочки.

— Пошли, Вася, я тебе покажу, где все! И ты, пошли!— сказала она сидящему рядом с Креповым ошеломленному Витеньке.— Чего задумался?! Живая я, живая, можешь потрогать!— она протянула ему руку.

— Не надо! — завизжал Витенька. Он отскочил в сторону и замер в неудобной позе, глядя на медсестру.

Постепенно приходя в себя, юный кислородчик осторожно поинтересовался:

— А там, куда мы пойдем, пьют?

— Пьют,— успокоила его Алуша.— Напьешься, как хотел, в вентиль!

7

глава

Эвадзе сам предложил ему ключи после операции: собака погибла на столе.

Когда Георг Шалвович ушел из собачьей операционной, Дергачев взял оставленные им ключи и, выбрав самый острый, нацарапал на алюминии операционного стола, в запекшейся крови: «А вы собачек режете, а это бандитизм!»— Теперь, как и всегда трезвый, он сидел на восьмом этаже в удобном теплом кресле и смотрел на своих гостей. Про день рождения пришлось придумать, и все это знали. Но ему, чтобы выполнить просьбу Главного и не трогать автолюбителей, были необходимы подарки и поздравления.

Витенька возбудился, заметив знакомое белое платье, отмахнулся от только что пережитого страха, подошел к Аннушке, галантно поцеловал ей руку.

— Новый кислородчик,— объяснил Крепов.— За одну смену столько передудил народу, что тебе за всю ночь не пересчитать!

— Да ладно, оставь ты,— Алуша хихикнула.— Вася, я его уже наказала. Давайте-ка лучше выпьем за день рождения нашего, за тебя, Саша.

«Странное дело, какой-то я здесь совсем другой, не такой какой-то,— шевелились, как черви в навозе, длинные гибкие мысли в мозгу Карапкина.— Ведь совершенно же не такой! Когда внизу, значит, один человек, а пришел наверх коньяк пить, так и другой совсем?! На лифте чуть-чуть проехал, и готово!.. А может, это такое от коньяка?» — Он смотрел вокруг себя на стены, отделанные дубовыми панелями, скрытые, мягкого света лампы, на огромные распахнутые стекла балконных дверей. Как в детстве, ему захотелось удивить всех, насмешить, пошевелить ушами.

Мысль не удержалась в сером навозе и выскочила наружу, в комнату, к людям:

— Александр Александрович,— вслух подумал Карапкин.— Скажите, я вот за тебя уже пятый стакан коньяку пью!.. Ты скажи, только честно скажи,— он улыбнулся, напрягая затылок, пошевелил ушами.— Ты талантливый такой, потому что Георг тебя к себе допускает?

Алуша надавливала на плечи Карапкина, пытаясь вернуть его обратно на диван.

— Витя, сядь!

— Это ты зря, наверное, — впервые за весь день улыбнулся Дергачев. — Процесс остановить нельзя.

Витенька пытался сосчитать всех присутствующих. Народу мало, но после третьей рюмки у него это не получалось. Считая опять, он дважды посчитал Карапкина, сам это заметил и удивился: почему?

— Вот мы сидим на этом диване и трезвеем, — как ему показалось, плавно перешел из одной темы в другую Виктор Дмитриевич. — На диване сидим, — он похлопал опухшей рукой пружинную подушку. — А ты убери диван, и нас не станет, — он потянулся к Крепову. — А что я Веру свою не пригласил, это я гад, последний человек!.. Я ушами, видишь, шевелю, и никому не смешно!

Крепов методично выпивал рюмочками, повторяя без конца, и, напиваясь, злел. Он по капле отвердевал после каждой опрокинутой стопки. Дубовый крепкий настой перебегал из нее по гортани в желудок, уже не обжигая, а она сверкала под лампой алмазными гранями. Он молчал, когда включили магнитофон и молчать пришлось под музыку, он поднялся и, скопировав все движения Витеньки, галантно пригласившего танцевать Аннушку, потянул Алушу кружиться. Халатик на ней все время расстегивался, и Крепов старался смотреть мимо ее розового уха под пляшущим каштановым локоном.

«Жалко как, Дрябова нет, порадовался бы человек. А сидит человек в КПЗ и ждет своего часа. Хотя бы чаю ему там дали! Да что чаю, ведь, наверное, и в туалет до утра не пустят. Любопытно, почему я вспоминаю этого Дрябова, беспокоюсь за него? Хочу решить свой страх. — В огромной пустоте стекла засверкали, на миг останавливая мысль и завораживая, железные концы игл, раскаленных до синевы, — звезды. — Хочу, — повторил про себя Крепов. — Хочу», — он поморщился, оценив свое «хочу», зацепил взглядом Алушу, из-за костяшки желтой пуговицы медленно вываливался крепкий женский сосок. Мысль остановилась. Внутри, в голове мгновенно сделалось пусто и просторно. Ему захотелось домой. Он представил себе полумрак комнаты. Ирину, он почти увидел ее, издыхающую от боли на диване.

«А может, она пошла к своему черному роялю и разбудила в порыве боли всех проклятых соседей?»

Алуша вела плохо танцующего Крепова. Звенела непонятная музыка. Он ей уже нравился. Нравился исключительно как мужчина. Крепкий, литой человек. Она чувствовала его руки, настоящие, горячие, и пыталась затащить, замять этого Крепова в безудержность, в порыв, развивающийся в самой в ней, в нечеловеческий, дикий танец под почти спокойную оркестровку из магнитофона Дергача.

«Раскрутиться, раскрутиться посильнее и тащить за собой этого Крепова, потому что он мне нравится!..»

Дергачев не слышал их мыслей, но он чувствовал их всех здесь, как чувствовал своих подопытных собак в виварии. Были они разные, очень разные, чаще просто дворняги, и у них, приговоренных к операциям, наверное, не было мыслей, но у каждого пса своя сложная боль, свой фантастический живой характер. Дергачев чувствовал каждого по отдельности, как отдельные страшные личные катастрофы, и всех воедино, — в болезненном порыве на волю, невесть куда. Теперь он перепутал, слишком близко было восприятие, и, так уже случалось, ощутил людей как собак, как своих подопытных.

Пауков видел, как в мутнеющей цветной картине мира Саша Дергачев встал и вышел через распахнутые стеклянные двери на балкон. Ивану показалось, что стекла были закрыты и Александр Александрович прошел сквозь них в ночь с легким звоном. В пьяной картине от звона появились в черной пустоте звезды. Засияли, заблестели граненые бриллианты, белые и синие.

«И зеркала, зеркала, завертелись зеркала... Я сплю, — подумал Пауков. — Или уже сошел с ума?!»

Его сыто тошнило. Розовощекая Алуша в ярко-белом халате, присев на стул и скрестив свои длинные голые ноги, готовила бутерброды. Покачивались ее густо-коричневые волосы.

Через несколько мгновений Пауков вынырнул из забытья и, даже не сообразив, что отсутствовал, сразу, с трудом дотянувшись, выпил рюмку коньяка. И пришлось бежать. Он падал, растягивался на ковром линолеуме, упирался ладонями, потом долго блевал в голубую бездонную чашу унитаза, повторяя:

— Все в порядке! Я же хирургом стану, хирургом! Я для этого сюда приехал. — В голове его прояснилось. Вернувшись к столу, он опять выпил и, выдержав безумно длинную паузу, вышел на балкон.

Глубоко внизу шевелились, различные в легком лунном свете только по движению, невидимые почти флаги. В стеклах корпуса отражалась луна, казалось, что на окнах белые шторы. Реально светились окна реанимации. В оперблоке мрак, там закончили. По висящему над землей на высоте третьего этажа стеклянному коридору, соединявшему центральный корпус-башню и одну из девятиэтажек, двигался врач. Отсюда, с балкона, с высоты он казался маленьким, в белой шапочке, в белом кукольном халате, он горбился, неестественно выбрасывая далеко впереди себя ноги в бахилах. Видно было столь отчетливо, что Дергачев, если б захотел, узнал бы врача. Но он не захотел. Как не захотел сегодня приглашать никого, кроме слесарей и Алуши, на свой малоестественный праздник.

Замедляя и замедляя шаг, врач двигался по кафелю всячего стеклянного коридора. Он остановился. Сел, тихо сполз по стеклянной стене, замер, обхватив голову руками. Сцепились пальцы в грязных от крови резиновых перчатках.

На шоссе вдалеке, сверкая фарами, появилась машина. У Дергачева защемило под ребрами. Желая отвлечься, он попытался идентифицировать врача и вдруг понял, что не в состоянии этого сделать. Человек, сцепивший на белой шапочке руки в резиновых перчатках, человек, сидящий на кафельном полу стеклянного коридора там, глубоко под ним, был явно ему знаком, но сопоставить внешность с именем Саша не смог. Не чувствуя своего голоса, он спросил:

— А скажи, Пауков, ты меня любишь? — и, точно зная, что вопрос был задан, ждал. — Ведь скажешь, не беда! — На всякий случай пощупал рукой: губы не двигались и голоса нет. — А не скажешь, я ведь обижусь!

Дергачев понял, кто сидит там, внизу, обнимая голову руками, но не нашел силы признаться себе в этом.

Иван молчал, он смотрел вниз, ухватившись за поручень балкона. Ни звука не было сейчас в его уме, ни вздоха. Пауков слышал Дергачева. Он смотрел в черную чашу ночи, и та казалась прозрачной, сделанной из небьющегося огромного стекла. Сфера медленно поворачивалась вокруг своей оси.

Склонив голову на маленькое покато плечо Аннушки, Карапкин, задетый за живое, плакал и жалился:

— Я не могу думать, не думаю я человек, совсем не думаю!.. Нету во мне мыслей... А если и есть какая-нибудь, то она же и слово сразу... Нет, не обязательно матом, я вообще про любое слово. — Он очень хотел заснуть, но после коньяка не мог. — А слово, оно святое, оно часть жизни... Их, слова, думать нельзя, они должны, как котятки слепые, родиться от любви, а потом, — он поморгал отяжелевшими веками. — А потом можно их утопить, а могут вырасти в большие такие, жирные кошки.

Алуша тащила за собой Крепова, запуская под его пиджак длинные мягкие руки. Пыталась увести его куда-нибудь в другое место. Ей было все равно, здесь, на глазах, или в другом месте... Ей было наплевать, она только не хотела, чтобы это было на глазах Дергача.

— Пойдем, Крепов, пойдем, миленький! Пойдем отсюда!..

— Куда? — с трудом выпутываясь из своих мыслей, отозвался Крепов.

— Пойдем, пойдем, ну хотя бы тут где-нибудь!.. Мы же быстро вернемся. — Она поймала рукой его за подбородок, заглянула в глаза. — Или боишься, весь коньяк без тебя выпьют?! Не бойся, не выпьют.

Переживая головокружение и тошноту, Витенька пытался уяснить себе, лучше будет выпить или, напротив, лучше будет закусить? Он подумал, что будет хорошее утро. Он чувствовал, как ему казалось, всей душой этих

милых и добрых, собравшихся здесь людей, и одновременно с этим возникло естественное желание разбить бутылку о голову Карапкина.

«Ну что, скотина, в девочку вцепился?— мучился Витенька.— Она девочка, а я мальчик, нам положено друг в дружку вцепляться! А тебе положено на это смотреть со стариковским одобрением,— он видел, как Алуша у всех на глазах бесстыдно лапает Крепова, и мысли сталкивались, как поезда.— Вы, старшие, должны нас, младших, учить! Что вы друг другу все, а нам, подрастающему поколению шиш, да?! Мы же так, при таких условиях по-человечески людьми никогда не вырастем!..»

— Нет,— удивленно проговорил Крепов.— Я не согласен!

Он оттолкнул Алушу и, вцепившись Карапкину в грудь, несвязно завыл, требуя от него чего-то, угрожая и наседая. Ненароčno он пихнул локтем в лицо Аннушку и, заметив, что разбил девушке губы, почувствовал облегчение.

Саша Дергачев опередил мышцы Крепова, сильно не успевающие за его желаниями. Он несколько раз коротко ударил слесаря, и тот повалился на ковер, заливая мягкие узоры ручной работы кровью из носа.

Он и не собирался сразу подниматься. Он видел шевелящийся высокий и желто-зеленый ворс перед глазами. Ворс этот попирала высокая бледная нога Алуши, обутая в изящный войлочный тапок. У ноги был такой вид, что сейчас она оторвется от пола и вступит ему, Крепову, на спину, на грудь.

Он желал унижения, но понимал: не получится. Чтобы получилось, нужно было еще что-то добавить. Колыхался, мягко спадал с высокого бедра белый халат, а в бедро упиралась красивая рука.

— Не балуйся, Вася!— поучительно напутствовал Дергачев.— Я все равно сильнее, я тебя остановлю всегда. Баловаться — это мне можно, тебе нельзя.

Опираясь на ноющую ладонь, Крепов прохрипел:

— Я тебя убью!

— Ты меня? Нет, Вася, меня убить ты не можешь.— Дергачев подумал.— Мало кто это может.

— А чего?! Я могу,— весело сказал Витенька.

Крепов сел, про все свое сразу забыв. Он очумело посмотрел на мальчика, попытался представить себе, что же сейчас произойдет, решить, стоит ли вмешиваться, спасать идиоту жизнь?

Витенька сидел на краю стола со стаканом в руке и улыбался идиотской улыбкой, болтая в воздухе ножкой.

Медлительный Саша встал, доставая до пола свисающими, как у обезьяны, руками, горбясь, подтягивая ногу. Бесшумно и мягко настиг жертву... Правая рука его прыгнула вверх, и два пальца профессионально сдавились на худом горлышке кислородчика. Витенька повел головой так, будто ему неудобно в воротничке.

В балконное стекло билась слепо очумелая ночная птица. Никто не замечал ее, она, черная, роняя длинные перья, рвалась на прозрачную преграду грудью, желая, наверное, из мрака ночи в свет комнаты, и тоже никого не видела, а видела только отраженные в бутылках и рюмках лампы.

«А мы не будем шевелиться,— чувствуя слабость в ногах, ускользящим сознанием удерживал мысль Витенька.— Мы не будем шевелиться, потому что нам так только приятнее. Ты же не будешь ломать мне кадык, ты же не раздавливаешь моих позвонков, ты просто зажимаешь сонную артерию»,— по телу от ног к голове побежали волны счастливого тока. Голова от легкого электричества закружилась, завертелась комната вокруг. Перемешались дубовые панели со стеклами.

Птица ударились сильнее, в стекле скользнула сквозь черноту ночи зеленая трещина. Дергачев повернул голову и увидел птицу.

— Ладно, живи пока,— сказал он.— Живи, идиот!

Спускаясь в лифте, Крепов думал:

«А ведь как просто, вот сразу, лишнее слово сказал, и в рай! Без задержки по плавной дуге, по параболе, полетел, как солдат из боя! Можно

ли солдата, погибшего в бою, приравнивать к алкоголику, убитому в драке? Любопытная идея, у Сергея Антоновича спрошу!..»

Двигался он все тем же коридором, будто и не покидал его никогда. Шум мотора, мрак, клубы тяжелого пара, концентрирующиеся на кафеле стен.

Нарочно открыл дверь и посмотрел. Натюрморт — строительный рабочий в измазанном краской ватнике, спал неподвижно, как мертвый, но, кажется, дышал.

Решетка болталась без скрипа на своих петлях, как будто ее только что кто-то толкнул. «Рампа» — железный помост, уставленный узкими шкафами, полными баллонами и забранный снаружи металлической решеткой в рост человека. Прогрехотав по сварному листовому железу, Крепов ощупью нашел выключатель, вспыхнул прожектор, освещая двери закрытых шкафов, распахнутую дверку, пробитую вентилем, дырку с неровными краями. Газ уже не сочился.

«Нужно как-нибудь залатать систему и хотя бы пару баллонов поставить... Я же сейчас уйду, мы все уйдем, а если еще кого-нибудь привезут?..»

Кислород с легким шумом пошел по тонким изогнутым трубкам. Крепов пощупал, медь и латунь везде были холодными, ни где не обмерзали. Напоследок он осмотрел манометры, черная острая стрелка в стеклянном кружке дрожала между цифрами восемьдесят и девяносто.

Он вернулся в подвал, запер за собой дверь, сел за стол и начал смотреть на серебряный «Аполлон», гордо возвышающийся над мысом Кеннеди в черных рычажках стартовых устройств.

«А Главный молодец, спас-таки девчонку, выживет теперь девочка!.. Болтали, донор тютелька в тютельку подошел, наверное, из родственников кто-то свое сердце пожертвовал... Сестра или брат в автомобиле разбился, — он мыслил почти лениво. — Вот бывает такое везение человеку, бывает... — повторил он. Хмель уходил из Крепова, и наполнить кровь алкоголем больше не хотелось. — Молодец Главный!»

В коридоре кто-то стоял. Крепов закурил. Ясно различалось прерывное болезненное дыхание. Человек не дошел до решетки несколько шагов, судя по звуку, он потирал возбужденные руки. С неохотой поднявшись, Крепов пошел смотреть. Перед ним в дышащей тьме коридора, ухватившись за решетку, одетый в облеванную чужую телогрейку, босой стоял, дергая синим перекошенным лицом, Георг Шалвович Эвадзе. Рука вцепилась в переплетенный металл, ногти почернели от напряжения.

— Вася, дай покурить! — увидя Крепова, приниженным голосом попросил он.

— А выпить хочешь? — спросил тот, вдруг разозлившись на свои собственные мысли.

— А есть выпить?

— А как же, есть! Иди, ребята твои сейфы вскрыли, коньяк хлещут, можешь присоединиться!

«Почему он коньяк свой не трогает, в чем здесь дело?! Смешивать не хочет! — усмехнулся про себя Крепов. — А точно, кто этой роже нальет сейчас коллекционного коньяка?!»

Эвадзе, чуть не плача, опять взялся просить:

— Ну дай, Вася, закурить! Я же знаю, есть у тебя, ну что тебе, жалко?!

— На колени встанешь, как следует попросишь, дам тебе целую сигарету. — Крепов сделался злым, он ставил эксперимент. — Или вот что, лучше я тебе спиртика плесну!

Часто затягиваясь сигаретой, Крепов угадывал мысли Главного, пытаясь представить их дословно, в точности протокола.

— Нет, я передумал, — сказал он, выдержав паузу. — Мы с тобой пойдем коньяк пить!

— Ты что, Вася, ты дурачок, да, дурачок?! — Эвадзе заплакал. — Маленьких обижать, просто взял, большой, да?..

— Не пойму я тебя, Георг Шалвович. — Крепов задумчиво смотрел на сморщенного алкоголика, лишь отдаленно напоминающего тот материал, из которого он был изготовлен спиртным несколько часов назад. — У тебя раз-

двоение личности, что ли?! Как прикажешь понимать, что ты мой спирт хочешь, а свой собственный коньяк пить не хочешь?

Эвадзе униженно опять закивал, утирая кулаком слезы.

— Вася, Вася, сделай милость Божью. — Цепляясь за решетку, он с трудом опустился на колени, не спуская глаз с Крпова, и уже откровенно завыл. — Ты ведь хороший, ты честный, ты умница!..

Крпов двигался резко, наклоняясь вперед, почти считая шаги. Георг Шалович быстро отстал и затерялся во тьме.

Пауков стоял на балконе и смотрел в ночь.

«А что если сейчас взять и заорать во все горло, разбудить все корпуса, всех братьев и сестер, всех больных и здоровых, — вдыхал он с воздухом, холодным и резким, безумные мысли и тут же выдыхал их. — Можно решиться, но тогда это буду уже не я кричать. Будет другой человек, родившийся сразу после решения, а мне надо, чтобы я кричал!»

— Пошли со мной, если тебе так про смерть интересно, я покажу! — предлагал Дергачев. — Ты смерти, наверное, не боишься, потому что не понимаешь.

— В морг опять?

— Поинтереснее. Так пошли! Пойдешь?

— А что, пошли!

Витенька последовал на некрепких ногах за Дергачевым. Он был не в состоянии вообразить, что же может быть любопытнее смерти. Он не рассчитывал на то, что прямо сейчас произойдет чудо и Саша покажет ему нечто, ужаснее смерти. Он просто пытался понять, существует ли вообще это нечто?

8

глава

Вышли из корпуса через приемный покой. В полуоткрытой двери комнаты отдыха почему-то горела голубым пламенем спиртовка. Оттуда пахло сладко тишиной и приходил шепот. Витенька видел, как двигались молчаливые тени санитаров по белым стенам, и тени женских рук наливали из теней чайников в тени стаканов парящую густую жидкость.

«Птица, — думал Дергачев, пересекая больничный парк. — Черная птица, это не зимняя, это какая-то летняя. Неясно только, уже прилетела или раненая со сломанным крылом зазимовала? А теперь вот от голода и холода взбесилась... Завтра праздник, нет, это сегодня уже праздник, четвертый час!..»

Он посмотрел на зеленые цифры электронных уличных часов. Цифры висели в ничто над голыми ветками согревающихся яблонь. И тотчас на глазах цифра пятьдесят девять превратилась в два квадратных нуля.

Через какое-то время Дергачева и Витеньку догнала Алуша. От какого-то резкого движения шапочка слетела с ее головы, попачкалась, и на бегу Алуша мяла ее пальцами. Она запыхалась, поэтому сказала не сразу:

— Вы к Мише, я догадалась! — она схватила за руку Дергачева.

Александр Александрович только кивнул.

— Ну, тогда я с вами, — быстро говорила она. — Я должна там быть. Я человеку укол морфия обещала, а внутри не пройти, все перекрыто, может, ты проведешь? Я думаю, раз ты этого туда на экскурсию, значит, и мне по делу можно?!

Какое-то время ушло у Дергачева на переговоры с охраной, и их пропустили. В конце коридорчика была еще одна дверь с шифром, но уже за нею находилось обычное отделение. Двери в палаты, полумрак, никого нет, за стеной приглушенно гудит какой-то прибор.

В коридор падал из полуприкрытой двери острым углом белый свет, особенно яркий и жесткий в мягкой больничной этой полутьме.

— Всем привет! — весело сказал Дергачев, первым проходя в свет. — Не спим, значит? С праздничком!

— Ты не один, Саша? — услышал Витенька женский голос.

— А как же!

— А сколько вас?

— Я в трех экземплярах, со мной юный кислородчик и еще одна леди.

— Да ладно тебе, — Алуша, тоже прищуриваясь, шагнула навстречу яркому свету.

Когда глаза Витеньки наконец привыкли, он увидел в центре ярко освещенного белого медицинского помещения блестящий полированный стол. На столе возвышалась распечатанная бутылка шампанского, бутылка дорогого марочного вина, в казенной посуде какие-то дорогие закуски. Прямо напротив сидел очень худой человек: курчавые светло-рыжие волосы, огромные усы, ненормально прямая переносица, большие зеленые глаза. С точки зрения Витеньки, ему было не меньше тридцати. В глаза бросалась пижама, ярко-желтая с красными звездами, американская.

Кислородчик чуть-чуть повернул голову: слева, прямо под лампой, сидели сестры, уже немолодые тетеньки, вяло попивающие из хрустальных бокалов шампанское.

«У отца есть, кажется, такая же пижама?» — подумал Витенька.

Он еще немного посидел в тихо переговаривающейся о пустом компании и, никем не остановленный, пошел гулять по закрытому помещению. В огромном отделении, как и везде, были палаты, процедуры. Процедуры были пусты, а был ли кто-нибудь в палатах, может быть, больные просто спали, Витенька не определил и проверять не стал. Случайно он толкнул дверь в перевязочную, она оказалась открыта. В шкафчике обнаружился спирт. Витенька выпил спирта, запил водой из-под крана, пополоскал рот, нашел в темноте стул, сел и стал смотреть в окно на луну.

— Скажи, Саша, — спрашивал человек в дорогой пижаме. — А вот ты чувствуешь, когда они умирают, твои собаки, ведь что-то же происходит, какое-то внутреннее событие? Вот живое существо, а вот его уже и нет, где оно?

— Не знаю, — отозвался Дергачев. — Я, Миша, точно не скажу тебе...

Алуша недоверчиво посмотрела на Дергачева, взяла его руку в свою.

— Не нужно об этом, Саша, не говори лучше, — тихо попросила она.

— А всегда, в общем, видно, — вздохнул Дергачев. — В общем, видно, куда они...

— И куда же? — Дергачев увидел прямо перед собой вдруг оживленные мыслы большие зеленые глаза и не смог промолчать.

— Ну, с добром, радостно, печально или боятся многие, тогда хуже... Они же не люди, понимаешь?! Не люди они. Они ни сказать не могут, ни подумать не могут, поэтому и видно. Иногда за неделю до операции видно, ее еще не выбрали, донора нет, никаких анализов не делали, только привезли, а она уже сетку грызет, воеет, умирать не хочет! Если молодая, конечно. Старики, они иногда попадают спокойные, посчастливее.

— А по-моему, смерть — она смерть для всех, — сказала дежурная сестра. — Я так только и понимаю, что ты умрешь, что я умру, не будет-то разных людей, но не будет одинаково.

Алуша отпустила Дергачева и взяла руку Миши.

— Пойдем, — ласково сказала она. — Пойдем, я тебе укол сделаю.

Очень тихо, очень издалека, отчетливый, звенел телефон, мелодичные стеклянные звоночки. Один, два... пять.

— Пойдем, — сказал Миша, и рыжие пушистые волосы накрыли зеленый блеск его глаз. — Пойдем!

Алуша хотела помочь, поддержать, она уже сообразила, где можно здесь достать кресло-каталку. Но Миша пошел сам, только оттолкнулся теплой ладонью от протянутой ее руки. В покачивающейся полутьме коридора она увидела неожиданно для себя: легкая походка, чуть вскинутая голова, он шел вдоль стены, он был так хорош, что на мгновение она даже усомнилась, но

Миша останавливался, желтый с красными звездами рукав падал на локоть, белая худая рука сжимала косяк двери.

В небольшой одноместной палате продолжал звонить телефон. Вспыхнул ночничок, скрипнуло кожаное кресло.

«Девятый гудок, десятый», — считала Алуша.

— Я весь внимание! ну, привет!.. Ну, как ты думаешь? Отлично! Да, говорят, что больше недели не протяну!.. — Алуша вслушивалась, замерев, в его вдруг веселый деловой голос, боялась пошевелиться. — Ну, конечно, срунда!.. Нет, не беспокойся!.. Выкладывай, выкладывай!..

Целую минуту он молчал, наверное, слушал. Алуша сделала маленький шаг, заглянула в палату. Прямо перед ней оказался серый квадрат экрана — выключенный телевизор, высокая металлическая спинка кровати.

— Да, я рад, что ты закончил! Ты молодец!.. — Еще минуту он слушал. — Ага, понял!.. Не перебивай, пожалуйста, я понял! Ну что я могу тебе посоветовать, ну поезжай к Андриевичу и возьми, можешь на меня сослаться!..

Высокая металлическая спинка, слабый свет ночника, глубокий красный ковер на полу. Миша говорил уверенно, но тихо.

— Ладно, ладно, ты, наверное, забыл, что сегодня уже ночь! Да, представь, я теперь вынужден помнить о таких вещах. Привет всем, приносите яблоки!

— Приносите яблоки. — шепотом повторила Алуша. — Приносите яблоки, Господи!..

«Нет, пожалуй, он не уголовник, — думал Витенька. — Он шишка! А еще говорили, что Эвадзе у какой-то шишки незаконно лекарства взял! У этого! Ага, вот оно что страшнее смерти, лекарства взял».

Вскоре Витеньке надоело сидеть на одном месте и смотреть на луну. Он вышел и, нарочито волоча ноги, поплелся по коридору. Скрипнула дверь, прозвучали шаги, две пары ног, и в одной из процедурных, несколько минут назад мертвой, желто загорелся свет.

Он сделал несколько шагов и заглянул в окошечко, обычно прикрытое белой шторкой, но сейчас голое.

Сквозь квадратное тонкое стеклышко ему отчетливо видна была толстая белая рука в закатанном рукаве дорогой пижамы. Она лежала, мягкая, на клеенчатой подушечке.

Алуша что-то спросила вполголоса, и Витенька услышал отчетливое недобрительное сопение, дескать, не хочу. Медленно Витенька прилипал лицом к теплему гладкому стеклу, вглядываясь в накрахмаленную шапочку медсестры. Губы — красный бантик, шевелящийся от напряжения. «И когда она только губки успела подвести?»

В распахнутое ночное окно ледяным холодом весны лезет желтый ночной фонарь, и фонарь перечеркивает сухая ветка. Приглушенные голоса лишь чуть-чуть трогают слух. Игла медленно, он видит, нащупывает ускользающую в сале вертящую вену.

«И откуда фонарь? Не было никакого фонаря! — думает Витенька. — Наверное, там, за стеной окна в другую сторону выходят?! Часы были, фонаря не было».

— И не мучает? — спрашивает Алуша.

— Белое на белом не видно. — отвечает Миша. — Понимаешь, это что-то вроде черной кошки, чистой воды мистика. Сниму кольцо, так сразу начинаются приключения!.. Сперва думал, кажется, выдумал. Нет, гляжу, так и получается в жизни, как выдумал. Вот слушай, на прошлой неделе нянечка наша, тетя Клава, на меня, дурака, горячего чая стакан опрокинула!

— Ты и это помнишь?

Бантик дергается, игла ищет, ловит в сале убегающую живую вену.

— Я все помню, так устроен. Вот и сейчас запомню каждую соринку на полу и тебя. Знаешь, потом, не скоро, перед сном закрою глаза и увижу тебя.

— Меня увидишь?

Тонкие пальцы Алуши потянули поршень, и под черточку деления в стекляшку шприца дымно проникла капелька крови.

— Знаешь, вот сейчас вспомнил одного, большая умница мужик, инже-

нер-строитель, лысый такой, смешной, как котик, и еще три расчески всегда носил. Так он что, берет какое-нибудь колечко с двумя красными камушками, подойдет к незнакомой девушке где-нибудь на автобусной остановке и говорит: «Хочешь, подарю?» А потом вспоминает всю жизнь, какие у нее были руки, какие морщинки на лбу...

— Подари!

— Колечко, что ли?

— С двумя красными камушками...

Витеньке становится стоять в коридоре под дверью неловко. «Но я стою здесь оттого только, что сильно пьян. У пьяного человека тормоза не работают, и воля его — мягкий пластилин», — Витенька морщится, щиплет себя за колено, кричит себе внутрь диким голосом: — Убирайся отсюда, поганая сволочь!.. Это не твоё, это не тебе!..»

Но его тянет к квадратному стеклышку, как к намагниченному звенящими губами:

— Будет твоё, — говорит Миша, — только не скоро, не сейчас...

— Да ладно тебе...

Игла выскочила из кожи, и рука Миши дернулась на клеенчатой подушечке. Витенька увидел, как в глазах у Алуши оказалось сразу свежо и пусто, как развязался алый болезненный бантик. Он увидел, что под нижней губкой живет у нее своей обстоятельной жизнью желтоватый круглый клычок.

— На очередь на квартиру надо вставать, — говорит Алуша устало. — Все никак за документами не соберусь. Сумятица все такая бесполезная.

— А можно, мы немного так, вдвоем посидим? — спрашивает Миша.

Железно-стеклянный шприц, звякнув, оказывается в своей коробочке.

— Конечно, что ты, конечно! Это я так, про свое, взгрустнулось что-то, не знаю... Сиди, Господи!.. Сиди, Миша, я с тобой с удовольствием посижу!..

Витенька, покачнувшись, обернулся. В окошко падал рассеянный белый луч, и кислородчик оказался в этом луче, на противоположной стене колыбалась его тень. Тень никуда не торопилась. Витеньке казалось, что в его тени есть что-то величественное, болезненное.

Витенька повернулся и опять посмотрел сквозь стеклышко. Глаза его напоролись на глаза Алуши. Глаза Алуши смотрели ровно, они были готовы уничтожить всю его душу одним плановым ударом, и уйти стало невозможно.

— Вот и помочь тебе никто не может, — звучал голос Миши. — Не люди, что ли? На словах у всех действительно красиво и здорово, а на деле вероятный ноль.

— Ноль, — отозвалась Алуша. — Сестра и могла бы, но у нее самой двое, погодки, мальчик и девочка — Алечка.

— Погоди-ка, у нее двое, а у тебя? — голос Миши не изменился.

— Тебе обязательно знать? — вслух Алуша вздыхает, переживает голосом, а в глазах только больше жестокости и холода. — А, все равно, мне тебя не ловить, чего скрывать!.. Трое у меня. Петьке семь, Илюшке годик, — она усмехнулась. — А Вовик в середке.

«Трое детей! — восхищенно думает Витенька. — Надо же, никогда бы про нее не подумал! А что бы я подумал, если бы не узнал? Подумал бы, что врет, а теперь почему-то думаю, что не врет, а действительно!.. — Витенька видит, как Алуша, отпустив его глаза, проводит своей материнской рукой по щеке Миши, и кислородчика начинает трясти, колотить озноб. Алкоголь, проделав по телу круг, опять въезжает в голову на всех парах. — Трое детей! — сообщает он. — И по трое на ночь!.. — Теряя соображение, он опять нравится себе глубинной, изысканной внутренней афористичностью, хотя где-то на грани его живого, неровно работающего сознания держится красной точкой, беспокоит контрольное определение: подонок. — А ведь я не могу подчиниться сам себе, — вырастает из одного слова, из одной точки в сознании красное облако. — Я ведь почему такой честный? Я честный в меру своей детской непосредственности, подонок!..»

Дергачев перестал думать, он ощутил себя собакой, втянувшей ноздрями запах чужого, большая нога двигалась совершенно бесшумно, и ему показалось (мелькнули перед глазами фары по мокрому шоссе), что он на улице и опять

глубокая лунная ночь. Тихим-тихим шепотом он говорил Витеньке прямо в ухо, при этом рука его вцепилась в плечо кислородчика клещами.

— Теперь ты все понял?! А если не все, так сейчас поймешь! Миша завтра умрет, а ты, дрянь хилая, завтра останешься!.. — За плечо он потащил Витеньку в сторону и толкнул в заранее открытую дверь лифта, и только когда две половинки автоматической двери соединились, тыльной стороной ладони выбил кислородчику два передних зуба.

— Что же, что же здесь любопытного?! — с трудом сдерживая рыдания, спросил Витенька. Лифт почти бесшумно пошел вниз.

— А знаешь? — Дергачев отпустил его плечо. — А ты знаешь, — он не мог сообразить, что можно сейчас рассказать. — Ну вот представь, — он сжал кулаки и вспомнил... — Ну, в общем, ладно, не твое это дело!

— Но покойники-то, покойники!.. — попытался восстать Витенька.

— Покойники, они не интересные, — обрезал Дергачев. — С ними уже все, и поэтому не страшно! Страшно, когда живой, понял?! — Прижав кислородчика к стенке лифта, он оттягивал пальцем его нижнюю губу. — Что, больно? Будешь плакать, все выбью! — это он говорил уже другим голосом, с другой интонацией. — А будешь настоящим мужчиной, обещаю, послезавтра будешь опять при них! Железо я не признаю, фарфоровые вставим, белые, как у негра, и не болят!..

Во рту у Витеньки солоно и горячо, рот быстро наполняется собственной кровью. Очень хочется зарыдать в голос, но он держится, очень уж нужны обратно зубы. Покатав во рту языком, выплюнул на ладонь вместе со слюной и кровью два красно-белых костяных огрызка.

Дергачев на миг задумался.

— А знаешь, праздник сегодня, пойдём гулять?!

— Пошли, а куда пошли, все же закрыто! — он не мог понять, куда несется лифт, то ли вверх, то ли вниз, но добавил: — Пошли!

— Молодец ты, решительный, одобряю! — Кнопкой «стоп» Дергачев остановил лифт, предложил жестом Витеньке выходить. — Пойдем гулять по ночной столице.

9

глава

Крепов и Карапкин спали, как родные братья, положив две головы на один стол. Крепов с одной стороны, Карапкин с другой. Между их головами стояла початая бутылка коньяка. Поскучневшая Аннушка сидела на диване рядом с Виктором Дмитриевичем. Паукова нигде не было видно.

— А где Ванечка? — задиристо и громко поинтересовался Дергачев. — Неужели спать пошел?!

— Пауков нас на улице, на воздухе ждет, ты же говорил, что веселиться поедем!

— Как я не догадался, точно, ждет! — Дергачев возвел очи горе. — Такой разве спать пойдет, когда жареным пахнет?!

Алкоголь опять описал круг по телу Витеньки, и тот, неожиданно воодушевившись, заорал:

— Возьмем тачку и по бабам!..

— По ком? — поинтересовалась Аннушка. — Я не поняла.

Через пять минут Дергачев сел на середине шоссе, не давая проехать белому такси. В оранжевом свете ночных фонарей машина ему казалась шершавой. Сердце Александра Александровича стукнуло лишние несколько раз, но он сдержался.

— Куда поедем? — поворачивая несколько раз щелчками завод счетчика, вяло поинтересовался водитель.

«Тоже в коже! — отметил Дергачев, рассматривая жирную, туго завернутую в лайку спину. — Гад!»

— Купаться поедем, — сказал он совсем спокойно.

— Куда?

— В бассейн «Москва» гони! Только я тебя попрошу. — Дергачев потянул шофера за хрустнувший ворот сзади. — Ты будь любезен, на светофоры не рефлексируй, мы спешим! Нам очень срочно нужно окунуться, снять дневное напряжение.

Пауков будто летел по воздуху со скоростью девяносто километров в час. Тело его, грузно оседавшее на переднем сиденье, вибрировало в тепле и несло с силой мотора, а чувства скакали впереди машины по звездному небу, по фонарям. Больше всего ему нравилось рвущееся под капот черного глянца ночное шоссе. Внутри Паукова неслись теплые потоки, похожие на мысли.

Аннушка потянула Дергачева за рукав.

— Саша, там закрыто!

— Где закрыто? — удивился собачий хирург.

— Ну, бассейн «Москва», на ночь его же закрывают, кажется?!

— Кому закрыто, а нам откроют! Верно, шеф?!

Шофер втянул голову в маленькие круглые плечи, и Саше от этого сделалось легче.

— А я все поняла, у тебя там сторож знакомый!

— Два сторожа! — Дергачев слегка провел пальцем по лайковой спине шофера. — Он и его собака.

Машина, разломив гладкие лужи в черные брызги, встала впритык к бордюру.

Водитель схватил красненькую бумажку, крикнул и сам испугался. Дрожащими руками попытался тут же одарить Александра Александровича сдачей с точностью до медной копейки, но Дергачев, не обращая внимания на поплывшую к нему лодочку руки, уже выбрался из машины, только дверцей шарахнул на память. Копейки посыпались под ноги на черный резиновый пол.

— Это на чай тебе будет, — пояснил Пауков, последний выбираясь из машины и тоже изо всех сил хлопая дверцей.

Пересекая залитый электрическим светом скользкий асфальт, Дергачев, не оборачиваясь, пошел к бассейну. Огромная каменная чаша — дыра в массиве ночного города лежала перед ним. Казалось, бассейн наполнен белой водой. В свете прожектора, неподвижно бьющего сверху вниз, вода чуть пошевеливалась, густая и свежая, слизывала кафельные берега. В центре бассейна светила рядом с высокой стеклянной будочка. Внутри будочки хорошо был виден бородач в фуражке и синей форме, он отхлебывал из большой фарфоровой кружки чай, он сам с собою играл в шахматы.

— Ну и как теперь? — спрашивал Пауков, которому больше нравилось ехать. Он с удовольствием бы въехал в бассейн прямо на послушном такси.

— Ну, а как ты думаешь? — Дергачев ухмыльнулся. — Через заборчик придется!

Тут же собачий хирург пожалел о сказанном. Пришлось ловить Витеньку, после этих слов с грохотом атаковавшего небольшой железный заборчик.

— Балда, да не здесь! Вот же! — Саша толкнул решетку. — Калитка, ее не запирают. — Он через голову стягивал свитер. — Не море, конечно, зато вода чистая, только что сменили.

Он бросил свитер и как-то сразу увидел наморщенный лобик Аннушки, ее широко распахнутые глаза.

— Дергач, у меня купальника нет, — сказала она. — Я, наверное, не буду...

— Будем купаться в чем мать родила!.. — пьяно перебил ее Витенька и расстегнул джинсы.

— Ладно, — наконец решила она. — Только я последняя.

— Ох, какие мы сентиментальные! — расстегивая и снимая рубашку, атаковал Витенька. — Благородный институт!

— Ты только не шуми, — охладил его Дергачев. — А то сторож, он хоть и мой знакомый, может по знакомству милицию вызвать.

Еще раз отметив, что ехать все-таки приятнее, чем стоять и ходить, Пауков пытался представить себе, что могут им сделать за ночное купание в бассейне «Москва», представить в виде срока в годах. Выходило мелкое хулиганство, всего пятнадцать суток.

Раздеваясь, он каждую вещь встряхивал, складывал и аккуратно развешивал на заборчике, после чего быстро перебежал вслед за Дергачевым и кинулся головой вниз с высокого бортика в горячую, парящую воду.

— Мы не смотрим, можно идти, — крикнул негромко Дергачев.

Встав в воде по горло, Витенька смотрел сквозь белую пелену поднимающегося пара.

Аннушка, оскользаясь босыми ногами на темном кафеле, пересекала луч прожектора. Для себя неожиданно кислородчик икнул, попытался удержаться от следующего спазма, не получилось. Тогда он нырнул, добрался до дна и перевернулся на спину. Напрягшись, лег на холодные квадраты и посмотрел вверх, сквозь воду на прожектор и звезды. Тело с силой тащило вверх, в ушах звенело.

«Какая теплая вода, туман! — думала Аннушка. — Все-таки здорово купаться голышом! Зря я на море тогда скандалила... Ребята какие! Какие ребята! — Быстро выбрасывая тренированные руки, она пересекала бассейн. — Как хорошо здесь, мелко, наверное, скучно, как мелко!.. Хорошие ребята! — пар ел глаза, по телу назад бежали теплые потоки. Она подняла голову, пытаясь сориентироваться, нащупать ногой дно, кончиками пальцев нашла опору. Прямо перед ней, в полуметре, за толстым стеклом горел свет. Она смотрела снизу. Край большой шахматной доски... Отметила про себя: «Старые фигурки, у королевы головка отломана! — Над доской повисала рука с белой фарфоровой чашкой, прыгающей на фоне бороды. — Ладно», — Аннушка оттолкнулась, нырнула, пошла вниз, поплыла, задевая грудью теплое дно.

Пауков встал, вода доходила только до его груди. Он вдохнул пар, замер, сложил руки. Чего-то не хватало ему, он уже не хотел ехать, ему не нужна была скорость, ему хорошо было неподвижно стоять.

— А ты что, Ваня, плавать не умеешь? — раздался откуда-то сзади шепот Дергачева. Железные руки надали Ивану на плечи. Он легко выскользнул, встал и вдруг неожиданно для самого себя размахнулся и ударил ладонью по воде. Как выхлоп машины, как выстрел пролетел над водой короткий звук.

— Умею я плавать, умею! — прошептал он и облизал губы. — Умею я плавать! — Он обернулся, но никого не увидел. — Где ты?

Аннушка вынырнула, когда кончился воздух. Лицо обдало холодом. Сквозь преломившуюся в мокрых, прилипших к лицу волоса текущую радугу сверкнул прожектор, сверкнули, поворачиваясь, фонари площади. Она смахнула рукой волосы с глаз и сразу увидела. Он взялся, казалось, ниоткуда. Белый силуэт на фоне темной воды.

— Да умею я плавать! — крикнул Пауков. — Умею!

— Дурак! — усмехнулась Аннушка и опять нырнула. Под водой ничего не было видно. Колебание воды сверху, и теплая твердая дрожь снизу. Сердце билось ровно, но его было слышно.

Сердце колотилось радостное, не успевая. Витенька чувствовал его недостаточные толчки, как спазмы восторга и злости. Он старался двигаться бесшумно, переворачивался, вонзал в плотную теплую полупрозрачность воды вытянутые сжатые пальцы, они входили, как хлебный нож в дрожащий холодец.

«Дергач — это сила! — думал Витенька. — Достаточно сделать шаг, и ты увидишь сколько всего можно!.. Ночное купание... «Зима, крестьянин торжествуя»!.. А мы плаваем... С голыми девочками... А где она?.. Он повертел головой, плеснул ногами, нырнул, встал на дно. Было мелко. Где она?»

Аннушка быстро выходила из воды. Она успела заметить, как к стеклу будочки прижимается бородатое лицо. Борода облита сладким чаем. Среди рассыпанных шахмат рука сторожа ищет кнопку.

«Сейчас он ее нажмет!» — сообщает Аннушка.

Палец находит кнопку, вминает ее, и по воде бьет сирена.

— Если возьмут, — быстро говорит Дергачев, выталкивая Витеньку из воды. — В милиции молчи как глухонемой, я буду говорить!

По глади площади быстро ползли фары дальнего света.

— Нет, одеться не успеем! Бежим так!..

Прижимая к себе большой ком одежды, Витенька бежал впереди всех. Полоса света, полоса мрака, мелькали закрытые двери раздевалок, закрытые окошки касс. Между кассой и раздевалкой над ее различным плакатом ДОСААФ кто-то в трусах с чем-то в руках. В железной подставке прямо перед ним торчал неподвижный красный флаг.

«А ну-ка!» — одна рука перехватила одежду, другая рванула отшлифованное древко.

Флаг легко поддался, как-то сам собой оказался над головой. Затрепетало, мгновенно развернулось сырое узкое полотнище.

Во главе со знаменосцем, отбрасывая на гладь асфальта длинные множасьи тени, четверо голых, белых в сиянии ночи людей пересекали большую улицу. Не было ни одной машины, не было прохожих, сверкали только прожектора, и светили фонари.

Они были посередине шоссе, когда на малой скорости, как бы из ничего, выпелился огромный мягкий автобус.

— Интурист! — присвистнул Дергачев. Он сжал кулак и поднял руку, приветствуя дружественных иностранцев. — Рот фронт, камарадос!

За спиной Паукова надрылась от ужаса сирена. Для остальных ее не было, не обращали внимания, а Ванечка чувствовал, как безумие льется сзади на его затылок. Он боялся обморока. Босым ногам, бодро ступающим по холоду весеннего асфальта, было жарко и колко.

Автобус осветился внутри, в квадратных окнах запрыгали лица. Неприличные, длинные козырьки шапочек, руки в кольцах. Иностранцы, наподобие Дергачева, показывали сжатые кулаки, выставляли длинные пальцы, остро заданные вверх.

— Виктория, — прошептал Пауков. — Победа. День Победы! Что они нам хотят доказать!

Почти уже у самой цели, у реки собачий хирург окончательно почувствовал свою ногу, с детства не желающую сгибаться, но стерпел.

Шум автобуса ушел и затих в глубине ночной столицы. Со стороны бассейна ветерком доносило сухие голоса. Там светили фары и ходили тени.

По высоким ступеням набережной четверо спустились вниз, с черной свободной воды двигался холод. Быстро одеваясь, Витенька старался не смотреть на Аннушку, отжимающую волосы.

— Ну, вот и все. — тряхнув головой, веселея на глазах, бросила она. — Если нас теперь арестуют, скажем, что в реке купались.

— С набережной, да? — зло спросил Пауков: его все еще мучила умоляющая сирена.

— Ну и что, что с набережной?

— А то, что за бассейн пятнадцать суток, а за реку на год можно поехать!

— Это что, правда?! Действительно на год? — Непослушной рукой она сворачивала на голове сырые волосы в тяжелый пучок.

— Это из-за тебя все, Ваня. — неожиданно обиженным голосом сказала Аннушка. — Нужно было тебе?..

— Что нужно? — не понял Пауков.

— Нужно было тебе заорать?!

— А я не орал. — в темноте Пауков пытался разглядеть лицо девушки, понять, в чем смысл шутки. — Что я орал? — И вдруг он спросил, повернул голову в сторону Дергачева: — Саша, а почему его никто не трогает? Я про нашего Георга, Главного. Ведь должны быть анонимки, должны быть подписанные анонимки... Его же на партбюро, райком, и до свидания, карьера!..

Дергачев ответил не сразу, он помедлил, раздумывая, следует ли вообще отвечать Паукову на такие вопросы, но образ Ивана соединился в нем с образом Георга Шалвовича в одно лицо, в одну прямую, в ее отрезок, где Пауков стоял в начале пути, а Эвадзе почти в финале.

— Он гений. — медленно сказал Дергачев. — Понимаешь, гений.

— Тем более, если гений. — отозвался Пауков.

— И он как гений кое-кого спас. Кое-кого там. — и Дергачев ткнул пальцем в медленно и неровно светящее небо. — Хватит, пошли домой. — подытожил он. — Спать пора.

«Безобразие все это. — думала Аннушка. — Но нужно же хоть раз в жизни немного похулиганить! В конечном счете у меня сейчас рабочее время, фактически я на работе... И работа вся выполнена, по крайней мере, по объему», — она вспомнила санитар-поэта и почему-то не расстроилась.

10

глава

Крепов неподвижно сидел на стуле, смотрел на спящего Паукова, молчал. Пауков открыл глаза и спросил:

— Чего молчишь?

— Жену в больницу сдал, — отозвался Крепов. Он смотрел трезво и спокойно, только на самой глубине глаз было что-то отталкивающее, какая-то скрытая точная мысль.

— К нам привез?

— Точно, Ваня, сюда, на четвертый этаж.

— А операция когда?

— Завтра.

— Сегодня сдал, а завтра операция, значит? — с трудом Пауков присел на банкетке. — Ты извини, Вася, а скажи, какое сегодня число?.. Праздник что? Все, кончился?!

— Десятое, — Крепов прищурился. — Давно спишь, пора вставать, твоя смена.

— А твоя когда была?

— Моя смена кончилась, ты меня сменяешь, вот так, Ваня, я пошел отдыхать. Привет!

Быстро он поднялся по ступенькам и вышел наверх, в коридор первого этажа. Остановился у залитого ярким солнцем занавеса.

Прошелестели по линолеуму резиновые колеса, легко хлопнула дверь. Кто-то легонько толкнул Крепова в спину. Голос у врача был очень знакомый, радостный, полный сверкающего металла:

— Ты только посмотри, посмотри сюда!.. Нет, ты глянь! — молодой доктор в мятой белой шапочке и длинном белом халате, из-под которого торчали начищенные носки ботинок, отодвинул штору и чистой ручкой приложил к стеклу черный рентгеновский снимок.

— Ты видал, Вася, штопор проглотила баба! Никогда бы не поверил! Это ж умудриться надо! — глаза его блеснули так же, как и голос, он только что заступил на смену. — В моей практике первый случай!

Снимок был большой, сорок на пятьдесят, сверху металлическая пластинка с держателем, внизу на пленку приклеена квадратная бумажная бирка с номером.

— Это она, пока милиция дверь ломала! Трудно себе представить, — он немного повернул снимок. — Но факт! Уголовка! — врач неприлично хрюкнул. — Валютчица, говорят!

— Валютчица, тогда понятно. — вздохнул Крепов. — А куда ее теперь?

— Куда ж ее? В бокс, за решеточку, эмвездешников нагонят, — врач поморщился, хорошо представляя себе грязные сапоги охраны и медицинские халаты, небрежно брошенные на милицейскую форму.

Как он оказался в административном корпусе, Крепов не понял. Он будто отсутствовал какое-то время и одновременно шел, говорил с кем-то, кому-то что-то советовал и вдруг увидел себя в длинном прямом коридоре. Он шел по коридору.

«А ведь я не хочу идти домой, я ведь хочу назад в подвал, к Карапкину, к этому Паукову... Я даже к Натюрмарту привык, примелькался Натюрморт!.. И без него тоже в моей жизни пустовато станет. Но не пойду! Нужно остановить себя, не ходить, не возвращаться. Как просто сделать круг, прямо отсюда: из администрации спуститься в подвал по лестнице, через первый этаж и вниз...»

Мысль Крпова оборвалась. Он как на стену наскочил на недобрую улыбку Леонида Борисовича. Припадая спиной к стене, возле кабинета Главного стоял Леонид в темном костюме. Рыжие волосы зачесаны назад. Стоял, как цапля, почти на одной ноге, покуривая дорожную сигаретку.

— Ну как, старичок, жив еще? — спросил он. И сделал движение рукой, как будто в ней все еще находилась трость.

— Жив, — буркнул Крпов.

— После того случая маний преследования не страдаешь?

Крпов хотел уйти, но рука Леонида поймала его за пуговицу.

— А ты чего здесь? — угрюмый, пытаюсь освободиться, поинтересовался Крпов.

— А я застрадал, застрадал, знаешь... — Леонид против своего обыкновения старался не смотреть в глаза.

Из-за плотно пригнанной двери кабинета доносился резковатый голос Главного. Эвадзе говорил с сильным грузинским акцентом:

— Это как квартира, как у себя дома!.. — кричал он на кого-то. — Дома ты окурков на пол не бросишь, да?!

— Брошу, — отзывался кто-то.

— Врешь, не бросишь! Больница, наш хирургический центр — это наш дом!.. Это главное дома, важнее!

«Твой дом», — подумал Крпов.

— Слушай, Вася, ты тут живешь почти, должен знать, — голос Леонида не изменился, только интонация стала немного слащавее. — К вам тут вчера или сегодня женщину одну привезли, светленькая такая, худенькая, бедняжка!..

«А ведь он ищет ту, что штопор съела!» — непонятно почему подумал Крпов.

— Бедняжку, твою под конвоем привезли, шупленькая, светленькая... Я рентгеновский снимок видел. В бокс поместили, туда не пускают.

— Да ты меня не так понял, — неестественно расхохотался Леонид. — Да нет, это ерунда!.. Хорошо шутишь, Вася!

— Ты извини, я пойду, устал, — Крпов осторожно отнял пуговицу у Леонида. — Жену в больницу положил, на четвертый этаж.

Уже за спиной он услышал, как хлопнула дверь и голос секретарши спросил. «А вы, товарищ, по какому делу?»

Шел Крпов медленно, старался, чтобы внутри тоже все было медленно. В голове не было ясности. Насильственно возникающее спокойствие не вело к свободе и покою, оно было жадным, это спокойствие, оно выводило его на чудовищные дурацкие желания. Липкие желания, мгновенно перерождающиеся в живые мысли:

«Там пусто, дома, — двигалась в нем за предыдущей, ужасной следующей, уже человеческая мысль. — Что я там делать буду один? Но я хотел этого одиночества, этой свободы, может быть, перемены... Почему больше не хочу?! Прийти домой, приготовить себе ужин, развалиться в кресле с книгой... Где она, легкость? Ее не бывает теперь даже во сне...» Задумавшись, он не заметил, что зашел в телефонную будку и уже набирает номер.

«Сяду и засну в кресле с книгой, и ничего, никого не надо!»

— Это приемный покой? Николая, санитаря, пожалуйста! — сказал он в трубку спокойно и твердо и не успел испугаться собственного действия, движения, явившегося вопреки мысли, вопреки явному плану. Только подумал:

«Ну вот, опять все. Зачем он мне? Зачем я ему звоню?!»

Двигалась улица, замусоренная нескончаемым праздником, разьедаемая холодом, вечерней темнотой. Ее не вспороли еще электрические шеренги фонарей. Крпов прижал лицо к грязному сухому стеклу, посмотрел, как смотрит из стакана жук, посаженный туда любопытным ребенком. Ему не хотелось наружу, на свободу. Он странным образом ощущал себя заключенным внутри телефонной будки. Заключенным в собственное действие, противоречащее его, Крпова, желанию и мысли. Действие было удобнее желания, он не хотел больше свободы.

Двигался красно-желтый маршрутный автобус, водитель курил, сдавливая сигарету усталой волосатой рукой, другой рукой медленно-медленно, заученно

и бездумно поворачивая свою баранку, плотно обмотанную красной изолентой. Трепыхался на своем ветерке забытый флаг.

— Николай у аппарата.— раздалось знакомое в трубке покашливание.— Или, может быть, вы хотите какого-нибудь другого Николая?

— Тебя.— сказал Крепов.— Ты можешь прийти ко мне сейчас?

— А что случилось, Вася?

— Ничего не случилось, я просто еще не отпраздновал, вот хочу тебя пригласить.

— А жена как? Не будет против твоя Ирина?

— Ирины нет.— Он немного подумал, не хотел, но добавил: — И не будет больше.— подождал секунду.— Ты вот что, Николай, девочек кого-нибудь пригласи!

— Женское лицо?

Крепов не представил, он увидел сквозь зажигающийся город идиотскую ухмылку на круглом лице санитара.

— Женское лицо.— повторил он, как повторяет автомат.

— Ладно, все понял, будет сделано.— Он сказал что-то кому-то там в клинике и пропел в трубку: — «Все будет, коньяк и цыгане!..»

— Что, что ты там говоришь?! Извини, я не расслышал.— В трубке бегали короткие гудки.— «Коньяк и цыгане.— повторил Крепов.— И девки в ажурных чулках!»

Медленно Крепов поднялся по лестнице, долго выбирал из связки нужный ключ, открывал дверь. В полутьме квартиры белели рояль и развернутые ноты. На кухне дребезжал холодильник.

Не разуваясь, не снимая плаща, он тяжело прошел через комнату и повалился лицом вниз на диван. Диванная подушка пахла лекарствами. Ноги неудобно свешивались, но долго, до самого звонка в дверь, Крепов не шевелился, удерживая теплое оцепенение.

В проеме открытой двери стоял Николай. Из-за спины санитара выглядывало густо нарисованное личико Галины Петровны.

— Ну, вот и мы, рад?

— Приветик, Васенька.— сказала и она густым голосом.

Опять заливал плавущий со свечи воск цветные фрукты клеенки на кухне. Крепов включил магнитофон. Теперь музыка звучала постоянно. Она то вламывалась в сознание, то совершенно исчезала для слуха. Крепов смотрел, как подсыхают на полу длинные следы грязи от ботинок. Босая нога Галины Петровны, снятая левая туфля... Крепова подташнивало. Непонятно, подташнивало его от голода или от спирта.

Пили спирт, закусывали черным сухим хлебом и холодной скользкой курицей, похожей на обмороженного покойника.

Николай, проглотив четвертую по счету стопочку, закусил смятым хлебным шариком и неожиданно густым басом запел, перекрывая музыку:

— Благодарим Тебя, Господи, ибо насытил нас земных Своих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия, аминь.— Он расстегнул рубашку и пятерней пощупал на волосатой груди серебряный массивный крест.

— Чего это ты придуливаешься? — спросила Галина Петровна.— Вася, чего это он?!

— А он в Бога верует,— отозвался Крепов.— А ты что, не веруешь, что ли?!

— Я? Я не знаю... Крещеная, в общем... И в церковь хожу. Хожу!

— Это хорошо, что ходишь.— Николай поцеловал свой крест и сказал густо и вдумчиво: — Если тебя ломает от этого,— он ткнул ногтем в стопку.— Крутит, полощет, если съешь стакан спирта на отходняке...

«Какой ужас,— думал Крепов.— Какая грязь?! Почему я в этом?.. Почему я влезаю в это по собственной воле?!...»

— О светлейшем патриархе Всея Руси Пимене и о патриархе Коломенском,— пел Николай,— и Крутицком Ювеналии, и о всем священстве православном, Господу помолимся!..

— Да тише ты!..

— А чего?!

— Если мои соседки сейчас твой молебен услышат,— вяло увещевал Крепов.

— Они что, неверующие?! — громко перебил Николай.

— Они пишушие!..

— Ну, пишушие, значит, верующие,— Николай чуть-чуть подумал.— Баптистки, значит, писательницы?!

— Не баптистки они, хуже! — Крепов еще выпил.— Вот ты, Галя, тоже...

— А что я-то?! Ты меня не мешай!.. Я на соседей не доношу, они на меня доносят!..

— Ладно, давай выпьем,— согласился Крепов.— Интервал должен быть минимальным!

— Как сказал отец Георгий,— Николай опять наполнил стопочку.— Сейчас многие молодые люди употребляют психотропные препараты. Употребим же психотропный препарат!

Неожиданно быстро Крепов опьянел и, против обыкновения, язык его развязался и стал заплетаться в быструю и бессвязную речь.

— Слышь, Николай!.. Отец Сергей, которого ты не любишь...

— Я не то чтобы очень не люблю,— тянул в ответ Николай.

— Слышь, Ирка ему говорит, вы поп, а я баба неверующая... В смысле, жена моя, Ирка... Ну а он, если ты неверующая, то и я тоже неверующий!.. И мы с тобой оба неверующие, и запрыгал, и запрыгал...

Крепов закашлялся, приподнимаясь на стуле и ложась дрожащей грудью на стол. Краем глаза он видел, как Галина Петровна расстегивает некрасивой рукой большие черные пуговицы на своей вязаной красной кофте.

— А о чем вы с ним договорились? — интересовался Николай.— Вы на «тачке» уехали?.. А кто платил, вот меня что интересует, кто платил?!

— Он платил, он!.. — не удержался, выкрикнул Крепов.

— Он? — Николай покачался всем телом.— Он, естественно...

— Он за нас платил,— кашлял Крепов.— Святой человек!..

— Так что, выходит, вы его спасли!.. Врубаешься, Галина Петровна?!

— От кого они его спасли? — она избавилась от кофты и теперь избавлялась от шелковой прозрачной блузки.— Жарко тут как! Я оголюсь немного... Ничего? Чего стесняться?! — она повела глазами.— Все свои.

— А муж не заругает? — переключаясь, спросил Крепов.

— Не бойсь, не заругает! — улыбнулась Галина Петровна, оставаясь в юбке и узком фиолетовом белье (тонкие лямки комбинации глубоко врезались в мягкие белесые ее плечи, тоже мешали). — Он у меня мужик смирный, пьет много и поэтому спит много... — Она потерла ладонью губы.— Если узнает, зарежет, конечно, но это вряд ли узнает...

— Ох и гнусная ты баба,— сказал Крепов.— Как самой не мерзко?!

— А может, мне мерзко, мерзко?! — Галина Петровна поставила локти на стол и оперла голову о кулаки, всматриваясь пьяно в глаза Крепова.— Может, я, Вася, такая дрянь, какой больше и на свете нет... Я же понимаю, ты думаешь, бесстыжая, так сразу дура, да?!

— Думаю, дура,— согласился Крепов.

— Я не дура,— Галина Петровна заплакала, косметика ее потекла разноцветными ручьями по дрожащим щекам.— Не дура, не дура я!.. — Она продолжала смотреть на Крепова, сильно искажающегося и меркнувшего в ее слезах.

— Так что, отец Сергей опять речи свои на квартирах толкал? — спрашивает Николай.

— Он не толкал, он приехать не успел,— вспоминает Крепов.

— И опять там, наверное, сплошные сионисты были во главе с Леонид Борисовичем, так я понимаю?! Вот это и есть самое гнусное, на мой взгляд... Нечего жидам в православии делать!.. Сионист он, твой Леонид Борисович, не верю я ему!..

— Да нет,— возражал Крепов.— Он православный, может быть, слишком активный?!..

— Активный православный и есть сионист.— Николай обхватил Галину Петровну за плечи.— Правда, Галочка?..

— Да пусти ты! — но она не вырывалась, только вздрогнула всем телом и положила грязное лицо на большое плечо санитара.— Дурак!

— Сионист,— наконец согласился Крепов.

— От фанатизма до сионизма один шаг!..

Николай сделал Крепову знак, и тот ушел в комнату, лег на диван лицом вниз. Он чувствовал, как в голову, просверливая виски, влезает музыка. Он даже не мог понять, что это за музыка. Не мог вспомнить, какую кассету сунул в магнитофон. Он лежал, и тело, залитое спиртом, мучилось наравне с головой.

Сознание выскользнуло из тела, но показалось, что прошел один бесконечный миг. Николай тряс Крепова за плечо.

— Ну, я пошел,— пьяно объяснял он. — Эта там, разобранная, можешь попользоваться, пока не остыла!.. Мы это, покувыркались немного...

— Забери ее с собой,— сквозь зубы выдавил Крепов.— Собери и забери! Через несколько минут Крепов услышал из коридора:

— Богородица, Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобой...

«Они, наверное, все допили», — подумал он.

Дверь хлопнула, шаrahнуло железо лифта. Наполняя скрежетом подъезд, натужно загудел мотор подъемника.

«Зачем? Третий этаж, зачем ему лифт понадобился?»

За окном, за двойным чистым стеклом висел белый крест фонаря. Не мигая, электрический глаз смотрел на распростертого на диване слесаря. Глаз был мертвый и ледяной, а у человека в его белом свете начиналась истерика. Сначала качнулись и сдавились на собственных коленях руки. Потом перекосило прикушенный судорогой рот.

«Я не могу быть один!.. Сперва протрезветь, а потом быть одному... Выключить музыку?.. Да, выключить... Зачем я их выгнал?.. Мерзавцы, но был бы не один... не один... — И тут он понял, что давно звенит на кухне телефон.— Скорее, скорее, не успеть!»

Зацепившись ногами за поваленный стул, он упал. Снизу вверх выбросил руку, как пружину, дотянулся до телефонной трубки, но аппарат молчал.

Крепов встал. Стоять на скользком, залитом чем-то полу было неприятно. Ему казалось, что он чувствует паркетную лакированную елочку сквозь пошвы.

Звонил опять телефон. Он снял трубку и сразу ничего не сказал, вслушиваясь в дыхание на том конце.

— Есть кто-нибудь?! — не дождавшись его, спросила трубка молодым голосом Аннушки, похожим на голос Ирины пять лет назад. — Ну, отвечайте! Я ведь слышу, вы дышите!

— Это я, Аня. — сказал Крепов и, не желая ничего добавлять, добавил: — Мне худо, Аня, приходи, пожалуйста, я умоляю, брось все и приходи!

— Иначе вы повеситесь, да?

— Повешусь! — вдруг поверив в это, как в свершившийся факт, согласился Крепов и застонал. — И ты будешь в этом повинна, ты... Ты толкнула меня на эту мысль!.. — Помолчал. Немного изменившимся тоном плаксиво добавил: — Ну, пожалуйста, приходи, а то я свихнусь!.. У меня галлюцинации уже, слуховые!

— Хорошо, я приду, — спокойно сказала Аннушка. — Давайте адрес!

— Ты сейчас, сразу!

— Я сейчас, сразу. Диктуйте адрес, Василий Аркадьевич, я записываю.

— А откуда у тебя мой телефон, ты только скажи...

— Вообще-то мне нужен Саша, не могу его найти... — Аннушка говорила, осторожно подбирая слова. — Но раз такое дело, вы давайте адрес, я уже авторучку взяла и лист...

— А какая бумага? — спросил Крепов.

«Что я делаю, господи?! — думал он, диктуя адрес. — Нужно остановиться, Господи!.. Останови меня, Господи!»

Он бегал по квартире, убирал попадающиеся под руку предметы, как ему

казалось, на место. Смешивал остатки спирта с малиновым сиропом, переливал смесь в красивую бутылку из-под «шерри-бренди», напевал хрипло:

— «Все лишь бредни, «шерри-бренди», ангел мой!» «Шерри-бренди», а как дальше?.. Неважно.

Возбуждение изменило Крепова совершенно. Но, когда прошел час, а Аннушки все не было, он сел на стул, сдвинул голову в руках и заплакал от этого возбуждения.

Аннушка стояла в четырехугольнике распахнутой двери. Крепов надавил пальцами сталь замка, и пальцы заболели. На фоне белого кафеля, светлослая, худенькая, она смотрела блестящими глазами. И маленький рот девочки был чуть-чуть влажный, приоткрыт.

— Ну вот и я, — весело сказала она. — Вы «скорую помощь» вызывали?

— Ну зачем так, — смутился Крепов. — Проходи! Ты извини, у меня тут грязь лютая... Выпьешь?

Аннушка отрицательно качнула головой. Легкие волосы задвигались, зашевелились в струе свежего воздуха из открытой Креповым форточки.

— Душно, правда? Накурили... Накурил я.

— Ничего! — Аннушка смотрела на Крепова жизнерадостно, весело... Она боялась того, что хочет совершить, но, чувствуя, что страх удастся скрывать, быстро утвердилась в своем решении, за несколько минут до того шатком.

— Жену, понимаешь, в больницу сдал, — говорил Крепов, наполняя высокие стаканы на одну треть густой жидкостью из своей бутылки. — Ты извини за истерику!

— Ничего... Ничего! А это «шерри-бренди»? — глядя, как Крепов достает из холодильника пластмассовую решеточку со льдом и выламывает из нее блестящие кубики, спрашивала она. — Никогда не пила «шерри-бренди», но очень всегда хотела.

— Нет, это смесь, но бренди в нее тоже входит!..

В буфете нашелся пакет с миндальными пирожными.

«И откуда он только взялся? Совершенно не помню его!.. Да, точно, не было никаких пирожных, совершенно точно, не было!..»

Аннушка маленькими глотками отпивала малиновый спирт.

— Очень вкусно, но только очень крепко!

В комнате в свете ночника она забралась на диван, не чувствуя запаха лекарств, запаха пота и перегара. Подобрала под себя ноги, скинула на ковер туфли.

— А вы ее любите?

Крепов видел, как девочка двумя пальчиками расстегнула верхнюю пуговицу на горлышке, и ответил не сразу:

— Наверное, да.

— А почему, наверное?.. Вы не бойтесь, Василий Аркадьевич, мне это не помешает, я сейчас уйду...

Без истерики, спокойно, как палач, не испытав ни малейшего удовольствия, Крепов расправился со сложившейся ситуацией.

Он сидел голый, чувствуя, как прохватывает тело его озноб. Наконец закурил, стараясь не смотреть на неподвижно лежащую в сбитом покрывале Аннушку.

«Ну вот и все, — думала она. — Теперь всё, я молодец! Это похуже отдела кадров, это похуже зубного врача... Он ничего не заметил, и уже все. Отделалась» — Кожа хранила еще болезненные отпечатки пальцев Крепова, как от ушибов, ныли мышцы.

Крепов снял трубку давно уже звонившего телефона, одновременно накидывая халат.

— Вася, — это была Ирина. — Вася, почему ты молчишь?!

— Я не молчу, что случилось?

— Ты меня любишь?

— Да, да, родная!.. Что произошло?

— Ты понимаешь, умер какой-то Михаил Кирсанович, столько шуму здесь!..

— Кто?! — крикнул Крепов.

— Ты сго знаешь, да? Он, говорят, умер на пять часов раньше положенного, понимаешь? Он был уже запланирован, и весь шум только оттого, что раньше!..

До сознания Ирины дошло раздражение в голосе мужа, раздражение, подаемое потоком нечистой в болезни крови, поступило в мозг и сразу расшифровалось там объемной визуальной картинкой: Ирина увидела свою квартиру. Крепова в лохматом купальном халате, стол, залитый воском, стопки из-под спирта, малиновое вино в бутылке из-под выпитого пять лет назад «шерри-бренди», бледное лицо угловатыми движениями нервно одевающейся девочки...

— Ты этого хотел?!

Она потеряла сознание и упала на пол. Санитарка услышала, как ударились о линолеум голова, подбежала. Больная лежала на спине.

— Ребята! Врача бы надо! — крикнула санитарка.

К счастью, врач оказался рядом, в ближайшей палате. Даже не щупая пульса, он приказал:

— В реанимацию!

11

глава

В густом воздухе за красной чертой, проходящей по полу сразу за стеклянными дверьми, казалось, люди не ходили, а плыли, как сквозь воду, медленно и тяжело. Ирина видела потолок. Она очнулась легко и безболезненно, но не была уверена, что жива. Сохранялось ощущение, что видит она себя со стороны, видит как бы сверху свое прикрытое простыней неподвижное тело. Каталку катит санитар, толкая ее впереди себя. Ощущение подкреплялось тем, что ни пошевелиться, ни сказать ничего она не могла, а фантастическая легкость всеобъемлющего кругового зрения, присущая, как она читала, покойникам, радовала душу, но мешала думать. Видела она все как бы сквозь потолок, проплывающий над головой, над стеклом открытых глаз.

Резко поднявшись, Аннушка пересекла комнату и, уронив ноты в темноте, откинула черную теплую крышку концертного рояля.

...Видела сквозь стены, как в других помещениях клиники сидят и лежат на кроватях люди, как проплывает внизу черная квадратная крыша машины. Музыка не было, музыка была в ней; музыкой была она сама.

— Еще одного привезли... Сколько же их?! — Недовольный своей уж слишком быстро наступившей усталостью сказал студент-практикант другому студенту-практиканту: — Олег, ты слышишь?!

— Ну, слышу, — отозвался Олег Ревич. — Чего ты хочешь?

— Я говорю, еще одного кандидата привезли.

— Так сам кандидатом станешь, — отозвался Ревич. — Это ж сдохнуть можно!

По множеству экранов реанимации бегали разноцветные электронные графики показаний, мигали лампочки, некоторые приборы тихо гудели. Напряжение в черте реанимации, выматывающее и бывалых врачей, совершенно умерщвляло практикантов.

— Смотри-ка, кислород кончился! — тупо вглядываясь в один из экранов, сказал Олег. — Сейчас он, этот, на третьей койке, загнетса, — говорил он безучастно, вяло.

Второй практикант шагнул к телефону.

— Кислородная, — он говорил медленно-медленно. — Черти вас, это кислородная?! Что у вас там стряслось, почему газа нет?! Меня не занимает, что у вас там обмерзло... Ну тогда тащите баллон сюда! Нет, эй ты, стой! Два баллона, одного нам не хватит! Сволочи, трубку бросили!

Ирина умерла легко и незаметно. Догадалась об этом только потому, что медленно исчез потолок. Он не закрывал больше от ее всеобъемлющего зрения картины мира.

Пауков, надрываясь, поставил баллон на попа и покатил. Было ему тяжело, он не умел катать баллоны, за последние месяцы он только и научился, что поставить унитаз и заменить прокладку в водопроводном кране.

«Хорошо ему, этому Крепову, — думал Витенька, чувствуя, как прижимает его к полу сила поднимающегося скоростного лифта. — Геройская личность, в старую реанимацию ночью баллон один доставил!.. Повернулся и ушел, и еще спиртом небось взял!»

— Вроде реанимация ниже? — спросил Пауков.

— То старая, анахроническая, — вздохнул кислородчик. — А эта новая, по последнему слову! Сейчас спасать по последнему слову будем!

— Чего спасать? — не понял Пауков.

— Чего, чего!! Жизни.

Лифт плавно остановился. Дверцы разошлись. Засияли в глаза отраженные в тысячах зеркальных кафельных плиток сильные лампы. Натягивая бахилы, Иван про себя вздохнул.

«Одевайся, раздевайся!.. Как в цирке кордебалет, ей-богу! — он надавил кнопку, подставил руки под невидимые потоки лучевого стерилизатора. — Теперь еще баллон драить заставят с мылом!.. Спасать жизни...»

Облитые спиртом баллоны они покатили по глубокому, собирающему шум линолеуму в полумрак, где звучали коротко редкие специальные слова, мерцали экраны и гудели чуть слышно приборы. Впереди Иван, за ним, отдуваясь и на глазах потея, Витенька.

— Куда его?

Белая маленькая рука указала стрелкой направление, Пауков тяжело и неумело развернул свой железный снаряд.

— Ты, дурак!.. Ты на меня баллон катишь! — крикнул практикант и, ощутив абсурдность своих слов, поправился: — Совсем тут озверел от смерти я.

Иван поднял голову. Прямо по курсу два парня в белом. Остановился, перевел дух, знакомые какие-то лица.

— Стой ты! — прошептал он.

Витенька хотел тоже прекратить движение и, неудачно наклонив баллон, не смог его удержать. Баллон вырвался, выворачивая пальцы, со звоном повалился на мягкий пол и покатился по реанимации, ломая все на своем пути.

Над трупом Ирины колдовали сразу три врача и две сестры. Мертвые руки проколоты иглами. На виски и на грудь легли датчики. Остывающее тело опутала серебряная паутина проводов.

Врач, наложив металлическую блямбу на теплую еще кожу, оттянул пальцем веко Ирины.

— Кончилась. — сказал он, массируя податливое сердце. — Ни фиги, вытащим тебя, милочка! Хватит нам на сегодня покойников! Завтра, если хочешь, пожалуйста, умирай! А на сегодня хватит.

Витенька прыгнул, ухватился пальцами за вентиль и рывком поднял стокилограммовый баллон. В поясище его хрустнуло, в глазах потемнело. С минуту глубоко подышав, кислородчик наконец подкатил и, неловко орудуя ключом, подсоединил баллон так, как его уже научили.

«Ничего, выучусь оборудование чинить, ни за что баллоны таскать не стану! — работая немного покалеченными пальцами, соображал он. — Все будет само у меня в руках работать, только зубы сначала вставить!..»

Пауков тоже поставил баллон, повернулся и замер. Иван смотрел на Олега Ревича, Олег смотрел на него. Разглядывая практиканта, Иван вспомнил, что хотел убить этого человека. Он просто вспомнил, ни одно чувство не шевельнулось в нем. Медленно разогнувшись, он, шаркая ногами в бахилах, повернулся и вышел. Безнадёжно повисла в воздухе протянутая для пожатия рука молодого медика.

«Ты что, думаешь, я с тобой здороваться буду? Нет, здороваться я с тобой долго не стану... Никогда не стану. Придумал тоже, здороваться?!»

В подвал вниз спускались молча. После стерильного густого воздуха реанимации дышалось в сыром и холодном лифте легко. Вывернутыми пальцами Витенька тихонечко ощупывал выбитые свои зубы.

— Что, болят? — участливо спросил Иван. — Они долго теперь будут болеть, ты не переживай!..

Мелькнула в железной щели грязная кафельная плитка старой реанимации. Витенька посмотрел на Ивана и промолчал.

— А то пошли к Карапкину, он приглашал.

— Праздник опять личный, что ли? — Витенька устал, и усталость помогла терпеть боль.

— Ну, да, праздник двух литров. Ему два литра за оперативную сантехнику поставили.

Ирина легко выскользнула из клиники. Сначала ее притянуло вниз, сквозь этажи во мрак, проплыли стены, не имеющие плотности и веса, люди, сидящие на кроватях. Косо поставленные глухие стекла. Она увидела со стороны свое спутанное проводами и датчиками мертвое тело, подрагивающую шапочку врача, практиканта с глупыми глазами и медленно отвисающей челюстью. Внизу, во мраке, где-то под первым этажом двигались, шаркая ногами, два усталых юноши. Один рассказывал что-то, высекая из мокрого коробка спичкой сырую искру. В ушах звучало: «Завтра будешь умирать, завтра! Хватит с нас на сегодня!» — и шорох дождя, и звон стекла, и шум машин. И плывущие внизу под ней квадратики этих крыш. Ее вынесло на улицу почти через дверь сквозь толстые стекла приемного покоя.

Будка телефона-автомата, покуривает шофер в остановившемся автобусе, откинулся на спинку сиденья, руки замерли на руле, обмотанном красной изолентой. Железный конек крыши, прозрачная волна разбивается в желобе, скачут, сверкают капли.

«Завтра будешь умирать... Озверел тут от смерти я... Не успел, а уже выпили... Что ты, Иринка?.. Будешь, будешь умирать...»

Почти сознательно она задерживается, прекращает движение, не дает тащить себя этому потоку, сопротивляется и смотрит сквозь потолок вниз, в комнату.

Потолок, как белая меловая дымка с грязными шершавыми натеками. Она видит, что девочки в их квартире нет, ушла... Бежит по лестнице, прикусывает от боли губы. Крепов, полуприкрытый одеялом, лежит на диване. Его голая грудь медленно колышется во сне.

«Что тебе снится, Вася?» — спрашивает она. И сразу легко проникает в его чужой сон, видит вместе с ним: углами бежит темный коридор, неясный рокот, полуоткрытая дверь, в маленькой комнатке душно, здесь полно пьяных незнакомых ей и таких знакомых ему людей.

Карапкин предлагает Вере, сидящей у него на коленях, проверить себя и накрутить болт на гайку, чего у него самого в данный момент не получается. Карапкин — усталый седой человек.

— Если накрутишь, значит, ты еще ничего, живая, и тебе еще можно выпить, а если нет... тогда тоже можно... Алкоголь, он в организме периодами живет, вот вроде ты удвоилась, — он отстранился, вглядываясь в Веру. — А вот я сейчас приму, — он выпил, — и ты перестанешь!

— Налей ребятам! Ну чего сидишь, угощай гостей! — просит Вера, посверкивая металлической своей улыбкой.

— Налей, — тянет, раскуривая наконец сигаретку, Иван. — Налей, Виктор Дмитриевич.

— А кто ты такой, чтобы я тебе наливал? — заинтересованно спрашивает Карапкин, вглядывается в юного кислородчика. Застывший на месте Витенька даже вспотел от жалости к себе.

— Ты понимаешь, Виктор Дмитриевич, — тянул Пауков. — Мы в реанимации тут баллоны устанавливали.

Неожиданно легким движением переместившись на банкетке и обхватив Веру обеими руками, Карапкин весело сообщил:

— А знаете, ребята, я тоже один раз баллон установил! — он ткнул пальцем в освободившееся место на банкетке.

Пауков втиснулся между стеной и Виктором Дмитриевичем, Витенька сесть не решился.

— Он у меня упал, и кран сразу откололся!.. Как фаянсовый! А знаешь,

сколько в ней, в дуре этой, газу?! Нет, ты не знаешь, так я тебе скажу, сто пятьдесят земных атмосфер, как ракеты бьет! В общем, я его уронил, а он так и побегал в парк... И я смотрю, — наверное, двое в глазах Карапкина прекратилось, потому что он свел их к переносице. — Как живой, этот баллон между деревьями скачет!.. Так и не взрезался, пока весь газ не вышел...

«Нет, так больше жить нельзя, — думает Витенька. — Категорически я не могу его слушать, вот так стоя. Не выпивши!..» — он напрягся и выдал, разбивая безудержную речь Карапкина:

— Человек там умер, на глазах прямо... Дайте спиртику успокоиться!

— Двое, — поправил его Иван. — Двое на глазах! И этот осел баллон уронил, хорошо, поймал! А то бы все там!..

— А чего, — Карапкин отодвинул ящик стола, извлек оттуда два граненых стакана. — А чего странного, смерть, она вообще косяками ходит! То ни одного, ни одного, никого. Все живы. А то, глядишь, выносят десяток! — Из трехлитровой, наполовину початой банки он налил спирт в стаканы и перемешал тему: — Ты молодой еще, на войне пока не был: чего нам победить стоило, не видел! Там такие дела, такие дела... Вот смотри, едет автоколонна, как снарядом жახнет! Сидишь в кювете, в какой-то соломе и грязи, глаза трещ, нету автоколонны! Колесо дымится, катится, и шипящие кишки с веток свисают!.. — Красной пятерней он облапил полную шею Веры, та поежилась, дернула плечами. — А чего, война, война, все про войну, во время мира тоже, бывает, случается... Вот ты знаешь, — теперь он обращался только к Ивану. — Милиции пистолетов не дают, одна серая вата в кобуре. А я вот помню, на улице Горького банду брали, днем, в пятьдесят втором году! Так те били из трофейного пулемета по людям, а он сорок пятого калибра, с разрывными... Ты представляешь, какая красота, по окнам из пулемета в жиллом массиве!..

— Не надо, Витя. Ты же знаешь, я не люблю, когда ты про войну, — попыталась притормозить его Вера.

Витенька выдохнул воздух, опрокинул в горло содержимое стакана и, не вдыхая, закурил, схватив Иванову горящую сигаретку, лежащую на краю стола. Тут же к глазам его подступили болезненные едкие слезы.

— Хочу сладенького! — пискливо проворковал Витенька, захватывая пятерней полуидикий грязный бисквит с пеплом. — Нет, невкусно! — Он плюнул. — Товарищи, я пошел посплю! Мне требуется совсем немножко подремать! — Пытаясь открыть дверь, кислородчик не удержался на ногах и протаранил слабую крашеную фанеру лбом. Дверь, пронзительно скрипнув, растворилась, и он вывалился во мрак, в коридор. И тотчас широкая пружина сквозняка поставила дверь на место.

— А торт я, между прочим, принесла, а что, плохо?! — отпуская Карапкина, сказала Вера. — Утром был свежий!

«Сквозняк тут какой, — думал Пауков, всматриваясь в закрытую дверь. — Нет, не сквозняк, просто разное давление в разных помещениях, вот воздух и движется! Но ведь это и есть сквозняк. Ветер в закрытом помещении — это сквозняк!»

— Слушай, Вить, а почему так дует? — Вера демонстративно поморщила нос и попыталась поджать под себя голые ноги.

«Мысль она мою, что ли, услышала?» — Иван смотрел на медленно открывающуюся без скрипа дверь. — Услышала, потоки воздуха и есть сквозняк!»

В проеме раскрывшейся двери, в черноте стоял Витенька. Лицо кислородчика было бело и неподвижно.

— А ты чего не заснул? — спросил Карапкин.

— Хотите анекдот?! — с трудом шевельнул губами Витенька.

— Валяй!

— Несмешной!

— Валяй несмешной!

Витенька насилу справился со своим лицом, помассировал пальцами челюсти и сказал:

— Там Натюрморт умер.

— Да подвинься ты, холодно! — пытаюсь устроить на банкетке ноги, шипела Вера.

— А как ты это определяешь? — заинтересовался сообщением Карапкин.

— Спит он.

— По запаху. — В голосе Витеньки Пауков почувствовал ужас, но ужас какой-то поверхностный, еще не осознанный.

— Ну, если по запаху, тогда дело серьезное. — согласился Карапкин. — Да я ж только что говорил, смерть косяками ходит, и вот что, надо выпить за помин! А то все пьем просто так, а можно за помин, как бишь его?.. Я не вспомню.

— Если пахнет, значит, давно умер. — сказала Вера. — Шуму теперь будет!..

Дрябов пришел усталый и почти трезвый. Он не стал просить, чтобы ему налили, а налил себе полный стакан, проглотив спирт, запил водой и сказал в наступившей тишине:

— Нашел, нашел я эту стенку, что он делал! Там куча красного кирпича лежит, а раствора нет!.. Я подозреваю, он, когда проснется, будет наш подвал перегораживать, так что кончилась лафа!

— Не проснется, — сказала Вера.

— Это почему же, ушел?

— Умер он.

— Давно?

— А кто его знает? Пахнет уже, говорят, я сама не видела, но можно сходить посмотреть...

— А кто говорит?

— Он! — Вера ткнула в Витеньку пальцем. — Он говорит! Он говорит, и я ему верю! Молодой еще, чтобы так красиво сбrehать!

Ирина не поняла, что произошло, ударил в глаза яркий белый свет, и тело заплесало, заходило от боли.

— Ну вот, глазки-то, дура, открыла! — сказал, комкая в пальцах красный от крови тампон, практикант Олег Ревич. — Закрой глазки-то, спи лучше!

Она видела над собой бледные скачущие довольные лица.

— Жива, — успела еще подумать она, ускользая в сон. — Жива.

12

глава

Почему-то почувствовав себя обиженным, Витенька нырнул во мрак подвала и вскоре, выбравшись на улицу, на воздух, закурил. Он сел на скамеечку в парке, выбрал в свете фар стоящей тут же, рядом «скорой помощи» с включенным мотором сигаретку.

Подбежал Тюльпан. Собака полизала Витенькину левую руку шершавым горячим языком, и он погладил ее правой рукой.

— Эх, животное, ты животное! Животное ты и есть!.. — Тюльпан завыл. — А может, ты сказать не можешь, вот и кричишь? Понимаешь и кричишь, пока тебе горло специальным образом не прооперируют и сердце не вошьют другое... Представляешь, новое сердце, может, и не доброе, зато умное...

Внутренне Витенька поставил точку в своей речи, сказанной перед кобелем.

— Сердце, сердце... Главное для собачки сердце.

Из белого света фар, яркого, мешающего смотреть, возник высокий человек в белом.

— Привет, Детальный! — сказал этот человек знакомым голосом. — Что, не узнал меня?

Витенька узнал его, студента-дипломника, любимчика отца.

— Может, за меня на «скорой» санитаром сделаешь езду?! — спросил любимчик. — Понимаешь, срочно оторваться нужно по одному дельцу!

— Узнал, — сознался Витенька.

— Вся и работа носилки носить, а то и носилки не придется! Заработаете четвертной, с бригадой я договорился.

— Согласен, гони четвертной! — сдавливая его руку, с самого начала краткого монолога висевшую в воздухе, согласился Витенька. — И будь добр, пожалуйста, никогда больше не называй меня по фамилии, я ее менять буду!

Старуха водитель оказалась знакомой. Витенька знал про нее, что она бывший врач, что суд много лет назад лишил ее врачебной практики, но из медицины не уйдешь, теперь она работала шофером на «скорой помощи», всегда молчаливая, единственная женщина-водитель во всем парке. Она курила «Беломор» и за рулем была бог.

Врача, Инну Протасовну Павлову, Витенька не знал. Маленькая девочка, сразу после института брошенная в прорыв на «скорую помощь», выглядела она усталой, сорокалетней. Выдавали возраст только резкие движения, угловатость, неуверенность голоса.

Машина мягко неслась по ночному городу. Женщины молчали. Витенька попросил, чтобы включили сирену, получил отказ и заснул, улегшись на место больного и сложив руки на груди.

Проснувшись он от резкого толчка, открыл глаза. Машина стояла. Подхватив кубический железный чемоданчик, Инна Протасовна выскочила наружу.

— А я что, не нужен? — спросил он, подтягиваясь и поражаясь только пронесшемуся пьяному сну.

Старуха не ответила. Из радиации неслись далекие шумы, потрескивания, голоса, произносящие цифры. Ритмично подмигивала зеленая лампочка на панели.

Луна зашла за верхушку белой шестнадцатизэтажной башни, и башня была как бы в ореоле. Некоторые окна еще светились.

Витенька посмотрел на окна и хотел опять задремать, но Инна Протасовна вернулась и потребовала:

— Думаю, что нам лучше вместе пойти. Все-таки сердце, мало ли что может случиться!.. Вообще мерзавцы, — говорила она, поднимаясь на одиннадцатый этаж. — Могли бы и кардиологическую прислать! Не наше это дело — по таким вызовам мотаться!

Она остановилась перед нужной дверью, перевела дыхание.

— Ну сегодня это будет все, отсюда никуда не вызовут! — за дверью легкие молодые шаги. Дверь, звякнув цепочками, растворилась. На пороге девочка с косичками в таком же, как у Инны Протасовны, чистом белом халате.

— Ну вот и слава Богу, приехали! — сказала она звонким обрадованным голосом. — А я и не надялась, думала, не успеете!.. Мне на работу надо, я медсестрой работаю в больнице, думала, по телефону отпрошусь, да куда уж там! Не дозвонишься из этого автомата. Побегала, другой тоже сломанный... Там еще где-то телефон есть за два квартала, возле гаражей, я не знаю где...

Мелькнуло клетчатое пальтишко. Витенька услышал, как стукнула дверь.

— Приветик! — Донеслось уже с лестницы.

В маленькой комнате духота, цветастые занавеси. На окне цветок в горшке. На круглом столе лекарства, градусник в цилиндрическом картонном футляре, стакан в подстаканнике с золотой эмблемой ВДНХ, в стакане темный холодный чай.

Старуха лежала в большой голубой постели и, казалось, была уже давно мертва.

— Окно открой! — приказала Инна Протасовна, направляясь в ванную. — Кошмар какой здесь, от одного воздуха скончаться можно!

Витенька шагнул к окну, лениво поднял шпингалеты, но ухватить раму не успел. Распахнутая порывом сквозного окраинного ветра, рама ударила его в лицо. Цветок полетел на пол. Горшок с треском раскололся, черепки ударили по половикам.

— Рододендрон погиб! — как легкое эхо, донеслось со стороны кровати.

— Я не понял, — очумело обернулся Витенька. — Я нечаянно!..

— Цветок рододендрон, он целебный... Митя, внучок подарил.

Инна Протасовна вымыла руки, вытерла чужим махровым полотенцем, взглянула на себя в зеркало.

«Губы нужно поправить. — на нес смотрело бесцветное продолговатое серое пятно. — Так жить нельзя... И глаза подвести!»

Насильственно бодрой походкой она вернулась в комнату.

— Ну, бабушка, что с вами? — спросила она, приподнимая тяжелое одеяло.

— Рак у меня, милая! Болезнь — рак, умру я сейчас. — прошлестела старуха.

— Ну, предположим, еще не сейчас! — Остро Инна Протасовна ощутила раздражение. — Зачем же было вызывать «скорую помощь» и лгать?! Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Вы знаете, что раковые больные нами не обслуживаются?!

— Умру я сейчас, умру! — заныла старуха. — Умру, милая!..

Полуголый череп старухи закачался на тугой голубой волне перьевой подушки.

— Исповедаться мне надо, помоги, дочка! Девчонка Ирка, соседка, привела бы батюшку, да ей на работу надо! — голос ее окреп и задрожал. — Ты свою клятву эту давала?!

— Мы не для того, бабушка, существуем! — наклонясь над постелью, сообщил Витенька. — Мы «скорая помощь» — 03!

— Батюшку, батюшку! — шелестела старуха. — Помираю я! Неужто так и помру не исповедавшись?! Девушка, милая, — маленькой ручкой она ухватила Инну Протасовну за край халата. — Позови батюшку, не бери грех на душу!

— Ну где же я вам попа-то найду! — всплеснула руками Инна Протасовна. — Господи помилуй, где?!

Порывом ветра отбросило занавесочку. Испугавшись этого движения, Витенька сделал шаг назад, хрустнул под его каблуком, вдавливаясь в половик, глиняный черепок.

— Ну где же я вам?.. — Инна Протасовна стояла, опустив руки, ей хотелось зажмуриться.

— А ты поищи, поищи, милая! Я не помру покамест, ждать буду! Рак у меня, болезнь, тяжело ждать-то, пора мне!..

Неживое лицо старухи сократила гримаса.

— Давай чемоданчик! — сообразила Инна Протасовна. — Укол ей, что ли, сделаем! Впрочем, какой, к черту, укол! Здесь морфий нужен.

— Там, в гардеробе на второй полке, — прошамкала умирающая. — Под бельем.

— Ты уколы делать умеешь? — надпиливая ампулу, резким голосом спросила врач. Витенька отрицательно покачал головой. — Вот и я не мастер. — Она опять вздохнула. — Но придется.

В ожидании старуха шофер растворила все дверцы, проветривая машину. Она курила свой «Беломор», сидя на скамеечке, горбилась, шурилась на возникающую из-за угла дома маленькую луну.

— Ну что там еще стряслось? — спросила она безучастно.

— Попа хочет! — сообщил Витенька. — Вы не знаете, — он посмотрел на часы, — где в Москве в половине третьего ночи можно попа добыть?

Старуха ничего не ответила, только задумчиво выпустила дым через ноздри.

— Рак у нее, ложный вызов! — Витенька сел на бордюрик тротуара и тоже закурил. — Но сами понимаете, дело чести, последнее желание!

Сидеть оказалось неприятно. Снизу, с асфальта сразу поднялась по спине волна сухого ночного холода. Он зажмурился, но сидел.

Старуха молчала.

— Что же делать-то?

Инна Протасовна вышла из дома, отметив каблучками каждый шаг от подъезда до машины. Аккуратно поставила чемоданчик, опустилась на свое место, откинулась, крикнула привычно:

— Поехали, что ли?! Заводи!

— А поп-батюшка? — поинтересовался Витенька, не открывая глаз. — Как же с ним?

— За попом и поехали. — В голосе ее было столько отчаяния, что Витенька подумал даже: «А ведь привезем священство, из-под земли добудем!»

Старуха села за руль, завела мотор, спросила:

— А куда поедem, адрес какой?

То, что она издевается, мог уловить только хорошо знающий ее человек. Ни врач, ни санитар шофера не знали.

— А действительно, куда? — Инна Протасовна откинулась на своем сиденье.

«Есть ли церкви-то в Москве еще действующие? — подумала она. — Никогда не видела. Да и ночь. Кто же в церкви, если она и действующая, будет ночью сидеть? Вот уж задачка на выживаемость!.. Но дело принципа. Старушка, конечно, дура, в бога верующая, но она человек, требует уважения... — Инна Протасовна надавила себе пальцами на глаза так сильно, что увидела разноцветные круги. — Уважать нужно, иначе чего я стою?!»

Машина стояла на месте. Ритмично, без перебоев работал мотор. Лежал на асфальте белый свет от включенных фар. Наконец Витенька предложил:

— В принципе, я могу у отца спросить. Он точно знает, он грамотный... Инна Протасовна резко повернулась к нему.

— У моего отца, у родного, нужно только позвонить и спросить!

— Думаешь, он не спит?

— Спит. Разбудим, только рад будет! Мы уже две недели с ним не виделись.

Четвертый по счету телефон-автомат оказался действующим. Зайдя в кабину, Витенька поднял руку большим пальцем вверх, мол, все в порядке. Несколько минут ушло на то, чтобы вспомнить собственный домашний телефон.

Искривленный железный диск царапал, возвращаясь в пазы, железом о железо.

— Один, два, три! — считал шепотом Витенька гудки, прищуриваясь, рассматривал торчащую в небе луну. — Если спишь, проснешься! Дело серьезное!

В микрофоне треснуло так сильно, что инстинктивно он отнес трубку от уха. Голос отца прозвучал приглушенный, но явный:

— Профессор Летальный у аппарата... Да, я вас слушаю, говорите!

— Папа, это я, — неуверенно сказал Витенька. — А я на работу устроился.

— Где ты ночуешь? — Не услышав ответа, трубка повторила тем же спокойным голосом: — Я спрашиваю, Виктор, где ты ночуешь?

Осторожно, стараясь не дышать, Витенька надел металлическую трубку на положенный ей рычаг.

— Никто трубку не берет, — возвращаясь в машину, сообщил он. — Наверное, телефон на ночь выключен. А то поехали прямо домой, разбудим, и точка!

Инна Протасовна смотрела прямо перед собой на гладкий асфальт улицы, на фонари и ничего не видела.

— А может, мы так сделаем, ей же все равно, как это будет, ведь бога нет... У меня есть одноклассник Володя, он актер. Володька совершенно точно священников играет! Правда, это было, — она выбралась из машины. — Это было, да, года полтора назад!.. Но я отлично помню, ряса, борода, все, что нужно!..

Витенька задумчиво смотрел, как она вошла в будку автомата, как набирает номер (опять скрипел металл о металл). Разговор получился коротким. Через минуту она вернулась в машину.

— Едем!

— Адрес какой? — спросила старуха.

— В театр, в театр... — она продиктовала адрес. — Я с его матерью говорила, бессонница у нее... А в театре какие-то ночные репетиции...

Неслись навстречу «скорой помощи», разрывающей улицу однообразной

сиреной, одинаковые коробки окраин, потом кирпичные крепкие дома. Машина пересекла трамвайные пути. И сразу, как золотые воздушные шары, выплыли из мрака навстречу купола Елоховской церкви.

— Во, церковь, останови! — крикнул Витенька.

Нога старухи вошла в тормоз, машина с визгом остановилась, оставляя за собой двойной черный след.

— Ерунда, это памятник архитектуры, там доска есть, — сказала Инна Протасовна. — Поехали.

Старуха пожала плечами. Брызгая светом мигалки, «скорая помощь» рванула вперед. Старуха знала, что Елоховка далеко не только памятник архитектуры, а в нескольких десятках метров, в глубине храма дремал в кресле ничего не подозревающий дежурный священник.

Он сидел в глубоком кресле в полном будничном облачении при зажженном свете. Маленькая его стариковская ручка лежала на красной обивке подлокотника. Он легко дышал во сне, не переживая нисколько сновидения, способный проснуться по любому требованию.

13

глава

Старая белая машина, гладкая в свете ночного города, красный жирный крест нарисован на округлом боку, пересекала столицу со скоростью девяносто километров в час. Фонари летели навстречу и падали блестящими точками позади в черные убегающие трубы улиц.

Город мертво спал, не шевелился, сухой и огромный в темноте. Будто колыхались от вибрации кирпичные красные стены. Плыл белый бетон, и разлетался далеко впереди широкой полосой ясный свет набегающих фар.

Витеньку подташнивало. То ли от гонки, то ли от выпитого настроение его опять переменялось. Хотелось лечь, упасть лицом вниз и не шевелиться. Но железная переносная кровать, жестко установленная в салоне машины, больше не устраивала тело. Уже осознав желание упасть, он понял, что упасть хочет дома. Лечь, накрыться одеялом и нарочно застонать. Мама в соседней комнате, она услышит.

— Кажется, налево... Да, сюда! Здесь должна быть стеклянная будка, или я что-то путаю... — Инна Протасовна чертила крепким ногтем по железной крышке своего чемодана.

Старуха даже не кивнула, машина остановилась. Послушный чужой идее, Витенька последовал за врачом.

— Будем стучать, пока не откроем! — уверенно нажимая ручку двери, сказала Инна Протасовна. Но дверь поддалась. Незаперта.

Лестница вниз, четыре ступеньки. Откуда-то снизу и сбоку вспыхнул свет. Прямо перед ними уходили в бесконечность ряды кресел, лишённые движения и жизни. Инна Протасовна и Витенька стояли на сцене, показавшейся отчего-то маленькой, игрушечной. Где-то далеко, у самого потолка в скапливающейся темноте тлели несколько мелких лампочек. Сбоку светил прожектор.

Плоский деревянный помост казался шатким и поскрипывал. Витенька сделал неуверенные несколько шагов и остановился. Инна Протасовна рыла пальцами пустой карман своего халата.

«Ну, был же анальгин, оставалось несколько таблеток, где они?»

В центре сцены стоял небольшой старинный столик, полированный, круглый, на гнутых ножках. На столике два бокала. Высокая бутылка, в узкое горлышко наполовину засажена пробка, на пробке сверху выжжены мелкие буквы — латынь.

— Это не вино. — сказала Инна Протасовна, перенося поиски в другой карман. — Бутафория.

За кулисами оказалось тесно и темно. Маленькая артистическая уборная отличалась от подвала слесарной присутствием мягкого кресла и большого зеркала. Зеркало, треснутое и темное, казалось, ничего не отражало. На

столике подле него стояла бутылка. Возвышалась, зеленая, стеклянная, над волной сбитого парика. Граненые стаканы в месиве рассыпанного грима, рваная перчатка с красным пальцем, и в подзеркальнике круглым отражением открытая серебряная пудреница.

— Ну, я же говорил, вот, пожалуйста! — брякнул Витенька.

Актер сидел вполоборота к зеркалу, что-то широкое и белое было натянуто на его плечи. На щеках вазелин. Чуть поблескивающая от жира рука осторожно и долго прикосалась к бутылке. В ней оставалось еще на треть густого красного вина. Остальные бутылки высились на полу, загромождая угол под вешалкой, торчали из скомканных сорванных рулонов старых афиш.

— Здравствуй, Володя, — отодвигая Витеньку, тихо сказала Инна Протасовна. — Не узнаешь?

Рука отдернулась от бутылки. В зеркале мелькнул белый ее след. Актер, как бы наклоняясь, медленно повернулся. В фас лицо его показалось очень длинным, отечным. Он улыбался, показывая в обескровленных бесцветных губах старые желтые зубы. Он улыбался, но в глазах его не было живого смысла.

— Узнаю, узнаю, — тяжело выдавил он и закашлял. — А в чем, собственно, дело? В чем дело, товарищи?!

Витеньку замутило, и он вышел в коридор. То ли голоса из-за закрытых дверей тихие, вкрадчивые, то ли это гудело в его голове. Витенька подумал даже, что засыпает, но это не был сон. Оказалось, что он и не закрывал глаз, просто кто-то погасил лампочку, но сознание во мраке расширилось до размеров коридора, как бы внутри Витенькиной головы мелькнула желтая полоса — осколок зеркала в глубине гримерной. Дверь открылась, из комнаты падал свет. Вышел, волоча по полу рясу, батюшка в огромном рыжем парике — большой крест на груди, за ним промелькнул белый халат.

— Ну, так мы едем?

— Едем, едем! В машину! Все хорошо!.. — голос у нее был почти счастливый.

Панорама города оказалась плоской, нарисованная перспектива, бегущая перестановка линий. Сидеть Витеньке пришлось на месте больного, лечь он не хотел, и, когда старуха дергала тормоз, больно ушибался. Ему было жалко оставленной на столе в театре бутылки вина.

— Я, как ты догадываешься, хорошенько службы-то не знаю, — басил актер. — Но я сыграю. — Общими руками он поправил свой неестественный рыжий парик. — Смешное дело, чего не сделаешь ради школьного товарищества!.. — Чувствовалось, он хотел протрезветь, но все еще был пьян. — А знаешь, Инуля, я никогда не обращал на тебя внимания как на женщину... Не обращал, да..

— Не обращал, — вздохнула Инна Протасовна. — Ну и хорошо.

— Не бойся, сыграем, — продолжал актер. — Храм, он от нашего сердца не под семью замками!.. То есть были, конечно, замки, да мы их все уже сняли!

— А ты верующий, Володя?

— Ни в коем случае! Я не верующий, я ищущий!.. Священник в храме, он что делает?.. Он там на работе, а моя работа — его работу изучить, повторить, художественно переосмыслить... — Неожиданно голос его изменился, сделался тихим и болезненным. — Ну вот, как всегда, — сказал актер, неловко хватаясь за бок. — Как всегда, как всегда... — шепотом повторил он.

— Что с тобой? — спросила Инна Протасовна.

— Печень, зараза!.. Печень у меня больная, Инуль. — Он неподдельно корчился и через минуту попросил. — Остановите-ка машину, бабуля!

Витенька пересел в кресло врача. Актера уложили на место больного. Немного повозившись со своим чемоданчиком, Инна Протасовна сделала необходимую инъекцию.

Минут через пятнадцать боль его отпустила, но при этом он протрезвел.

— Категорически нет, — сказал он. — Не могу я у постели умирающего кривляться!

— Ты что, Володя?! Ты же обещал! — слабым голосом попыталась

возразить Инна Протасовна. — Так, — она прикусила протянутый старухой «Беломор». — Здравствуйте, приехали!

— Это верно, — старуха тоже закурила. — Приехали. У меня бензин только до гаража дотянуть хватит. — Щелчком она выключила свою все еще работающую рацию.

Негромко поскрипывая, гудел мотор. Машина стояла, почти припаркованная к тротуару. Неподвижно лежал на асфальте свет угасающих фар. С минуту молчали. Ни слова не говоря, Витенька вышел, хлопнул дверцей и тут же, повернувшись вполоборота, атаковал будку телефона-автомата.

В трубке пронзительно треснуло. Длинной вереницей побежали, как в рации, далекие голоса, будто невидимая толпа сорвалась вниз по ступеням невидимого здания.

— Это ты, Ирина? — спросил голос Крепова.

— Василий Аркадьевич, это я, Виктор!..

— Какой Виктор? — голос у Крепова был усталым.

— Ну, кислородчик новый... Я, Василий Аркадьевич, вот по какому вопросу...

Крепов хотел бросить трубку, но почему-то этого не сделал. Он только что проснулся, наверное. за минуту до этого телефонного звонка и неподвижно лежал, глядя в окно.

— Извини. — буркнул Крепов. — У меня жена в реанимации... — Прислушиваясь к прерывистому дыханию подростка, он сделал паузу. — Ну, выкладывай, что ты хотел спросить?

— Василий Аркадьевич, вы извините за поздний звонок, но я знаю, вы не спите, я же не дурак... Понимаете, вы только не перебивайте, понимаете, какое дело...

— Какое дело? — усмехнулся Крепов.

— Старуха умирает! — закричал Витенька. — Ну, бабка, в Бирюлево! Ложный вызов был!.. Меня попросили за санитара за двадцать пять рублей, она верующая, а у нас бензин кончился!.. И актер не хочет!

— Стоп, — оборвал его Крепов. — Помолчи минутку. Отец Аминодав отец Сергей, нет, точно нет!.. — Голос его сделался почти веселым. — Володька, то бишь отец Владимир, так его сейчас в Москве нет... Может быть, Григорий?.. Все. Пожалуй, только Алексей!..

— А вы что, с ума сошли? — восторженно хрюкнул в трубку Витенька. — А где он, Алексей? Скажите телефон, пожалуйста!

— Нет у него телефона. Заезжайте за мной, без меня все равно не найдете, — и Крепов второй раз за эту неделю продиктовал по телефону адрес.

Он сидел на диване неподвижно, ни о чем не думал, смотрел сквозь темноту комнаты в раскрытые ноты на рояле. Потом протянул руку и взял рубашку, но прежде, чем застегнуться, сомкнул на запястье железный браслет часов.

14

глава

В подпалинах электрического света медленно светлело и испарялось в сквозном первом свечении московское низкое небо, и одновременно ослабевал накал электричества в фонарях. Они меркли — оранжевые и белые пятна, поднимались вверх над мостовой.

Витеньке казалось — он прищурился и смотрел, — что скачет посреди шоссе безумная черная птица (ветерок подбрасывает рясу, крест под мышкой, и черное одеяние, как крылья) мечется по ветровым стеклам проносящихся машин. Под рясой скачут ноги в лакированных черных ботинках, машины появляются редко, одна за другой.

«Ботиночки не священные, ну да старуха на постели все равно лежит, не заметит... А то, что перегаром от него разит, так от нас от всех разит!.. А то, что он не хочет, так заставим!»

— Да хватит, Володя, брось! — кричит Инна Протасовна, но актер накрывает уже широким своим крылом отражение звезд и фонарей в выпуклом стекле старого «Запорожца».

Витенька задремал на переднем сиденье рядом с шофером. Задремал, как ему показалось, от запаха цветов. Ненадолго он проснулся, в машину на заднее сиденье втискивался Крепов, и опять ушел в беспамятство, в тихий шепот, в полунамеки и полуслова: «И влюбленные тоже цветочки уважают!.. Самому стоять выгоднее, чем через цыганок продавать!..»

Вокруг было опять темно. И не было фонарей. Над бетонной площадкой дрожали перламутровые высокие грани, и за ними в ничто повисала надпись — красивые жидкие чернила: «Восточная дача».

— А почему восточная? — спросил Витенька, ладонями потирая виски.

— А потому что всю ночь работает! — Крепов первым выбрался из машины. — Пойдемте со мной, или нет, лучше подождите здесь.

— Эх, — вздохнул шофер. — Всю жизнь мечтал сюда съездить вот так, под утро!

Перегнувшись через спинку сиденья, актер нашел желтую в темноте его теплую руку и осторожно, стараясь не обидеть, вложил в нее легкую четвертную бумажку.

За двойной стеклянной дверью швейцар демонстративно насадил на круглую голову плотно фуражку, но щеколду не опустил. Одну руку засунул в карман, другой ухватился за тонкую серебряную колонну. Только когда Крепов, легко оттолкнув стеклянные двери, оказался прямо перед ним, служитель улыбнулся, узнавая клиента.

— Доброе утро! — брякнул Крепов.

Швейцар кивнул.

— Что же вы, Василий Аркадьевич! — мягко и негромко пожурил он. — Раз в год про нас вспоминаете, и то к рассвету! А супруга ваша как? — Автоматически он тронул пальцами мысок фуражки.

— Супруга?.. Хорошо, очень хорошо...

Медленно он поднялся по ступенькам и пошел по ковровой дорожке, опустив голову и сосредоточенно глядя на свои ноги, на ботинки, изминающие красный ворс. Падая, ухватился за что-то сбоку — шершавый округлый предмет, горький запах — пальма.

«Почему музыка не играет? — он смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Танцевал, переливался в острых углах красноватый полумрак, висел перед глазами красный ковер — подстриженные нити травы. — Зачем я встал? Не надо было вставать! Куда-то поехал!.. Я же болен. Я, кажется, болен... — Он чувствовал, что теряет дыхание. Медленно, как резиновым жгутом, сдавливало грудь. — Нет, нельзя делать резких движений!.. А что, собственно, случилось?»

Зубастая широкая улыбка отца Алексия, так же как и бриллиант в его красном галстуке, сверкнула в нитях подстриженной травы. Минуту Крепов ничего, кроме этой улыбки, не видел. Но он напрягся, и картина прояснилась. Изгибаясь, полетели, поплыли официанты между обрисовывающихся черных низких столиков. Появились ветки за стеклянной стеной, мигалки машин, желтые грани светильников: там тонула во мраке бетонная площадка — стоянка.

«Зачем я здесь? Это долг, это долг христианина, формальный! — Крепову сделалось смешно. — Но формальный долг — тоже долг».

В горящий медью раструб весело подрагивающего саксофона полетела скомканная коричневая бумажка. Отец Алексий взмахнул рукой, желтая крупная запонка, высокий пустой бокал отразили лампы и медь.

— «Семь сорок» давай! — приказал он, одним движением поправляя волосы и воротник.

Знакомая трость, прислоненная к стене. Рывок головы. Отец Алексий подмигнул, щелкнул пальцами. Официант склонился к столику. Леонид что-то говорит, официант что-то отвечает, и немного слева, там же строгая прическа аккуратные коричневые волосы, тонкая рука с сигареткой рисует петли на столовом серебре.

Чисто и пронзительно первым закричал саксофон... Музыка вытаскивала

из тепленьких мест, казалось, плотно засевших за бутылкой усталых людей. В центре зала получилось сразу тесно. Крепов задыхался. Осторожно ставя ноги, он пробился к столику, отодвинул стул, рухнул на него... В черноте ночи за стеклянной стеной медленно гасли фары «Запорожца».

«А интересно, какие ботинки настоящие попы носят? — думал, Витенька, закидывая голову на низкую спинку сиденья. — И почему опять ночь? Светало вроде уже?!»

— Дождь, наверное, будет, — сказал актер. И Витенька услышал, как он приобнял «свою Инулю», услышал, как та воспротивилась.

«Точно, туча!.. А ботинки — глупости! Обычные ботинки!» — сквозь ветровое стекло Витенька всматривался в далекую стеклянную стену ресторана, пытаясь обнаружить, выявить среди людей там, за столиками Крепова и его священника.

— А ты, Вася, какой-то сморщенный! — Алексей весело смотрел Крепову в глаза. — С Леней, думаю, тебя знакомить не надо, а это Марина.

Шелковое легкое черное платье, широкое кружево в вороте, золотой ниткой контурная птичка на груди. Девушка протянула руку, посмотрела на него. Спокойные глубокие глаза.

— Ты выпей! — Алексей налил ему водки. — Выпей и сразу рассказывай!

— Я не знаю, — Крепов выпил и повторил: — Я не знаю...

— Не знаешь в половине шестого утра? — отец Алексей ухватил руку Крепова за запястье и поднес его часы к своему лицу. — Вот, видишь, тикают! Тридцать пять минут, а на моих двадцать пять! Пять часов двадцать пять минут, между прочим, утра, и ты не знаешь! Ну рассказывай, не стесняйся! Что тебя тревожит?! Может, ты знаешь, Леня? Что с ним?

Осторожно поймав руку девушки, Леонид опустил ее на стол и тихо разглаживал по скатерти тонкие белые пальцы. Он отрицательно покачал головой.

— Ирина в больнице, — с трудом владея голосом, сказал Крепов. — В реанимации, вторые сутки пошли!

Алексей поставил полную свою стопку на стол, приподнял ее, стукнул доньшком.

— Болван ты, Василий Аркадьевич! — Алексей покачивал стопку пальцем, умышленно проливая на стол. — Нужно было позвонить! Все бы по-человечески оформили!

После долгой паузы, в которой водка по капле все лилась и лилась на скатерть, а Крепов постепенно приходил в себя, Леонид сказал негромко:

— Ты же небось ее к себе в живодерню приспособил? И действительно, такое впечатление, что тебе друзья не помогут?! — он чуть придавил женскую руку на столе своей ладонью. — Вот, Мариночка, возьмите на заметку! Если будете при смерти, к нему не обращайтесь, сразу ко мне!

— Это с чего это я при смерти буду? — голос у девушки оказался густой и чистый. Крепову от звука этого голоса почудилось, что скользнуло что-то длинное, горячее от шеи вниз по позвоночнику. Осторожно отец Алексей выливал водку на скатерть.

— Смотри, как старается, идиот, за мои сто рублей! — водка прозрачной волной разливалась, пропитывая крахмальную ткань и огибая дорогие фарфоровые тарелки.

Крепов сидел спиной к эстраде. В высоком стенном зеркале отражалась группа. Саксофонист, два гитариста, патлатый клавишник в клетчатой рубашке сидел за маленьким пультом синтезатора. И позади, не видная никому, высилась за его спиной зачехленная тень фортепиано. Малоподвижные лица за столиками, бледные парафиновые пятна, текущие губы, смыкающиеся глаза..

«Напрасно она здесь играла, — думал он. — Нельзя было ей здесь! На все это смотреть... Целые полгода продержалась...»

— Да не расстраивайся ты так, не нужно! — сказал Алексей.

«Нельзя было Ирине здесь, совсем нельзя!.. Какая же все-таки я сволочь!»

Алексий ждал, что предложит, что скажет ему Крепов, и ногти священ-

ника быстро выбивали по стеклу опрокинутой рюмки в наступившей после музыки тишине все тот же замысловатый ритм — «семь сорок».

— Ты на машине? — спросил Крепов.

— Нет.

— Нужен священник, прямо сейчас.

Изображая пьяного, Леонид прикладывал губами к руке девушки.

— Хорошо, я все понял! — Алексей поднялся из-за стола. — Мариночку я уступаю вам без боя! — он махнул рукой в сторону солиста, будто пытаясь на расстоянии ухватить его за нос. — Ты со мной, Вася?

— Нет, там «Запорожец» старенький, все не поместится.

Алексей кивнул, поправил галстук и быстрым шагом вышел из зала.

Первым заметивший священника, плавную тень, отделявшуюся от стеклянных дверей ночного ресторана, водитель только несколько секунд всматривался в него, сравнивая, потом повернул ключ зажигания, затарахтел двигателем.

— Будьте добры, молодой человек, переседайте на заднее сиденье! — сам распахивая дверцу машины, проговорил священник. — Нужно заехать за облачением, я буду показывать дорогу.

У Инны Протасовны возникло желание представиться, подать руку, она даже потянулась со своего места, но вовремя остановилась.

— Так есть ведь и крест, и облачение!.. — не желая вставать, Витенька смотрел на священника.

Крепов видел, как за стеклянной стеной с включенными фарами разворачивается старенькая машина. Он закрыл глаза, тут же открыл, в зеркале на эстраде оставался один саксофонист. Кто-то поднялся, пересек зал. Леонид, развинтив трость, пытался приспособить к ней горлышко коньячной бутылки, рука его дрожала, горлышко звенело о железо.

«Почему же мне так плохо? — неожиданно для себя притягивая женскую руку и влепываясь в нее губами, соображал Крепов. — Они же не мразь, они же не мерзость, а я этого совсем, кажется, не могу? — от руки исходило тепло и легкий знакомый запах. — Нужно уходить! Или бежать?!»

Леонид завинтил трость, опять прислонил ее к стене и, насмешливо глядясь в Крепова, занялся второй свободной рукой девушки.

— Ну, мальчики, ну, хватит!.. — наконец воспротивилась Марина. — Не беспокойтесь, я вас всех обслужу! — и чуть жестче. — Пустите руку, Вася!

— Не могу. — Крепов поднял голову. — У тебя глаза, как у ребенка...

— Какие у меня глаза?

Крепов изучал ее лицо, высокий белый лоб, свободные от волос выбритые виски.

— Как у маленькой девочки!

«Вот скотина, я ему завидую, — подумал Леонид. — Вот так взял и влепился! Всей душой, всеми своими кишками!..» — он смотрел на опять пьяные слезящиеся глаза Крепова, сам механически перебирая женские отвердевшие пальцы.

— А Алексей этот ваш, — Крепов видел, как дрожат серьги, золотые спиральки в ее ушах. — Он что, правда, поп? — Она попыталась одной рукой закурить, но оставила эту затею и перенесла свою ладонь на голову Крепова, на его затылок, провела ею медленным движением по волосам вниз, по шее, ощущая подушечками пальцев сильно выпирающие горячие позвонки.

— А как же! — Леонид разливал остатки коньяка осторожно, по капельке, стараясь никого не обделить. — Приходит у него.

— Развратный он, — девочка наморщила лоб, — но красавец! — она посмотрела куда-то в угол, в потолок. — Но ты не обижайся, Вася! — опять она провела рукой по волосам Крепова.

— Ты совсем дурочка, что ли? — спросил Крепов.

— Да вроде нет, — она сняла руку с его головы, залпом проглотила коньяк и прикурила от поднесенной Леонидом зажигалки. — Я не дурочка! Хочешь, диплом покажу?

Было темно, сеял дождь. Повисал в воздухе полупрозрачной стеклянистой тканью. Было видно, как внутри ресторана ходит человек в черном костюме и

гасит свет. Одна за другой отчаливали последние машины, покидали бетонную площадку. Перемигивались вдали, угасали их задние сигнальные огни.

Обежав машину, Леонид распахнул дверцу и сам устроился за рулем.

— А ты не боишься, пьяный за рулем? — спросила Марина.

— Ты можешь предложить что-нибудь другое?

— Вполне!..

Мотор не заводился. Все более и более раздражаясь, Леонид поворачивал ключ зажигания.

— Что, аккумулятор сел? — девочка отпустила Крепова и, перегибаясь через сиденье, почти уперлась головой в приборный щиток. — Ты не умсешь! Давай я поведу, я умею!

«Пусть, пусть это будет проститутка! Проститутка — это даже слаще, по меньшей мере легко! — думал Крепов, притягивая к себе девочку, погружая ее и себя в теплую глубину сиденья, проникая губами и руками, всем телом в теплую ее, вялую жизнь. — Я ведь не изменяю теперь Ирине, нет! Это не измена, это можно! Публичные, они всегда были, всегда!.. — Он не мог уже вырваться из тепла, не мог определить в ходящей темноте, где он сам, а где она, эта Марина. — Всегда, всегда были публичные!.. Это нормально, я мужчина... Я болен, я устал, я хочу отвлечься!... От чего? Нет, я хочу забыть!»

— Я ведь не изменяю, не изменяю тебе?! — жадно спрашивал он.

— Нет, Васенька, все в порядке, да что ж ты волнуешься так?

Машина медленно резала кипящие лужи. Горячий радиатор пробивал сырое полотно тумана. Не в состоянии разделить белесую ткань, фары, беспомощно напрягаясь, высвечивали только разбитые крупные брызги, летящие по застывшему бетону шоссе.

Леонид закурил, его немного раздражала возня на заднем сиденье. Глаза, прикованные к дороге, болели. Он глубоко затянулся, толчком выплюнул дым и как можно насмешливее спросил:

— Скажи, Вася, а любимая женщина — это очень тяжело?

— Ты-то помолчи, — вдруг злым голосом сказала Марина. — Сам небось не любишь никого?!

— Ты мерзавец! — Крепов как бы выпал из близкого живого тепла в пространство темной несущейся машины. — Ты мерзавец, просто везучий мерзавец! Хочу коньяка! Слышишь, я хочу коньяка!

Крепов откинулся назад, на мягкую кожу сиденья. Расслабился, прислушиваясь к гудению мотора. Девочка развинчивала трость, проливая драгоценную жидкость на сиденье, на свое платье, на золотую птичку. В двигателях внутреннего сгорания Крепов никогда ничего не понимал, но ему показалось, что в монотонном, звенящем звуке мотора присутствует лишняя, ненужная нота, и он отметил это с легким злорадством.

— Какие обиды, Вася?

— Да ты погоди, я говорю, выпить надо, в нашей живодерне человек один вчера уже умер...

Леонид выплюнул в окно потухшую сигарету и осторожно, сцепливая зубы, выжал педаль тормоза. Машину развернуло.

— Когда это случилось? — спокойно спросил Леонид.

— Что случилось? — Крепов был доволен произведенным эффектом.

— С вами убьетесь тут! — буркнула девочка и после паузы спросила: — Так тебе налить коньяка?

— Пока не надо, ты, Марина, подожди. Я спрашиваю, когда Миша умер? Я не спрашиваю как, я спрашиваю когда?

Отвечать Крепов не стал. Он выбрался из машины и сразу зажмурился. Он подставил лицо летящей колкой влаге, сдернул пиджак и, не оборачиваясь, зашагал по шоссе в сторону города. Он даже забыл открыть глаза.

— Ну куда он пошел?! — Марина перебралась через спинку на переднее сиденье. — Ну куда? Давай догоним его!

Леонид все поворачивал и поворачивал ключ в замке зажигания.

Они сидели рядом в темной машине, и девочка никак не могла заставить себя прикоснуться к этому человеку. Что-то мешало ей.

— Что он в любви понимает?! — сказал раздраженно Леонид. — Алкоголик!

Силуэт Крепова медленно растворился в белом, без рисунка холсте утреннего тумана.

15

глава

Над столом дежурной сестры белым кругом стояла зажженная лампа. Лежал под лампой развернутый регистрационный журнал. Сестра спала, положив голову на руки. Блестело на согнутом белом пальце массивное обручальное кольцо. Бесшумно Крепов выбрал в баке для использованного белья халат и бахилы почище, переоделся. Ноги тонули в мягком покрытии, тихо гудели приборы. В полуоткрытой двери палаты дергалась во мраке ломаная зеленая линия. У прибора копошились голые чистые руки. Пощелкивали тумблеры.

«Третья палата, вторая койка от двери!.. Кажется, не заметили!.. Головы им надо поотрывать!.. Не заметили!..»

Крепов вошел в палату и сразу увидел: койка была пуста, покачивались не присоединенные ни к чему мокрые шланги, оголенные провода.

— Тихо, Вася, — кто-то тронул его сзади за плечо. — Тихо, не переживай, ее перевели в послеоперационную палату!

— Куда? — прошептал Крепов.

— В послеоперационную. Если тебе не трудно, уйди отсюда!

Бессознательно Крепов сошел по лестнице. Он очнулся, только наткнувшись на твердый взгляд бодрствующей дежурной сестры, и понял, что забыл снять бахилы. Он почувствовал даже неловкость.

— Погодите-ка, — перегораживая ему путь, сказала женщина.

— Я работаю здесь... Я слесарь... Сантехник... Я думал, она умерла...

Сестра пожалала плечами. Она вернулась за свой стол, ничего не сказала. Взяла красную шариковую авторучку, что-то отметила в журнале. Показала авторучкой вдоль коридора.

Навстречу, бесшумный, прошел санитар. Другой санитар толкал из глубины коридора, тоже навстречу ему каталку. Белая простыня колыхалась на железной раме. Беззвучные, крутились резиновые колесики. По очертанию закрытого тела Крепов определил: женщина. Навязчиво тикали часы.

Ирина приподнялась на своей постели, отрывая голову от подушки лишь на мгновение. С тихим стоном она опустилась назад, на спину.

— Это ты, Вася? Я сошла с ума, или это ты? Садись, Вася! Я здесь, видишь, совсем одна. — Невыносимый прерывающийся шепот. — Соседка умерла ночью, они постель перестелили, все убрали, а сестру позвать неловко...

Накатила волна горьких, сладких запахов лекарств, хрупкий запах крахмала, запах медицинского металла, пустого стекла капельницы, не промытой после переливания...

Ирина опять попыталась приподняться, рука ее дернулась, и игла, выскользнув из вены, чиркнула по повисающей простыне.

— Лежи, не говори ничего, лежи, молчи. — Крепов опустил на колени, хотел дотронуться губами до ее руки, но на резиновом шланге перед ним подпрыгивала толстая, сочащаяся раствором игла. — Я пойду, сестру позову.

— Нет, не надо, не уходи, посиди со мной...

Несколько минут прошло или час, Крепов не понял. Как тихо ни ступала сестра, шаги ее он почувствовал сразу. Он даже поймал тот момент, когда за его спиной в глубине коридора скрипнул, освобождаясь, стул.

— Забери меня отсюда. — просила Ирина. — Забери, я хочу домой!..

— Ну кто же мне отдаст-то тебя?!

Ирина вздрогнула, по легкому одеялу прокатилась, повторяя судорогу, короткая волна. Прошелестели в коридоре за закрытой дверью резиновые колеса. мягко протопал санитар.

— Сейчас же уходите! — Крепов даже не видел сестры, он только слышал ее голос. — Уходите!

На площадке седьмого этажа он остановился. Светилась над входом, прямо перед глазами размытая цифра семь. — А почему я, интересно, пешком пошел? А почему я решил, что она уже умерла или скоро умрет?... — стараясь не считать ступеньки, медленно спускался вниз по лестнице черного хода. — Да, Миша умер.

На площадке первого этажа, сворачивая мимо сетчатой лифтовой шахты вниз, во мрак, Крепов все еще слышал аккуратные шаги дежурной сестры, подкрадывающиеся к нему сзади. Ступени кончились, начался подвал, и рев двигателя вытеснил эти шаги.

Карапкин спал, по-детски прижимая к себе колени, из вороха грязных ватников торчали на весу его ноги, обутые в грубые коричневые ботинки, а рука во сне продолжала цепляться за холодную тонкую трубу, так же как и труба, покрывалась мелкими ледяными капельками. Крепов потряс его за плечи. Карапкин пробурчал что-то, попытался разлепить глаза, но не разлепил и перевернулся на другой бок, упираясь ботинками в стену.

— Витя, Виктор Дмитриевич, милый, у тебя спиртика не осталось, случайно?

— Что спирт?! Какой спирт?! — Карапкин одним неловким движением сел на банкетке и сразу привалился спиной к стене. — Вот только непонятно, почему хорошие люди как мухи мрут? Почему плохие тоже мрут?! — Он допил спирт, стукнул бутылочкой по столу.

— Иди, Вася, поспи! Там свободно. Натюрморта забрали, и там свободно... Простыню стелить не стали, но продезинфицировали, только я точно не знаю, может быть, там Ванечка спит. Пойди, Вася, посмотри!..

— Я домой пойду! — сообщил Крепов, тоже допивая спирт.

Карапкин показалось, что не прошло и минуты, что он и не закрывал глаза. Бутылочка стояла пустая на столе, а на месте Крепова сидел другой человек — Дрябов.

— Это ты как так превратился? — Карапкин провел горячей ладонью по воздуху и сдвигал пальцы в кулак. — Начинается, кажись, нужно завязывать!

— Канализацию прорвало, — сказал Дрябов, он был почти трезв. — На первом этаже. Рентгенкабинет пришлось эвакуировать.

В поисках инструментов Карапкин распахивал все шкафы подряд. Доставал и укладывал в свой побитый дипломат необходимые ключи, проволоку...

— Поработать по профилю нам надо!.. — они быстро двигались по коридору. — Самим краны иногда ставить надо, а то живем и не дышим!.. Слышь ты, не дышим!..

— Я аварийную вызвал, но они не обещали, говорят, только к вечеру, говорят, заказов много... Своими силами как-нибудь, говорят!.. А там уже и вплавь можно...

Все окна первого этажа оказались распахнуты, и в них медленно влезал, раздвигая белые занавеси, холодный утренний свет. Лился волнами густой приторный запах, оттесняя медперсонал из коридора на лестницы и на улицу, сдвигая людей в толпу.

Виктор Дмитриевич сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился, ботинки его утонули в темной бегущей воде. Сквозь воду были еще видны прямые линии рисунка на ковровом линолеуме.

— Здесь противопогаз нужен, — вздохнул Дрябов.

— А скафандр тебе не нужен? — Карапкин обернулся и налетел взглядом на неприятные серые лица скученно стоящих людей. Десятки глаз смотрели на него с неприязнью, но было в этих глазах и какое-то ожидание. — Сейчас все починим, товарищи! — даже не стараясь поднимать повыше ноги, он быстро, сильно раскачиваясь, пошел по коридору.

— Трубу разорвало, объяснил Дрябов. — Часть потолка обвалилась, и сюда полилось, прямо им на голову... И рентгенкабинет затопило, и туалеты тоже...

Между сверкающих кафельных стен ярко горели лишенные своих матовых колпаков четыре стоваттные лампы, двигалась, пошевеливаясь, неодно-

родная коричневая масса, дыбилась, пузырилась, и в этой вытекающей в коридор каше будто плыли, покачиваясь на сальных волнах, четыре белых фаянсовых круга.

— На войне, как на войне, — пробормотал Карапкин, инстинктивно задерживая дыхание.

— Где, на войне?!

— Я говорю, ничего здесь без аварийки не сделаешь! — Он развернулся, желая вернуться, но увидел в конце коридора сомкнутую белую толпу и остался на месте. — Будем терпеть, за что-то же нам деньги платят!..

— Деньги?! — вздрогнул Дрябов. — Это точно, за что-то платят!

— За подвиг нам платят, понял! Нужно лестницу найти... Заклинить бы чем-нибудь эту пакость!..

Крепову стало смешно. Через головы он успел заметить две нелепые фигуры, замершие перед дверями туалетов, поздравил себя с тем, что не его сегодня, не Крепова смена, и, стараясь остаться незамеченным, подался назад, к выходу.

Из рассветной пустоты снизу глядывались в слесаря темные собачьи глаза. Тюльпан сидел на мокром асфальте рядом со скамьей и скулил. Он вывалил свой длинный широкий язык и лизнул руку Крепова.

— Нет, это не белая горячка, это собака, она живая!

— Что, Василий Аркадьевич, уже сами с собой разговариваете? — тут же забубнил в ухо молодой противный голос. — Это с похмелья нормально, у меня тоже случается. — На скамеечку, подложив под себя руку, опустил Витенька. — Что, Тюльпан, жрать хочешь? — спросил он, обращаясь уже к собаке. — А у меня нет ничего тебе дать, ну нету!.. — Он лениво вывернул наружный карман.

Собака смотрела на Крепова, медленно отводила мокрые глаза и опять смотрела, а новый кислородчик все бубнил и бубнил что-то ему в ухо:

— ...Глупости это... Мы приехали, а она говорить уже не может. — Кислородчик шепелявил, ему мешал выбитый зуб. — А батюшка разволновался, ей крест все сует, сует!.. Хотели еще раз морфия вкатить, да не успели. — Он говорил уже медленно много ненужных слов, и шепелявость его усиливалась. — И не страшно, к смерти как-то быстро очень привыкаешь, ведь подряд три человека... Ты говоришь с ним, за ручку здороваешься, на машине катаешься, а тут сразу лежит и не дергается... — Недавнего школьника заметно передергивало от холода.

Собака отвела глаза от глаз Крепова, повертела головой и медленно побрела по голой текущей глине парковой дорожки.

— А кто третий? — спросил Крепов.

— Какой третий?! — удивился Витенька.

— Ну, старуха твоя, я понимаю, — Крепов мысленно зажимал пальцы. — Натюрморт, как бишь его? Не вспомнить... А третий-то кто?

— Я тоже не помню, третий кто... А, Миша этот!.

Белое небо подскочило к самым глазам Крепова, но тотчас отступило, сыто отвалилось, отодвинулось назад, выгибаясь в серую чашу.

— Василий Аркадьевич?! — откуда-то из боковой внутренней двери появился санитар.

Он хотел еще что-то сказать, но не сказал, с любопытством рассматривая странную парочку.

— Давно заступил? — спросил Крепов.

— Да вот только что. Вы по делу?

— По делу! — буркнул Витенька.

Крепов кивнул подтверждая.

— А что, аврал кончился уже? — спросил санитар, приглашая за собой движением белой руки. — Урожайно сегодня, в три ряда, на вторую полку кладем. В общем, придется поискать.

«А откуда он знает, зачем мы пришли, кого мы ищем?! — подумал Витенька. — Мы же ничего не говорили!..»

Воздух здесь, в длинном белом помещении без окон, был чистый и

легкий, но не холодный. Поблескивали рядами прямые металлические ручки. Было тихо, скрипела обувь, щелкали замки открываемых холодильников.

— Нет, не то, и здесь тоже не то! — Одну за другой санитар распахивал толстые дверцы, наклонялся, вглядывался в полутемные пространства за ними. Витенька видел, как его рука ложится на металлический поручень, тянет его на себя. Щелчок. Витенька заглядывает через его голову, но ничего не видит. — Опять не то, здесь одни девочки! — улыбается санитар.

По белым до белого потолка стенам ходили тени. Напрягая глаза, Крепов смотрел в темную внутренность холодильника, покрытые легкой изморозью твердые неподвижные тела, и из каждой открытой дверцы падал на лицо холод.

Витенька почти подлез под руку санитара, почти засунул голову в холодильник и опять ничего не увидел. Перед глазами метнулся в закрывающемся железе серой ниткой крест-накрет стягивающий на черепае кожу шов.

«Боюсь? Нет, уже не боюсь... — в ногах он ощущал небольшую слабость. — Голова чистенькая, сердце бьется ровно, нет, не боюсь, можно даже их потрогать!»

— Что, понравились женщины?! — заметив его взгляд, ухмыльнулся санитар.

— Почти влюбился! — выдавил из себя Витенька.

— Да, вот он! — санитар пошире распахнул очередную дверцу. — Вот он, Василий Аркадьевич, вполне прилично заштопали.

— А вещи его?

— Сейчас посмотрим, должны быть. — Санитар вынул из большого деревянного шкафа целлофановый пакет. — Здесь случай особый. — Он подмигнул Крепову. — Как говорится, родственников нет!..

«Родственников нет, — повторил про себя Крепов, сдавливая в руке протянутый пакет. — Генералов понаедет!..»

Витенька присесть не осмелился, он только смотрел, как Крепов раскладывает аккуратно на столе мелкие вещи, разворачивает пижаму, кладет на белые звезды бритву, помазок, осторожно ставит пластмассовый стаканчик, заводит часы, за ниточку медленно вытягивает из складок пижамы что-то. Это что-то — тонкий золотой крестик-распятие. Крепов смотрит куда-то над головой Витеньки и наматывает, наматывает белую нитку на палец. Распятие, посверкивая, дергается в воздухе, пока не оказывается в его ладони.

«Украл! — думает Витенька. — Украл, и два здоровых мужика его не остановили. Стыдно, Василий Аркадьевич, красть золото у мертвых!»

В стеклянной стенке пельменной плавится солнечная дуга, и будто катятся сквозь чугунную ограду темные сырые бревна этого дурацкого домика. «И почему он здесь стоит? — думает лениво Витенька. — Срубик! Его еще при строительстве должны были сломать!.. А он — вот он! Да его еще сто лет назад сломать должны были!»

16

глава

Прищуриваясь на белый солнечный крест, рассыпающийся в стекле пельменной, Витенька вдруг неожиданно для себя захотел перекреститься. «Вот так просто перекрещусь! А что будет?! Потому что устал я... Нужно домой, отдыхать!.. — думал он, спускаясь уже в подвал. — А ведь я не могу перекреститься. Не могу, потому что просто не знаю, как это делается. Слева направо это делается или наоборот, справа налево?! Кажется, рука должна быть левая, иначе не считается, — носком ботинка он отшвырнул попавший под ногу кирпич и чуть на наступил на руку лежащего лицом вниз человека, но даже не заметил этого. — Но крестись не крестись, зуб не вырастет!»

Кирпич треснул низко о бетонную стену, и сырая пыль посыпалась на лицо Ивана. Пауков открыл глаза, на миг осознал себя лежащим на полу в подвале, понял, что на этот раз не смог дойти даже до дивана, попытался подняться. Пол зашатался, как палуба морского катера, ледяная от брызг.

«Я заболел, — была последняя связная мысль. — Я умираю!»

Иван не мог больше думать, его одолевали яркие цветные картины, запахи, крутые повороты неподвижного тела, кратко прерывающиеся приступы дурноты. Он был в сознании, но ни одно слово не могло до конца прозвучать в нем. Слова просто не складывались из букв. Буквы, каждая имела запах, цвет, вкус: «Я», «О», «Не», «Он»...

Пауков видел себя со стороны: жалкое существо, худой, тощий человек в приступе белой горячки, прилепливающий грязные ладони к полу, все пытающийся оттолкнуться, подняться... Но равно он видел себя и вышагивающим по коридору: это тоже был он, во рту болел зуб, а левая рука все пыталась вывести в воздухе крендель ото лба к плечу. Мотался на волне шаткий морской катер, перебегала по горизонту голубизна, и опять обрушивались тучи. Он шел, осторожно ставя в темноте ноги, шел туда, на свое рабочее место, в кислородку. Раскачивалась, раскачивалась, как просвеченное молниями грозное небо, крупная решетка, полуоткрытая дверь в маленький морг. Отсюда до холодильника один шаг. Низкая, без окон комнатка, плакат: серебряный «Аполлон» в стартовых фермах... Он устал, он смертельно устал, и он со всего размаху бросается в кресло. Нужно наконец отдышаться, отдохнуть, отлежаться дома... Неожиданно складывается краткая, тоже последняя в ряду мысль:

«Это же не я, или это все-таки я? А какая разница, если я вижу себя со стороны...»

Он открывает глаза. Морщится, потому что одновременно трещит селектор и звенит телефон. На полировке стола граненый хрустальный стаканчик. В полировке зыбкое отражение стаканчика. Полощется на окне прозрачная, как волна, тюлевая занавесочка. оmyвает чистое большое стекло. Собственный волосатый палец бьет кнопку.

Бессознательно Иван удивляется, почему это он говорит по селектору? Почему призывает Дергачеву, как начальник:

— Погоди, Саша!

Снимает телефонную трубку и сразу меняет голос:

— Да, конечно, я приветствую!..

«Летальный. Это профессор Летальный, он просит, чтобы кому-то встали зубы».

— Да, Саша, у меня к тебе небольшая просьба. Будь добр, отведи нового кислородчика к зубному врачу, если получится, прямо сейчас... Да, от моего имени!.. Кого затопило, какой потоп?! Да, я знаю. приехала аварийная!.. — И уже совсем жестко: — Занимайся своим делом. тебя еще никто не переводил в слесаря!

Солнце на обмороженном красном кирпиче стены. Катер медленно вplывает в этот отраженный зенит, и звучит, не прекращаясь, гортанный крик, горловой нечеловеческий вопль. Зеленая буква «В», за которую очень хочется зацепить шарф, холодное желтое пятно увеличивается, заполняет весь мир. Оно медленно мутнеет, делается коричневым, пупырчатым, течет под ноги. Он с отвращением, не помогает даже спирт, идет по затопленному полу, размахивает гаечным ключом и матерится, матерится в голос, от всей души:

«Я заболел. — была первая мысль. — Кажется, я умираю! Нужно подняться, нужно позвать на помощь. — С усилием он открыл глаза. Кружащаяся темнота, тошнота. — Кирпич, почему здесь кирпич?.. — Он нащупал рукой осколок кирпича, бросил. Пошарил, обнаружил совсем рядом несколько целых. С трудом поднялся на колени. В прямоугольной перспективе картины, в конце коридора, там далеко горела лампочка. Осторожно Пауков вдвинул кирпич на положенное место, взял второй кирпич, положил...»

«Жаль, цемента нету, плохо будет держаться!.. Где-то здесь должен цемент быть... И я не болен. Вот я кладу кирпичи, стенка немного разрушилась, я хочу ее починить... — Он потянулся за следующим кирпичом, рука скользнула в красной луже, и уши заложил монотонный рев вакуумного насоса.

Складываются, складываются крылья у легкой бабочки — свет на потолке. Множащиеся лица, белые шапочки там, над головой, их видно сквозь

стеклышко каталки. Голубой бантик - простынка под подбородок, тень на потолке мелькнула и погасла совсем — она умерла.

— Она умерла, — шепчет Пауков, открывая глаза, хватаясь опять за кирпичи. — Она умерла. Кто, она умерла?

«Нужно продержаться, нужно позвать на помощь!»

Еще много раз он проваливался в черное, уже без цвета и запаха неподвижное ничто, огромное и пустое, как весь подвал. Он чувствовал его так же и со стороны, это ничто. Весь огромный, человеческий запутанный лес. Но вот зашуршали, застучали близкие шаги.

«Помогите! Да что это я?! Крикнуть нужно!..»

— Помогите! — прошептал он.

Голова опустилась на бетон, лбом в кирпичную крошку. Пауков успел еще это почувствовать. Темные хитросплетения, ветки, корни, далекая, приколотая скальпельным блеском к густому бархату ночная луна, и серебряные винты режут живые извивающиеся корни. Отрубленные корни, подергиваясь, рассыпаются, разбегаются каплями по бархату, стремясь, облегченные и раздуваемые, как воздушные шары, легкие, в скальпельный желтый диск.

— Клади, клади его на спину, заноси! — услышал Иван отчетливые и знакомые рядом голоса. — Да нет, так ты ему ноги поломаешь!

Он открыл глаза и сразу увидел Алушу. Вверх торчала игла, и палец Алуши медленно отжимал поршень шприца. Игла брызнула, Алуша улыбнулась.

— Вы хоть на бок его поверните, — сказала она. — А то в руку колоть придется!

— Коли в руку, — прошептал Иван.

— Смотри-ка, очухался! Молодец! — Она подмигнула. — Помоги, помоги ему. Витя, ты видишь, парень сам повернуться задом не может!

Раскачивался серый квадратный потолок, капала вода с трубы. Скользила стеклянным доньшком, ехала по столу пустая бутылочка. И все звучали и звучали их голоса. А в неподвижной левой руке появилось странное желание. Рука как бы сама, отдельно от Ивана, желала выписать неловкий крендель ото лба к плечу.

— Пожрать бы ему надо! — сказал Карапкин. — Сбегай, Вася, в магазин, купи чего-нибудь! Ну там колбаски, хлеба, плавленый сырок!..

— Балда ты, Виктор! Какой сырок?! — Алуша стукнула его ладонью по лбу. — Ему супу горячего надо! Очухается, пусть на пищеблок идет, там бабы хорошие, пожалеют!.. Мерзавцы вы, допили парня до полной потери пульса!..

— Что мы сделали? — удивился Карапкин.

— Допили! Еще повторить?

— Не, повторять не надо... Я Вере скажу, у нее сестра на пищеблоке работает двоюродная!.. Все будет только в радостных тонах!..

Пауков закрыл глаза.

— Ты поспи, поспи, Иван Федорович! — сопел Карапкин, подтыкая ему под ноги ватник. — Поспи, родной! — От Карапкина сильно пахло канализацией. — Поспи, а потом сходишь, покушаешь! Я Веру попрошу, она тебя проводит! Поспи, а то помрешь еще случайно, как Натюрморт!..

Но заснуть Пауков не смог. Он лежал на банкетке жалкий, дрожащий, заваленный ватниками, а вокруг, как продолжение кошмарного сна, двигались и говорили люди, возникали и исчезали.

— Да нет, я пойду, — настаивал Дергач. — Мне придурка этого найти надо. Главный приказал, будем Летальному-младшему зубы вставлять.

— Это чтобы он кусался шибче! — прыснула Вера.

Спина Дрябова все заслонила от Ивана.

— Ребята, может, есть хлебушка немножко, — слабым голосом попросил он.

Кто-то вошел, хлопнула дверь, шевельнулся воздух, Иван ощутил это кожей лица.

— А вот он ты! Вот ты его и покормишь! — проорал во все горло Карапкин. — Домой возьмешь его с собой и там покормишь! И спать уложишь

на чистую простыню, и грелку к ногам! А то совсем истерся парень на казенном диване!..

— Я не могу!.. Нет, честное слово, не могу, я не домой сейчас, меня на сейшен пригласили!..

— Вот-вот, на сейшен и возьмешь!.. Он тоже молодой, тоже на сейшен хочет!

— Делай, как говорят, — вставил слово Дергачев. — А я тебе за это прямо сейчас зубы сделаю!

Ивана подняли, поставили на ноги, чуть подтолкнули в спину, и тут выяснилось, что он вполне может идти.

«И что я за ним все время, как собачка на привязи, хожу? — думал Пауков, опускаясь на банкетку возле двери стоматологического кабинета. — Ведь даже не думал об этом, а рядом, рядом. — Голова у Ивана все еще кружилась, его подташнивало, но в теле набралась минимальная жизненная сила. — Баллоны с ним ставил, работу его делал!.. Дрябов попросил? Да нет, это ты сам. Иван Федорович, можно считать, напросился!.. Адская привычка — на глазах тереться!.. Он же кто? Летальный-младший!»

Из кабинета слышались прерываемые резким звуком бормашины крики Витеньки и ласковые тихие уговоры врача-стоматолога:

— Ну, не больно же, а если и больно, совсем чуть-чуть! Сейчас, сейчас, маленький, все пройдет! Ну, потерпи еще чуточку!

В такси Ивану опять сделалось худо. Мысли в голове его перемешались, а летящие машины в прямоугольных аллеях посыпались красные и зеленые, как стеклышки в калейдоскопе.

— Ну, ты чего, совсем не ходишь? — Витенька хватался рукой за чуть распухшую щеку. Иван ему был неприятен. От Ивана пахло потом и подвалом.

«И почему я должен его на себе таскать, этого алкоголика? — помогая слесарю преодолеть коротенький лестничный пролет, думал он. — Я сам инвалид! Меня самого пожалеть надо!»

От этой мысли Витеньке сделалось смешно, и он, прислонив Ивана к стене, не раздумывая, сразу позвонил в нужную дверь.

Пауков с силой зажмурился, над его головой многократно все гудел и гудел звонок. Пол дергало под ногами Ивана, в любую минуту готовая выскользнуть, бежала, как шершавая лента, стена под ладонью. Посыпалась, будто в глаза, красная кирпичная крошка. Взорвалось желтое солнце, взорвалось и сжалось, уменьшилось в точку. Ему показалось, что в руках что-то маленькое, золотое и на палец наматывается, наматывается белая нитка. Крестик рывком попадает в ладонь. Он видит сквозь колышущуюся красную пелену вытянутое лицо девочки. Золотые сережки на длинных цепочках, острые глазки.

— А это еще что же такое?! — спрашивает она. — Витенька, кого ты притащил?

— Я вам слесаря привел! — хмыкнул за спиной Ивана Витенька. — Только вы, ребята, осторожнее, он того, больной!

— Летальный больного слесаря притащил! — грохнуло в комнате.

— А что, свежая идея, в этом есть даже что-то оригинальное!

— Летальный, а ты совсем без подарочка не можешь? — спросила девица, и серьги в ее ушах закачались и заблестели.

Несколько рук втащили Ивана в квартиру, покрутили на месте, после чего осторожно опустили на что-то мягкое.

— Слушай, слесарь, ты выпить хочешь?! — навязчивый, проникал в сознание Ивана чей-то молодой голос. Но он ничего не отвечал, сил хватило только на то, чтобы качнуть отрицательно головой.

Голоса проваливались по одному в пустоту, в пространство между волн, под дно ныряющего катера. Красная кирпичная крошка под музыку, как снег падала в бушующий океан. Вода медленно покраснела и ложилась ровными багровыми мазками. Катер пошел ровнее, ровнее... Музыка налетала, как ураган, далекие голоса...

«Это простая музыка, тяжелый металл... Очень тяжелый!..» — Иван открыл глаза. По столу, по прожженной, залитой вином и воском темной поли-

ровке прохаживались хрустальные ясные тени бокалов, вертелись голубые тарелочки. За столом никто не сидел.

Легкие, коричневые, шевелились волосы, прядки на спящей голове. Голова девочки лежала между серебряных бутылок. Преодолевая головокружение. Иван пытался осмотреться. Опять бутылка, импортная, непрозрачная серебряная сигара в обрамлении приставленных к ней сигарет. И рядом, ни к чему не подсоединенные, валяются красные дешевые телефоны за семнадцать рублей. На полу в обозримом для Ивана пространстве лежали, обратясь друг к другу, двое парней. Они курили и перебрасывались лениво нерусскими фразами.

— Но, мальчики, это же неприлично по-английски! — звонко выкрикивала знакомая девица с сережками.

На Ивана никто больше не обращал внимания.

— Где моя рюмка?! Я хочу предложить!.. Оставь его, не стоит!.. А Витенька, Витенька-то!.. Смотри-ка, слесарь наш проснулся!.. Ну его, слесаря!.. Давайте, давайте играть в тигру!..

Серебряная сигара «Аполлона». Бутылка. Серебряный баллон без башмака. Хватаясь за трясущиеся стены, Иван поднялся с дивана.

«Почему так ясно? Маленький золотой крестик! Я не могу выйти из подвала! Я не могу выйти!.. — он двигался вдоль стены. — Нет, я выйду! Это все равно как, но я выйду! — Наконец он обнаружил высокую белую дверь в туалет, толкнул ее мокрой ладонью, шагнул внутрь и, тщательно прицелившись, заложил тяжелый бронзовый засовчик. — Вот оно, это место! Это специальное место, для того чтобы привести себя в порядок!..»

Осторожно он опустил на низкий унитаз, потер кулаком глаза, посмотрел прямо перед собой. На двери была приколотая кнопками страница из журнала — цветная крупная картинка: худая голая девица строго смотрела на Ивана сквозь стекла своих квадратных очков.

С двух сторон были белые кафельные стены, намытые до блеска, под ногами лежал на полу маленький красный коврик. Над головой пощелкивала в белой груше плафона яркая лампочка. В комнате громко на разные голоса кричали:

— Тигра, тигра, под стол!..

Прошлепали осторожные шаги. Кто-то потянул снаружи ручку двери.

Не отрываясь, Иван смотрел на кафельную стену. Он почему-то совсем успокоился, в мыслях появилась ясность. Дверь снаружи опять потянули.

— Тигра, за стол! — громко крикнула комната.

— Ну, пусти! — попросили за дверь. — Пусти, пожалуйста!

Паукову казалось, что он продолжает наматывать на палец нитку и маленький золотой крестик колет ладонь. Он смотрел на стену, на белые кафельные квадраты. И вдруг стена шевельнулась. По кафелю прокатилась будто волна горячего воздуха, и медленно, медленно кафель сделался прозрачным. Иван тряхнул головой, укусил себя за палец. «Галлюцинация!»

До боли растер глаза. В комнате кричали. Задвижка на двери под нажимом снаружи дергалась, рискуя отскочить. А в стене, прямо перед ним зияла неровная дыра — большой круг с рваными краями. Пахло в лицо цветочным сильным запахом, невероятной свежестью свободного воздуха. Перед Пауковым на расстоянии вытянутой руки было невозможное окно без стекла.

«Все в порядке, это не мучительно, это даже приятно, — шептал про себя Пауков, он облизывал быстро пересыхающие губы. — А если шагнуть туда?! Нет, не шагнуть, шагнуть — это не то!.. Влезть, свободно же можно пролезть в эту дырку!..»

В остальном стена оставалась прежней, только на рваных краях, как оплавленная пластмасса, сначала потекла и затвердела белыми пузырьками. Но за окном, где через два кирпича должна была находиться кухня (слышались даже шаги по кухне, ругань), стояли перед Иваном огромные светлые пространства. Такой вид мог быть с вершины холма. Бескрайнее голубое небо, поднятое вверх в своей невесомой прозрачности до черноты космоса, и бегущие вниз под небольшим углом зеленые купы деревьев. Налетал ветерок, можно было заметить редкие фиолетовые или совсем белые цветы.

— Если я туда полезу, то я умру? — вслух проговорил слесарь. — Как там хорошо! Нелзя. Нужно потерпеть, пока пройдет. Я просто разобью голову о стену. А они сломают дверь и увидят, что в запертом изнутри туалете совсем пусто!.. Они пьяные, они даже не удивятся!..

Дыра в стене на глазах медленно начала уже затягиваться, когда Ивану удалось разглядеть там, внизу, под холмом, в зеленой шевелящейся пене листвы белые полусферы построек. Края покачивались, наращивались к центру, уменьшая обзор. По холму прокатился цветочный ветер.

«Или сейчас... Или я никогда уже не увижу... Почему я говорю вслух? Нет, я уже не говорю вслух, я думаю!»

Минуту спустя перед глазами находилась белая кафельная стенка. На одной из плиток тоненько, кажется, иголкой, было что-то нацарапано, какая-то строка. Голая женщина на картинке подмигнула, и стекло в ее очках блеснуло задорно Ивану.

«Не смог!.. Не решился!.. Всю жизнь буду жалеть!»

17

глава

Дверь в туалет легко и быстро сломали. Втащили в комнату, положили на диван пьяного слесаря. Иван все еще пытался удариться головой о кафельный пол, уже бессознательно имитируя сознательное действие, но голова только отскакивала от пружинного покрытия.

Женская рука лежала на затылке Паукова. Он приоткрыл глаза. Моталась прямо перед глазами золотая серьга на цепочке.

— Ну, ты! Успокойся, успокойся! — почти трезвым шепотом говорила девочка. — Ну и что, что ты слесарь! Ну и что, что ты пьяный слесарь! А как тебя зовут? А как его зовут? — она уже обращалась куда-то в сторону. — Ванечка? Успокойся, Ванечка, все хорошо... Мы тебя домой отвезем. Завтра свои унитазы опять будешь чинить... Нужно его, ребята, домой отвезти!

«Издавается она, что ли?.. Нет, она пьяная, маленькая дура пьяная, не нужно обижаться!.. Нужно было в дырку головой лезть! Ничего бы не было!..»

— У него нету дома! Я его отвезу!

В такси Ивана сажали большой компанией, и на заднем сиденье машины он тут же заснул, потерял сознание. И очнулся от Витенькиного голоса:

— Вы отведите его на диван! — гнусавил Витенька. — Ну, пожалуйста, Василий Аркадьевич, я не могу, домой поеду, устал я! — Витенька перегибался с переднего сиденья такси и зачем-то подталкивал Паукова.

«Действительно, как заколдованный круг, — думал Крепов, перегружая Ванечку на руки Карапкина и Дрябова. — Ведь уже в воротах стоял, а опять вернулся!»

И Карапкин, и Дрябов отчего-то глупо улыбались. Всмотревшись в их лица, Крепов, ни слова не говоря, прямо посреди коридора легко развернулся и сразу ушел.

Крепова бесили светофоры. Он не мог понять, во-первых, откуда их вдруг столько (город с детства знаком — не было их!), а во-вторых, такси не хотело пропустить ни одного. Везде неизменно, стоило машине приблизиться, медленно гас зеленый и вспыхивал красный флажок.

— А побыстрее ехать мы никак не можем? — спросил у водителя Крепов.

— Торопитесь?

— Тороплюсь.

— Судьбу не обгонишь, — вздохнул водитель. — Я, конечно, могу и быстрее, но тогда как раз опоздаем к следующему светофору. Если уж красный, то и будет красный, здесь не угадаешь! Вы, я надеюсь, не на поезд?

— Не на поезд, — признался Крепов. — Дело срочное, понимаете? Ты попробуй все-таки побыстрее, если можно, конечно!.. Ты извини!

— А чего? — шофер пожал одетыми в старую вытертую кожанку широкими плечами. — Попробовать всегда можно, не грех...

Не доезжая до места, Крепов попросил остановить машину, ему отчего-то сделалось неудобно за свою спешку. Расплатился, попытался улыбнуться шоферу. Катился над улицей могучий медовый звук православного колокола. Быстро зашагал, не глядя, маршрут знакомый. Перекрестился на купола дважды. Вытер ноги. Покосился, ругая себя за это, на табличку: «Памятник архитектуры, охраняется государством». Сдирая с подошвы глину о металлическую острую решетку, снял левой рукой шапку, шагнул в полумрак, опять крестясь. Захотелось обернуться, но он не обернулся.

Плыли, как в нечистой воде аквариума среди изгибающихся золотых водорослей — окладов и открытых темных глаз, намалеванных столетия назад, черные острые платочки старушек. Провалилась и прошла со звоном (колокол ударил по сердцу неочищенной медью) рыжая шапка, мохеровый развернутый шарф, косая улыбочка атеиста. Крепов ухватился за грудь, втыкая в пуговицу сведенную щепоть. Сверху, в круге, перед сидящим на белом облаке резал перекрестно стрелчатые окна последний дневной свет. Подстриженные затылки, платочки, шапки и поклоны, движение в аквариуме, в густом ладановом сиянии мрака, вперед. Люди под звон, шорох шагов к огромной, сквозь дым рисующей свой изменчивый узор кормушке иконостаса. Сухо, горько дышать, страшно. От горечи, от сухости, от заданности направления в голове медленно испаряются последние гадкие желания. Только на миг сделав их краткой вспышкой исповеди перед собой, он успокаивается.

Явь утекает вверх в крутящиеся светлые стрелчатые окна. Крепов знал за собой эту слабость, сразу и безоговорочно подчиняться наваждению Храма. Ему захотелось молиться, и он почти забыл, что нужно действовать, а не молиться.

«В действии нужно молиться, коли ты в мире живешь, — прерывая в себе молитву, вспомнил он слова отца Алексия. — Господи, опять я не о том думаю!.. А может, Алексия найти, он проще рассудит?»

Кто-то тихонечко сзади потянул Крепова за рукав, и он замер, закрыл глаза. Но не хотел уступить, он не хотел сделать и полшага назад.

— Мне Дергач нужен, ну и что, что японцы?! Я немного посижу и пойду!..

— Ты что бормочешь?! — Крепов не повернул головы, но, как-то сразу опомнившись, узнал голос Леонида. — А то я смотрю, — шептал Леонид, — никак мы с тобой разойтись не можем!

— А ты что здесь?! — так же шепотом спросил Крепов, сам не замечая своего вопроса. — Ты что, православный верующий теперь?

— Ищущий я, понял! — отозвался Леонид. — Ты подожди здесь, поговорить надо, не удирай, я сейчас вернусь! Дельце одно проверить надо!

Застучала трость, на один звук колокола четыре постукивания в церковный грязный кафель коньячной тросточки.

«Достаточно только пожелать никого не встретить, как тут же и встретишь, — думал Леонид Борисович, пробиваясь сквозь толпу к исповедующему в очередь священнику. — Все что хочешь покажу, смотрите, не жалко!... А захотел раз в году тихонечко к исповеди сходить, как сразу Крепов!.. Зачем он мне сдался?! Зачем я просил его подождать?! Совершенно не нужен он мне, и нечего меня ждать! Но теперь-то он будет здесь стоять на одном месте и креститься сколько понадобится времени!.. И ведь, смешно, это по моей просьбе!»

— Простите, девушка, вы последняя? — пристраиваясь в очередь к общей исповеди, спросил он. И, не дождавшись никакого ответа, добавил: — Ну, тогда я за вами буду!

Девушка шептала долго, еле слышно, видно было, как шевелятся на неподвижном ее мучном лице полосочки губ. Колокол смолк. Девушка получила благословение и поцеловала руку священника.

«Обычный, заурядный гуманитарий, — пытаюсь поймать глазами усталые глаза батюшки, думал Леонид. — Какой-нибудь филфак МГУ или, того хуже, педвуз! И вдруг он уверовал, после, естественно, академия. Вопрос здесь один: какое отношение эта черная ряса белого священства может иметь к моему Богу?» Пауза затянулась, и священник смотрел уже с некоторым удивлением.

— Ну что, батюшка, смотрите? Грешен я, вероятно, грешен. Я же не

могу точно определить, что грех, а что не грех. А если для себя, не дай Бог, и определяю, то это такая сложная личная материя, что вам никак не понять. И я бы тоже вас не понял...

Священник сделал судорожное движение рукой. Крест мелькнул в воздухе, было похоже, что священник хочет им защититься. А Леонид продолжал распалаясь:

— В частной исповеди вы все мне отказываете, почему?! — он увидел, что его медленно крестит белая старческая рука. Очень заметны были коричневые и желтые пигментные пятнышки на этой руке. — А мне исповедь нужна, я исповедоваться хочу! Хочу не вам, хочу по-настоящему, если вообще по-настоящему бывает!

Смачно Леонид поцеловал протянутую ему руку, покорно выслушал благословение, задержался еще на миг, всматриваясь в больные глаза священника, и, непроизвольно пятась, двинулся в выходу.

Крепов видел, как сползает с иконы оклад. Медленно, золотой змеей сползает вниз в полумрак, в горьковатый стелющийся чад. Он запрокинул голову. Медленно, на глазах угасали стрельчатые, по кругу, окна. И не определить никак, колокол заходится или бьет его изнутри собственная дрожь.

«Нужно подойти, нужно спросить, я не могу оторвать подошвы ботинок от кафеля... Я просто не в силах подойти и спросить!.. Но нет, я вот подойду сейчас, подойду и спрошу, почему крест... — он сдвинул в кармане в кулаке тонкое золото, перемотанное спутанной веревочкой. — Почему чужой крест? Почему чужой крест так меня мучает?»

Демонстративно Леонид постукивал своей тросточкой в кафель.

— Пойдем отсюда, Василий Аркадьевич!

— Слушай, ты мне скажи, — зашептал Крепов, хватаясь за последний шанс, за последнюю возможность. — Только это ненормальный вопрос, но скажи!.. Ты только не обижайся, скажи мне!..

— Какое длинное предисловие! — Леонид ухмыльнулся. — Я не обижаюсь.

— Скажи мне, только честно, Миша в Бога верил. — Мимолетная судорога скользнула по лицу Леонида, но Крепов не заметил ее. — А это?! — Крепов держал на ладони крестик. — А это вот!.. Я нашел в его вещах и украл!

— Это мой крестик, Вася, — мягко оборвал его Леонид и, приобняв за плечи, осторожно вывел Крепова на улицу. — Поедем-ка ко мне!

— Поехали, — кивнул Крепов.

— Я бы и не узнал его, сколько их, крестов одинаковых, но, понимаешь, я веревочку узнал, я ее сам из нитки сплел! Крестик это мой, крестильный! Сперва хотел на золотую цепочку его посадить, а потом подумал, что простота и надежнее и обиднее!.. — Он вел машину, не увеличивая скорости и не замечая города. — Но он не обиделся, он знаешь, что сказал?! Сказал, что атеисту талисман не помеха! Спросил еще, освященное распятие или нет? А я: «Как же, как же, крестильный-с!» Знать бы тогда, что ты его из вещей вытащишь!..

Перед глазами Крепова густели желтые большие круги, и сквозь них неслись навстречу, в лицо красные точки световых, наматывалось тонкой черной шелковой лентой шоссе. Трость лежала на середине, между сиденьями. И, оценив слова Леночки, он опустил руку и крепко сдвинул эту трость, как оружие.

— А я, понимаешь, к исповеди, дурак, сходил!.. К личной не допускают, так хоть как-то высказаться на общей хотел, и ни черта, ни черта же не вышло!.. Не получилось. А у него все получалось, понимаешь, все! А у меня нет!

— У кого, у него? — спросил Крепов.

— Ты, если хочешь, выпей. Там налито, только дешевый коньяк, армянский какой-то!.. Но я ведь тоже, по сути, счастливый? У меня все, что захочу, получается, но у него это выходило как-то чище, без напряжения. Ты вот думаешь, почему на мне всегда рубашка чистая? Потому что я в дерьме по уши!

— Но он же умер! — возразил Крепов и сам удивился своему возражению. — Умер он.

— Мне б так умереть! Понимаешь ты, я ему даже в смерти завидую?! — внешне Леонид был совершенно спокоен, но Крепов заметил, что пальцы его,

сцепленные на руле, побелели от напряжения. — Да нет, не зависть, я просто понять не могу, как может само все в руки так идти?! Нигде человек не запятнан, ничем не поступился, а оно само, само в руки?!

— Я не пойму, Леня, тебя что, совесть мучает?

— А как бы тебе хотелось?! — Леонид обернулся к Крепову, останавливая машину под светофором. — Ты что, воображаешь, что если я подлец, то у меня и этого органа нету? Правильно, Вася, нету! Я ведь в данную минуту чем занимаюсь? Я твою нежную душу мучаю, исповедь импровизирую.

Мелькнула перед вздрогнувшим капотом лента шоссе. Отскочил назад желтый глаз светофора. Маленькая старушка, с ног до головы укутанная в платки, шархнула от машины назад к тротуару, чуть не упала, но, вовремя опершись на палку, все-таки удержалась на ногах и, тяжело дыша, дважды перекрестила лоб.

«Ненавижу! — думал Леонид. — Зачем я все это ему сказал, не поймет! А если что-нибудь поймет, еще хуже!»

Несколько поворотов, и машина, прогрохотав по гравию покрышками, остановилась во дворе. Леонид выключил мотор.

— Выходи, Вася, приехали!

— Ты понимаешь, — Крепов с трудом поспевал за ним по ступеням. — Ты понимаешь, в чем суть?

Леонид резко обернулся, вытаскивая ключи.

— В чем?

— Его просто все любили, Мишу. Понимаешь, все! А тебя не любят!

«Слава тебе, Господи, ничего не понял, — подумал Леонид, открывая сложный английский замок. — Не понял и прав! — он был уже спокоен. — Золотой Васяка человек, скотина!» — Он даже радовался.

Прихожая была величиной с квартиру Крепова. Полумрак, зеркала и сладкий женский голос из комнаты издали:

— Ленечка, это ты?! А я еще сплю!

— «Тут метров сто сорок в квартире, — думал Крепов, скользя ботинками по паркету. — Никак не меньше! Ворует он, что ли? А чего я удивляюсь, не ворует, а жить умеет, и коньяк у него в трости».

В двустворчатых полустеклянных дверях комнаты он остановился. Отметил про себя немногочисленные предметы в комнате: книжная стенка, японский видеомагнитофон, на окнах черные портьеры, и огромное белое пятно на темном, застеленном коврами полу. Белое пятно шевельнулось. Из-под одеяла вывалилась тонкая женская ручка, щелкнули пальцы.

— Ленечка, сигаретку, пожалуйста! Умираю, курить хочу! А, это ты?! — Марина присела в постели, тряхнула разбитой прической. — Васенька!..

Крепов прикурил сигарету, вложил ее в пальцы девушки, прикурил вторую для себя и опустился на ковер.

— А ты оцени, Васенька, хорошо живет, а?! — глаза у Марины были еще сонными мутными, она кривила рот. — Не люблю таких! — она пожалала голыми острыми плечами. — Я таких, как ты, люблю, глупых!

Леонид заглянул сквозь стеклянную дверь в комнату, сделал Крепову знак рукой.

— Не пушу, не зови! Я его люблю. — Рука Марины обвила шею Крепова, одеяло упало. — Ты не зови его, ты лучше сам сюда иди! Никуда не пушу!

— Оденься! — буркнул Леонид.

Две бутылки коньяка, уже разрезанные лимоны, печенье, хлеб, ломтики ветчины...

— Нет, Ленечка, ты прелесть! — Марина выскочила из постели и кинулась Леониду на шею. — Вот видишь, как хорошо быть богатым, а то знаешь, как голова болит!

«Опять пить, — подумал Крепов, утирая губы. — Господи, как это все тяжело! Некрещен. — добавилась отложившаяся уже, устоявшаяся мысль. — Некрещен был Миша, Ленкин крест!»

После третьей рюмки Леонид расстегнул рубашку и показал татуировку: тонкий голубой рисунок на груди с полным портретным сходством. Ева Браун в офицерской форме.

— А на жену Гитлера она похожа чисто внешне, не подумай, чисто внешне!..

— Кто? — удивился Крепов. — Кто похожа?!

— Да девушку он тут одну любит сильно, — объяснила Марина, закусывая коньяк лимоном. — А девушку эту в тюрьму посадили... Да нет, я вру! В больницу ее положили, что-то она не то съела!..

— Замолчи! — тихо сказал Леонид. И сразу крикнул: — Заткнись, шлюха!

— Естественно, я не девочка, но штопоры я не ем, я лимон ем! — Марина показала на высунутом языке тонкий желтый слой лимона с рыжей корочкой.

Проснулся Крепов там же, на ковре лицом вниз, губами хватая ворс. Он попытался вспомнить, как же успел так нализаться, и не смог. Последним оставался в памяти ломтик лимона на высунутом языке. Сосредоточившись, он повернулся и сел, поднял голову.

Откуда-то сверху, с белой высоты постели на Крепова смотрел ухмыляющийся Леонид. Он был по пояс голый, и недобрые глаза его казались сильно усталыми.

— А где эта?! — спросил Крепов.

— Улетела.

Крепов встал и тут же опустился назад на ковер.

— Поедем, поедем! — Быстро говорил Леонид, накидывая рубашку. — Поедем, Василий Аркадьевич! — он пристегнул часы, всмотрелся в циферблат. — Как раз успеем!..

— Куда поедем?! — Крепов очумело смотрел на полированный шкаф, на открытые окна, в которые резкими порывами ветра входил холод, на исковерканную пустую постель... — Куда мы поедем? — повторил он уже без смысла, механически имитируя звук собственного голоса.

18

глава

С регулярностью размеченного шоссе салон машины озарялся краткой белой вспышкой. Фонарь улетал назад, и оставались только темнота и гудение мотора. «Куда же мы едем? — подумал Крепов, прищуриваясь на белую точку летящего в глаза фонаря. — Почему я молчу, например?.. Почему не спросить его?»

В белом свете профиль Леонида казался Крепову каким-то неестественно заостренным, казался неподвижной деталью безумного сна.

«Что может случиться страшное? — Крепов чувствовал перемену, но продолжал проигрывать уже бесполезно красивые собственные фразы. — Ерунда, что может со мной случиться?! Что бы ни случилось, все уже в привычке давно. Во-первых, смерть в привычке, она самая страшная, во-вторых, мучить себя до смерти, это уж как водится, это быт, и все... Что еще нужно человеку?»

Неаккуратно припаркованный к тротуару, стоял с погашенными фарами большой грузовик. Леонид прокусил фильтр сигареты, резко поворачивая руль. Покрышки скрипнули по асфальту. Крепова бросило к ветровому стеклу, и сначала в темноте он ничего не увидел.

Глаза привыкали. Впереди, прямо метрах в десяти перед ним распахнулась железная тень открытых ворот. Крепов даже присвистнул от злости, Леонид выключил мотор.

— Ну, понятно!.. Здорово ты придумал! — негромко и хрипло сказал Крепов. Он чувствовал разом и глубокую досаду и сильное раздражение. — Только зачем, я не пойму?! Тебе удовольствие, что ли доставляет надо мной издеваться?!

— Тише говори, — севшим, как после простуды, голосом попросил Леонид. — Пожалуйста, Вася, тише!

Веселая нервная злость охватила одним толчком совершенно уже протрез-

вешего слесаря. Он захотел выскочить из машины, захотел ответить колкостью, но не сделал ни того, ни другого, сдержался.

На фоне медленно светлеющего неба проступали за ветровым стеклом машины, серели корпуса клиники. Окна операционных такие же черные, как и окна палат, и только легкий голубоватый свет опоясывал этажи обоих реанимационных отделений.

— Тихо как, — прошептал Леонид.

— Ты что? — спросил Крепов. — Ты что, с ума сошел совсем?! — наконец он осторожно нашел ручку двери и надавил, но тотчас отдернул пальцы. Ему показалось, что в пальцы и в уши ударил крик.

Человек кричал где-то совсем рядом, кричал по-человечески невыносимо и протяжно. Как бы удлинив и продолжив крик на высокой ноте, громкая, завизжала пуля.

«Это не в корпусе, — отметил про себя Крепов. — Это на улице, где-то совсем рядом». Позади за спиной скрипнул откинутый кузов, и было слышно по шуму соскакивающих на асфальт сапог, как из грузовика выскакивают люди.

«Солдаты!» — подумал Крепов.

Мимо замелькали тени в пилотках.

— Сиди в машине, — шепнул Леонид.

И тут же постучали в стекло. Не открывая дверцы, Леонид опустил окошко. На фоне серого корпуса была отчетливо видна черная тень офицерской фуражки. Офицер козырнул и попросил:

— Документы, пожалуйста.

Не раздумывая, Крепов протянул паспорт.

— Я работаю здесь слесарем, у меня ночная смена.

— Из машины не выходить! — возвращая паспорт, потребовал офицер и сразу исчез в темноте.

«Почему он не воспользовался фонариком?! — подумал Крепов. — Солдаты вооруженные! Бред! Какой-то трезвый бред! Что он мог прочесть в моем паспорте в такой темноте?! Почему мы должны сидеть в машине?!» — крика больше не было слышно. Со стороны клиники доносились только неясные шорохи и команды.

— Зачем ты меня сюда привез? — спросил Крепов.

Леонид смотрел на небо, там не было ни одной звезды. Он не позволял себе думать. Ему казалось, что даже самое спрятанное, высказанное только самому себе чувство прозвучит сейчас, как в мегафон. В черноте медленно образовывалась большая красноватая звезда.

«Что это?! — подумал Леонид. — Это не окно или это все-таки звезда, может быть, Марс?.. Планета Марс, — он старался думать как можно медленнее. — Может, санитары включили свет в чердачном помещении?..»

Почти бесшумно взорвалась темнота. Крепов прищурился, это был всего лишь прожектор, установленный на крыше. Луч, расширяясь под острым углом, скользнул дальше по шоссе, по узорной ограде, по крыше деревянного домика. Глаза долго и мучительно опять привыкали к темноте. Реальные предметы вычленились из расширяющихся оранжево-фиолетовых кругов с трудом, а воздух заполнял уже гул моторов.

«Машины, — понял он. — Много машин».

Второй прожектор ударил откуда-то сбоку и снизу, вероятно, с крыши милицейского фургона.

— А я думал, это Марс! — сказал Леонид.

Мрак еще сгустился от контрастного яркого света. Обрезанные белыми углами прожекторов здания клиники, множество неподвижных немедицинских машин показались Крепову новым, незнакомым еще кошмаром. Он хорошо разглядел фургон, на котором действительно был установлен прожектор — металлический высокий снаряд.

Женщина крикнула опять, пронзительно и, как показалось, в самое ухо. Крик не умолкал, били выстрелы, неприятный сухой звук.

— Из «макарова» бьет, — отметил вслух Крепов. — Ловят кого-то!

Засветились в воздухе фосфоресцирующие красные и зеленые тире авто-

матных очередей. Среди их ровной работы слух выделял редкие удары какого-то ненарезного оружия.

Леонид прикурив от окурка следующую сигарету, а окурочек отправил щелчком в так и открытое окно, пальцы его дрожали, дрожал сильно красный уголек.

— Значит, успели мы? — вдруг осознав всю эту поездку как одно целое и сделав вывод, спросил наудачу Крепов.

Леонид механически кивнул.

— Ну, спасибо, Ленечка, доставил удовольствие! — Крепов откинулся на сиденье, устраиваясь поудобнее. — А может, поближе подъедем?!

Леонид наконец повернулся к Крепову и выпустил ему в лицо струю сладкого сигаретного дыма.

— А может, не будем?

За шумом выстрелов и криками ухо вычленяло что-то знакомое, привычное: протяжный собачий вой.

Выбеливая пространство, скрестились прожектора. Пес привставал на задние лапы, скалился на прожектор, и по желтым его клыкам сочилась жирная слюна. Как безумный, он дрожал и выл, дергая мордой.

Уже в темноте отчетливо Крепов услышал, как отброшенный ударом пули кобель закурился с визгом, будто зарыдал, услышал: когти судорожно скребут асфальт. Прожектор с крыши опять нащупал собаку, распростертое мохнатое мертвое тело.

— Тюльпана убили, — сообщил сам себе Крепов, — вот же какие гады! — и добавил сразу, с тем же чувством: — А ведь как переживали, ведь думали, на стол пойдет, — он сделал паузу. — Псина!..

— Весь спектакль ради той девчонки, что штопор проглотила, — попытался заговорить опять Крепов. — Я прав?

Леонид опять молчал, прикуривал от окурка.

— Леонид Борисович, я спрашиваю, прав я?!

Леонид несколько раз глубоко затынулся, попробовал даже нарочно покашлять, потом сказал сухо и вразбивку:

— Это было глупо, Вася. Понимаешь: это было глупо.

Высекая длинные белые фонтаны, полоснула по мрамору автоматная очередь. Перед самыми глазами свистнули мелкие осколки в ветровое стекло, но на излете они только слегка поцарапали невидимую ненадежную защиту.

«Убить его, что ли?! Властям сдать?! Морду набить?! Вытащить из машины и об асфальт морду набить, чтобы больше не баловался!.. Больше ничего!..»

Глубоко в подвале, утомленная любовью, прошептала Вера:

— Стреляют, что ли, не пойму? — она опирала свое тело на руку, на оплывающий жиром белый голый локоть. — Точно, стреляют. Да проснись ты, Витя!..

Карапкин, не открывая глаз, сел на банкетке, поймал ладонями голову Веры, поискав, обнаружил губы и, обдирая ее щеки своей щетиной, поцеловал.

— Стреляют, говорю! Слышь, Вить стреляют! — повторила Вера.

Она потянула ватник, пытаясь прикрыть свою наготу, сбросила его и, безвольно размякнув, зашептала: — Слышь, а из автомата бьют... — Тихонечко Вера водила большими старыми ногами по ледяному грязному полу и повторяла шепотом: — По-настоящему из автомата стреляют.

Вопила пьяная чернота перед Карапкиным, шевелилась, подпрыгивала. Он ловил ладонями и губами чужую болезненную дрожь, но ничего еще не понимал. Наконец с трудом Виктор Дмитриевич один за другим разлепил глаза.

— Стреляют! — повторил он с чужого голоса и согласился в себе с этой мыслью. — А почему стреляют? Кто стреляет?!

— Не знаю, Витя, — всхлинула Вера, она откачнулась к стене, стряхивая с тела бесчувственные ладони Карапкина. — Ну не знаю я!

Какое-то время Виктор Дмитриевич сидел неподвижно, сосредоточенно и без всякой мысли он смотрел в бетонную сырую стену и пытался уяснить

происходящее. Он повернул голову и посмотрел на тяжелые свои голые колени. Еще подумал, потрогал квадратную коленную чашечку пальцем. Сказал задумчиво, пытаясь по звуку определить, из какого оружия бьют:

— А чего это мы с тобой голые сидим, одеться вроде надо... — и, уже залезая обеими ногами в брюки, присовокупил: — Сходить надо, выяснить обстановку!.. Пойду.

Вера хотела поймать его за руку, но испугалась и только попросила, опять всхлипывая:

— Не уходи, Витя, может быть, без тебя разберутся! Обойдутся они!..

Совершенно как во сне Карапкин надевал и застегивал на себе рубашку, надевал и застегивал грязный свой халат. Из кармана посыпались на кафельный пол крошки, монеты... Вера шептала что-то... Пальцы запутались в галстук, и Виктор Дмитриевич потратил, наверное, минуту на изготовление дурацкого треугольного узла.

Ботинки чиркали, чертили в темноте по кафелю, по линолеуму, опять неприятно приклеивались подошвами. По хрусту и шороху темноты Карапкин двигался, раскачиваясь, но относительно быстро. Подвал медленно уходил за спину, и каждый поворот казался крутой ступенью вверх. Слабая лампочка в металлической решетке, распахнутая дверца пустого морга, и в темной его глубине длинная белая металлическая каталка.

Карапкин откинул незапертую решетку, вошел, постоял полминуты. Выстрелы звучали совсем рядом, немного выше, над головой, за стеной. Он нашел ключи, отпер дверь на «рампу» и, хватаясь ладонями за холодные круглые бока пустых кислородных баллонов, пошел мелким шагом опять в полной темноте. Наконец нащупал железный край площадки и тяжело, в два движения соскочил вниз, на асфальт.

Зажмуриться он испугался, только прикрыл лицо руками от болезненно-яркого света, ударившего по глазам. Он прищурился, завертелся на месте, пытаясь сориентироваться. «Обойдутся они без меня, как же!» — подумал он. Проектор неожиданно погас. Виктор Дмитриевич замер, изо всей силы, до боли всматриваясь в темноту.

Он ничего не видел, темнота только громко и заунывно пела, пел новенький двигатель. Возникли в пространстве две блеклые красные точки. С выключенными фарами, красно светились только подфарники, на Карапкина медленно двигался черный автобус. И только через какое-то время Виктор Дмитриевич понял, что автобус двигался не на него, что его никто и не видел, что он никому и не нужен был здесь сейчас. И кроме песни двигателя никакого шума, ни выстрелов, ни крика, только знобящее в груди собственное сердце.

«Испугался я, что ли? Чего я стою? — Он увидел, как легко отделилась от стены тень, поднялись руки, поднялся длинный ствол. — Ага, у тебя, значит, ружье!»

Вспыхнули фары автобуса. Двустволка дважды громыкнула, похоже, картечью, фар не стало. Взыл на высокой ноте, замолк мотор.

Сам не понимая, отчего он делает именно так, Виктор Дмитриевич, громко и как можно осмысленнее затянув непрерывное «ура», кинул все свое тело, весь свой вес сбоку на человека с ружьем. Но не дотянулся, споткнулся, нога зацепилась за что-то, и он упал.

Но крик поддержали. Посыпалась, как перезрелый горох, сочная матерщина, злобные приказы. На глазах темнота разваливалась на куски. Дуря от грохота, Виктор Дмитриевич повернулся и сел, утер рукавом лицо, кожу немного посеколо летящей мраморной пылью.

В каких-то метрах от него свинец методично долбил стену. Проекторный свет, прыгая, слепил глаза короткими рывками темноты. На целую минуту соединившись, прожектора выбелили часть разодранного газона, взбитой земли, часть ограды. Карапкин увидел троих. Двое мужчин несли женщину. Он не понял даже, что это женщина, нечто длинное и прямое, целиком укутанное в простыню. И опять мрак такой длинный, что сделалось скучно. Только зеленая трасса пуль, уходящая в землю вдалеке.

Стоя на четвереньках, Карапкин методично ощупывал пространство вокруг себя. Пальцы царапали асфальт. Теплая гильза, еще одна, ладонь уго-

дила во что-то липкое... И никакой мысли опять. Слесарь судорожно ощупывал темноту, застревая руками в теплой густой шерсти мертвой собаки.

— Тюльпан, Тюльпанчик, собака!.. За что ж тебя-то убили?.. — он сознательно уже гладил свалявшуюся шерсть. — Ну подожди, я сейчас, сейчас... — Он нащупал и отстегнул на собаке ошейник, потянул на себя тяжелую длинную цепь, бросил ее. — Погоди, я сейчас, ты лежи тут немножко, а я сейчас!..

Ослепленный темнотой, он, как животное, по чутью кинулся рывком вперед на несколько шагов и неожиданно с размаху всем телом налетел на кого-то. Он как бешеный наносил удары по воздуху, наконец кулак случайно угодил в цель, наверное, в живот бандита, выпавшее ружье стукнуло прикладом об асфальт.

— Вот же глупость, — зачем-то вытирая мокрые губы, сказал Карапкин. — Ты зачем Тюльпана убил?

В на миг озарившемся пространстве опять мелькнула впереди женская фигура в белом. Слесарь увидел, что женщина не кричала, она только безмолвно, как рыба, открывала кровоточащий рот. Она протягивала длинные прямые, как палки, руки вверх, наверное, к небу.

Наконец разглядев в темноте свою жертву, скорчившуюся рядом на асфальте, слесарь не без удовольствия, но и без злобы пнул ногой в лицо стонущего бандита. Захотелось повернуться, кинуться к этой женщине, спасти ее. Он даже выпрямился и покрутил головой, но что-то с силой толкнуло в плечо, что-то горячее.

Обдирая ладони об асфальт, Виктор Дмитриевич очень долго и тяжело падал, скользил вдоль стены. «Ничего я не понимаю, — плыли в нем не относящиеся к происходящему мысли. — Зачем они винные магазины все позакрывали?! Другая, совсем другая будет жизнь теперь без винных магазинов...» Наконец приподнявшись, он запутался в собачьей цепи и потащил ее за собой. «Сам бы никогда пить не бросил, а тут помощь пришла, подмога... — Цепь со звоном путалась за его спиной. — Нельзя теперь умирать, нехорошо умирать, кто же теперь минеральную воду пить будет?! — ему сделалось смешно. — А меня убили!»

Ему удалось подтянуться и, выжимая из плеча кровь и боль, забраться на металлический пол «рампы». Он немного прополз, нашел поваленный баллон и, отвернув кран, направил струю кислорода себе в лицо. Баллон был пустой, с шипением из него вырывалась последняя, неиспользованная больницей жизнь.

Когда газ иссяк, Карапкин встал на колени, поднялся на ноги и побрел по коридору, потащил за собой звенящую по битому кафелю цепь, оставляя на полу кровь, выпадающую из плеча.

«Тюльпана, Тюльпана убили! Собаку убили! Жизнь собачью не пожалели!.. — уговаривал себя Карапкин. — Плакать надо, а я не плачу... Я думаю».

Светился неон в собачьей операционной. Саша Дергачев спал, уронив голову на железный стол. Снилось ему операция. Во сне он стоял над столом в стерильной одежде, пропуская дыхание сквозь марлевый слой, и все продолжал, продолжал оперировать, и совершенно не чувствовал свою парализованную ногу.

Карапкин не видел, что снится Саше, он приблизился и целой рукой потряс Дергачева за плечо.

— Сашок, Сашочек, проснись! Помощь твоя требуется, — стараясь сделать голос поласковее, попросил он.

Дергачев сразу проснулся и увидел железо стола.

— Что случилось, Витя? — он услышал выстрелы, теперь редкие, отдаленные. — Почему стреляют?

Ему пришлось вскочить и поддержать падающего Карапкина.

— Подстрелили меня немного, достань, Сашок, пулю! — попросил тот. — А то сдаваться официально, потом как свидетеля по судам затаскают...

Пока Дергачев вытирал собачий операционный стол, Виктор Дмитриевич, не желая садиться, упираясь спиной в стеклянную дверцу шкафа, стоял. При помощи Дергачева он сделал необходимые три шага и опустился на гладкую, уже чистую поверхность.

Дергачев поставил стерилизовать инструменты и без слова скальпелем разрезал рубашку на Карапкине, разрезал мокрую от пота и крови майку.

— Наркоза нет, Витя! — сухо предупредил он. — И ассистента нету.

Майка, брошенная на стул, торчала перед глазами Карапкина, и смотреть на нее ему было противно.

— Ничего, не страшно, Сашок, ты работай давай! — как мог вежливо попросил он.

Боли Виктор Дмитриевич почти не чувствовал, но понимал, отвлекаясь на дрожашую белизну, что Александр Александрович уже взялся за его рану.

— Этот гад Тюльпана подстрелил! — сообщил он, чувствуя, как защипало в плече, стараясь не морщиться. — Жалко собачку, душевный был кобелек!..

— Больно? — спросил Дергачев.

— Да больно, наверное!

— Спирта выпьешь?!

— Зачем это?

— Вместо наркоза.

— Нет, не надо, не хочу! — белая длинная стеклянная лампа расплывалась перед глазами Карапкина, двоилась. — Магазины винные государство закрывает, пора кончать с этим нашим делом... — Челюсти слесаря от боли медленно сцепились, и он зашепелявил: — Нельзя нам больше так жить, правда, Дергач?

Он замолчал, тяжело, со свистом сквозь зубы пропуская воздух. У стены, у самой двери тихо стояла Вера. Она стояла здесь все время операции и мучилась наравне с Виктором, телом сопереживая.

Когда Дергачев закончил, она сделала перевязку.

— Пойдем ко мне, пойдем ко мне, — сквозь слезы шептала она. — Пойдем, Витя, я тебе белье чистое постелю... У меня квартирка маленькая, но тихая, недельку полежишь, отойдешь... А я отпуск возьму, с тобой, Витя, буду!.. Все время с тобой буду!..

Легко выскакивая из реальности и опять возвращаясь в нее, Карапкин видел, как во влажных губах женщины поблескивают золотые зубы.

— С тобой... с тобой... — плакала она.

— А чего со мной? Что со мной! — пытался отвечать он. — А чего, я пить больше не буду! Жизнь глупая... И ты, Вера моя, глупая!.. — сознание уплыло, и он тяжело опустился на руки Веры, но еще, на миг очнувшись, глухо добавил: — Не поеду к тебе, вызови такси, домой поеду, жене сдаваться!

19

глава

Он не обернулся, не проследил глазами машину, но не смог не услышать, как она сделала разворот и, взревев мотором, ушла.

Былолюдно во дворе клиники, в сквере шумно, но Крепову казалось, что вокруг необычайно пусто, по-весеннему светло и свежо. Затянутое тугим ровным холстом неподвижных туч, с невозможной при отсутствии солнца силой светилось небо. Он посмотрел туда, вверх, глазам стало больно.

«А ведь обманул лейтенанта. — усмехнулся про себя Крепов. — Такой вот случай, не моя сегодня смена».

Он прошел по газону, миновал скамейки, оставляя на асфальте липкие отпечатки земли, и на минуту остановился, рассматривая побитые пулями толстые стекла первого этажа.

— Простите, товарищ, как к моргу лучше подъехать?

Крепов обернулся. Из черной новенькой «Волги» выглядывал молодой шофер. На заднем сиденье, в полумраке салона, судя по золотым поганам и лысине без фуражки, «серьезный чин».

«К моргу?» — думает Крепов.

И чиркала, чиркала где-то по другую сторону корпуса стертая дворницкая метла

«Ну, конечно, я сегодня свободен! — думает Крепов. — Я пришел за своей женой. Заберу ее, заберу ее отсюда! Если дома умрет, то отвечу, пускай судят!.. Под расписку ее, и точка, все! Не нужно нам никакой операции, а нужно нам, Василий Аркадьевич, быть до конца честным, хоть раз, но до конца. А выдержу? — спросил он сам себя, и ответил сам себе сразу: — А дело не в том, выдержу я или нет, это не вопрос!.. Забрать Иринку из этой живодерни! — он подумал о клинике отстраненно, заметил это и усмехнулся. — Если не отдадут, я им такой скандал устрою, кое-что есть у меня для скандала, не посмеют!.. Заберу ее, отвезу домой, положу на диван, а сам вернусь и заявление на стол об уходе!»

— А вам нужно корпус объехать справа, — услышал Крепов совсем рядышком неприятный голос Паукова. — Доброе утро. — Пауков стоял прямо перед ним. — Я проспал все, заболел... Что здесь ночью-то было без меня?! Стреляли, я слышал...

— Доброе утро! — кивнул Крепов и, не оборачиваясь, зашагал к простреленным стеклянным дверям.

«Бешеные все какие-то, — подумал Иван. Он с трудом еще держался на ногах, воздух холодил лицо, и вдыхать болящей грудью было трудно. — Но что-то же случилось, — медленно переставляя ноги, он побрел вслед за генеральской черной машиной. Все старался не наступить на отпечатанные в асфальте рубчатые следы покрышек. — Что со мной было?! Что-то было со мной, белая горячка?! Они здесь стреляли всю ночь, я слышал, встать не мог, поэтому только слышал...»

Небо было белым, ярким, без движения, без примесей. У центрального больничного морга шевелилась толпа. Однородно в темное одетые люди. Подрагивали цветные яркие пятна неживых, искусственных цветов.

«Без помпы хоронят, без парадного зала, но должен быть тогда здесь оркестр, где он?!»

С распахнутыми задними дверцами у двусторчатых белых дверей стоял парадный новенький катафалк. Пауков легко предположил, что там внутри, в морге стоит гроб и в гробу лежит Миша, странный хороший человек, про которого так ничего и неизвестно. Между дверцами катафалка и дверями морга стоял Георг Шалвович в коричневом костюме, трезвый, чисто выбритый, с прямою спиной. Ивану смотреть на него оказалось противно. Он подошел и бродил тихонечко в обширной, но редкой траурной толпе, бессознательно впитывая шепот.

— Если бы не Георг, то не протянул бы он столько, — говорила молодая женщина. Она неловко куталась в черную шаль и поправляла кисти этой шали на груди рукой в черной перчатке.

— А если бы он умер на день раньше, — отозвался кто-то невидимый Ивану, по голосу старичок. — То не было бы вашему Эвадзе никакого повышения. Вы, вероятно, в курсе, как это получилось?!

— В курсе, — отозвалась женщина. — Понятно, здесь не без расчета!.. Но он целый год жил лишний.

«Не без расчета, — повторил про себя Иван. — Не без расчета!» — он вспомнил вдруг неистово орущего пьяного, сидящего в весеннем снегу, над сорванной и брошенной кепкой, его безумные слезы, его глаза. — Неужели там, у магазина тоже был какой-то расчет?! Неужели и тогда... А верно посчитал, ему хотелось выпить, и он добился результата, ведь помог же крик!.. Хотел выпить — заорал, захотел на повышение — почти спас человека! Нет, я так не хочу, — Ивана всего передернуло от этой мысли. — Нет, таким хирургом я не хочу!»

Приоткрылись немного белые двери морга, и в щель вышел человек в клеенчатом грязном фартуке и резиновых мокрых перчатках. Эвадзе щелкнул пальцами, что-то коротко сказал этому человеку и, резко повернувшись, почти побежал по дорожке в сторону административного корпуса. Пауков проследил его взглядом, не смог не проследить эту прямую спину и гордо поднятую голову.

Проводив раненого Карапкина, Дергачев вернулся назад в собачью операционную. Он сел, положил голову на стол. Подумал, что теперь уже никак ему не заснуть, и моментально заснул. Было холодно. Он проснулся и посмотрел на часы.

«Утро, еще одно утро, и ничего не произошло».

Разминая резкими движениями затекшие мышцы, Дергачев взобрался по пустой лестнице вверх, протаскивал усталую свою больную ногу через светлый холл, как и всегда, оставляя на линолеуме тонкий резиновый след от кривого инвалидного ботинка и, пропустив навстречу Крепова, распахнул дверь и прямо-таки выпал на улицу.

Ему показалось, что над больницей висит огромное, во все небо белое солнце. Оно заставляло светиться стекла и на глазах высушивало влажный ночной асфальт.

Движение темных фигур, знакомые неприятные очертания машины-катафалка... «Ага, похороны!»

Однообразно и быстро скребла асфальт метла. Дрябов, подметая двор, добрался уже до крыльца центрального входа. Увидев Александра Александровича, он хотел униженно, как перед начальством, приподнять на голове шапку.

— Доброе утро, — сказал он и замолк, добавил через минуту: — Утро хорошее!

— Отпустили тебя? — спросил Дергачев.

— До суда пока, да я же говорил... — отозвался Дрябов.

— А суд-то скоро? — Дергачеву было неинтересно, ни когда суд, ни что вообще произойдет с этим человеком, и спрашивал он скорее из вежливости, пытаясь поддерживать не им начатый разговор.

— Да разве в этом дело?! — вздохнул Дрябов. — Ты слышал, винный магазин на углу-то закрыли и по всей Москве... — он опять замолчал.

— Я газет не читаю и не пью! — ответил Дергачев и удивился собственной резкости.

В кабинет Эвадзе он вошел без предупреждения, без стука, коротким резким ударом растворив перед собой полированную дверь.

Георг Шалвович поднял голову от какой-то бумаги, Дергачев шагнул к столу.

— А это ты! Молодец, что пришел, заходи!..

Неподвижно Дергачев стоял посреди кабинета. Быстро и против желания тело его приобретало неестественную пассивную тяжесть. Заливал снизу от сердца мозг горячими толчками свинец, бил изнутри, жег виски. «Нужно говорить, — подумал он. — Незачем мне вот так перед ним стоять!»

Дергачев чувствовал себя до неловкости массивным посреди огромного этого блистательного кабинета. Он смотрел на Главного, замершего над столом с бумагой в руке, а Георг смотрел с формальной улыбкой на него.

— Почему вы меня не предупредили?..

— О чем? — живо отозвался Георг.

— О том, что похороны сегодня...

— Я думал, ты в курсе, — Эвадзе улыбнулся чуть шире. — Ты же не подумал меня предупреждать, я сам узнал случайно, планировали на завтра.

— На завтра?.. Вы случайно узнали?.. Это же Миша! — Дергачев задохнулся.

— Да, да, конечно, я знаю... — Эвадзе шлепнул бумагу на стол. — Ты садись, чего стоишь... Слышал ночью, четыре человека наповал, один лейтенант и до двадцати пяти не дотянул, множественное ранение в живот. Вот, посмотри-ка сюда, — Эвадзе достал из стола и положил на бумагу сверху папку с золотым глубоким тиснением, открыл ее. — Идем мы с тобой, Саша, на повышение, прощай, клиника!.. Будешь теперь собак своих, знаешь, где резать?!

Дергачев видел, как колышет ветер прозрачную занавеску, как танцуют в полировках, изгибаются живые светлые тени. Там, далеко внизу, за окном, маленький Дрябов все скреб и скреб метлой асфальт.

Два кулака, два его собственных белых от напряжения кулака упирались

в стол, будто желая проломить, расколоть сверкающее зеркало дорогой полировки.

Эвадзе перестал улыбаться, нашел глазами затуманенные глаза Дергачева но тут же легко одним движением откинулся назад в своем кресле.

Иди, Саша, иди, потом зайдешь!.. Видишь, я занят. — Он демонстративно потер пальцами лоб. — Иди!

Собачий хирург не понял, как оказался в коридоре. Он посмотрел на противоположную стену, на большой парадный плакат и зажмурился.

— Ну ты чего?! Ты чего, Шурик?! — перед ним стоял Коля-санитар, стоял и улыбался большим своим нахальным ртом. — Слышал, ночью-то! Вестерн!..

«Аннушка говорила, он приставал! — вспомнил Дергачев. — Он к ней приставал... Хорошо, очень хорошо, он больше не будет!»

Наверное, кулак Александра Александровича сразу угодил в запретную цель, в болевую точку, потому что санитар изменившимся голосом тонко завопил:

— Ну, ты чего?! Ты чего, Дергач?! Свихнулся совсем?.. Что я тебе сделал?! Что?!

Впервые в жизни Дергачев продолжал наносить удары по уже упавшему человеку, почти бессознательно добивая ногами его, распростертого на красном ковре коридора. Санитар все пытался встать на четвереньки и вдруг замолчал, судорожно и без толку загораживаясь руками.

Шумела мгновенно образовавшаяся толпа, но Дергачев не замечал людей. На нем повисли четверо, не смогли сразу погасить бешенство собачьего хирурга. Четвертым оказался Крепов.

— Ты что, дурак, делаешь?! — прошептал он в самое ухо Дергачева, и тот очнулся.

«Ну вот, нормально, еще одно доброе дело сделал! Получается, что если сразу руками хватать и не думать... Лучше получается», — Крепов смотрел на спину уходящего по коридору Дергача, сгорбленного и больного. Санитар кричал что-то, вытирая платком кровь с лица.

— Правильно, Коля, он тебе морду разбил, еще мало, — сказал весело он, пытаясь подбодрить санитаря, но тот ничего не ответил, только попятился, пытаясь скорее скрыться в противоположном Дергачеву направлении.

А Крепов, вытащив из кармана и разгладив, еще раз изучил уже подписанный, со всеми нужными печатями листок — разрешение на выписку. «Если что, я отвечу! — думал он. — Если одно из двух, если все равно ей умереть, то пусть дома умрет! На своем диване. И заявление на стол...»

Только за несколько часов перед тем переведенная из реанимации в общую палату, Ирина оделась неожиданно легко, сама. Выяснилось, что она может идти. От других ходячих больных ее отличала теперь только сильная бледность.

Молча, опираясь на руку мужа, она делала шаг за шагом, преодолевая коридор. В лифтовом холле, неожиданно сообразив, что никакой операции не будет, Ирина почувствовала неожиданный прилив сил. Им неоткуда было взяться, этим силам, но сердце забилося крепче, ровнее, и она сделала попытку улыбнуться. Крепов увидел жалкую эту улыбку. «Венчаться, венчаться теперь же, скорее! — подумал он, надавливая кнопку лифта. — Какая разница, верю я в Бога или не верю. Обвенчаться нужно, закрепить!»

Когда лифт остановился на первом этаже, Ирина, мягко отстранив руку Крепова, сама открыла дверь и вышла. Последовав за ней, Крепов с трудом удержался от смеха: вдой сере стены, пыхтя от напряжения, высунув язык, Витенька катил большой серебряный баллон с красными маркировками, без башмака.

— Вот видишь, — сказала Ирина, — кажется, я совсем в порядке. Это для чего такой страшный нужен? — спросила она, указывая на баллон.

— Угарный, абсолютной очистки! — объяснил Витенька, вытирая лицо рукавом. — Вы представляете, Василий Аркадьевич, из дома вытащили! Очухаться не успел! — он опять вытер лицо. — Нет, не могу я так больше!.. Так на трех ставках и умереть можно!..

— Куда ты его тащишь? — спросил Крепов.

— На пятый!

— Ладно. — Крепов посмотрел на Ирину. — Давай я!

Ирина слегка кивнула. Витенька скорчил смешную довольную рожу.

— У меня вообще-то на «рампе» кислород кончается, пять атмосфер осталось!..

— Ладно, сделаем! — Крепов опять посмотрел на Ирину, и она в ответ на этот взгляд чуть пожала ему руку.

— Иди, Вася, иди, я тебя в парке подожду на скамеечке.

Он нажал кнопку вызова грузового лифта, открыл железную дверь, раздвинул деревянные створчатые дверцы. Он слышал, как она уходит по коридору, звук ее медленных шагов. Серебряный баллон без башмака тяжело встал на деревянный пол лифта, и Крепов почувствовал, как он встал, продавливая внутрь и вниз квадратную площадку

«Чушь какая, — подумал он, закрывая двери. — Все же хорошо, чего я боюсь?! Почему домой не иду?! Зачем с этим связался?..»

Лифт пошел плавно, двинулся вверх. Мелькнуло за стеклышком перекрытие первого этажа, перекрытие второго этажа, лицо в окошечке, железный край каталки.

Мысль существовала отдельно, она не боролась больше с чувством. «Конец, как глупо!» — отчеканилась она в голове.

Лифт тряхнуло. Крепов даже не попытался удержать серебряный баллон. Баллон медленно завалился на бок и наскочил колпаком на пластиковую стену, кран его откололся так легко, будто был сделан не из железа, а из папье-маше. С резким, очень громким шипением баллон поворачивался внутри лифта, выбрасывая под давлением фонтан угарного газа абсолютной очистки. Задерживая дыхание, Крепов жил еще несколько секунд. Он успел удивиться еще своему спокойствию. В эти несколько секунд он ни о чем не думал, он только чувствовал, что умирает.

Ирина слышала шум, поняла, что что-то произошло там, в корпусе, но вернуться назад по коридору сил не нашлось. Она сделала необходимые двадцать шагов и, опустившись на скамейку, с удовольствием вдохнула легкий весенний воздух и сразу расслабилась в ожидании.

Санитары выкатили из лифта разбитый серебряный баллон, они пинали его ногами в войлочных тапочках и молчали. Вынесли тело Крепова, положили на каталку, накинули простыню. Выпавшая мертвая рука раскачивалась в воздухе, как бы пытаясь ухватить, сдернуть за край простыню, но санитар взялся за резиновые ручки каталки и покатыл ее по залитому солнцем прямому белому коридору.

Пауков стоял в задних рядах, он все видел.

«Смерть косяками ходит, — тяжело думал он, — косяками ходит!»

Картина мира, в котором он не жил, за которым лишь наблюдал, становилась жестче, реальнее. Он уже не мог войти в нее, прорвать полотно и встать обеими ногами на общую землю.

Он так и стоял, не сходя с места, в лифтовом холле, натужно дышал. Закружилась голова, будто стукнули сзади по черепу поленом, на миг он потерял сознание. Все тело Ивана недолго двигалось навстречу яркому солнцу в оконном проеме, не падая.

Приходя в себя, он подумал: «Наверное, это от голода?.. Нет, не так, я завтракал сегодня и вчера тоже завтракал... Я отравился, наверное!» Он только выглянул на улицу, вдохнул резкий легкий воздух, скользнул глазами по сияющему парку и стал спускаться опять в темную духоту подвала.

«Что произошло? Что было ночью?! Какой-то бандит пытался бежать из больницы. Другие... да их было несколько, его пытались отбить... Да, пытались отбить... Ко мне это не имеет никакого отношения. Я, Иван Пауков, хочу стать хирургом, точнее, это некто хочет стать хирургом. Некто, приехавший из провинции, молодой и талантливый, бредущий сейчас в темноте подвала. А я наблюдатель, ведь я даже не переживаю за его судьбу, за судьбу Ивана Паукова... Так просто смотрю со стороны, куда он идет, шаркая ногами? Пауков будет пить спирт, с каждым глотком отдавая свою мечту о поступлении в вуз. И может быть, он никогда не встанет с блестящим скальпелем в

руках над распахнутым человеческим телом, над сердцем, бьющимся в железных объятиях операционного стола».

Найдя комнату пустой (лампочка на столе неизменно горела, на столе неизменно высилась бутылка со спиртом, початая на треть), Пауков решил заглянуть по соседству к Натюрмрту. В коридоре он вспомнил, что Натюрморт умер, остановился, не зная, что предпринять.

Прихватив со стола бутылку и нечистый стакан, Иван, собравшись с силами, толкнул дверь своей спальни. Во мраке на диване движение — два человека. Он присмотрелся, узнал Алушу. Алуша задыхалась, рука ее ловила что-то в воздухе, она неестественно отлетала к стене, возвращалась.

— Не, ребята! Это диван не для любви, он для сна сюда поставлен! — сказал Пауков и попятился. Стонушую Алушу закрывал собой другой человек в расстегнутой длинной и черной рубашке.

На диване, на том самом диване, где еще вчера лежал Натюрморт, был Олег Ревич. Пауков еще попятился, оказался в коридоре. В темноте рука его нащупала холодную тяжелую цепь. Медленно он намотал цепь на руку, другой рукой шмякнул о кафель бутылку со спиртом не задумываясь, стукнул ногой слабую дверь и, чуть пригибаясь, пошел на Олега.

— Ты что? Ты что, дурак?! — завопил тонко Олег. — Она сама!..

Цепь размоталась до пола и звонко чиркала по нему, подчеркивая каждый шаг. Иван напрягся всем телом, тяжело и с надрывом прорвал картину миру, навсегда оставшись внутри, обретая цельность.

Сентябрь-октябрь, 1985

Рыцарь кисти

Взгляни на храм Светицховели
Мерцает пламя, свет струится,
Воск каплет.. Я тогда поверил.
Здесь дар божественный таится.

Г. Леонидзе

Смена времен года — от пышной зелени переднего плана и серебристо-голубой реки, от следующих за ними золота осенней листвы к заснеженному пространству, к цепочке людей, черных фигурок, движущихся к Храму, к угадывающемуся где-то далеко в глубине в смене освещения обновлению, которое должна принести весна. Взгляд немного со стороны и сверху, как бы с гористого склона противоположного берега реки. Очертания храма и пейзаж узнаваемы сразу: древняя столица Грузии Мцхета, храм Светицховели, а зритель вместе с художником — у подножия храма Джвари, да, да, у того самого места, где «...обнявшись, словно две сестры, струи Арагвы и Куры...» К сожалению, эта удивительная работа так и осталась незавершенной — в марте 1987 года Гиви Церадзе не стало. Большая персональная выставка работ заслуженного художника Грузии состоялась в Тбилиси лишь через два года после его ухода из жизни...

Просветление и грусть — эти два чувства смешиваются, возникая при взгляде на работу Г. Церадзе «Брошенная церковь». Крупным планом склон горы, покрытый цветами, — розовые, сиреневатые мазки по желто-зеленому фону, небольшая полоска неба вверху, справа. Чуть выше геометрического центра (художник смотрит как бы снизу, от подножия горы) — зелень деревьев и небольшая церквушка со следами разрушения, поросшая травой. Такие свидетели Истории и Времени встречаются в Грузии часто, стоит только удалиться от города. Близки по духу, настроению, да, пожалуй, и композиционно, и другие горные пейзажи художника. Круговые движения фигур людей и быков вокруг невидимого центра — таково построение работы «На току».

Совсем иная работа — «Дождь». В центре холста — дерево с облетевшими листьями, сухими желтовато-коричневыми ветками. За деревом — диагональ улицы. Первая линия машин движется вперед, следующая — с красным пятном автобуса за деревом — назад. Вторая диагональ построена слева направо, в глубину — это люди. Перед машинами и за проезжей частью дороги, за переходом и дальше по улице, спинами к зрителю. Перекресток. Но не улиц, а машин и людей. Противопоставление возникло, но оно не навязывается нам. Это скорее раздумье, а не выявление конфликта. Проявившись в композиционном построении, оно смягчается импрессионистическим решением колорита — общая сероватая, дымчатая тональность с отдельными цветовыми акцентами, пятнами, мелкими мазками.

Построение работ сродни «сценическому» восприятию пространства. И возникло это неспроста — Гиви Церадзе много лет отдал театру: он был художником-постановщиком в Тбилисском ТЮЗе и Тбилисском театральном институте, преподавал в том же институте основы сценографии. «Театральным» видением, яркой декоративностью отличаются работы, созданные на испанскую тему — «Испания», «Кордова», «По пути в Севилью». Интерес к человеку привлек художника к жанру портрета. Портреты Г. Церадзе строги по построению, даже академичны. Но художник, никогда не позволяя себе прибегать к чисто внешним эффектам, избирает те нюансы освещения, колористические переходы, которые позволяют найти единственно верное решение, соприкоснуться с сокровенным, прочесть в сосредоточенной напряженности взгляда мысль, ощутить душевный настрой каждого человека.

Гиви Церадзе шел по пути проникновения во внутренний мир своих моделей, по пути поиска гармонии, единения с природой — в противовес отнюдь не такой уж гармоничной, зачастую лишенной и чистоты и благородства действительности.

Вадим Горчаков

Декоративная красота притчи

Творчество азербайджанских художников увлекает нас в необычный мир образов Востока. Вспомните изгибы гранатовых деревьев Тогрула Нариманбекова, неспешно и величаво едущих всадников Джавада Мирджавадова, архитектурные поэмы древних городов их современника Ашрафа Гейбатова.

Искусство этих мастеров — своего рода связующее начало между культурными традициями Востока и Запада, историей и ее эстетической параллелью — пластикой современности. По выражению Д. Мирджавадова, искусство поднимает нас «...туда, где сталкиваются ветры с Гольфстрима и Тихого океана, с земли эскимосов и Африканского континента»...

Иными словами, через национальное своеобразие культур — к утверждению общеэстетических ценностей. Сердце художника открыто всему миру. Ашраф Гейбатов, опираясь на вечно живые страницы Омара Хайяма, Физули, Низами и других поэтов, своими холстами, фресками, графическими листами словно вопрошает нас, а знаем ли мы, что такое любовь, поэзия, счастье?

Ашраф Гейбатов родился в 1951 году в Баку. В настоящее время он живет в Москве. Учился в бакинском художественном училище, в Азербайджанском государственном университете на историческом факультете, в Тбилисской академии художеств; закончил Азербайджанский государственный институт Искусств. Он участник многих выставок, автор монументальных росписей. Его живописные работы находятся в США, Франции, Турции, Германии, Израиле и других странах, а также в музеях и частных собраниях СССР.

Гейбатову органически присуще чувство меры и умение найти не только лирические, но и гротескные и иронические интонации. На наших глазах грозные повелители и мудрые аксакалы превращаются в юнцов, готовых выполнить любой каприз плутоватых красавиц. Самое смешное, что в их мольбах, клятвах и уверениях мы узнаем самих себя.

Один из характерных его образов — танцовщица. Огромные глаза, пластика рук и ног — все дышит особой декоративной красотой. На следующем полотне — женщина с кувшином. Здесь слились орнамент ковра и одежды, полукружие кувшина и ритм свечей. Женщина — героиня многих циклов картин Гейбатова.

А рядом образы, увлекающие нас остротой характеристик. Подчас «бытовые» картины перерастают в монументальные обобщения. Они восполняют недостаток жанровых начал в творчестве художника. Спокойствием веет от молодого рыбака, его мягкой улыбки, сверкающих золотом рыб. Дыхание древнего Востока с особой эпичностью передано в пейзажах Баку, в извилистых улицах старого города, лестничных переходах, словно ввинченных между кубиками домов. История и современность как бы находят единый образно-стилевой строй.

Над куполами дворцов, караван-сараев, древних бань — небо вечности. Невольно представляешь — когда-то здесь текла жизнь, с ее противоречиями и страстями. Время все успокоило, наложив печать эпического величия и безмолвия.

«Немало яркого создано им в ассоциативном стиле,— говорил о художнике писатель Чингиз Гусейнов,— позволяющем по принципу контраста или созвучия, отталкивания или притяжения создать панорамные картины, связать воедино прошлое и настоящее родного края».

Искусство — путь к самосовершенствованию, к гуманизации мира; решение этой задачи невозможно без личностного отношения, страсти, фантазии. Однако как много нам еще необходимо преодолеть, чтобы путь к общечеловеческим ценностям стал для каждого свободным...

Алексей Смирнов

Звонница

(ИЗ ПОЭМЫ «ДАШТИ МАРГО»)



дом-м-м! дом-м-м! дом-м-м!
ахни «Сысоич» на утренней
звоннице
так чтобы стекла откликнулись
в горнице
охни «Иона» — канона радетели:
наши заступники, наши свидетели:
дом-м-м! дом-м-м! дом-м-м!

долго безвинный терпел
от неправого
силой воздвигнулось царствие
нечисти
да посрамится премудрость
лукавого
перед свечением
чистосердечности

кровь и кумач — полдороги
до гибели
«где же белейшее?» — спросит
Иона
тот кто владеет белилами

выбели
страшные красные наши знамена
вы-бе-ли! вы-бе-ли!
вы-бе-ли! вы-бе-ли!
дом-м! дом-м! дом-м!

ни покаянья не чтит ни причастия
взорный / не верит ни ведам
ни библии
лишь суетой умножает несчастья
и подвигает народ свой к гибели
вы-бе-ли! вы-бе-ли!
дом-м! дом-м! дом-м!

каждый обманый взрастил себе
отпрыска

щеки опрыснул болотной водицей
мерзко от слезки и грязно от
обыска
в горнице красной / а кто
повинится?
за убиенных в темницах коварных
лихо оболганных / сбитых со
звонниц
за запропавших в широтах полярных
за почерневших как смерть
богородиц
осиротевших детишек Афгана
за покалеченных наших солдатиков
кто повинится на гребне кургана
с грешных трибун / на могилах
десантников?

«где наше белое? — спросит
невеста —
пух / лебединая стая тумана?»
красная звонница без благовеста —
белого голоса — рдеет как рана

что мы без белого
льдистого алого
яблока спелого
облака талого?

снег под слоистой луною
мерцает
в мех бы ресницы / по брови б
зарыться!
Цвет-поцелуй на лету замерзает
поле морозцем лучится зернисто

наше дыхание — облачко / целая
Русь в серебре — серебро
беспорочно —
словно сиренью завалена / белая!
царственный иней — твоё узорочье

Косой чертой / автор отмечает смысловую паузу в строке.

ясная! русая!
неугасимая!
весть моя! Русь моя!
в сердце носимая

робкая — смелая
тихая — шалая
кость моя белая
кровь моя алая

дом-м! дом-м! дом-м!

низкий поклон
монастырские теноры
красные звоны
над белыми стенами

вы — звонари
вам и быть расторопными
бить до зари
меж веревками-стропами

прыгать и дергать
чтоб медное било
в колокол локтем
раскованно било

чашею бронзовой
выси попотчуйте
звонами-розами —
веси молочные

музыка-вольница
праздничной ярости
красная звонница —
ро-ди-на ра-до-сти

дом-м! дом-м! дом-м!

черная головня
мертвой в песке лежит
снег ли мой — блик огня:
красный на белом — жизнь!

жало сухих пустынь —
слово желтее лжи
истина — огонь и синь
красный на белом — жизнь!

в пляску плесни волной
светлою бурною —
шалью малиновой
кистью пурпурною!

гроздь твои кипят
вспенился цвет кругом:
в хлопьях вишневый сад
в вишнях белеет дом

край-каравай на чем?
бел под пшеничным плат
солнце загло лучом
мел — потолки палат

кто белизною пьян —
зимних равнин держись
хватит заре румян:
красный на белом — жизнь!

хва-тит за-ре ру-мян:
крас-ный на бе-лом — жизнь!

жизнь! жизнь!
дом-м-м-м!

А.Волос

Кто носится вскачь по джангалам



РАССКАЗ

Мызин еще вчера твердо сказал «нет», и потому сейчас Митька сидит возле кухонной палатки, безразлично насмистывая.

Мерген с Володей собираются ехать. Собираются неторопливо — утро уж позднее, да ведь им не в маршрут. Это в маршрут выходят рано, встают затемно, когда ещё проблескивают сквозь ледяной воздух сиреневые утренние звезды и воздух сам сиреневый. Спотыкаясь. Митька неуверенной сонной трусцой, шипя и бормоча что-то непослушными спросонья губами, когда с высокой травы на голые ноги брызжет обморочно холодная роса, скачет к ручью и окончательно просыпается уже здесь, у воды. А Клавдия Петровна встала вообще бог весть когда, у нее уже все готово, очаг едва дымится, догорают в нем дрова, а на большом плоском камне — он будто специально здесь тыщу лет лежал, дожидаясь, когда же наконец понадобится! — стоит здоровущая кастрюля, котелок и пятилитровый чайник. И еще через полчаса лошади уже заседланы, Мызин протирает очки и смотрит куда-то вдаль близорукими глазами.

И если Митька тоже идет в маршрут — а так оно обычно и бывает, — то он, держа Орлика в поводу, начинает переступать ногами от нетерпения. Мызин, протерев очки мятым красным платком, сажает их снова на свой траченный солнцем нос, оглядывает всех и говорит недовольно: «Ну, что, поехали...»

И тогда Митька начинает торопиться. Вот сто раз ему и Мызин говорил — не торопись! — и Володя тоже, и сам он уже сколько раз зарекался, а все равно ничего с собой не поделаешь — даже руки начинают от спешки подрагивать! Он перехватывает повод покороче и делает два шага, чтобы оказаться от Орлика с левого боку, и тут же, еще не шагнув как следует, сует ногу в стремя, а оно высоко, ой, высоко, потому что Орлик-то нормального лошадиного роста, а Митька — нет, то есть для своих лет он тоже нормального роста, но в сравнении со взрослым человеком все же коротышка; поэтому и стремяна на его седле вон аж куда затянуты! Он сует ногу в стремя и, чтобы не упасть, хватается за седло; и тут же оказывается наверху, сам не поняв как. Должно быть, выглядит это смешно, потому что Мерген всегда скалится, да и Володя порой улыбнется. Конечно, если бы у Митьки были такие же длинные ноги, как у Володи, он бы тоже не стал торопиться: сунул ногу в стремя и — р-раз! Неторопливо, плавно взлетал бы в седло... Впрочем, Мызин тоже не больно-то плавно в седло взлетает. Не потому, конечно, что не умеет садиться. Просто ему все равно, как это выглядит со стороны, — плавно, неплавно... Он берется за холку, и его Карий, словно проснувшись, напрягается, мотает головой недовольно. А Мызин, не обращая на него внимания, сует в стремя сапог и, прильнув на мгновение к лошадиному боку, возносит все свои восемьдесят пять килограммов на полтора метра вверх. Карий чуть прогибается в спине, переступает, снова мотает головой, гнет шею, будто норовя цапнуть Мызина за ногу. А Мызин еще ерзает, усаживаясь как следует, и из сапога у него

торчит рукоять короткой камчи, а полевая сумка сползает набок, и тогда он забрасывает ее за спину привычным движением.

— Ну что, поехали...

И они трогаются друг за другом. Впереди Мызин, за ним Васильич. Там, где можно, они пускают лошадей рядом, чтоб чуть только не цеплялись стремянами, и толкуют на ходу о делах, о разрезах, о каком-нибудь там девоне или юре — то есть о том, в чем Митька пока почти не разбирается и что звучит для него всего лишь как аккомпанемент постукиванию копыт. За ними Мерген или Володя: Митьке Мызин не позволяет быть замыкающим. Так они едут гуськом друг за другом — утром к югу, вечером — к северу, и с каждым днем все заметнее становится протоптанная в густой траве тропа от палаточного лагеря до края долины.

Долина? Нет, это не долина. Чтобы снова спуститься к ней, придется целый день дотемна ехать то быстрой рысью по широкой конной тропе, пересекая мелкие саи и ручьи, то пробираться по душным зарослям и щербатым склонам, на которых человек, осторожно ведущий лошадь в поводу, чувствует себя слишком прямоходящим. Долина осталась так далеко, что уже невозможно представить себе, как по ее пыльным пространствам по-прежнему неуверенно, будто ощупью, ходят бескостные знойные вихри. Здесь, на обширном плато, покато загибающемся в обрыв с одной стороны и круто вздыбливающемся скалистым склоном с другой, растет зеленая трава, торчат свечи эремурусов и лошадиные копыта звучат мягко, словно по кошме.

Добравшись до конца плато, они разъезжаются — Васильич с Мергеном, Мызин с Володей и Митька, третьим.

Таков порядок в маршрутные дни, а сегодня — камеральный. Сегодня все по-другому. Мызин с Васильичем скоро сядут в большой палатке, поднимут полы, чтобы продувало ветром. Будут курить, чинить карандаши, переговариваться, шуршать калькой. К вечеру Васильич надует, как мышь на пшено, потому что Мызин докажет ему, что в Чашмасоре придется сделать еще два маршрута. Но это к вечеру, да и то не наверняка. Клавдия Петровна, проводив их в маршрут, обычно забирается в палатку и досыпает, а сегодня завтрак был поздний, ленивый, да к тому же грядет обед, так что спать ей некогда. Будет распевать да чистить картошку, резать капусту на фанерке. Володя с Мергеном едут в кишлак Обикунон, в магазин за сигаретами и, наверное, за водкой. В общем, у всех дела, один Митька ходит как неприкаянный. Придется таскать воду Клавдии Петровне, или Мызин еще почище что придумает, а в Обикунон он его не пустил; так вчера и сказал: «Нет, нечего ордой мотаться... Только лошадей гонять!..»

Вчера после ужина Васильич не поленился спуститься к ручью, повесил на куст полотенце, а сам, чертыхаясь и скользя на черных холодных камнях, пенящих отблескивающую в лунном свете, похожую на масло воду, чувствуя, как впиваются в пятки какие-то чертовы острия, неловко ступая и отмахивая руками, в одной из которой зажат кусок мыла, зашел по колено, потом глубже — до паха, то есть на такую глубину, где уже река начинает проявлять свою власть, жмет, напирает, заставляя наклониться против ее плотного, неразъемного течения, и стал плескать на себя горстями, ухая и ежась, сунув для этого мыло в предусмотрительно не сброшенные плавки, а потом, уже чувствуя, как немеют от холода икры, упрямо и долго мылил голову, руки, грудь, балансировал на одной ноге, задирая другую, чтоб и ее намылить, фырчал, вскрикивал и под самый конец, швырнув скользкий обмылок в темноту берега, повалился в напор воды, чуть не захлебнулся, когда его поволокло, выбрался на берег, дрожа, но чувствуя чистоту и свежесть тела. Он вытирался, стуча зубами и приплясывая, а потом, надев штаны и ватник, курил в темноте над водой, смотрел на переливы лунного света.

— Ну ничего, проедутся... — говорит Васильич, словно заговаривал совесть. — Семь километров всего. Правда, лучше бы пораньше, а то жарко было.

Он отпивает глоток чаю, вздыхает, щурится на солнце. Точно так же, как хозяин, щурится на солнышко Васильичев рыжий пес по кличке Зарез. Он лежит в метрах трех от брезента, положив угловатую голову на лапы, и мирно, расслабленно, даже нежно следит за тем, что происходит у людей.

Когда Васильич ставит кружку на брезент, в глазах Зареа появляется какой-то блеск.

Васильич неторопливо лезет в карман, достает сигареты, вынимает одну, нюхает, разминает. Чиркает спичкой и пускает голубой, быстро разоряемый ветром клуб едкого дыма. Затянувшись, горбит плечи, кашляет, что-то булькает и содрогается у него в горле, хрипит и хрукает; Васильич сгибается, машет рукой и, наконец, отхаркнувшись, со щелкающим баллистическим звуком сплевывает мокроту.

Зарез мгновенно вскакивает, в три скользящих шага оказывается возле и жадно слизывает плевков, повисший на траве.

— Тьфу, болван! — с досадой говорит Васильич. — Пошел!

Зарез боком, пятась, мягко перебирая лапами и преданно шурясь, возвращается на прежнее место.

— Я же его и наказывал, дурака, — как будто оправдываясь, говорит Васильич. Он смотрит на Митьку, Митька сморщился, как от кислого. Вся его круглая веснушчатая физиономия сморщилась, даже облупленный нос становится в складочку: — А потом думаю — ладно. Нравится, жри...

Он тянется к чайнику, наливает себе четверть кружки.

— Вообще-то пес боевой, — говорит Васильич, отпив. — Охотничий.

Возле загона возятся Володя и Мерген. Мерген держит кусок кошмы, а Володя режет его ножом пополам.

— Сейчас уедут, — говорит Митька немного надрывно. — В Обикунон.

— Семь километров, — кивает Васильич.

Он испытывает особенное удовлетворение (совсем не злорадное) от того, что кто-то на его глазах седлает лошадь и должен будет затем трястись на ней по жаре семь километров туда и семь обратно, а он в это время может делать что хочет, то есть сидеть на брезенте с кружкой чаю в руках, курить и щуриться на солнце. Митька тоскливо смотрит туда, где Володя и Мерген режут кошму, но не встает и не идет к ним, потому что чувствует обиду не только на Мызину, но и на весь мир: в том числе и на Володю с Мергеном — вот они скоро заседлают и тронут, и все будет плясать и двигаться перед их глазами, пятна зелени будут сменяться пестрыми красно-желтыми пятнами камней и щебня и золотыми крапами яркого, слепящего солнца на листве кустарника, и тропа нырнет туда, в кустарник... А он будет таскать воду или еще чем-нибудь таким же увлекательным займется.

Поймав его взгляд, Васильич вдруг догадывается, что Митьке-то хочется чего-то другого, отличного от того, что хочется ему, Васильичу, а именно: ехать семь километров по жаре туда и семь обратно, трястись на лошади по тропе, пригибаться, когда поперек тропы как раз на уровне груди всадника торчит цепкая ветка арчи или эргая, торчит, проклятая, как нарочно... Но это дикое, несуразное желание настолько сейчас чуждо ему, что и догадка о нем у Васильича смутная, ненастоящая.

— Ты с ними, что ли, хочешь ехать? — спрашивает он у Митьки, чтобы проверить себя.

— Ну, — говорит Митька мрачно. — Мызін не пускает.

Васильич молчит, пытается вспомнить, чего он хотел раньше, когда ему было столько же лет, сколько сейчас Митьке, — и не может. Все заслоняют сегодняшние желания — желания сорокашестилетнего человека, который благодаря полевому стажу выйдет на пенсию лет на пять раньше, чем другие.

— Еще наездишься... — неуверенно говорит Васильич бодрым голосом. — Эх, Митька, знаешь, вот я иногда думаю... Почему я не стал биологом? Как хорошо! Поймал букашку, посадил ее в банку... травки набросал. И смотри за ней целыми днями. Что ест, что пьет, как ходит... Как подружку ищет... А?... А тут! Зубы вот вставить некогда — куда языком ни ткнешь, все в щеку попадешь...

Он сокрушенно машет рукой.

— Ну да, — говорит Митька и опять отворачивается, смотрит издалека, как Володя приспособливает отрезанный кусок кошмы на седло.

Васильич крикает, решительно допивает чай, гасит окурок об землю. Встает и неторопливо идет к камеральной палатке. По дороге он поднимает голову и смотрит в небо. Небо совершенно чистое. Синее. Оно зубчатое по краям. Васильич вздыхает и, согнувшись в три погибели, лезет в палатку.

— Митя! — позвал его через несколько минут Мызин. — Митя!

Митька остановился у входа, заплел ногу за ногу, скособочился по-стариковски.

— Не устал? — насмешливо спросил Мызин.

Митька вздохнул, выпрямился.

— Значит, принесешь шесть ведер воды — как минимум. И чтобы фляга была полная. Понял?

— Ну.

— А потом седлайся и езжай! — раздраженно сказал Мызин. — Не хочу я тут рожу твою кислую видеть! Если тебе лошадь не жалко! Езжай! Ну тебя к монахам!

Часто кивая, Митька попятился, уперся спиной в кол под насмешливым взглядом Васильича, выбрался из палатки, кинулся бегом к загону, развернулся, вспомнив, что нужно выволочь из хозяйственной седло, снова запнулся, теперь вспомнив про воду, встретился взглядом с Володей, молча и яростно замахал руками, беззвучно крича: «Разрешил! Разрешил!»

Мызин высунулся и, скривясь от натуги, заорал на все плато сиплым голосом:

— И не носитесь вы по джангалам¹, дурни! Ну кто носится вскачь по джангалам?! Кто носится, я вас спрашиваю?! Посносите башки себе, а мне — за решетку! Тьфу!

И скрылся, блеснув напоследок очками.

У Мергена лицо скуластое, узкое, смуглое и почти неподвижное. Ну, не каменное, конечно, — тоже улыбается, тоже смеется, тоже присвистывает порой, вытянув губы дудочкой, или подмигнет. Но у других-то людей почти всегда физиономия ходуном ходит — щеки то надуты, то растянуты, то одна из них языком подперта, то другая; лоб то сморщится, то разгладится, брови то сойдутся, то поднимутся, и губы беспрестанно в движении — то верхняя закушена, то нижняя, то вообще весь рот набок, а у некоторых еще и уши елозят, будто их за веревочки тянут.

Мерген никогда не хохочет, а улыбается так: зубы покажет все до одного, а кожа на щеках при этом почти неподвижна, словно перетянута, и он боится, как бы не лопнула. То же самое и когда злится: глаза совсем сжимаются, сощуриваются, губы белеют, видно, что недоволен чем-то, взбешен, а присмотришься — лицо-то почти то же, что и пять минут назад, когда улыбался.

Митька для себя сразу решил, что он немного психованный. Не в том смысле, что сумасшедший, а в том, что и кирпичом может по башке запулить, если поперек. В городе таких навалом. Город вспоминается неуверенно, словно сон или чей-то пересказ, но все же можно нащарить какие-то давние, сто лет назад случавшиеся события. Вот в соседнем дворе живет Гришка Бес, так тот в случае чего хватает что под руку попадется — камень так камень, железку так железку. Если уж на него найдет — держись подальше. Правда, Гришка — Митькин ровесник, и толстый, не то что Мерген, и светловолосый, и глаза у него желтые, а не черные, как у Мергена; а Мерген, с другой стороны, никогда еще при Митьке ни за что не хватался, да и неизвестно, хватался ли раньше. То есть, как ни взгляни, — совершенно разные люди. И все же чем-то похожи.

С Володией Мерген дружит, да и со всеми дружит, не ссорится. Но все же

¹ Джангал — заросли.

как-то не так, как дружит Митька. Митька сразу растворяется в человеке, в день, в два проживает с ним столько, что уже на третий кажется — век знакомы, век друзья. Вот с Володей так. А Мерген всегда так смотрит, будто в любой момент может оборвать на полуслове, чтобы попрощаться. Правда, когда Митька попытался рассказать об этом Володе, тот пожал плечами — не замечал, мол. Может быть, и другие не замечают? Так или иначе, у Митьки с Мергеном не получается.

Митьке кажется, что Мерген норовит им командовать. Кому же это может понравиться! Митька над собой в командирах только Мызина числит. Мызин начальник партии, отец упрощил его Митьку к себе на полевой сезон взять. Тут уж никуда не денешься. Да и не хочется никуда деваться — в Мызине сила, уверенность; его хочется слушать, хочется, чтобы похвалил. Васильич — тот тоже мог бы Митькой командовать, Митька бы его тоже слушал, но из вежливости. Но Васильичу это все до лампочки, он не командует. Володя — тот вовсе особенный человек. Если он скажет что-нибудь, а ты здесь же не встанешь и не примешься за дело, Володя через минуту встанет сам и сам все сделает, и при этом даже не посмотрит укоризненно в твою сторону, не будет бурчать, что, мол, он просит, а никто и ухом не ведет. Поэтому не слушаться его нет никакой возможности — тут же приходится вскакивать и бежать со всех ног куда сказано. А вот если Мерген Митьке что-нибудь говорит, у того сразу что-то сжимается в животе, становится как-то неприятно, неуютно, и подчиниться — ну просто нож острый. Почему? Неизвестно. Не хочется — и все.

Они отъехали уже метров на шестьсот, и палатки лагеря, если бы кто обернулся и взглянул назад, показались бы ему бурыми лоскутами. И еще почти столько нужно было рысать до края плато, где тропа побежит по борту ущелья. Упираясь в стремени и чувствуя в ногах пружинящую силу, Митька поднимался и падал, поднимался и падал, привставал и опускался, принаравливаясь к ритму этой волны, вместе с ней скользя и уплывая все дальше и дальше по шуршащей и немного прихлопывающей в такт копытам траве. Он чувствовал себя свободным; если посмотреть направо, набегала пестрота дальних, а потом и ближних склонов, обрывов, еще ближе — заросли на изломе рушащегося вниз плато, и трава, трава, и совсем рядом, под ногами, составная тень лошади и всадника, бегущая по этой траве, и то совсем было отрывающаяся, то снова прирастающая к копытам Орлика; слева было преимущественно солнце; оно было большим, ярким, его было так много, что казалось, будто светится и сияет не только сам плавающий и слепящий диск, но и самое близкое его окружение — камни, листья, трава. Метрах в десяти ходко рысил Мергенов Рябой, и прямая спина Мергена казалась летящей в воздухе отдельно от лошади, только каким-то чудом остающейся именно под человеком. Рябой сильно бросал копытами, и подковы блестели, мокрые от травяного сока. Оглянувшись, Митька зачем-то махнул рукой Володе, а потом закричал:

— Э-э-э-э-э!..

Орлик повел ушами и мотнул головой. Митька подался вперед и стукнул его пятками по бокам. Орлик повернул голову, изумленно скосив глаз на Митьку. Глаз его говорил: «Опомнись!».

— Ну! — угрожающе сказал Митька и снова стукнул Орлика пятками. — Ну, давай!

Орлик не перешел на галоп, но то ли прибавил немного, то ли просто начал покачиваться на ходу — во всяком случае, постарался показать, что старается.

Митька пожалел, что забыл взять с собой прутик. Он уже приспособился ездить с прутиком. У него не было такой камчи, как у Мызина, которую тот красиво совал за голенище сапога. У Митьки и сапог-то не было, только кеды да ботинки. Но зато он брал хороший прутик и легонько стегал Орлика, если тот ленился. Должно быть; Орлик не чувствовал руки. Это Мызин так говорил — не чувствует руки. Правда, Васильич говорил другое, а именно, что Орлик и рад бы в рай, да грехи не пускают. Староват, мол. Так или иначе, Орлик

нехотя пускался в галоп и делал все, чтобы избежать этого. Только исчерпав все способы показать, что он, согласный, в принципе, со всеми требованиями, которые предъявляет к нему Митька, хорош тем не менее и вот таким, бегущим рысцой, Орлик, совершив несколько странных скачков, не укладывающихся в рамки Митькиных представлений об аллюрах, начинал галопировать, отчего в ушах у Митьки равноправно звучали шум ветра и гулкое уханье, раздающееся где-то в глубине Орликова живота.

— Ну! — кричит Митька возмущенным шепотом и трескает Орлика ладонью по крупу. Орлик делает вид, что сбивается с рыси, спина его под Митькой начинает шататься и вихлять; но тут же, споткнувшись напоследок, он берет прежний темп, мотая головой, словно в припадке головокружения.

— Ну же, гад! — кричит Митька, колотя по бокам.

Его охватывает злость: Мерген вот-вот обернется и увидит всю эту суету. Володя, который едет следом, видит все с самого начала, но Володя не в счет, перед Володией Митьке и не хочется красоваться. А вот проскакать мимо Мергена, пронестись рядом, обдав ветром, чтобы Мергенов Рябой от неожиданности вскинулся, шарахнулся, чтоб и сам Мерген покачнулся в седле, хлопотливо замахав руками, — вот это страх как хочется! Ах как красиво, когда под Митькой Орлик пойдет наконец галопом! Всадник уменьшается, потому что пригибается к лошадиной шее; уменьшается и конь, потому что для того, чтобы идти вскачь, ему надо стать другим — чуть более вытянутым и низким, приспособиться к тому, чтобы лететь, разделяя полосатый воздух уплощающимся с боков телом. Жалко, что Орлик такой старый, жалко, что не любит быстро бегать, а если все же бывает вынужден, то норовит остановиться при первой же возможности. Нет, другой лошади Митька бы и не хотел, потому что они с Орликом стали друзьями, а друзей ведь не предают из-за того, что они стареют и не могут носиться вскачь, как жеребята. Сам Орлик мог быть немного иным... вот что жалко!

— Ну, давай, давай! — яростно шепчет Митька.

Сначала его поражало, что такое большое существо согласно подчиняться человеку; он робел, сидя в седле. Легкость, с какой управляли своими лошадьми другие, казалась Митьке совершенно противоестественной, ведь этот огромный шерстяной зверь с длинной гривой, хвостом лоснящимся, костяными копытами неизмеримо сильнее человека; и поэтому его покладистость случайна — в любой момент это все может ему надоест, и тогда он встанет на дыбы и поступит с докучливым седоком каким-нибудь страшным образом... Но ничего такого не происходило; Орлик более или менее послушно выполнял то, что от него требовал этот почти невесомый всадник, под которым даже седло не скрипело.

Орлик с глубоким удовлетворением отмечал факт его легковесности. Орлик был старым полевым конем. Вся жизнь его прошла на конебазе: там он родился когда-то от пегой кобылы Шарьи, там вырос, туда возвращался в конце сезона, когда по утрам лежал иней на траве, а на водопое можно было поранить губу об острую ледышку припая, там проходили короткие бездельные зимы, — в бревенчатых стойлах конебазы всегда что-то шуршало и двигалось в полумраке, в мягком полусвете дня, едва только успевающего заглянуть в узкие прорубы окон. Летом — точнее в начале летнего сезона, в конце марта или в апреле, что-то менялось вокруг, и оказывалось, что зима прошла как во сне — в чередовании каких-то воспоминаний и событий, похожих на воспоминания. В один прекрасный день отдохнувшего, сытого Орлика выводили из стойла уже не на прогулку, а в дорогу — сначала перегон куда-то в глубь гор, расступающихся перед лентой дороги, а потом чередование иных, малых перегонов и периодов более или менее оседлой жизни, квадратный загон, построенный людьми из жердей или досок, и несколько палаток, в одной из которых хранится не только сбруя, но и мешок овса. Здесь ждали свои радости, свои тяготы: бывало, что сго ставили под вьюк, которым можно было нагрузить двух лошадей, и заставляли идти с ним в гору по едва угадывающейся на роковом осыпном склоне тропе. Ему везло, или, может быть, не везло другим: Орлик не раз и не два видел, как скатываются навьюченные кони по таким склонам, как от третьего или четвертого удара об камни обры-

вается вьюк, а потом второй и как уже вместе с пылящей, грохочущей, раздраженной грудой острых камней и щебня, кувыркаясь и при каждом очередном ударе издавая какой-то мягкий бескостный звук, все это — вьюки, лошадь, грохот — в конце концов срывается с обрыва в пекло застоявшегося гулкового воздуха, в котором, если заглушить отрывистое постукивание обвала, можно было бы разобрать невозвратный гул змеящейся далеко внизу реки. Видел он и то, как вода на переправе сначала будто подламывает, а потом, подломив, торопливо несет, ворочая и швыряя между черных камней, и если в спешке и жадности оборвет вьюки, то, может, и выберется лошадь на берег километром ниже по течению — дрожащая, падающая на колени. А если не оборвет, то долго еще будет бешеная вода нести и ворочать труп, пока не прибьет в конце концов к отмели или не заклинит где-нибудь между двумя неподатливыми глыбами.

Всегда, как случалось что-нибудь похожее, Орлика сразу расседывали, стреноживали и пускали пастись. Люди предпринимали поиски — пробовали найти спуск по обрыву, чтобы добраться до вьюков, если лошадь срывалась в пропасть или пробивались через кустарники вдоль берега, если уносило потоком. Как правило, это ничем не кончалось: на обрыве не находилось сколь угодно пологого места, а лезть по крутизне никто не решался, да и смысла в этом никакого не было, потому что не только живое существо, но даже и мертвый предмет не мог сохраниться в целости, упав с этой крутизны; а непроходимый кустарник вдоль берега, затянутый паутиной, душный, цепкий, прерывался там, где река уходила в теснину, бушуя в узкой темной щели между опасно гудящими скалами, и ни пробраться поверху, ни как-нибудь скользнуть по самой воде никакой возможности не было.

В первый же камеральный день начальник партии составлял акт о гибели лошади и экспедиционного скарба. В акте следовало, разумеется, указать, что именно находилось в исчезнувших вьюках; и всегда, как ни странно, оказывалось, что в них были упакованы самые ценные вещи: пара фотоаппаратов, три спальных мешка гагачьего пуха, три этой весной полученные двуспальные палатки шведского производства, несколько полевых биноклей и еще кое-что по мелочи. Именно по мелочи в результате и набегало столько, что комиссия, глубокой осенью собирающаяся для списания пришедшего в негодность имущества, начинала перешептываться, и кто-нибудь непременно замечал, что столько барахла не только лошадь, но даже и верблюд не смог бы унести. «Если бы мне дали еще трех лошадей, как я просил, — отбивался начальник партии, — не пришлось бы столько грузить! Самим жалко, а что делать?! Везти-то надо!...» Кто-нибудь из членов комиссии подковыривал: «Что ж именно эти вьюки-то упали? Именно эти? Почему всегда только новые вещи гибнут? Почему у нас лошадь с кухонной утварью не сорвалась?» «Косая не выбирает», — мрачно отвечал начальник партии. Так или иначе, после небольшого торгового результата которого из перечня вычеркивались несколько самых дефицитных предметов, комиссия благополучно завершала свою работу. И с последней подписью последнего из ее участников призраком безвременной погибшей лошади, навьюченной огромным ворохом призрачных же вещей, покидал дымный воздух камералки и, колеблясь, под шум первого дождя неторопливо взмывал к нахмуренному небу... Впрочем, обо всем этом Орлик не имел никакого представления.

— Ну! Ну, давай! — кричит легковесный наездник, пиная бока острыми кедами.

Орлик окончательно сбивается с рыси и в честных попытках перейти на галоп начинает совершать странные скачки. Митька вжимается в седло, чувствуя, как оно под ним ходит и перекашивается.

Орлик делает еще одно усилие. Тук-тук, тук-тук! — стучат копыта по земле. Пошел! Пошел! Сердце у Митьки колотится. Вот сейчас он обгонит Мергена! Митька опускает плечи, левую руку, в которой держит повод, кладет на луку седла; правую вольно бросает вниз к коленке, расслабляется и напускается на лицо выражение, которое можно назвать меланхолическим и отчасти

надменным, — короче говоря, такое, что в Митькином представлении должно быть свойственно людям, выросшим в седле. С каждым скачком Орлик все больше расходится, словно в его стылых суставах разогревается смазка. Услышав за собой топот, Мерген оглядывается и берет немного в сторону: прямо на него, тяжело бухая копытами и будто немного пошатываясь при каждом скачке, несется Орлик.

— Ты! — кричит Мерген, скалясь и забирая еще правее. — Сшибешь!

Митька пронесется мимо, не удостоив его даже мимолетным взглядом.

Мерген смотрит вслед. Митька вихляется в седле, словно связанный веревочками.

— Крепче сиди! — кричит Мерген. — Крепче!

И снова скалится, цокая языком:

— Ц-ц-ц-ц!..

Там, где зеленая гладь плато начинала бугриться и тропа сбегала в ущелье, копыта застучали по камням. Скоро они выбрались из кустарника и двинулись по борту сая. Тени стали заметны короче, воздух суше и стеклистой, запахи погребели, потому что вслед за первой эфирной фракцией, выгоняемой самым легким утренним светом, из неподвижных трав и глянцевиных листьев под прямыми солнечными лучами пошла вторая, не в пример жестче.

Володя и Мерген задержались у поворота, и, переведя взгляд, Митька заметил, что чуть выше по склону, метрах в пятидесяти от тропы вьется легкий дымок и кто-то сидит под выгорелым навесом. Человек привстал, негромко крикнул и призывно махнул рукой.

Мерген ответил по-таджикски, потом спросил у Володи:

— Поднимемся?

Тот пожал плечами, оглянулся и сделал знак Митьке.

Поднимаясь по склону, Митька видел, как человек вышел из-под навеса, прижав левую ладонь к груди, как они сначала с Мергеном, а потом с Володей долго жали друг другу руки — протянув обе, а не одну, — как говорили что-то однообразное, перемежаемое столь же однообразными кивками. Потом человек усадил их под навесом.

Он был худощав и очень темен кожей. Солнце, въедавшееся в нее лет пятьдесят, сделало ее похожей на глину — хорошо обожженную темную глину, в которой можно хранить воду или молоко. Иногда человек почесывался — это было нормальное движение, свойственное всем людям, чувствующим, например, что по плечу пробежала, на секунду приземлившись, большая сизая муха; однако не у всех людей на коже после того, как они поскребут ее ногтями, остается белесый налет какого-то праха — такой же, как если поскоблить глиняный кувшин стальным предметом.

— Здрасти, — сказал Митька, привязав повод к сухому деревцу.

Улыбаясь и что-то бормоча, человек протянул к нему руки, как только что протягивал их Мергену и Володе, и Митька тоже протянул обе ладони, взяв в них сухие и очень темные ладони хозяина, и, чувствуя неловкость, смущение, робость и легкую брезгливость, пожал их, посмотрев одновременно ему в лицо и тут же отведя взгляд от его сощуренных и приветливых глаз.

Пожимая Митьке руки, он продолжал что-то негромко бормотать в вопросительной интонации. Митька не знал, что нужно отвечать, поэтому только напряженно улыбался и кивал, беспомощно глядя иногда на Володю: «Да, да...» — сказал он.

— Шин, шин... — по-видимому, окончив это ритуальное бормотание, сказал человек, махнув рукой в сторону навеса.

И сам повернулся к навесу, снова прижал руки к груди и стал что-то виновато объяснять Мергену. Говорил он взволнованно; и Мерген заволновался, стал отрицательно качать головой и тоже прижал к груди ладони.

— Митя, — сказал он быстро, — возьми вон там кумган, сходи за водой! Скорее!

И снова принялся говорить по-таджикски, убеждая в чем-то хозяина. Тот между тем начал пятиться: Митька размышлял, недовольно озираясь, где тут может быть этот чертов кумган и куда с ним надо идти: ручей где-то там, слева: они до него не доехали. Быстро-быстро увещевая Мергена, человек подхватил кумган, стоявший возле очага, и торопливо пошел вниз, к ручью, оглядываясь и успокоительно махнув рукой.

— Не можешь за водой сходить? — сказал Мерген.

— А я знаю, где ручей-то! — возмутился Митька.

— Где, где!..

Мерген выругался и отвернулся.

— Да ладно тебе... — сказал Володя. — Гостей нельзя за водой посылать. Он бы все равно сам пошел. И одних оставлять нельзя. Я однажды в гости пришел, так хозяин мне розу в пиале принес — пусть, говорит, она с вами побудет, пока я на кухне вожусь. Не скучайте, говорит, дома никого больше нет... В пиале принес, такая большая роза.

— Роза? — хмуро переспросил Митька.

Володя кивнул.

— Роза... — повторил Митька, неопределенно покачав головой. На Мергена он старался не смотреть. — Поехали, может, а?

— Чаю поьем, — сказал Володя. — Неудобно.

Митька снова насупился. Удобно, неудобно... Собрались ехать, так надо ехать, а не чай распивать! Это все Мерген! Зачем остановился? Только время терять...

— Что он тут делает-то? — недовольно спросил Митька. — На горе-то?

Мерген косо взглянул на него. Сам он сидел на кошке, прислонившись спиной к стопе каких-то засаленных тряпок и одеял, — отовсюду торчали клочья ваты. «Постель, что ли?...» — подумал Митька, морщась.

— Пастухи... — пожал плечами Володя. — Живут себе...

— Живут... — повторил Митька с каким-то недоумением. — Разве так живут...

Большой лоскут сильно выгорелой грязно-розовой тряпки, под которым они сидели, одной стороной был привязан за углы к ветвям пыльной арчи, а другой — к двум корявым палкам. Фыркнув, Митька взглядом показал Володе на растяжки, с помощью которых держалась эта система. От той же тряпки оторвали две полосы, скрутили, чтоб были похожи на веревки. Растяжки! То ли дело в лагере на палатках растяжки... Навес! Подует ветерок — только его и видели. этот навес...

Мерген снова мельком глянул на Митьку, хотел что-то сказать, но отвернулся и промолчал.

Пастух возвращался, неторопливо шагая вверх по склону. Он приткнул кумган к стоящему на очаге котлу, выбрал из кучи хвороста несколько палок, звонко разломал их и сунул под котел. Скоро дым пошел гуще, а потом вовсе пропал: в невидимом прозрачном пламени над очагом стали плясать и переливаться дальние скалы.

Из мятой картонной коробки, бок которой был запачкан сажей, пастух вынул сначала большую глубокую чашку — косу, а потом какой-то черпак. Он снял крышку с котла и положил ее рядом с собой на камень. Из котла пошел легкий пар.

— Ана, хуред, — сказал он, ставя косу на кошму, и протянул Володе ложку.

Митька с брезгливым изумлением смотрел на нее. Это была некрашенная и потемневшая деревянная ложка. Должно быть, к ней прикасались тысячи губ и тысячи языков облизывали ее. Ручка была очень длинной и росла из ложки поперек — ну, как если от нормальной ложки отломать и приделать сбоку. Она была остроносенькая, черпачком.

Володя произнес какую-то фразу, зачерпнул, поднес ко рту и подул.

Мерген тоже сказал что-то, и пастух сказал. Говорили все неторопливо.

Володя протянул ложку Мергену.

Мерген степенно зачерпнул, осторожно проглотил, облизал губы. И протянул ложку пастуху.

Тот качнул головой, улыбаясь, и Митька понял, что ложку нужно взять ему.

— Нет, нет, — сказал он. — Я не хочу есть. — И посмотрел на Володю, ища поддержки.

— Что ты!.. — удивился Володя. — Это атола! Поешь, вкусно.

— Нет, я не хочу, — повторил Митька.

Напряженно улыбаясь и стараясь говорить как можно приветливее, он снова помотал головой и сказал пастуху: — Спасибо, спасибо... Я сыт, спасибо.

Пастух протягивал ему ложку.

— Хур, хур, — сказал он, улыбаясь. — Шарм макун, хур!..

— Нет, нет, — Митька прижимал к груди ладони и улыбался, — спасибо, честно, не хочу...

— Ешь, тебе говорят! — тихо сказал Мерген.

Пастух обеспокоенно поднял брови. Он перевел взгляд на Володю и что-то спросил. Митька продолжал улыбаться и качать головой. От улыбки было больно губам. Он тоже посмотрел на Володю. Володя говорил пастуху что-то успокаивающее.

Мерген наклонился к Митьке:

— Ешь! Нельзя не есть!

— Да не хочу я, не хочу! — возмущенным горячим шепотом сказал Митька. — Ну если я не хочу есть?!

Осклившись, Мерген присунул к нему ближе и свистящим тихим голосом выдохнул в самое ухо:

— Ешь, сволочь, пока я тебя не убил!

Митька почувствовал, как похолодела и съежилась кожа на щеках. Взглянул на Володю. Тот смотрел в сторону. Митька проглотил слюну, и, нерешительно протянув руку, взял ложку.

Он взял ложку, чувствуя, как от обиды и злости закипают на глазах слезы. Да что они, с ума сошли оба?! Володя взглянул на него — и Митька не ощутил в его взгляде сочувствия. Ну если он не хочет есть, тогда что?! Дело, конечно, было не в том, что он не хотел есть. Есть хотелось почти всегда. Но есть кривой грязной ложкой этот их белый суп из грязного котла?!

Пастух смотрел на него с тревогой.

Митька взял ложку, и тогда лицо пастуха немного просветлело.

Страдая, Митька сунул черпачок в косу и поболтал там. Зачерпнув как можно меньше, он поднес ко рту, подул и потом, зажмурившись, стараясь не замарать губы, схлебнул. Проглотил, едва не поперхнувшись от усилия. Протянул пастуху.

Тот взял ее и сказал что-то. Володя рассмеялся, ответил. Потом наклонился к Митьке.

— Не отравился? — спросил он тихо.

— Не отравился... — буркнул Митька. — Если не хочу я есть, что тогда?..

Прошел еще, по крайней мере, час, пока они напились чаю. Пили из щербатой пиалушки. Наполнив ее на четверть, прижав руку к груди и немного поклонившись, пастух подавал ее всем по очереди, в том числе и Митьке, который по примеру Володи и Мергена к концу этого часа не только привык, но и разохотился, войдя во вкус ответных жестов: принимая пиалу, следовало так же легко поклониться и прижать к груди свободную руку. Затем они попрощались, то есть выслушали от пастуха множество разнообразных пожеланий и, со своей стороны, пожелала ему много чего хорошего. Митька по незнанию языка только кивал и нетерпеливо улыбался. Обменявшись с этим коричневым человеком последней серией рукопожатий и так же, как он, прижав напоследок ладони к сердцу, они отвязали лошадей и спустились к тропе.

Мерген качался в седле, немного откинувшись назад и безвольно бросив ладони на луку. Лошади шли шагом, тропа, незаметно забирая выше, петляла по урезам мелких промоин и саев. Это был южный склон, трава здесь выгорала, желтела и недовольно шуршала и поскрипывала под ветром, налетавшим порой откуда-то снизу...

Он мог бы и вовсе закрыть глаза, даже задремать в седле, даже крепко уснуть, не опасаясь того, что лошадь оступится или шархнется от порхнувшей из-под копыт птицы. Тело его было цепким, сторожким и даже во сне сумело бы постоять за себя.

Он покачивался в седле, насупившись и шуря и без того узкие глаза, смотрел перед собой, не замечая того, как один поворот тропы сменяется другим, точно таким же, и на смену одной траве выбегает другая, неотличимая от первой.

Солнце поднялось высоко, и его сияние уже не казалось ласковым — свет безжалостно и жестко резал глаза, сушил воздух, лучи упрямо били в лицо и, казалось, забирались под одежду; звуки в этом зыбком расплаве начинали мало-помалу сохнуть, съезживаться, от них оставались только постукивающие, побрякивающие скелетики хруста и свиристения; плоть мягких утренних шелестов давно увяла в бесконечно однообразном дребезжании полированного хитина. Кузнечики надрывались в траве, а цикады — в листьях.

Вообще говоря, он любил солнце. Его смуглая гладкая кожа не боялась ожогов, и он всегда с удивлением и немного презрительно разглядывал на городском пляже пятнистых, по-змеиному облезающих людей. Сам он солнца не боялся — оно скользило по нему, стекало с лоснящихся плеч, а то, что било прямо в спину и предплечья, покорно впитывалось невидимыми порами. Но сегодня он чувствовал какое-то глухое, смутное недомогание, не говорившее о себе ничем, кроме зуда необъяснимого раздражения, маячившего то на краешке чувств, то близко, в самых надглазьях. И солнце казалось слишком ярким, раздражало.

Мерген зажмурился, невольно помотал головой.

Скоро тропа должна была сбегать по склону на дно длинного и почти прямого ущелья, сплошь заросшего непролазным сплетением колючего кустарника и деревьев, гнувших стволы вокруг пестрых валунов. Оттуда, казалось, уже веяло особым застоявшимся зноем, запахом сохлой прели, каким-то дурманом. Тропа вламывалась в этот джангал с усилием, как будто не вдруг раздвигая своим пустотелым, тут и там рассеченным серебром паутины стволом чашобу. Должно быть, не вчера начали гонять овец по этому ущелью, то понукая их бежать за Обикунон, на летние свежие пастбища, то, наоборот, вниз, в долины, где в базарные дни овечья кровь запекается черными лужами; не вчера принялись покрикивать пастухи на их топотливые отары, покорные и способные в своем волнообразном движении вытоптать не только траву, но и деревья, и камни; однако так велика была сила этого джангала, так мощно он раскинулся по ущелью, что за все эти века тропа не стала шире, а по-прежнему лежала узким, заплетенным сверху коридором. Зимой ущелье заваливало всклянь, но и тогда под снегом, подо льдом застывших ноябрьских ручьев жили корни, готовясь к тому, чтобы весной, когда бешеная вода навалится, потащит камни, подпилит и обрушит скалы, норovia не так, так этак выворотить почернелые плети из-под валунов и тощего песка, устоять, удержаться, остаться на месте и чуть позже дать мощный побег... То, что все же вырывалось с корнем или мозжилась грохочущими в токе камнями, застревало в соседних стволах, сохло, подламывалось, и новые поколения насекомых обживались на безжизненных сучьях.

Овцы бежали по этой тропе дважды в год, бежали мелкой неторопливой побегой; люди шли за ними в полный рост; всадники спешили, шагали, ведя лошадь в поводу, потому что, даже пригнувшись к луке, всегда можно было ткнуться лбом в тугую каленую ветку эргая, безрассудно померявшись с ней силой на всем скаку.

В этом-то и был весь фокус — пролететь джангал единым махом, обхватив лошадь за шею, и нигде не зацепиться, а только чувствовать и слушать, как руки деревьев и кустов, промахиваясь едва ли не на сантиметр, шевелят волосы на голове и секут холодящий лицо воздух.

Он подумал об этом, но не испытал сейчас ни холодка, ни лишнего удара сердца, переходящего на торопливый жадный бой; солнце слепило глаза, что-то гудело в затылке, и тени казались желтоватыми.

— Ну, что? — спросил Володя, придерживая лошадь. — Шагом пойдем?

— Зачем шагом? — Мерген старательно улыбнулся.

Ему хотелось бы спешиться и сесть в траву возле серого, сплошь затененного и, быть может, даже прохладного валуна. Но к тому не было сейчас никакого повода.

— Ого-го-го! — хрипло закричал он вместо этого; запрокидывая голову, шурясь и чувствуя, как солнце сверлит веки, царапая их, скребя, чтобы пролезть под.

— Ладно... — сказал Володя. — Что время терять... Митя! Митя! — он возвысил голос и привстал в стременах. — Пригибайся как следует! Понял? Смотри у меня!..

Он тронул лошадь, пригнулся, сжался — и лошадь под ним тоже подобралась, будто зачерствела.

— Ого-го-го! — закричал Мерген.

— Ого-го-го! Го-го! — заверещал Митька сзади.

— Пригибайся!

Мерген ударил лошадиные бока, сжал коленями. Ветер для начала немного загустел, и тени начали мелькать в глазах, будто норовя перегнать друг друга. Он не чувствовал себя скачущим на лошади. Какое-то странное отрешение — словно глаза летели чуть выше темени, внимательно присматриваясь к тому, как подпрыгивает в седле еще совсем недавно родное тело, — мешало сосредоточиться на движении. Он пригнул голову низко, даже ниже, чем это требовалось, сполз с седла набок. Ему стало страшно. Ветви, толстые, железные ветви проносились над головой, мельтеша тенями. Солнце только промелькивало сквозь них, но казалось еще более ярким, чем раньше. Володя далеко перегнал его. Копыта гремели по камню, воздух свистел, все кругом звенело и трепетало; Володи не было слышно, он уже унесся далеко вперед. Сзади стучали копыта Митькиного Орлика. Солнце давило на глаза. Они летели по джангалу, все сливалось в серое мелькание. «А что впереди?» — подумал он вдруг. Холод страха и восторга — но больше страха — захлестнул грудь. Солнце все пучилось и пучилось над головой. Что же там, что? — стучало в голове, требуя немедленного ответа. И он пришел сам собой, дикий и одновременно очень понятный, единственно возможный, пришел вместе с волной леденящего ужаса, мгновенно остановившего сердце.

Сердце остановилось, но он не заметил этого. Митька! Володя! Володя далеко впереди, его не догнать. Но Митька! Он начал поворачиваться в седле, одновременно приподнимаясь на стременах, чтобы кинуть назад: стой! стой! ты не знаешь, а ведь там!.. Но в этот момент солнце, продолжавшее воспаляться и пухнуть, лопнуло и полилось с неба жидким расплавом; и одновременно он почувствовал облегчение, мгновенно успокоившись и начиная подниматься ему навстречу. Чего он испугался! Какая ерунда! Солнце, вот и все! Солнце — и ничего больше!

Он воспарял, забыв обо всем, что окружало его минуту, две минуты назад; кувыркаясь и потому различая только стремительное чередование синих и золотых полос, он поднимался все выше и выше. Собственно говоря, представление о том, что выше, что ниже, было потеряно; оставалась лишь крупница сознания, не залитая солнцем и движением вверх, к солнцу; и вдруг она начала расширяться, и прежняя путаница представлений, слов, чувств, желаний стала заполнять его, мучительно содрогаясь, клочоча и обжигая мозг, живший в нем сейчас картиной давнопрошедшего...

...Их вытолкали на самую середину вытоптанного, заплеванного пространства, почему-то называвшегося газоном.

— Ну-ка, ты, как тебя зовут-то?.. во-во, дай-ка ему как следует!

— Не спеши, не спеши! По сигналу!

— Да он же его уделает!.. Увидишь!

Косой тупо смотрел на него, переступая ногами, и только в самой глубине глаз маячило удивление. Мерген знал, куда нужно будет ударить, — прямо в нос, чтобы залился кровянойкой. Тогда уже все, дело сделано. Косому только кровь пустить — и готово... Им дали по почти полному стакану портвейна, и теперь он расшатывал их незрелые тела, словно буря.

Прямо в нос — и готово. Он шагнул вперед, и тут же Косой с размаху

залепил по уху. Мерген сунул кулаком куда-то вперед, промахнулся. Мужики загоготали. Гогот долетал к ним, под колпак необъяснимой ненависти, которой оба они клокотали, словно издавека, из-за стекла.

— Н-на!

После второго удара у него немного прояснилось в голове. Газон покачивался, сверкали пивные пробки. Косой, сука!

Он с удивлением почувствовал еще один удар, скользнувший по шее, и еще один — в грудь. Тяжело дыша и часто переступая непослушными ногами, Косой пер вперед, молотя кулаками воздух. Мерген увернулся, едва не упав — хмель толкал его то в бок, то в спину, — и когда Косой снова двинулся на него, ударил ногой почти наугад, только чтобы отмахнуться. Косой согнулся, замычал, прижал ладони к паху. И тогда он сделал так, как учил Бисер: шагнул и с размаху заехал подъемом ступни по физиономии как по футбольному мячу...

Грех было жаловаться, конечно. И так все складывалось более чем удачно. Мызин отпустил — это раз. Мог бы ведь и не пустить, как не пустил неделю назад с Володей. Во-вторых... Митька не знал, что во-вторых. Но и во-вторых, и в-третьих, и в-десятих все было прекрасно. Он поерзал в седле. Нет, грех жаловаться, что уж... Только почему его никогда не пускают первым? Нет, конечно, сам он не будет об этом даже заикаться. Мерген все равно первым его не пустит, посмотрит так незначительно, словно и вопроса-то не слышал, и отвернется. А Володя, может, и пустил бы, да его просить неловко — известно, что он отказываться не любит или просто не может, а сам будет переживать. Но вот если бы каким-нибудь чудом Митька когда-нибудь оказался впереди — о, он бы так понесся по джангалу, что чертям бы тошно стало! Орлик бы только не подкачал...

Митька протянул руку и похлопал Орлика по шее.

— Пригибайся, пригибайся как следует! — крикнул Володя, повернувшись.

Он тронул лошадь, низко пригнувшись к луке, и они вместе нырнули в темный зев тропы, похожей на туннель. Вот и Мерген послал своего Рябого — тоже наклонился низко-низко, припал к лошадиной шее.

Ого-го-го!.. — дико завопил Митька, колотя пятками Орликовы бока.

Орлик мотнул головой, но почти сразу двинулся, будто понимая — тут не просто скачки, а ритуал и нарушать его нельзя.

— Ого-го-го!..

Митьке так низко пригибаться не нужно: он ростом не вышел, что в данном случае благо. Но все равно хочется пригнуться, вжаться, сравняться с седлом, потому что над головой свистит и мелькает, и кажется, что свистит и мелькает буквально в миллиметре от макушки; да еще и копыта гремят так, словно не в кустарнике лежит тропа, а между голых стен, и эхо подхватывает каждый удар... Мелькание, ветер, жар Орликова тела, влажность лошадиного пота там, где ладонь касается шеи...

— Уй-уй-йу-йу-уу!..

Эх, Орлик, Орлик! Вот всегда все ускачут черт знает куда, а Митька все гремит в джангале! Ну, давай же, давай!

И вдруг, вылетев за поворот, после которого лежал прямой кусок тропы метров в тридцать или сорок, Митька с изумлением увидел спину Мергена!

Догнали!

— А-а-а! То-то! Ну! Ну! Еще, еще!

Мерген так низко пригнулся к шее лошади, что спина его была совсем горизонтальной. Митька еще разочек, и еще пнул Орликовы бока. Он не спускал глаз с Мергена. Ему показалось, что Мерген даже немного скосился в седле, сполз набок, чтобы быть ниже. Теперь спина перестала быть ровной: завалилась вперед. И голова совсем низко опущена. Так ведь даже смотреть нельзя! Может, он и не смотрит?

— Да он же боится! — подумал Митька. — Он боится! Он так боится, что даже не способен поднять голову! Он сполз с седла! Он боится! Боится! Он, Мерген, боится больше Митьки!..

Мерген стал распрямляться. Сначала он поднял голову; затем плечи. Он распрямлялся в седле прямо навстречу новым тугим ветвям. Митька не понял, что произошло. Мерген выпрямился в седле, повернув голову назад, к Митьке. Лицо его было странно искажено. Он крикнул — а! Это не было слово или имя, вопль боли или отчаяния. Это был просто крик — резкий, недолгий, хриплый, душераздирающий. Сразу после этого Рябой влетел под сплетение ветвей; Мерген, словно сломавшись в поясе, завалился назад; Митька стал натягивать повод; Рябой несясь дальше; Митька заметил, как разлетелись в стороны стремена; Мерген кульком повалился назад и вправо, круша куст...

Орлик остановился, и Митька кубарем скатился с седла.

Сначала ему показалось, что Мерген напоролся на какой-то сук, который проткнул его насквозь, и теперь он, словно бабочка на иголке, содрогаясь всем телом, умирает на нем, одновременно пытаясь сползти. Митька замер.

— Мерген! — крикнул Митька, делая шаг вперед. — Мерген!

Мерген мерно бился всем телом, по-кошачьи выгибая спину и дергая ногами. Вот он перекатился набок, еще перекатился... Нет, он был цел — сук не торчал в спине и крови не было.

— Мерген! — закричал Митька, не слыша себя, дрожащим тонким голосом.

Тот снова перекатился и захрипел.

Митьке нужно было подойти к нему, но он стоял как вкопанный. Мерген сейчас не был похож на себя самого, на того Мергена, которого Митька видел десять минут назад. Он вообще был мало похож на человека: он извивался как червяк, бил ногами словно тот баран, которого неделю назад сам же Мерген и резал — баран закатил глаза, а потом как-то так сонно потянулся всем телом, словно спросонья, и стал биться, и Митька, кое-как осиливший вид звеневшей из него крови, этого уже не выдержал — убежал за палатку; и хрипел Мерген не человеческим голосом, и на губах у него появились хлопья вспененной слюны...

Он почувствовал, что его трясет, как с мороза.

— Володя! Володя!!! — хотел закричать Митька, но получилось только сдавленное: — В-ва... в-ва!..

Он попятился, запнувшись о камень и едва не сев на землю.

В то же мгновение он уже опрометью бежал по тропе назад, не тратя времени даже на то, чтобы взять Орлика в повод или вскочить на него; несясь под сплетением ветвей, в раззолоченном сумраке, спотыкаясь о корни, о камни, цепляя лапами рубахи торчащие со всех сторон ветки, а там, где тропа поворачивала, натываясь на них лицом, летел слепо, гонимый ужасом, оглушающе дыша и слыша между тем, что, несмотря на гул дыхания и топот ног по тропе, кругом разливается полная, абсолютная тишина; нет, не тишина, разумеется, а прежний сонм звуков, кажущийся покойной тишиной. — прежний, без этого хрипа и ритмического шороха бьющегося на камнях тела; Орлик бы, конечно, сам пришел, Орлик умный...

Во всем этом была какая-то жуткая необратимость — он убежал, и все; назад ему вернуться нельзя; и нельзя много чего другого. Митька не знал точно — чего именно, однако, вообразив себя бегущим, почувствовал, что эта пробежка перепуганного мальчика превращает его в мальчика навсегда — по крайней мере, для тех людей, которые так или иначе будут осведомлены, при каких обстоятельствах это случилось, — для Мызина, для Володи, для Васильича. Даже для Клавдии Петровны.

Все это мелькнуло в голове — мелькнуло и пропало — в ту долю секунды, когда он, попятившись, запнулся о камень и едва не сел на землю, взмахнув руками, чтобы удержаться. Он удержался и, не заметив, как сделал те два или три шага, что их разделяли, опустил на колени.

— Мерген! Мергенчик! Не умирай, пожалуйста! Мергенчик, не умирай!..

Страх, жалость и долг, взявшись намертво и норовя осилить друг друга, учинили в душе такое, что Митька даже не заметил, как по щекам побежали слезы. Не слыша собственных всхлипов, не слыша ничего кругом и только повторяя свое заклинание: «Мергенчик, родной, не умирай!», он все пытался удержать его руки и два или три раза, улучив момент, трясясь от плача,

вытирал ему полой рубашки обильно покрытый пеной рот, когда услышал спастительное, чудное, пронзившее его острым счастьем:

— Да крепче же, крепче держи. мать его!..

Володя выскочил откуда-то из-за спины, таща нож из ножен, и Митька немного оторопел, когда он, блеснув молочным лезвием, навалился вдруг на Мергена так, словно должен был зарезать: сопя и усиливаясь, скребя землю мысками сапог, он делал что-то с лицом Мергена (что именно, Митька не видел), а когда отстранился, швырнув нож наземь, оказалось, что Мерген сжимает зубами обломок ветки и из открытого рта слюна бежит еще пуще...

— Падучая, что ли... — натужно выговорил Володя, навалившись ему на ноги. — Черт, не хватало!..

Судороги затихали: сначала затихли ноги, потом и руки поослабли. Митька отпустил их — они снова ожили, но уже не судорожно, а так, как живут руки человека, произносящего жаркую, исполненную страстью речь.

Володя встал, вытаскивая сигареты.

— Вытри его, Митя...

Митька еще раз потянулся полой ко рту, чтобы смахнуть пену. Мерген открыл глаза.

— Вытрись, Мерген... — сказал Митька, думая, что тот пришел в себя.

Но Мерген ничего не видел. Глаза его перебегали с предмета на предмет — это были не те предметы, что мог сейчас разглядеть Митька: не кусты, не камни, не лошади, не облака, не солнце, колющие спицами сквозь переплетение ветвей. Он бормотал что-то, обращаясь не к ним — не к Володе, не к Митьке, а к каким-то иным людям, плотно окружавшим его в этом временном безумии. Он говорил бурно, неразборчиво — Митька не понял ни одного слова, — лицо его играло, словно все возможности мимики, прежде им скрываемые, должны были проявиться именно сейчас за две-три минуты: он часто повторял что-то, какую-то одну и ту же фразу и вот наконец, понемногу перекочевывая сюда, в мир кустов, камней, облаков и лошадей, вдруг отчетливо выкрикнул:

— Ну, нельзя же, нельзя же так с людьми, нельзя!..

И сразу после этого уставился мутными глазами на Митьку, помолчал, стал приподниматься, чтобы сесть, сел, точнее — полусел, привалившись спиной к бугру, и спросил неожиданно хмуро:

— Что? Что вы? А?..

— Ничего, — сказал Володя, пожав плечами. — Покурить сели.

Володя курил, дым не торопился рассеиваться, застревая в ловушках листьев и веток. Он что-то спрашивал, а Мерген нехотя отвечал. Говорил медленно, словно занятие это было ему в новинку. Казалось, он выдавливает слова из себя, где они лежали как в тюбике и появляться могли только по одному, строго друг за другом.

Митька не прислушивался к их разговору. Он не знал, к чему относились слова Мергена. И никто бы уже не мог узнать этого, потому что даже сам Мерген навсегда забыл все то, что еще недавно так отчетливо видел; и очень удивился бы, если б ему сказали, что он произнес такую-то фразу. Митька этого не знал, поэтому отнес слова на свой счет, вспомнив пастуха, насупил, исподлобья рассматривая листья, камни, обломки веток на тропе... Он чувствовал смутную вину, но не стал бы в ней признаваться. Конечно, и за водой можно было сходить, и вообще... Он и раньше знал, что здесь, в горах, своя жизнь, свои представления обо всем; он и раньше знал, что следует стараться принимать эти представления такими, какие они есть, подстраиваться под них... Он взглянул на Мергена — тот уже порозовел немного.

Митька поднялся, побрел по тропе вперед. Нашел обломок кремешка, потерял штаны. Наткнулся на песчаную полянку. Стал присматриваться и скоро нашел то, что искал — несколько вороночек одна возле другой. Они были небольшими, глубиной от силы в спичку. Митька походил вокруг них, шаря глазами по песку, натываясь на какие-то черненькие пятнышки, но все это было не то, не то... И вот увидел наконец большого жилистого муравья,

длинного, стремительного. Митька хлопнул его ладонью, поймал, и осторожно взяв пальцами, бросил в воронку. Лев (там жил муравьиный лев) бесновался в своем укрытии, стреляя песчинками вверх, чтобы вернее завалить добычу к себе, цапнуть за ногу челюстями и утянуть в песок, как в воду. Однако Митькин муравей был из боевых, да и вообще слишком крупен: спервоначалу растерявшись, он затем единым махом вылетел из воронки и почесал пунктиром наутск. Митька снова его схватил, бормоча что-то увещсваяще, сунул в ловушку... Так было три или четыре раза, и всякий раз перед тем, как снова бросить муравья льву, Митька говорил негромко, сжимая его пальцами:

— Ну, все, ладно... Вот последний раз — и все... Убежишь — не буду больше ловить.

Но рука сама тянулась к нему, черному, злему, жилистому, ускользнувшему от смерти. Потянулась и на этот раз, но остановилась в воздухе, замерла, потому что Митька услышал:

— Эй, Митя! Где ты там! Поехали!..

Они уже сидели в седлах. Орлика Володя держал в поводу.

Вот ведь сто раз он уже решал про себя — не будет торопиться! И Володя все время говорит, не торопись! И Мызин толкует то же, а у него от спешки даже руки начинают подрагивать!

Митька перехватывает повод, делает два шага и сует ногу в стремя... Земля уходит вниз, а он — не по правилам, забыв и на этот раз все, чему учили, — оказывается вдруг в седле, слыша только, как снова стучит и колотится торопливое сердце.

Горенье душ, веселье тел и хмель влюбленных...

**С украинского.
Перевод
и вступительное слово
Е. Витковского**



Он родился пятого октября 1909 года. Умер шестого июля 1937-го на двадцать восьмом году жизни во Львове — всю жизнь он прожил в Польше. Он успел поддержать в руках три книги своих стихотворений — «Приветствие жизни» (1931), «Три перстня» (1934), «Книга Льва» (1936), посмертно в 1938 году вышли еще два сборника — «Зеленое Евангелие» и «Ротации». Еще один сборник — «Великая гармония» (1932), посвященный религиозной теме, увидел свет лишь в американском издании собрания сочинений Антонича в 1967 году.

Его предки, называвшие себя «лемки», говорили на особом диалекте, в котором ударение в большинстве слов подобно польскому падает на предпоследний слог. Переводчику приходится немало покорпеть, прежде чем удастся воспроизвести эти формы на любом другом языке, а на русском особенно. Сходство славянских языков все же слишком велико, чтобы позволить себе попросту переписывать схожие слова, а потом дописывать к ним что в голову придет. Да и неточная рифмовка, освященная в украинской поэзии традицией Шевченко, дается по-русски не так уж просто.

Антонич умер примерно в том же возрасте, что Шелли, Ботев, Маха, Есенин, Лермонтов. Однако наследие его достаточно значительно даже

количественно — в 1989 году в украинской «Библиотеке поэта» вышел весомый, более чем четырехсотстраничный том его стихов, и отрадно сознавать, что он составлен полней и аккуратней, чем подобные издания Антонича, предпринимаемые на Западе. Увы, переводов на русский язык по сей день почти нет. В годы застоя единственное украинское издание «Избранного» (1967) старались по возможности замалчивать. Поэт-пантеист из города Львова никак не укладывался в концепции «реализма»... Словом, был не ко двору.

...В августе 1972 года, когда Москва задыхалась от дыма горящих лесов и торфяников Шатуры, я поехал во Львов. С немалым трудом, обойдя несколько кладбищ, с помощью некоей едва говорившей по-украински старушки, нашел могилу Антонича. Простой железный крест, крашеный, кажется, голубой краской. Надпись на нем была лапидарной: «Богдан-Игорь Антонич. 1909—III 1937. Поэт». Могила оказалась на редкость ухоженной: далеко не у каждой из «новых» могил лежали цветы — у могилы Антонича они лежали. Оставил и я принесенный букет и отправился (бесплодное по тем временам занятие!) пытаться переводить Антонича. Даже и тридцати лет не понадобилось — по формуле Галича, — всего только двадцать, чтобы переводы дошли до читателя.

Пралето

1

Уходим в океан сосновый.
В напев смолы, напев коры.
Вверху — небесные покровы,
Вверху — ветвистые шатры.
И отдает душистой влагой
Дыханье маслянистых пней.

И слышишь, как под каждым шагом
Трава сильней растет, пышней.

И больше ни о чем не думать —
Одеться мхом, уйти во сны.
В густой доледниковый сумрак,
В глубь допотопной глубины.

Пускай, как в соснах, в жилах
наших
Густая закипит смола.
И синь, и зелень полной чашей
Вольются в бранные тела.

2

И шелестит хоругвь лесная:
Врастем, как сосны, в пласт
 земной,
И кровь зеленая, хмельная,
По жилам потечет волной.

Вот — ноги стали корневищем,
Листвой ладони обросли.
Нектар тяжелый жадно ищут
В зрочках мохнатые шмели.

И вот — не кровь, густое масло
Переполняет семена,
И зреет гроздью темно-красной
Мечта, от сладости хмельна.

Кустом багряным у дороги
Растешь, в лесной глуши забыт.
Где лишь олень тяжелорогий
За ланью трепетной бежит.

Площадь Ангелов

Здесь тенор мраморный грустит на пьедестале.
Он двести лет поет столетьям золотым.
Вот наступила ночь — и прялки прясть устали,
И к мастерским пополз белесоватый дым.

Вот девушки домой расходятся поспешно.
К ним в сладострастных снах приходят тенора,
Ласкают жадно их, и напевают нежно,
И рыжие коты к ним жмутся до утра.

Из арсенала лев выходит пробужденный,
Хозяин города. Он шествует во тьму,
Герои спят, зато царит разгул в притонах.
И о свободе дождь доносит весть в тюрьму.

На площади, где мрак лежит багровым морем.
Где медных Ангелов едва шуршат крыла,
Пером гусиным пишет бронзовый историк
О жизни той, что здесь мелькнула и прошла.

Экстатические восемь строф

В широких желобах шумит льняное семя.
Клокочет жирный, теплый запах в маслостойках.
Горит в корявых липах бешенством весенним
Душа, что зелена, дерзка и беспокойна.

Не поддается гнили клен, где дятел мечет
Фонтан зеленых искр. В побагровевшем небе

Монетою звезды нещедро платит вечер
Дню отходящему за солнца рыжий гребень.

Закат багровой сажей покрывает липы,
Сквозь решето ветвей забвенье сонно льется. —
И струны листьев умолкают с резким всхлипом,
Когда, сметая тишь, их ветер чуть коснется.

И девушка в истоме пахнет льном горячим,
Перед любовником распахивая тело —
Чем не цветок? — А солнце от восторга плачет,
Гремя в литавры туч восторженно и смело.

Грохочущего гимна ширится стремнина,
Как жмых над маслом, тишь всплывет и сгинет скоро —
И струи бьют внезапно и неудержимо
И в корни тел, и в жилы лип, и в чашу бора.

Смотрите: это буря красок непокорных.
Растенья молятся, вскипает вихрь тяжелый.
Подземные ветра деревьям дуют в корни,
И липа, словно флейта, исполняет соло.

Вот — дымари земли, вот деревья в зеленом,
Лиловом, золотистом и багровом дыме —
Живой метелью солнце одевает кроны,
И, словно птица, низко прячется за ними.

И солнце, и закат, и свет, и воздух знойный,
Мечтательные липы, голубые кроны —
Я прославляю труд в горячих маслобойнях,
Горенье душ, веселье тел и хмель влюбленных.

Песнь о вечности материи

Забредший в бурелом, в неведомую пушу.
Одетый песнями, накрытый небесами,
Лежу, как мудрый лис, в разрыв-траве цветущей,
Твердею, холодею, превращаюсь в камень.

Комет, минут, листвы неугомонный шепот.
Растительным потокам в древних руслах тесно.
Меня раздавит солнце и зальют потопы,
И станет углем тело, станет пеплом песня.

Тысячелетья проползут лавиной горной,
И пальмы зашумят листвою вечнозеленой
Над углем наших тел, что вспыхнет маком черным,
И в сердце мне кайло ударит с тяжким звоном.

Руно

Поедем за руном незнаемой дорогой.
С ладоней ветра две звезды на землю пали —
Как два подарка, нам завещанные. Трогай! —
Семь верст любви, а там — еще верста печали.

Вихрь образов: да, мы в поэзию вступили.
Тяжелый узел солнца в небе мутно-синем.
Поклон тебе, владычица дорожной пыли,
Эпическая муза, стройная богиня!

Два снежных рысака. Любви провал бездонный.
Воздушный шарик — жизнь — ты так легко схватила.
Вот пятая верста, пора поникнуть сонно
На свежем лопухе рассветного светила.

Трясина сна взбурлит, всосет, в себе погубит
Лилею светлой песни, — все прервется круто.
Последняя верста — печаль. Пылают губы
Хмельнее, чем звезда, мгновенней, чем минута.

Баллада о голубой смерти

Ущелья черных улиц. Призрачные стены.
Ступени мокрые. Перил корявых сучья.
Печаль немых ворот. Пустой провал вселенной.
И запах плесени, тяжелый и тягучий.

Записка — смятый и засаленный обрывок:
«Никто не виноват» — и коротко, и просто.
Средь мошкары луна идет неторопливо
Ступая мягко, словно кот, по крышам острым.

Из медных жил потоки синевы струятся —
О, голубая кровь! В оцепенении сгорбась,
Притих громоздкий шкаф, боясь галлюцинаций, —
Ты слышишь, как за ним звучат кларнеты скорби?

Горит голубизна, как вдохновенный разум.
В безумии два сердца под корой сознанья
Колеблются.

И роза голубого газа
Вонзается в истрепанный ковер молчанья.

Над лодкою любовной скуки, над кроватью,
Свисает куцый хвост вертлявой лунной мыши.
Два тела в корчах тесно сплетены объятьем,
Последним наслаждением и болью дышат.

Склонившийся над ними синий ангел газа
Их голубым огнем венчает, словно миртом —
И души догорают в пламени экстаза,
И догорят, как две последних капли спирта.

Золотоморье

С кустов малины — ливень ягод. Рвутся струны света
И пчел рой. Приехали послы Золотоморья.
Вихрь мошкары. Сплетенье рук — созвучие квартета.
В багряном ливне ягод — белый конь. Вот — в разговоре

Послы о звездах говорят. Кто знает их наречье?
Когда-то мама про Золотоморье напевала,

Морское царство, где ночами солнце спит далече.
Колеса о семи звездах — отъехал день усталый.

Тяжелый воз. Поет струна ладони — тише, глуше.
Пожары ягод на кустах неслышно догорают.
Невольно засыпаешь, словно в колыбель вернувшись.
Под сенью крон — перина мха. Тепла постель лесная.

В устах зари — свирель. Священный дуб. Оленьи клики.
И ночь венчает лица страстью. На горячей шерсти
Июльской ночи — ты лежишь: тепла, верна. Великий
Круг жизни завершен. Одна любовь сильнее смерти.

Аркадий Львов

Двор

Р О М А Н



Поздно вечером после работы Иона Овсеич пригласил к себе дворничку Лебедеву, велел зайти к Малой и забрать ключи от квартиры покойного Граника. Дворничка сказала, лучше позвать старуху сюда, но в ответ Иона Овсеич снова повторил:

— Зайди к Малой и забери ключи.

Минут через десять Лебедева вернулась без ключей, покрутила пальцем возле головы и заявила, что старуха совсем с ума сошла. Иона Овсеич выслушал, правый глаз сощурился, левый сделался круглый и неподвижный, как будто стеклянный протез.

Утром Клава Ивановна занесла в дворницкую ключи, Лебедева наотрез отказалась брать, пусть теперь сами побегают к товарищу Дегтярю, старуха цыкнула на нее, сказала, что в два счета можно выселить, и засунула связку ей в карман. Дворничка тут же выхватила, швырнула ключи наземь и закричала дурным голосом, что каждый строит из себя здесь пана, а люди должны терпеть и молчать. Клава Ивановна демонстративно закрыла уши, зашла в свое парадное, дворничка еще немного покипятилась, два раза вслух послала по матери свою жизнь, вдруг засмеялась и запела, картавя на «р»: «а ну-ка, девочки, а ну, красавицы!»

В тот же день пришел техник из домоуправления, с ним какой-то посторонний, по наружности и походке из села или района, сорвали бумагу с гербовой печатью, отперли двери, техник недолго покрутился, человек остался один, вынул из кармана молоток, буравчик, прибил снаружи два кольца, набросил замок и, перед тем как уйти, три раза крепко подергал.

Вечером, после работы, проходя мимо Граника, Катерина первым делом увидела замок — тяжелый, как будто заперли амбар или сарай с колхозным добром. Дети еще не вернулись из садика, Зиновий, как всегда, досиживал до полночи у себя в цехе, Катерина стала метаться по квартире, надо было что-то предпринять, немедленно известить товарища Дегтяря. А тут еще через минуту влетела как угорелая свекровь и завопила:

— Катерина, ты видела, что они сделали!

Катерина не ответила, выскочила без пальто на мороз, поднялась на третий этаж к товарищу Дегтярю, хотя понимала, что это полная бессмыслица — застать его дома в такое время.

Вернувшись, Катерина застала у себя Тосю, которая точь-в-точь повторила дурацкие слова свекрови:

— Ты видела, что они сделали!

— Не видела! — замотала головой Катерина и вдруг набросилась на эту несчастную Тосю, обругала ее последними словами, а та сидела и молча, без единого звука все выслушивала.

Бабушка Оля несколько раз пыталась пристыдить: «Катерина, Катерина, при чем здесь Тося!» — но невестка, пока полностью не выговорила, так и не смогла остановиться.

До одиннадцати вечера Катерина еще трижды наведывалась к Ионе Овсеичу, звонила, не переставая, как на пожар.

На другой день она несколько раз пыталась связаться по телефону, но результат был тот же.

На третий день удалось наконец застать Иону Овсеича дома, Катерина по-прежнему вся клокотала, однако не успели начать разговор, как явилась новая тройца: майор Бирюк, Ляля и Тося. Хозяин принял гостей радушно, извинился, что не успел приготовить угощение, и тут же высказал догадку: видимо, все по одному вопросу — насчет комнаты Граника.

Майор Бирюк удивился: Дегтярь — ты настоящий Вольф Мессинг! — хозяин не возражал и, в свою очередь, тоже обратился к гостям с шуткой: будем выбирать рабочий президиум или пустим на самотек?

Ляля и Тося промолчали, а Катерина грубо ответила: кому охота скалить зубы, пусть скалит, а ей не до шуток. Товарищ Дегтярь нахмурился, хотел, видимо, одернуть, но Катерина опередила, сломя голову первая бросилась в огонь.

— Как не стыдно обманывать!

Гости немного растерялись, по лицам было видно, что чувствуют неловкость, особенно Андрей Петрович, один товарищ Дегтярь держался по-прежнему и спокойно спросил:

— Обманывать? Кого обманывать?

— Меня обманывать, — еще громче закричала Катерина, — их обманывать, всех на свете обманывать?

— Катерина Чеперуха, — немного повысил голос товарищ Дегтярь, — я могу тебя выгнать, я могу вызвать милицию, и они втроем будут свидетелями, но я хочу показать тебе публично, при людях, что ты нахально лжешь!

— Я лгу? — Катерина прижала руки к груди. — Я лгу?

— Да, — повторил Иона Овсеич, — ты лжешь, и я требую, чтобы сейчас, в присутствии этих людей, среди которых один офицер Красной Армии, Герой Советского Союза, ты напомнила, что говорила насчет квартиры покойного Граника Катерина Чеперуха и что говорил Дегтярь.

Катерина смотрела во все глаза, как будто не узнает и пытается вспомнить, два или три раза глотнула слюну, на лице выступала гримаса боли, и наконец ответила: Дегтярь сказал, что пойдет в Сталинский райисполком.

— Дальше, — подстегнул Иона Овсеич.

— Я спросила: вы обещаете?

— Дальше.

— И сказала: я верю.

— Что ответил на это Дегтярь?

Катерина задумалась, прикусила мизинец зубами, опять выступила гримаса боли, но вдруг лицо просветлело.

— Вспомнила! А своему свекру, сказали вы, укороти немного язычок, а то теряет иногда меру.

— Ты не хитри, — рассердился Иона Овсеич, — и отвечай по существу, а то у тебя получается: в огороде бузина — в Киеве дядька!

— Это вы хитрите! — чуть не заплакала Катерина. — Я сказала «верю», и вы мне ответили: а своему свекру...

— Хватит, — перебил Иона Овсеич. — А теперь я спрошу: кто подъезжал к Дегтярю со всех сторон, называл родным отцом и заступником, кто бил себя кулаком в грудь? Не могу представить себе, чтобы мир остался без товарища Дегтяря, такие люди должны жить по сто лет!

Катерина сидела бледная, как полотно, каждому было ясно, что Иона Овсеич не прибавил ни одного слова.

— Фу! — воскликнул Иона Овсеич. — Какой срам: опуститься до такой степени, чтобы полностью забыть собственное «я» и кадить обыкновенному человеку, своему соседу, словно какой-то бог Саваоф!

— На небеси, — прошептала Ляля.

Некоторое время сидели молча, у Катерины все мысли вылетели из головы, осталась одна-единственная: надо было взять топор, снести перегородку, забить дверь, которую Ефим переделал из окна, и пусть бы теперь побегали за ней.

Товарищ Дегтярь воскликнул:

— Вот, вот о чем жалеет Катерина Чеперуха: она могла цапнуть у государства и так постыдно прозвала!

Андрей Петрович заступился, сказал, наоборот, она переживает, что все так получилось, но Катерина сама опровергала: нет, она дура, набитая дура, которая понадеялась и поверила, что кто-то сделает за нее. Но это ей хороший урок.

— Правильно, — подхватил Иона Овсеич, — а каменщик Федор Пушкарь, у которого жена и двое детей, пусть до скончания века сидит в общежитии среди ремесленников из семилетки, зато Чеперуха имела бы свой танцкласс.

— Действительно, — усмехнулась Ляля, накрашенные губы вытянулись в полоску, — даже дико слышать.

— А эти, — Иона Овсеич указал пальцем на Орлову и Тосю Хомицкую, — якобы заботятся о сиротке, которая сегодня живет в прекрасных условиях, дай Бог каждому, норовили обеспечить ее на десять лет вперед самостоятельной квартирой: неважно, что рядом люди живут в подвалах, неважно.

Ляля с трудом дослушала до конца, сложила руки лодочкой и сделала виноватую мину, как напроказившая школьница: если бы она знала, что к Гранику хотят поселить целую семью, у нее бы даже язык не повернулся идти наперекор!

Катерина сидела как в столбняке.

Андрей Петрович слегка похлопал по плечу, она вздрогнула, осмотрела каждого по очереди, вроде вокруг одни незнакомцы, с трудом поднялась, сказала до свиданья, голос осип, и вышла.

Вслед за ней поднялась Тося, направилась к выходу, Иона Овсеич пытался остановить, Ляля схватила за руку, но напрасно: гостья вырвалась и на прощанье хлопнула дверью.

Первые минуты сидели молча, майор Бирюк заметно маялся, как будто хотел переговорить с хозяином, но без свидетелей, Иона Овсеич дал Орловой задание на завтра — зайти к новому соседу, посмотреть, как устроился, — и проводил до дверей. Ляля уходила неохотно, задержалась у порога, товарищ Дегтярь вдогонку пошутил: если ей так интересно, можно постоять за дверью и подслушать в замочную скважину.

Когда остались наедине, майор Бирюк положил руки на стол, пальцы сохранили крепкий загар, и сказал:

— Дегтярь, я не хотел вмешиваться, но мне все это не нравится.

Хозяин помолчал, вроде колебался, отвечать или не отвечать, и спросил:

— Что именно тебе не нравится?

— Все не нравится, — сказал майор, — и как ты с ними разговариваешь, и как они с тобой разговаривают, а главное: если ты наперед знал, что исполком заберет комнату, зачем было зря обещать?

— Обещать? — переспросил Иона Овсеич. — Но ты же слышал своими ушами, что я ничего никому не обещал, а они сами истолковали мои слова так, как им хотелось.

— Значит, — стоял на своем майор, — твои слова давали повод надеяться, а надо было прямо сказать: нет.

Иона Овсеич встал из-за стола, прошел к окну, светила луна, на крыше противоположного дома серебрился снег, из трубы, как в сказках Андерсена, вился синий дымок, секунду-другую смотрел, невольно любясь, чуть-чуть вздохнул и сказал:

— Когда больной приходит к доктору, можно просто выслушать, прописать лекарство, и зай гезунд. Но настоящий врач прощупает, потискает, нажмет своими пальцами там, где пациенту кажется, что он совершенно здоров. И вдруг в ответ раздается: ой, болит! Это медицинская диагностика. Когда люди приходят к Дегтярю, он тоже мог бы просто сказать: да, нет. Но Дегтярь хочет

сначала нажать, прощупать, пропальпировать человека. И тогда человек сам увидит, что в действительности он не так здоров, как ему казалось. Это тоже диагностика, идеологическая диагностика, и посложнее медицинской: здесь и болезни опаснее, и лечить труднее.

Майор Бирюк внимательно смотрел своими зелеными глазами, внутри разгорался огонек. Иона Овсеич вернулся к столу, заложил руку под пиджак, растер грудь слева и укоризненно покачал головой: где бы найти такого доктора, чтобы мог вставить новый мотор!

— Овсеич, — сказал майор Бирюк, — тебе пора отдохнуть. Хозяин махнул рукой: какой отдых!

— Овсеич, — повторил майор, — тебе пора отдохнуть: не ради себя — ради других.

Товарищ Дегтярь поднял голову, прищурил правый глаз, на висках вздулись синие вены.

— Ради других, — продолжал майор, — чтобы люди могли спокойно вздохнуть и не гадать, где еще может нажать Дегтярь, чтобы спровоцировать боль и поставить диагноз.

— Майор Бирюк, — Иона Овсеич сдерживался, но руки и губы не слушались, — майор Бирюк, думай, что говоришь.

— Я солдат, — Андрей Петрович постучал пальцем по столу, — и говорю с тобой по-солдатски, а эти окрики оставь для своих баб и своего двора.

— У меня нет своих баб и нет своего двора, — сказал Иона Овсеич, — и повторяю: мне не нравится твой тон.

— Слушай, — майор Бирюк поднялся из-за стола, — слушай и мотай на усты меня в прошлый раз обманул, как этих баб, я мог бы разделать тебя под орех...

— Уходи, — Иона Овсеич вскочил, стал напротив, теперь хорошо было видно, что он почти на целую голову ниже гостя. — уходи, и продолжим наш разговор в другом месте!

— Ах ты... — майор произнес нецензурные слова. — а я думал, мужик как мужик!

Иона Овсеич подошел к телефону, поднял трубку, набрал ноль два, номер милиции, Андрей Петрович громко засмеялся, как будто ему в самом деле весело, вырвал у хозяина из рук трубку, положил на место и пожелал спокойной ночи.

Часов в пять Иона Овсеич проснулся от сильной боли под ложечкой, отдавало в поясницу и позвоночник, поташнивало, волной откуда-то из живота подкатывал страх, держался минуту-другую в горле, затем отступал, но чувствовалось, что вернется опять, и действительно возвращался, Иона Овсеич взял кусочек сахара, накапал валидола, положил под язык.

Минут через десять дыхание стало свободнее, Иона Овсеич почувствовал, что клонит ко сну, и почти заснул, но вдруг вспомнился вчерашний разговор с Андреем Петровичем, внезапный толчок изнутри достал до самого горла, и сонливость как рукой сняло. Опять усилилась боль, причем в этот раз захватила все плечо до самого локтя. Иона Овсеич взял под язык еще кусочек сахара с валидолом, повернулся спиной к окну и наказал себе ни о чем не думать. Вначале получалось неплохо, перед глазами темнела оконная рама, стекла в нижней половине слегка прихватил мороз, но незаметно, сама собой выделялась вертикальная стойка, сверху — поперечная перекладина, чуть-чуть скошенная, и получился крупный, как будто из железа, крест. Иона Овсеич отвел взгляд направо, но здесь, во втором окне, торчал точно такой же крест.

Иона Овсеич закрыл глаза, вроде бы немного отпустило, но тут ударила в голову новая глупость: закрытые глаза напомнили покойника. Захотелось повернуться, чтобы стряхнуть с себя всю эту чертовщину, Иона Овсеич мысленно начал уже поворачиваться, однако представил себе, как лежит весь выпрямленный — ноги вытянуты, руки вытянуты, настоящий покойник, — и внутри так рвануло, так ударило, так завертело.

Рубаха промокла насквозь, тело ломило и крутило, как будто побили палками, по щекам текли слезы, Иона Овсеич вспомнил свою Полину Исаевну — бедная, мучилась столько лет! — и помимо воли заплакал громко, со стоном и

всхлипываниями. Хотелось, чтобы кто-то любил, по-человечески пожалел, сказал доброе, ласковое слово, опять встала перед глазами вчерашняя сцена с Андреем Петровичем. Иона Овсеич не мог понять, как он позволил себе так обойтись с гостем, и поклялся вслух, что сам первый, отбросив ложную гордыню, пойдет к нему и поговорит начистоту: здесь моя вина, а здесь, Андрей Петрович, — твоя.

Утром Иона Овсеич с трудом поднялся, мелькнула мысль полежать денек дома, но прошелся немного по комнате, выпил стакан крепкого чая, машинально надел пиджак, кашне, ушанку, осталось снять с крючка лишь пальто.

В проходной, когда поздоровались, вахтерша из военизированной охраны сказала, что сегодня товарищ Дегтярь сильно бледный, наверно, грипп начинается, посоветовала принять таблетку аспирина, а на ночь обложить ноги горчичниками. В коридоре, словно нарочно сговорились, секретарша и плановик, одна за другой, сделали испуганные глаза, упрекнули Иону Овсеича, что в таком состоянии он позволяет себе подняться с постели, и пригрозили вызвать врача, если он сам не позаботится. Иона Овсеич кивнул головой, как будто в самом деле соглашался, и прошел к себе.

Впереди была целая гора неотложных дел, особенно по выборам, поскольку оставались считанные дни, люди не везде справлялись со своими обязательствами, а кой-кого приходилось отрывать от производства, чтобы могли больше внимания уделить пропагандистской работе на самой фабрике и среди населения. Кроме того, надо было лично, не перепоручая другим, проконтролировать, как обстоит дело с кабинками, ибо плотники — такой народ, что готовы оттягивать до последней секунды.

По окончании смены Иона Овсеич просил агитаторов задержаться на десять минут. На самом деле просидели около часа, у людей оказалась целая куча вопросов, надо было всех удовлетворить, по ходу беседы Иона Овсеич несколько раз особо предостерег каждого против одной довольно распространенной ошибки, когда полагают, что выборы в местные Советы — это, дескать, не выборы в Верховный Совет СССР и потому можно относиться с прохладцей.

Проводив агитаторов, Иона Овсеич наведалься в раскройный цех, здесь было узкое место, откуда начинались первые миллиметры брака, которые вырастали порою до рекламаций на десятки тысяч, побеседовал с людьми, спросил, какие у кого претензии к начальству, все записал в блокнот, но, в свою очередь, предупредил, что никаких скидок, никаких поблажек лентяям и бракоделам не будет, а с завтрашнего дня, хотя немного испортим предпраздничное настроение, начнем вывешивать имена лодырей для общего обозрения.

На улице кружил мелкий снежок, слегка пощипывал мороз, Иона Овсеич вдохнул поглубже, чуть-чуть затошнило, появилась слабость в ногах, но быстро прошло и теперь, наоборот, все тело стало крепче и вроде моложе. Вспомнилась давняя песня: «Мы маленькие дети, мы очень любим труд», — Иона Овсеич запел вполголоса, ускорил шаг и, перебирая в уме минувший день, еще раз убедился, как он был прав, что не поддался желанию остаться дома, в своей постели, а, напротив, заставил себя подняться, выйти на работу и провести обычный день, как будто абсолютно здоров и все эти его печенки-селезенки в полном ажуре.

На вечер он себе запланировал заново проштудировать тезис товарища Сталина насчет базиса и надстройки, в частности то место, которое касается обратного момента, а именно влияния надстройки, то есть идеологии, на экономику, однако пришлось отложить, поскольку вслед за ним, буквально по пятам, появился майор Бирюк.

Гость был одет в домашнее, байковая куртка с шалевым воротником, видимо, привез из Германии, коричневые штаны с черными, похожими на муаровую ленту, манжетами, руки глубоко заложены в карманы, на лице приветливая улыбка.

— Посмотреть на тебя, — лукаво улыбнулся Иона Овсеич, — прямо бюргер из Дрездена или Веймара.

Минуту-другую помолчали, гость поглядывал на хозяина, ожидая начала разговора, однако хозяин не начинал, и Андрей Петрович решил сделать почин:

— Овсеич, — сказал он, — то, что вчера произошло, забудь.

Хозяин по-прежнему молчал, непонятно было, слушает или не слушает, майор Бирюк поерзал на своем стуле.

— А я уже забыл. Всю ночь, поверишь, дрянь перед глазами мельтешила. Туда повернусь, сюда повернусь — а она за мной. Тьфу!

Майор засмеялся, Иона Овсеич внимательно смотрел, скривил губы, то ли усмешка, то ли боль, и произнес:

— Забыть, говоришь? Ну, хорошо, забыть так забыть.

Андрей Петрович насупился, черные точки на носу сделались заметнее и крупнее, кожа вокруг залоснилась, как будто смазали жиром, и покачал головой:

— Ты как наш полковник Полуян: хороший мужик, но не дай Бог наступить на любимую мозоль — в гробу будет помнить.

— Меня не интересует ваш полковник Полупьян! — вдруг повысил голос Иона Овсеич. — И давайте без сравнений, майор Бирюк! Дегтярь любит ясность: день — это день, а ночь — это ночь.

— Ты что? — опешил Андрей Петрович. — Перебрал, что ли?

Иона Овсеич откинулся назад, правый глаз сощурился, левый сделался совсем круглый, гость, в свою очередь, наклонил голову, маленькие зеленые глаза смотрели в упор, наконец майор не выдержал, отвел взгляд.

— Черт его знает, все у вас на гражданке шиворот-навыворот: идешь мириться — а тебя хлобыть по сопатке, и ты же еще виноватый.

— По сопатке! — с ударением произнес Иона Овсеич. — Не как-нибудь иначе, а именно так: по сопатке!

— Слушай, — Андрей Петрович привстал, отодвинул стул, — в конце концов, я к тебе не за русской грамотой пришел: хочешь говорить по делу — давай, не хочешь — аллес гутен.

Иона Овсеич вышел из-за стола, остановился возле дивана, слегка взбил подушку, поправил одеяло, майор Бирюк сперва молча наблюдал, потом громко сплонул, повернулся и хлопнул дверью. Иона Овсеич разложил на столе выписки к работе товарища Сталина по проблемам языкознания, вспомнился известный горе-языковед академик Мещанинов, которому товарищ Сталин со всей откровенностью сказал, что если бы лично не знал его, то мог бы подумать, что имеет дело с сознательным врагом, но тут же, уже без всякой связи, встал перед глазами Андрей Петрович, и получилось, как будто слова товарища Сталина адресованы не академику Мещанинову, а майору Бирюку.

— Глупости, — произнес вслух Иона Овсеич, однако внутри оставался какой-то осадок: вроде бы то, да не то.

Возле буфета на стене висела клеенка, еще покойная Полина Исаевна повесила, чтобы пар из чайника не портил обои, большие зеленые клеточки связаны звеньями, как решетка, а по бокам что-то красное — морковка или редиска. Минуту-другую Иона Овсеич рассматривал спокойно, но постепенно нарастало раздражение против этой заведомой нелепости: какая-то тюремная решетка — и редиска! Иона Овсеич взялся опять за конспекты, хотел углубиться, но не получалось, сделал несколько шагов от окна к двери и обратно, затем даже не успел осознать и проконтролировать, внезапно повернул к буфету, рванул со стены клеенку, бросил на пол и притоптал.

На стене за долгие годы образовался большой темный-бордовый прямоугольник, вернее здесь обои сохраняли свой настоящий цвет, но, поскольку вокруг они сильно поблекли, неестественно ярким казался именно этот кусок. Обычная картина: все должно находиться в одинаковых условиях и меняться равномерно, иначе неизбежно получится разноткань. Вещи, как люди, взять хотя бы того же майора Бирюка: командир Красной Армии, полная грудь орденов, но просидел несколько лет в Германии, пусть даже наша зона, и что-то такое появилось в характере, во взглядах, в настроениях.

— Железный занавес! Они еще твердят про какой-то железный занавес! — невольно вырвалось вслух.

Лег довольно поздно, было уже около двух, однако никак не мог заснуть: каждый раз заново сама собою завязывалась полемика с Бирюком, тот кочевряжился, петушился, но в конце концов шел на попятный. Вроде бы можно было

испытывать удовлетворение, тем не менее внутри оставался неприятный осадок, приходили на ум двадцатые годы, кулак с обрезом за пазухой, скрытые подкулачники, злобный старик Киселис, болтун и антисоветчик Лапидис.

Ушел Лапидис — пришел несчастный дурачок Ефим Граник, за ним Иосиф Котляр, потом доктор Ланда, но не теперешний, а тот, еще из первых лет советской власти, когда держал свой частный кабинет венеролога.

— Компания, — невольно воскликнул Иона Овсеич, — та компания!

Утром Иона Овсеич с трудом поднял голову: всю ночь напролет снились какие-то люди в балахонах, с пятнами крови.

По совету, который давала еще когда-то мать, чтобы забыть дурной сон, Иона Овсеич сразу глянул в окно, однако тут же выяснилось, что все гораздо проще и ничего таинственного нет: по радио из Москвы передавали о преступной банде врачей-убийц, ухо перед пробуждением успело услышать, но сознание еще не вполне переработало. Иона Овсеич не мог себе простить, что так заспался и пропустил важное сообщение, но через час-полтора, придя на фабрику, прочитал уже полный текст в газете «Правда». «Уважаемый товарищ редактор! В мой адрес поступили многочисленные письма и телеграммы с выражением патриотических чувств по поводу разоблачения преступников врачей-убийц. Не имея возможности ответить каждому в отдельности, прошу через Вашу газету передать мою сердечную благодарность всем организациям, учреждениям, воинским частям и отдельным лицам, поздравившим меня с награждением орденом Ленина за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врагов советского народа. Лидия Тимашук. 9 февраля 1953 года».

Газета была за одиннадцатое число, Иона Овсеич немного удивился, что дали с опозданием на два дня, внимательно просмотрел каждую страницу, но больше никаких материалов на эту тему не нашел. Собственно, одного такого письмеца было вполне достаточно: в последние дни могло показаться, что люди уже позабыли об этих убийцах в белых халатах, но сегодняшние газеты дали новую встряску, и буквально через четверть часа в партбюро стали приходиться из цехов, из отделов, чтобы поговорить лично с товарищем Дегтярем, так кипело и перекипало на душе. Люди были убеждены, что товарищ Дегтярь знает, конечно, больше, чем написано для всех остальных в газете, каждый претендовал на особое доверие, Иона Овсеич внимательно заглядывал в глаза, затем решительно разводил руками и со всей ясностью отвечал: все, что надо, написано в газете — теперь остается ждать сообщения из прокуратуры и суда.

Вечером в гости пожаловал Иона Чеперуха. От него за три версты разило перегаром, но на ногах держался твердо и глупостей не молот. Наоборот, с самого начала заявил, что на его совести лежит несмыслимое пятно грязи, поскольку в свое время не отправил Лидии Тимашук благодарность от собственного имени. Товарищ Дегтярь сказал, что это никогда не поздно сделать, Чеперуха в ответ замотал головой, как лошадь, кулаком ударил себя в грудь и закричал.

За доктора Ланду, которого он знает лично как свои пять пальцев, готов дать голову на отсечение, что тот не виноват и взяли по ошибке, за компанию.

— За компанию? — переспросил Иона Овсеич.

Да, подтвердил Чеперуха и пошел еще дальше: он потребовал, чтобы двор написал коллективное письмо Лидии Тимашук, которая знает всю правду, и просил ее лично заступиться перед правительством за нашего доктора Ланду.

— Ты что, — опешил товарищ Дегтярь, — совсем с ума сошел?

Нет, сказал Чеперуха, причем голос был абсолютно трезвый, он не сошел с ума и уже заготовил письмо: пусть товарищ Дегтярь и остальные прочтут и подпишут.

Письмо было отпечатано на машинке, довольно грамотно составлено, Иона Овсеич читал и не верил своим глазам: это было что-то совершенно новое для Чеперухи, или оставалось одно — предположить, что здесь действует чья-то опытная рука.

— Хорошо, — сказал Иона Овсеич, аккуратно сложил листок и спрятал в боковой карман. — Можешь идти.

Чеперуха остановился в раздумье, в это время зазвонил звонок, хозяин открыл дверь и впустил майора Бирюка.

— О, — обрадовался Чеперуха. — Овсеич, дай ему, пусть подпишет и обязательно укажет, что Герой Советского Союза.

Товарищ Дегтярь ответил, что будет сам решать, в каком порядке знакомить людей с подобным документом, но майор Бирюк проявил такую настойчивость, что пришлось уступить.

Читая строку за строкой, майор все выше поднимал брови, наконец воскликнул:

— Ну, Дегтярь, это провокация! Это настоящая провокация!

— Провокация? — Чеперуха притворился, будто не понимает. — Какая провокация?

— А я говорю, — закричал своим зычным голосом майор Бирюк, — что это типичная провокация!

— А я говорю, — в тон майору ответил старый Чеперуха, — что ты поц! Последний поц!

У Андрея Петровича в глазах загорелись зеленые огоньки, было впечатление, что сейчас набросится с кулаками, Чеперуха стоял неподвижный, как будто ноги приросли к полу, никакого страха, никакой растерянности не было, наоборот, человек явно ждал драки и демонстративно сжимал кулаки старого биндюжника.

Андрей Петрович заявил, все ясно: выходит, органы власти ошибаются, зря сажают невинных, а Чеперуха пишет протесты и подбивает других.

— Послушай, — Иона хлопнул себя руками по бокам, — я целую жизнь прожил с доктором Ландой в одном доме, человек прошел от первого до последнего дня всю Отечественную войну, так неужели кто-то другой может судить и знать про доктора Ланду больше, чем я!

— Значит, — с ходу парировал майор Бирюк, — если бы ты жил в одном доме с Коганами и Вовсями, ты бы и про них мог судить правильнее, чем наши органы власти, которые специально занимаются этими вопросами?

— А что такое, — опять повысил голос Чеперуха, — они святые и не могут ошибаться?

— Ты брось эти свои одесские штуки, — погрозил пальцем майор, — отвечать вопросом на вопрос.

— Разве он отвечает вопросом на вопрос? — сказал товарищ Дегтярь. — Помоему, он снова подтверждает то, что говорится в письме: да, органы власти ошибаются и сажают невинных людей.

— Овсеич, — Иона рассек ребром ладони воздух, — не шейте мне дело: Чеперуха всегда стоял за правду и знает, где Москва, где Кремль и к кому надо обращаться.

— Ну, — кивнул товарищ Дегтярь, — а где те люди, которые печатали с тобой на машинке, их адрес ты тоже знаешь?

— Нет, адрес, где живут эти люди, я тебе не скажу. А кто печатал, это я тебе скажу: Чеперуха печатал, — Иона поднял указательный палец, — вот этим пальцем.

— Да кто тебе поверит! — Майор вынул руки из карманов и сложил на груди. — Ты же двух слов по-русски грамотно сказать не можешь.

Чеперуха поднес большой палец к зубам, откусил край ногтя, но ответил миролюбиво:

— От свиньи — сказал Чеперуха, — рождаются свиньи, от слона рождается слон, а мой сын — инженер с высшим образованием.

— Цыц-пердыц бараньи яйца! — засмеялся майор.

— Прекратите! — неожиданно крикнул Иона Овсеич.

Андрей Петрович невольно выпрямился, по осанке, хотя и в гражданской одежде, было видно, что кадровый солдат, зато Чеперуха окончательно распоясался: показал товарищу Дегтярю фигу, потом согнул правую руку в локте, левую положил поперек и так помахал из стороны в сторону.

— Сам съешь! — тут же реагировал Иона Овсеич. — И похлебкой на сорокаградусном морозе будешь закусывать!

Чеперуха потребовал назад свое письмо, Иона Овсеич демонстративно повернулся спиной, старик пошел к выходу, остановился у порога и громко, с упреком сказал:

— Вы! Гражданинчики!

Наружная дверь хлопнула с такой силой, что в буфете зазвенели стаканы.

— Ну, Овсеич, — воскликнул майор Бирюк, — теперь я тебя понимаю!

Иона Овсеич зажал рот ладонью, глаза остекленели, Андрей Петрович осторожно взял за плечо и попросил письмо, он завтра же зайдет в эмвэдэ, и пусть товарищи займутся. Иона Овсеич не отвечал, возможно, вообще не слышал, Андрей Петрович повторил еще раз и слегка похлопал по спине.

Хозяин поднял голову, в глазах была тяжелая, за многие дни и годы усталость, и сказал осипшим голосом:

— Зачем? У тебя отпуск. Ты еще успеешь, Андрей Петрович.

— Ну нет, — возразил майор, — тут надо бить в три колокола, надо поднять всех на ноги.

— Ты прав, — согласился товарищ Дегтярь, однако повторил, что сам займется, и письмо оставил у себя.

На другой день Иона Овсеич так закрутился по предвыборным делам, что поневоле забыл про Чеперуху с его письмом. Однако поздно вечером, воротясь домой, он нашел у себя в замочной скважине записку от майора Бирюка, который просил позвать его, как только хозяин вернется. Первое ощущение, когда прочитал бумажку, было такое, как будто кто-то подстерегал за углом и с размаху хлопнул по затылку, от неожиданности екнуло сердце, а потом стало досадно и стыдно.

Было еще довольно рано, начало одиннадцатого, Иона Овсеич снял шапку, пальто, кашне, немного пригладил ладонями волосы с боков и направился к двери, чтобы идти за майором Бирюком. В коридоре, однако, приостановился, потоптался на одном месте, пока наконец не решил, что нечего в такое время бежать по первому зову.

В квартире за хлопотами по хозяйству — поставил на плитку чайник, нарезал хлеба, колбасы, почистил головку лука, присыпал солью, чтобы успел пропитаться, — окончательно прошло это неприятное дерганье изнутри, Иона Овсеич уже рассчитал, что через десять — пятнадцать минут опять сможет сесть за свои конспекты и выписки, но не успел отужинать, как появился майор Бирюк. Первым делом гость поздоровался, привел восточную мудрость — если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе — и сообщил, что один раз уже приходил, оставил в дверях записку.

После небольшой паузы товарищ Дегтярь кивнул головой: да, оставил. Андрей Петрович нахмурился: почему не зашел?

— Ну, — хозяин налил гостю чаю, придвинул поближе сахарницу, — моему, это надо было понимать как просьбу, а не в приказном порядке.

— Знаешь что, — с ходу повысил голос майор, — я этих ваших местечковых хитроостей не люблю. В эмвэдэ заходил?

Хозяин неторопливо отрезал кусок хлеба, намазал маслом, сверху посыпал сахаром, положил на блюдечко и подал гостю:

— Кушай, Андрей Петрович, это очень вкусно.

— Так, — забарабанил майор двумя пальцами по столу, — в эмвэдэ не заходил, ясно.

Хозяин намазал себе точно такой же ломоть, как гостю, отломил уголок, хорошо разжевал, по выражению лица было видно, что очень вкусно, запил глотком чаю и сказал:

— А из чего ты делаешь такой уверенный вывод?

— Слушай, — по-настоящему начинал сердиться майор, — ты можешь прямо ответить — был, не был — или будешь разводить эту жвачку!

Майор Бирюк расставил локти на столе, подпер голову ладонями, маленькие глазки смотрели в упор, пухлые веки от напряжения еще сильнее набрякли, у Ионы Овсеича опять возникло впечатление, даже скорее какое-то воспоминание, что эти пухлые веки, эти маленькие зеленые глаза он уже встречал где-то в конце двадцатых — начале тридцатых годов, когда посылали по коллективизации на село.

— Слушай, Андрей Петрович, — неожиданно перешел на другую тему товарищ Дегтярь, — откуда ты будешь родом?

Гость по-прежнему молча смотрел, словно не к нему обращаются, Иона

Овсич чувствовал, как под этим взглядом растет внутри что-то враждебное, причем невозможно было объяснить, откуда и почему. Но тут же на ум сама собой лезла всякая чепуха, вплоть до того, что вспомнилась одна кулацкая семья из Цебрикова, обрусевшие немцы, где кроме отца было трое сыновей, все здоровые, как бугаи.

— Овсич, — наконец заговорил гость, — ты у меня в ширинку не заглядывай, а то я могу тоже заглянуть. Понятно? Или требуется крупным планом?

— Майор Бирюк, — осипшим голосом произнес хозяин, — я прошу уточнить насчет ширинки: что ты имел в виду?

Андрей Петрович повернулся лицом к хозяину, развел руками, улыбнулся и объяснил, что ничего не имел в виду, а сказал просто так.

— Просто так? — переспросил товарищ Дегтярь. — Ну, хорошо, просто так, значит, просто так.

Гость посидел еще несколько минут, приподнял рукав над часами и спохватился, что так поздно засиделись.

Он хотел напоследок еще раз спросить насчет письма, но Иона Овсич первый обратился:

— Ну, как, Андрей Петрович, так будем наводить справки в органах, заходил Дегтярь или не заходил?

— Овсич, — всерьез обиделся гость, — ты из меня дурака не делай: я тебе верю, как самому себе.

Когда захлопнулась дверь и на чугунной лестнице послышались шаги, Иона Овсич вернулся в комнату, остановился в задумчивости возле книжной этажерки, на первой и второй полках стояла политическая и философская литература, покачал головой и громко произнес:

— Ах, сукин сын!

Ночь прошла неважно: со стороны сердца вроде бы ничего особенного, один раз взял кусочек сахара, пять-шесть капель валидола, но во всем теле держалось чувство какого-то неудобства — куда ни повернешься, все не так.

Под стать самочувствию в мыслях тоже была какая-то неразбериха — то искал примирения с Бирюком, хотя особенно и не ссорились, то, наоборот, хотелось довести до высшей точки. Надо было сразу одернуть: не ваше дело, гражданин Бирюк, не вам указывать и не вам нас контролировать!

У ворот подкарауливал Чеперуха. Товарищ Дегтярь прошел мимо, не останавливаясь, Иона на секунду замешкался, но тут же догнал и сразу — ни доброго утра, ни здарсьте — потребовал свое письмо. Товарищ Дегтярь продолжал идти, однако биндюжник есть биндюжник, схватил за рукав и стал орать на всю улицу, что это низкий обман — забрать у человека письмо и распоряжаться как будто своя личная собственность. Иона Овсич предупреждал Чеперуху по-хорошему, чтобы прекратил этот уличный балаган, а тот еще сильнее разошелся и закончил прямо хулиганскими выкриками, угрожая свернуть шею, как паршивой курице. Был момент, когда Иона Овсич уже засунул руку в карман, чтобы вынуть письмо и швырнуть в лицо этому смутьяну, но, к счастью, не успел: Чеперуха как раз израсходовал полностью свой заряд, харкнул на снег, слюна была красноватая, с кровью, видно, из десен, и заявил, что отсюда прямым ходом он идет в эмвэдэ, сам все расскажет, а наши чекисты хорошо умеют разбираться, где настоящие враги и где настоящие друзья.

— Иди, иди, — в сердцах крикнул Иона Овсич, — пока за тобой не пришли!

На фабрике плотники наконец раскатались по-настоящему, и в помещении агитпункта уже стоял целиком готовый каркас на все шесть кабин для избирателей.

После обеда плотники пришли с жалобой: красной материи для обивки дали в обрез, чуть возьмешь на гвоздь, от сильной натяжки сразу лопается.

Товарищ Дегтярь вызвал к себе председателя фабкома и в присутствии людей устроил ему такую баню, что тот выскочил буквально ошпаренный и на ходу искал по всем своим карманам носовой платок, чтобы вытереться.

В сутолоке дня Чеперуха отодвинулся далеко на задний план, но к вечеру, когда напряжение пошло на спад, Иона Овсич вспомнил его угрозу: самому зайти в эмвэдэ.

Несомненно, раньше или позже все станет на свое место, но надо было

найти ключ, тем более что Чеперуха — это далеко не доктор Ланда, которого он готов так рьяно защищать. Просто у человека на секунду повернуло мозги набекрень.

Иона Овсевич решил, что сегодня же наведается к Зиновию, и, если старик еще не успел напороть горячку, можно обсудить и договориться. А что касается Бирюка, надо раз и навсегда ему указать: вот здесь, пан майор, имение, а здесь — вода.

Наконец стало спокойнее, прекратилась эта дурная свистопляска, когда все, как в комнате смеха, выглядит наоборот: большое кажется маленьким, а маленькое — большим. В проходной Иона Овсевич пощупал радиаторы, хорошо ли прогреты, натянул на руки вахтерские рукавицы, несколько раз с силой хлопнул, вернул хозяину и на прощание пошутил: теплынь такая — как бы не разморило в сон.

На улице Ленина зашел в гастроном, взял двести граммов колбасы, сливочного масла не было, продавщица сказала, есть чудесный смалец, сегодня только получили, Иона Овсевич поблагодарил, но отказался и объяснил, что у него побаливает справа, наверно, печень, а при печени жирное не рекомендуется. Продавщица посмотрела налево, направо, наклонилась вперед и произнесла скороговоркой:

— Приходите завтра, я вам оставлю полкило масла.

У продавщицы были красивые белые руки, чистые ногти, просто приятно посмотреть, в ушах небольшие сережки, золотые с красными камешками, видимо, рубин, на шее две-три складки, свежий, хорошо накрахмаленный халат, плотно облегающий бюст, и приятная, добрая улыбка.

Забирая сверток, Иона Овсевич невольно обратил внимание на свои руки, местами следы чернил, какие-то пятна, давно пора остричь ногти, побыстрее, как будто школьник, втянул пальцы в рукава, сделал строгое лицо и быстро вышел из магазина. На улице он остановился возле витрины, захотелось еще раз поглядеть на эту женщину, которая всем своим видом давала почувствовать домашнее тепло и уют.

Дома, едва Иона Овсевич отворил дверь, раздался телефонный звонок. Трудно было даже представить себе, откуда в такое время могут звонить, однако тут же, подняв трубку, он услышал голос Ляли Орловой. По ее словам, она уже целый час пытается связаться с фабрикой, с квартирой, но ни оттуда, ни оттуда никто не отвечает, и вот наконец ей повезло.

— Короче, — перебил Иона Овсевич, — в чем дело?

Ляля ответила, что это разговор не для телефона и через пятнадцать минут она зайдет. Нет, возразил товарищ Дегтярь, через пятнадцать минут она не зайдет, потому что сию минуту он спускается к Чеперухе, а когда освободится, предсказать трудно. В ответ Ляля вскрикнула:

— Так вы уже все знаете!

У Ионы Овсевича неприятно екнуло сердце — значит, старый дурак успел напороть горячку, — но отреагировал внешне спокойно: ладно, пусть Орлова заходит, он будет ждать.

Дальше медлить нельзя было, следовало тут же конкретно наметить линию и план действий в ответ на глупости, которые наделал со страху этот бравый биндюжник. Однако на деле все оказалось так, что даже в голову не могло прийти: мало того, что старик не сидел тихонько у себя дома, как всякий нормальный человек, пока никто не трогает, мало того, что не побежал, как можно было ожидать после его угрозы, на улицу Бебеля, он еще стал ходить самолично по квартирам и собирать подписи среди жильцов в пользу Ланды! Тут уже одно из двух: либо человек окончательно рехнулся, либо получается, что действительно Бирюк прав и надо было немедленно принять меры, а Дегтярь прошляпил. Правда, ни один жилец не дал своей подписи, и это, конечно, большой плюс, но, с другой стороны, никто, кроме Дины Варгафтик, не прибежал к Орловой, Малой, Дегтярю или просто к соседу, чтобы вместе возмутиться и дать отпор гнусному шантажу и провокации.

Иона Овсевич быстро шагнул вокруг стола, лицо такое изможденное, что просто больно смотреть, Ляля в душе ругала себя за спешку, надо было дать человеку хотя бы спокойно поспать ночь, наконец он остановился и спросил,

знает ли об этой истории майор Бирюк. Ляля пожала плечами, мол, не все ли равно, а товарищ Дегтярь вдруг набросился на нее и закричал, что нечего сидеть на печке и греть свой толстый зад, а надо быть в курсе дела и заглядывать в каждый угол.

Ляля чуть не заплакала от обиды, в ответ хотелось тоже причинить боль, но сумела взять себя в руки и сказала: если надо, она узнает. Иона Овсеич опять зашагал вокруг стола, по глазам было видно, что напряженно работают мысли, Ляля тихонько сидела на своем стуле и боялась шелохнуться.

— Орлова, — обратился товарищ Дегтярь, — какая квартира у сестры Гизеллы, куда она ходит ночевать?

Ляля ответила, что не знает, но можно позвать Дину Варгафтик: она там была один или два раза.

Еще не было десяти часов, но Дина со своей Альфочкой уже укладывались спать. Орлова просила поторопиться, а то Иона Овсеич зря ждет, Дина поверх ночной рубашки набросила халатик, поверх халатика — пальто, сказала Альфочке, чтобы хорошо вела себя, она скоро вернется, и вышла. В коридоре Ляля обратила внимание, что халат застегнут на одну верхнюю пуговицу, Дина ответила, что при ее образе жизни она может совсем голая ходить, и то ни один человек не посмеет показывать пальцем. Орлова брезгливо скривила губы и сама схватила пальто за полу, чтобы хоть немного прикрыть этот срам.

Иона Овсеич, увидя Варгафтик, невольно обратил внимание на ее одежду, но ничего не сказал, а только молча поглядывал.

Усевшись на кушетке, Дина раздвинула свои толстые и короткие, как у карлика, ноги и через каждые два слова хлопала себя по ляжкам, от зависти или восторга, трудно было понять, рассказала, какую барскую комнату занимает Гизеллина сестра. Из такой комнаты можно сделать две, но муж и сын погибли на фронте, мать осталась одна с дочкой, и больше им не надо. Товарищ Дегтярь спросил, имеются ли в доме удобства, Дина сладко зажмурила глаза и ответила, что там есть все, чего только человек может пожелать: паровое отопление, центральный газ, ванная с горячей водой и антресоли.

— Дина, — вдруг перебила Ляля, — закройте свои голые ноги: вы не у себя дома.

— Орлова, — нахмурился Иона Овсеич, — по-моему, здесь есть хозяин и есть кому делать замечание.

Дина успела немного покраснеть, но после такой поддержки быстро воспрянула духом и сказала, кивая в Лялину сторону: недаром люди говорят, нахальство — это второе счастье. Ляля вся напряглась, как цирковая лошадь, Иона Овсеич поглядел на одну, на другую и предложил перенести дебаты на выходной день, а сейчас — спокойной ночи. Получилось так неожиданно, что обе раскрыли рты, однако продолжали сидеть на месте, и хозяин должен был вторично пожелать им спокойной ночи, чтобы наконец поднялись и вышли.

У лестничной площадки Дина приостановилась.

— Ляля, мы с вами — две большие старые дуры.

Через четверть часа Орлова вернулась к товарищу Дегтярю и принесла с собой подарок, который приготовила ему на День Красной Армии: муслиновый галстук в зеленую горошину, мужской одеколон «Шипр» и книгу грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Иона Овсеич с трудом сдержал себя, чтобы не рассердиться: во-первых, еще не двадцать третье февраля, во-вторых, галстук и одеколон — это лишнее. Зато книгу, тем более великого классика грузинской литературы, принял с удовольствием и тут же прочитал наизусть: «Каждый мнит себя стратегом, коль глядит со стороны».

Ляля сказала: такие умные и красивые стихи, просто не верится, что сочинили восемьсот лет назад.

— Знаешь что, Орлова, — перебил Иона Овсеич, — уж коль в такой поздний час ты навестила одинокого холостяка, давай-ка пройдемся с тобой на бульвар.

Ляля радостно засмеялась, попросила десять минут, чтобы привести себя в порядок, но Иона Овсеич ответил, не надо, она и так будет достаточно

заметная, хотя на дворе уже ночь. Ляля немного надулась, сказала, что другому не позволила бы подобные шутки, хозяин пропустил мимо ушей и поднял руку, вроде хочет хлопнуть по одному месту.

— Ах, — вскрикнула Ляля и закрылась сзади ладонями, — не надо! Я вас прошу, не надо.

Иона Овсевич пожал плечами: когда так сильно уверяют, что не надо, можно подумать как раз наоборот.

С моря дул холодный ветер, но, пока шли по Бебеля, это чувствовалось только на перекрестках, зато на Пушкинской всю дорогу дуло прямо в лицо, хотелось заслониться воротником, Ляля озорничала и каждый раз закрывала Ионе Овсевичу щеки своей рукой в перчатке, которая не по-зимнему пахла сиренью, он сердился, просил прекратить неуместные шутки, однако Ляля уже завелась и не могла остановиться. У Ланжероновского спуска внезапно задуло со всех сторон, как будто схватились между собой полдюжины ветров, Ляля невольно прижалась к Ионе Овсевичу всем телом, он расстегнул пальто, чтобы получше прикрыть ее, и так, хотя было довольно неудобно, прошли чуть не до памятника Пушкину. Со стороны оперного театра спустились одинокие прохожие, неподвижно, как в музее, маячила пушка с английского корабля «Тигр», черное дуло смотрело в море.

Несмотря на зимнее время, конец февраля, порт жил своей обычной жизнью. Долетали разные звуки — лязг железа, рожок стрелочника, шипение электросварки, торопливый перезвон на судне, а порою просто человеческий голос, до того явственный, что можно было различить каждое слово. Иона Овсевич провел рукой в сторону Пересыпи и сказал, что до девятьсот пятого года здесь проходила огромная эстакада, которая сгорела в потемкинские дни. Повстанческие дружины, в основном рабочие завода Гена, соорудили на Московской и возле моста баррикады, а портовые босьяки бросились грабить склады.

В картине «Броненосец Потемкин» Сергей Эйзенштейн показывает, как казаки расстреливают людей на лестнице, но это художественный вымысел: в действительности к бульвару, он тогда назывался Николаевский, нельзя было даже подойти, поскольку конные белогвардейцы стояли повсюду шпалерами, а расстреливали в нижней части города, на Приморской улице. Камни мостовой буквально были залиты кровью, среди убитых много детей, мальчиков двенадцати-тринадцати лет. Потом царские власти устроили суд, в числе арестованных было человек сто пятьдесят подростков, он сам тогда прятался у родственников на Коблевской улице и чудом избежал ареста.

Ляля взяла Иону Овсевича под руку, миновали памятник Ришелье и Потемкинскую лестницу, Ляля сняла перчатки, растерла в своих ладонях пальцы Ионы Овсевича, на морозе совсем заоченели, поднесла к губам и подула теплым воздухом изо рта. Иона Овсевич грустно улыбнулся и сказал, что так, когда он был еще совсем маленький мальчик и в студеную погоду замерзали пальцы, руки обогревала ему мама. Эх, мама-мамочка!

— Боже, — прошептала Ляля, — какой вы бываете нежный!

— Орлова, — воскликнул Иона Овсевич, — я смотрю, еще миг, и ты сделаешь мне предложение.

Ляля не ответила, лишь расстегнула на груди пальто, хотела запрятать руку Ионы Овсевича, но навстречу шли какие-то люди, он осторожно высвободил и сказал, что будет держать в карманах.

У колоннады дворца Воронцова выбрали удобную позицию, теперь ветер задувал в спину, далеко впереди, на Шкодовой горе, подымался в небо огромный столб огня: это день и ночь напролет горели газовые отходы на нефтеперегонном крекинг-заводе. Ляля спросила, неужели нельзя придумать, чтобы людям была от них польза, Иона Овсевич внимательно заглянул в глаза, совсем черные, остались одни зрачки, и спросил в ответ:

— Орлова, а как по-твоему: если бы можно было, мы позволили бы зря отапливать небо?

Ляля вдруг схватила его за плечи, рывком повернула к себе и прерывающимся голосом зашептала:

— Ну, скажите хоть слово о чем-нибудь другом! Неужели нельзя говорить о чем-нибудь другом!

Не ожидая ответа, она тут же взяла обими руками голову Ионы Овсевича, притянула вплотную к себе и впиалась губами с такой силой, что во рту появился солоноватый привкус крови. Иона Овсевич пытался оторваться, но поначалу никак не удавалось. Освободясь, он первым делом сплюнул, чтобы опорожнить рот, иначе нельзя было вымолвить ни слова, сделал шаг назад и сердитым голосом закричал:

— Орлова, ты что, совсем взбесилась!

Ляля стояла с опущенной головой, чуть-чуть вздрагивали плечи. Иона Овсевич не мог успокоиться, повторил свой упрек и добавил: ведет себя, как будто ей семнадцать лет, а не три раза семнадцать. Немного постояли друг против друга молча, Ляля повернулась и быстро пошла в сторону бульвара.

— Правильно, — крикнул вдогонку Иона Овсевич, — но давай бегом, чтоб было как в настоящем театре!

Ляля остановилась, сложила руки на груди, ладонь к ладони, и чуть не заплакала:

— Ну, зачем вы кричите на меня! Ради Бога, не кричите!

В город возвращались по Воронцовскому переулку, всю дорогу до площади Карла Маркса было довольно темно, у ворот горели небольшие лампочки под жестяными абажурами, из подъезда, казалось, вот-вот кто-то выскочит, Ляля машинально цеплялась за рукав Ионы Овсевича, он укоризненно покачал головой и спросил насмешливо: интересно, откуда это мы такие нервные и пугливые? Ляля не ответила, два-три раза, вроде ненароком, прижалась к Ионе Овсевичу, он воспринял без протеста, тогда она подняла голову и сказала:

— Не надо злиться. Я не могу иначе.

На море виднелись огромные краны в порту, силуэты судов, на мачтах красные и белые огоньки.

Ляля вздохнула, опять прижалась и тихо произнесла:

— Вы какой-то особенный. Вы совсем не похожи на других.

Прощаясь возле парадного, Иона Овсевич раскашлялся, сказал, что в левом боку чего-то покалывает, Ляля забеспокоилась, предложила поставить банки, не дай Бог, начинается плеврит или воспаление легких, но он махнул рукой — женщине обязательно нужно, чтобы у нее был свой собственный пациент! — пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.

На следующий вечер Иона Овсевич заглянул к Бирюкам, авось подадут одинокому путнику чашку чаю с малиной, говорят, хорошо помогает от простуды. Андрей Петрович насупился, сказал, что самим есть нечего, но тут же открыл буфет, Марина принесла горку посуды, и на столе появилось столько всякой всячины, словно приехал важный генерал.

— Ну, — гость склонил голову, лукаво прищурился, — нетрудно быть хозяйкой в доме, где такой хозяин.

Марина пожалала плечами: наоборот, нетрудно быть хозяином в доме, где есть такая хозяйка. Андрей Петрович расшифровал, что это шутка бухгалтера из общепита, они там все такие самоуверенные, и пообещал, как только вернется в Одессу, что Бирюков в торговой сети днем с огнем не сыщешь.

Сели за стол, Иона Овсевич поздравил хозяина с наступающим двойным праздником — во-первых, выборы, будет голосовать у себя на Родине, а не где-то там в Германии, во-вторых, День Советской Армии, — выпили по стопочке, закусили бутербродами с горбушей, хозяин открыл баночку крабов, но гость отказался наотрез: пусть на него обижаются, эту гадость он согласится взять в рот, когда уже другого выхода не останется. Андрей Петрович не настаивал, сказал только, что у немцев — это первый деликатес, Иона Овсевич тут же ответил: подумаешь, французы едят лягушек, корейцы едят собак, так что же, нам, русским, тоже прикажете!

Выпили по второй, в этот раз за хозяев дома, Иона Овсевич осмотрелся вокруг — для старухи отделили угол за ширмой, из прихожей сделали крохотную спальню для детей, на виду только диван-кровать Марины и Андрея. — встал, прошелся по комнате, считая про себя шаги, но так, что было заметно со стороны, и грустно покачал головой: да, для бильярда здесь места не остается. Марина удивилась: неужели? А ее мужа спросить, так им еще пол-Одессы может завидовать.

Гость опять прошелся по комнате, прислушался, за ширмой тихонько кряхтел на своей лежанке старуха, остановился возле окна и показал пальцем в сторону двора:

— В этом дворе две большие комнаты с кухней, которая тоже комната, и отдельным туалетом занимает один человек. Вы знаете, о ком идет речь.

Марина догадалась первая:

— Гизелла Ланда.

— Да, — громко подтвердил Иона Овсеич, — Гизелла Ланда. Последние два месяца она фактически здесь не живет, а находится у своей сестры, на улице Красной Гвардии Там барская комната, из которой можно сделать целую квартиру

Андрей Петрович смотрел то на гостя, то на жену, Иона Овсеич лукаво прищурил глаз и сказал: в драмтеатре, когда аналогичный случай, называется немая сцена.

— Овсеич, — промолвил наконец слово хозяин. — Ты предлагаешь, чтобы я выгнал живого человека на улицу, а сам занял его место?

— Неправда! — выскочила вперед Марина. — Иона Овсеич не говорил, что надо выгнать на улицу.

— Овсеич, — Андрей Петрович откинул руки за спинку стула, зеленые глаза смотрели в упор, — Ланда находится под следствием, но суда еще не было. Суда еще не было.

— Да, суда еще не было, — Иона Овсеич подошел к столу, оперся обеими ладонями. — Но я полагаю, майор Бирюк не Чеперуха, и сомнений по этому вопросу у него нет.

— При чем здесь Чеперуха! — опять выскочила вперед Марина. — Надо рассуждать просто по справедливости: нас пятеро, семья героя, а она одна — ни детей, ни мужа.

Андрей Петрович положил руки на стол, наклонился, от яркого света зеленые глаза пожелтели, и внятно, в голосе звучали нотки угрозы, произнес:

— Не одна, Марина Игнатьевна, а двое.

Марина прямо подпрыгнула на своем стуле, товарищ Дегтярь спокойно, желая немного поостудить пыл, положил руку ей на плечо.

— Майор Бирюк, я думал, ты умеешь чуть-чуть заглядывать вперед. Видимо, я ошибался.

— Вперед! — притворно засмеялась Марина. — Мой муж умеет смотреть только на зад!

Андрей Петрович прикусил верхнюю губу зубами, придвинул бутылку с водкой поближе, налил в стакан примерно до середины и выпил в один прием. Марина назвала мужа пьянчугой, схватила порожний стакан, налила себе. Иона Овсеич секунду-другую молча поглядывал, затем взял за руку хозяйку, хозяина, сказал, милые бранятся — только тешатся, и пообещал навеститься завтра-послезавтра, а лучше всего пусть зайдут к нему. Марина проводила гостя до лестницы, вернулась минут через десять, за это время еще больше взвинтилась, и потребовала, чтобы прямо с утра муж отправился в райисполком. Андрей Петрович не отвечал, на лице было какое-то страдальческое выражение, Марина сказала, противно глядеть, швырнула на диван простыню, подушку, одеяло, кое-как постелила, легла лицом к стене и предупредила мужа, чтобы не смел к ней прикасаться, а то она подымет гвалт на весь дом.

Андрей Петрович заглянул к детям, оба крепко спали, прикрыл дверь, поставил рядом четыре стула, спинками в одну линию, надел байковую пижаму и улегся. Марина крикнула: а кто будет свет выключать? Пушкин? — пришлось подняться и погасить, заодно уже прихватил шинель.

Марина в темноте засмеялась: ну как, милый, удобно? Лошадник Чеперуха ему жить не дает, народ агитирует в пользу врага, а как про свою семью позаботиться — так Ланда не враг!

— Замолчи! — приказал Андрей Петрович.

— А вот и не замолчу! — крикнула в ответ Марина.

Андрей Петрович повернулся на бок, заскрипели стулья, Марина сказала, пусть переходит на кровать, минуту подождала, встала, подошла к мужу и взяла за руку. Он просил отпустить, она сжала еще крепче и сказала, что, если сейчас

же не перейдет, сама ляжет на пол и будет лежать до самого утра, пока не проснутся дети.

За ширмой протяжно застонала старуха. Андрей Петрович встал, аккуратно перебросил шинель через спинку стула, а сам пошел к дивану. Марина, как только легли, обняла руками за шею, на минуту замерла, затем встрепнулась, подняла рубашку до плеч, чтобы живот и грудь были голые, содрала с мужа исподнее и зашептала:

— Люби меня! Люби меня! Крепче, еще крепче!

Когда уgomонились, Марина велела мужу немного подвинуться, а то чересчур душно, легла посвободнее, тихонько засмеялась:

— Чего-то хотела Овсеича представить себе, как они с Орловой это делают. Не могу.

Андрей Петрович ответил, что ему неинтересно, жена обиделась — спи, спи, тебе чего, свое получил, — приткнулась головой к его плечу и почти вмиг заснула. Он приоткрыл форточку, сел на подоконник, в комнату залетали одинокие снежинки, закурил, перед глазами вставал минувший вечер, и от каждой подробности брала досада. Все было не так — и вопросы не те, и ответы не те, и все слова не те, а надо было с ходу да в лоб: слушай, ты, Дегтярь Овсеич, какое твое собачье дело, чего раздаешь чужие квартиры! Вот тогда бы и посмотрели, кто вперед глядит, а кто — назад.

Иона Овсеич, когда вернулся к себе, еще немного посидел за столом, сделал несколько выписок из сообщения ЦСУ о выполнении плана развития народного хозяйства за тысяча девятьсот пятьдесят второй год, затем, уже в постели, мысленно перебрал весь разговор с Бирюками, Марина сегодня понравилась, чувствуется, что женщина с характером, от своего не отступит, а сам майор, чуть дело поближе коснулось гражданской жизни, оказался еще совсем зеленым. Иона Овсеич выключил свет, в темноте представил себе растерянное злое лицо Андрея Петровича, невольно улыбнулся, затем пришел на ум старый Чеперуха, весь в морщинах и мозолях, настоящий биндюжник с Пересыпи. И опять вылез Бирюк со своими колючими, как у того мужичка с ярмарки, глазами. Н-да, зеленый, зеленый, но такой, дай ему только дорогу, полезет и будет переть во все четыре стороны, как танк.

В левом боку вдруг кольнуло, видимо, неудачно лег, Иона Овсеич даже вскрикнул, однако тут же прошло, только вспотели немного руки и появилась неприятная слабость. Под утро кольнуло еще раз, Иона Овсеич проснулся, минуто-другую сохранялось тревожное состояние, затем рывком сбросил одеяло, заставил себя сделать небольшую зарядку, растер мокрым полотенцем шею, грудь, руки до самых локтей, включил электроплитку и поставил чайник, чтобы зря не терялось время.

Чайник закипел, Иона Овсеич насыпал заварки прямо в чашку, надо было на свежую голову еще раз посмотреть сообщение ЦСУ, и стал прихлебывать, держа в правой руке карандаш. Конечно, вчера вечером кое-что существенное упустил: железнодорожные и морские перевозки, которые возросли сравнительно с пятьдесят первым годом на девять процентов, отметил, зато автомобильные, которые возросли на пятнадцать процентов, прошли мимо внимания.

Иона Овсеич покачал головой, вот так можно не увидеть самого главного, обвел красным карандашом данные по росту реальных доходов рабочих, семь процентов за год, и крестьян, восемь процентов, при общем увеличении национального дохода на одиннадцать процентов, и сделал пометку: показать на примере города, фабрики, на примере двора.

До работы Иона Овсеич заглянул к Орловой, она как раз завтракала, видимо, сидела без халата, поясок завязывала на ходу. постель была еще не убрана, он сделал замечание — хорошо, зашел Дегтярь, а если бы кто-нибудь другой! — и велел в срочном порядке подготовить объявление, что завтра состоится общее собрание жильцов. Одновременно надо будет обойти все квартиры и поставить в известность каждого под личную ответственность, для этой цели можно привлечь Марину Бирюк, Катерину Чеперуху, Дину Варгафтик. И еще: надо подготовить три-четыре выступления из числа женщин, как за истекший год заметно поднялся уровень жизни на конкретном примере своей семьи. Ляля только успела открыть рот, хотела спросить, кто же будет гово-

ить, но Иона Овсеич предвидел заранее и опередил: говорить будет Идалия Орлова.

— Ой! — вскрикнула Ляля.

— Не ойкай, — сказал Иона Овсеич, — а берись за дело: у тебя впереди еще целых два дня.

Ляля всплеснула руками: два дня — это почти ничего! А Катерина, после того, что забрали комнату Граника, вообще не захочет.

— Не волнуйся, — ответил Иона Овсеич, — захочет.

На фабрике день сложился удачно по всем линиям: даже заготовщики, которые обычно причиняли больше всего хлопот, вытянули сегодня на сто пять процентов. Предвыборная атмосфера царила повсюду, и праздничное настроение отражалось на лицах людей, как будто с самого утра светило майское солнце, хотя в действительности сеял серый снежок вперемешку с дождиком, а во дворе и коридорах противно хлопало и чавкало под ногами. У конвейера молоденькая девушка, с виду лет семнадцати-восемнадцати, мурлыкала себе под нос песенку из кинофильма — «мне декабрь кажется маем, и в снегу я вижу цветы» — Иона Овсеич незаметно подошел сзади, обнял за плечи и громко сказал:

— Товарищи, поздравим нашу Веру Богачук с первыми в ее жизни выборами!

Люди вокруг захлопали. Иона Овсеич протянул Вере Богачук руку, она растерялась еще больше, женщины смеялись и кричали: вот и жених нашелся — к венцу их, к венцу!

В помещении агитпункта кабины для тайного голосования были уже полностью оборудованы. Иона Овсеич проверил каждую в отдельности, достаточно ли обе половины занавеса перекрывают друг друга, чтобы избиратель, когда берет в руки бюллетени и карандаш, был уверен, что никто не видит и не наблюдает за ним, попросил показать урну для больных, которые будут голосовать на дому, велел обтянуть ее красной материей, праздник для всех праздник, осмотрел стулья и столы для избирательной комиссии, приказал закрыть помещение, до двадцать второго ни один посторонний сюда не должен заходить, и наказал фабкому, чтобы в субботу вечером еще раз хорошенько помыли полы.

Перед второй сменой Иона Овсеич собрал у себя агитаторов, в последний раз накануне воскресенья потребовал от каждого, чтобы снова навести своих избирателей, проверили, каждый ли получил приглашение, запомнил ли свой номер по списку, и в заключение повторил, что дверь к Дегтярю всегда открыта. Послышалось веселое оживление, а у Ионы Овсеича вдруг опять, как под утро, закололо в боку, чудом удержался на ногах, некоторые заметили, смотрели испуганными глазами, но Иона Овсеич уже совладал с собою, пожелал всем присутствующим успеха и закончил по-фронтовому:

— В атаку, товарищи! Вперед!

Едва люди разошлись и успел присесть на диван, позвонила Орлова и спросила, когда он вернется домой, она обязательно должна повидать по срочному делу. То ли от усталости, то ли от нездоровья Иона Овсеич вдруг рассердился, закричал, сколько можно тревожить по пустякам, когда придет, тогда придет, и бросил трубку. В первые минуты сделалось как будто легче, даже прибавилось силы, однако вскоре заскребились кошки на душе, стало по-человечески жалко эту женщину, которая искренне хочет, чтобы все было хорошо. Сейчас она, наверняка, продолжает стоять где-нибудь возле телефона, на холоде, и проливает слезы от незаслуженной обиды.

Иона Овсеич взглянул на часы, пассаж на Дерибасовской работает до девяти, можно еще успеть, с трудом поднялся, от ворот направился в сторону Пушкинской, подождал несколько минут троллейбуса и двинулся пешком. Вначале ноги были тяжелые, как две колоды, но постепенно размялся, зашагал быстрее, и теперь все заботы были об одном: как бы не опоздать. Пришел буквально в обрз, кассирша уже пересчитывала выручку и предупредила покупателей, что ее ждет инкассатор, Иона Овсеич подошел к прилавку, из двух продавщиц выбрал ту, которая поплотнее, повыше ростом, и попросил показать пару капроновых чулок, размером как на нее. Продавщица отрицательно покачала головой: капрона нет. Иона Овсеич возмутился: что значит нет! Вся Одесса

ходит в капроновых чулках — и нет капрона! Продащица, видимо, немного устала за день, тяжело прикрыла глаза и вторично покачала головой: капрона нет, есть фильдекосовые и фильдеперсовы. Иона Овсеич спросил, какие лучше, продащица пожала плечами, смотря на чей вкус, и положила на прилавок две пары, обе коричневые, почти шоколадные. Нет, сказал Иона Овсеич, он хочет посветлее, ближе к телесному цвету. Продащица ответила, посветлее вряд ли найдутся, открыла ящик и тут же, почти не пришлось искать, вынула другие две пары, желтоватый лист каштана, как бывают ноги у блондинок в конце лета. Эти понравились больше, Иона Овсеич внимательно осмотрел верхнюю часть и спросил, не будет ли тесновато, если плотные бедра. Нет, сказала продащица, фильдекос и фильдеперс хорошо растягиваются, в крайнем случае, может чуть не хватить в длину, но под платьем незаметно. Ладно, кивнул он, можно выписать обе пары, и пусть положат в какую-нибудь коробочку с поздравлением. Коробочки не было, нашли розовую ленточку с красивой надписью «3 святом 8-го березня!», это выглядело тоже довольно элегантно.

Дома, чуть не у порога, караулила Орлова, но вопреки ожиданию никаких обид и никаких претензий не было, сразу перешла к делу: сегодня вечером, было ровно шесть часов, она зашла к Катерине. Та приняла неплохо, но тут нагрязнул старый Чеперуха, как всегда пьяный, и заорал на весь двор, что в день выборов на агитпункте расскажет всем избирателям, как Дегтярь зажимал ему рот, украл у него из кармана письмо и угрожал сослать на Колыму. Катерина велела ему немедленно замолчать, но в ответ он еще громче разорался, заявил, что в этом дворе живут одни подлецы, в том числе его жена и невестка, а ему плевать на все с высокого полета, и пусть боится тот, кто боится.

Минуту посидели молча, затем Иона Овсеич поднялся, вынул из пальто сверток, положил его на стол, сверху виднелась ленточка «3 святом 8-го березня!», Ляля, когда прочла, сильно покраснела

— Да,— громко, с ударением произнес Иона Овсеич,— возможно, Бирюк был действительно прав.

После этих слов, Ляля не успела даже спросить, в чем был прав Бирюк, Иона Овсеич так раскашлялся, что казалось, человека вывернет наизнанку или лопнут сосуды в голове. Она схватила его за плечи, чтобы немного унять тряску, прижала к себе, как ребенка, но он еще больше заходился, вскочил с кушетки, лег животом на стол, несколько раз широко открыл рот, вылетал какой-то булькающий хриплый звук, затем подбежал к умывальнику, срыгнул. Ляля почувствовала, что сама задыхается, но, видимо, ему стало легче, кашель пошел на убыль, она набрала в стакан воды, пришлось держать двумя руками, так сильно дрожали, он прополоскал рот, сделал пару глотков, наконец свободно вздохнул:

— Как на свет родился.

На висках вздулись крупные, как бывает у лошади, вены, глаза смотрели такие усталые, такие измученные, и вместе с тем такие внимательные, такие понимающие, что Ляле хотелось упасть на колени, обхватить руками за ноги, и пусть бы так осталось навсегда.

— Орлова,— Иона Овсеич погрозил пальцем, синие губы сами, отдельно от лица, усмехнулись — выбрось эти мысли из головы. Ты уже не та Орлова, что была.

— Ах,— вскрикнула Ляля, закрыла глаза руками и повернулась спиной,— если бы с вами что-то случилось, я бы умерла!

Иона Овсеич прижал ладонью левый бок, сказал, где-то здесь все время покалывает, возможно, сухой плеврит, началось с того вечера, когда они гуляли на бульваре, а с моря дул ледяной ветер Ляля открыла лицо, глаза были полны слез, и повторила, что умрет, если с ним что-нибудь случится.

— Она умрет! — опять погрозил пальцем Иона Овсеич.— Я тебе умру: ты только ищешь лазейку, чтобы увильнуть от работы!

Ляля улыбнулась, вытерла платочком глаза, Иона Овсеич попросил, чтобы она зашла к Зиновию и привела его сюда. Если независимо от причины он не сможет, пусть передаст, что Дегтярь специально сидит дома и будет ждать хоть до трех часов ночи. Нет, замахала руками Ляля, нет, надо отложить на завтра: в

таком состоянии человек обязан лежать в постели, а не заниматься государственными делами.

— Орлова, — повторил Иона Овсеич, — зайди к Зиновию и приведи его сюда. И не будем понапрасну терять время.

Ляля вернулась через пять минут одна, без молодого Чеперухи, и передала, что он пожелал товарищу Дегтярю спокойной ночи, а утром, даст Бог, они повидаются. Иона Овсеич помолчал немного и спросил: он в курсе дела? Наверно, в курсе, ответила Ляля. Что значит «наверно», повысил голос Иона Овсеич, здесь надо знать точно, а не строить какие-то догадки.

Ляля оказалась права, Зиновий был полностью в курсе дела. Больше того, он сам изложил все, как было, начиная с того момента, когда старик устроил скандал на улице. Иона Овсеич спросил: какой же отсюда следует вывод? Гость задумался, в глазах было все что угодно, но только не осуждение по адресу отца.

— Зиновий Чеперуха, ты у меня дорого заплатишь, если этот старый биндюжник — я не хочу называть его твоим отцом! — позволит себе в день выборов сделать что-нибудь не так.

Гость поднялся, поправил шлею протеза, синие ледяные глаза нагло смотрели в упор:

— Я вам ничего не должен и ничего не заплачу.

— Зиновий Чеперуха, — Иона Овсеич собрал все силы, — не хватало дыхания, — даю тебе честное слово, ты у меня дорого заплатишь, если этот биндюжник...

Иона Овсеич закашлялся, схватился руками за бока, так меньше болело, и кивнул гостю: пусть идет.

На фабрике Иона Овсеич с трудом дотянул день, ушел раньше обычного, впереди ждало еще собрание жильцов, но дома окончательно расклеился, было ощущение, что все тело состоит из одной ваты, хотел заставить себя сделать гимнастику с долгим вдохом и выдохом, как советуют индийские йоги, но стало еще хуже: закружилась голова и просто счастье, что успел ухватиться за спинку кровати. Ляля, когда услышала, что после всего он думает еще проводить собрание жильцов, буквально пришла в ужас, силой взяла его под мышки, уложила на кушетку и велела принять таблетку аспирина: от аспирина он хорошо пропотеет и должно сделаться легче.

Он принял таблетку, запил глотком воды и сказал Ляле, чтобы внимательно выслушала его: здоров Дегтярь или нездоров, собрание должно состояться, он отметит ей места в газете, где подводятся итоги за тысяча девятьсот пятьдесят второй год, и вместе с людьми они прочтут вслух. В заключение, когда выступят женщины, которых она подготовила, надо будет сделать резюме, чтобы люди унесли с собой самое главное, а именно: как наш народ и вся страна вплотную приближаются к решению поставленной товарищем Сталиным в феврале сорок шестого года задаче по созданию материально-технической базы коммунизма.

Иона Овсеич лежал на боку, теперь он повернулся на спину, лицо было до того бледное, что Ляля сказала, надо позвонить, пусть приедет «скорая помощь», но в ответ получила лишь насмешливую улыбку: завтра день выборов, а сегодня Дегтяря забирает «скорая помощь». Интересно!

— Господи, — Ляля сплела пальцы, выворачивая ладони наружу, — это же не последние выборы, подумайте о себе!

От долгого разговора Иона Овсеич устал, сделал рукой знак, чтобы Орлова уgomонилась, и велел ей идти, а то еще опоздает. Ляля наклонилась, вытерла у него со лба капли пота и сказала, что пришлет кого-нибудь из женщин, пусть посидят возле него, пока она вернется.

— Орлова, — прошептал Иона Овсеич, — я прошу тебя, иди.

Ляля воротилась через полтора часа, Иона Овсеич удивился, что так быстро, она ответила, наоборот, ей казалось, прошла целая вечность.

— Ладно, — он повернулся к ней лицом, глаза открывались и закрывались, — ты не забыла сделать резюме?

Нет, ответила Ляля, не забыла: резюме она сделала, а потом Марина Бирюк и Дина Варгафтик еще раз повторили своими словами. Иона Овсеич

приоткрыл рот, нижняя губа немного отвисла: повторять своими словами не надо было, резюме — это последнее слово, с этим люди должны уйти домой.

Угол одеяла свесился на пол. Ляля подобрала его, Ляля положила под ноги, они были холодные, как лед, и повторила, что нужно вызвать «скорую помощь»; поликлиника принимает вызовы до двенадцати часов дня, а завтра вообще праздник.

— Слушай меня, Идалия, — сказал Иона Овсеич, — в пять-полшестого утра, пока не открылся избирательный участок, зайдешь к Зиновию и еще раз предупредишь насчет старого Чеперухи: будет, как обещал Дегтярь, если не примут все необходимые меры. Потом зайдешь к Феде Пушкарю: он мне жаловался, что слишком тонкий перестенок и каждый звук, каждое слово от Чеперух бьет прямо в ухо. Можешь посидеть с ним, пока он еще чувствует себя здесь во дворе чужим.

Ляля ответила, что обязательно зайдет к Феде Пушкарю и посидит, сколько надо, взяла с кровати покойной Полины Исаевны подушку, положила на подоконник, поставила рядом стул и тихонько прикорнула. Иона Овсеич вначале не обратил внимания, возможно, задремал, затем увидел ее прикорнувшей к подоконнику, велел, чтобы легла на кровать Полины Исаевны. Ляля ответила, нет, ни за что на свете, но больной приказал вторично, иначе пусть уходит к себе, и пришлось уступить.

Среди ночи она несколько раз просыпалась, казалось, кто-то зовет, вставала, подходила к больному, прислушивалась к его дыханию и старалась рассмотреть в темноте лицо: нижнюю челюсть сильно оттянуло книзу, немного назад, чем-то в профиль напоминало птицу, изо рта вытекала струйка слюны, первый раз она очень испугалась, думала кровь, осторожно вытерла краем своей рубахи, на мгновение охватило какое-то нехорошее предчувствие, захотела кричать, разбудить его, с трудом сдержала себя, потом, хотя уже заснула, все равно чувствовала тревогу и сквозь сон продолжала прислушиваться.

В пять-начале шестого Иона Овсеич сам окликнул ее, сказал, что пора, избиратели уже проснулись, она быстренько умылась, собралась приготовить больному завтрак, но он отказался наотрез и велел немедленно спуститься к Чеперухе, а то эти старые одесские биндюжники имеют привычку начинать свой день в четыре часа утра.

Иона Овсеич почти угадал: когда она зашла к Чеперухам, Зиновия уже не было, старик сидел за столом, в глазах еще держалось похмелье со вчера, Катерина поставила перед ним шкалик, он выпил, крикнул и поднялся, чтобы выйти, но невестка загородила дорогу и заявила, что в таком виде из дому не выпустит. Старик возмутился, закричал, что все выборы он привык первый приходить на избирательный участок, в ответ Катерина закрыла двери на замок и спрятала ключ в карман.

— Это капкан! — старик схватился за голову. — Это ловушка! Внуки, родные мои внуки, посмотрите, как они поступают с вашим дедом!

Старик допил свой шкалик, лег на диван, укрылся газетой и захрапел. В девять часов, уже успел проголосовать почти весь двор, Катерина с бабушкой Олей предупредили, что старый Чеперуха заболел, и просили прислать урну на дом.

Урну и конверт с бюллетенями принесла молоденькая девушка, больной скрежетал зубами и всхлипывал во сне, девушка хотела подождать, пока он не проснется, но Катерина объяснила, что только недавно заснул и неизвестно, сколько придется сидеть, а на участке, наверно, еще есть нуждающиеся. Бабушка Оля взяла у девушки конверт, вынула бюллетени, отвернулась, перегнула пополам и опустила в урну.

Иона Овсеич, когда Ляля проинформировала его во всех подробностях, сказал, что здесь допущено грубое нарушение, и на месте старого Чеперухи он бы немедленно пошел жаловаться. Ляля сильно огорчилась, предложила сходить к председателю избирательной комиссии и чистосердечно во всем признаться.

Больной молчал, на лице торчал синий, как будто собственная тень, нос, Ляля заломила пальцы — ну, зачем, зачем она должна была все рассказывать! — он велел подать ботинки, одежду, она замотала головой, нет, она не будет

убийцей, заклала его своей жизнью, что не посмеет встать, в ответ больной потребовал прекратить кликушеские штуки, приподнялся, сел, опираясь ладонями на край кушетки, она смотрела безумными глазами, он попросил помочь ему, всё равно надо спуститься вниз проголосовать, она взяла его за руки, чтобы остановить, он сделал попытку освободиться, и тут оба упали. Она опасалась, что придавит его своим телом, чудом извернувшись, и оказались на кушетке рядом, лицом к лицу. В нос ударял запах крепкого пота, Ляля невольно задержала дыхание, минуту-другую лежали без движения, как будто притаились и чего-то ждут, она вздрогнула, через все тело прошел озноб, в голове, наоборот, сделалось жарко. Иона Овсевич немного подвигался туда-сюда, застонал, ей захотелось обнять его, прижать к себе покрепче, но не могла решиться, и вдруг помимо ее воли неизвестно откуда, неизвестно на кого поднялась досада, злорадия, Ляля сказала, пора на участок, наверно, уже ищут, и приказала больному лежать в постели, она передаст, чтобы урну прислали на дом.

Поскольку председателя комиссии срочно потребовали в исполком, урну принесла его заместитель, с ней пришла старуха Малая, прямо с порога она сообщила, что хочет увидеть своими глазами это небывалое зрелище, больного Дегтяря, велела включить свет, присела на кушетку у самого изголовья, нахмурилась и громко спросила: кто распустил эти глупые сплетни, что Дегтярь болен?

— Дегтярь, — Клава Ивановна наклонилась, с удовольствием потрепала по щеке, — поверь мне: у тебя такой цвет лица, что женщины могут только завидовать.

Иона Овсевич улыбнулся, зажмурил глаза от яркого света:

— Малая, Дегтярь еще не покойник, опасно так перехваливать.

— Все, — хлопнула в ладони Клава Ивановна, — хватит притворяться, вставай и одевайся.

Больной рывком, по-солдатски, откинул угол одеяла, лихо повернулся на бок, похоже было на чудо, как в картине «Праздник святого Йоргена», когда молодой Игорь Ильинский, который играл жулика, отбросил свои костыли и начал танцевать, но вдруг схватился руками за грудь и зашелся в таком кашле, что Ляля Орлова и гостья из комиссии просто перепугались. Одна Клава Ивановна сидела с каменным лицом, каждые десять секунд хлопала больного по спине и требовала, чтобы успокоился. Больной зажимал ладонями рот, пытаясь загнать кашель внутрь, но ничего не помогало, скорее наоборот, Клава Ивановна велела дать ему эфедрин, Ляля растерянно пожала плечами, старуха закричала на нее: все хотят только тянуть соки из Дегтяря, а на столике нет даже эфедрина!

Больной еще несколько раз кхекнул, кхакнул, укоризненно покачал головой и сказал: все внутренности перевернуло. Клава Ивановна ответила, ничего, до свадьбы заживет, сделала знак женщине из комиссии, чтобы подала урну и конверт, приказала всем отвернуться, Ляля положила рядом с урной самопишущую ручку, Иона Овсевич внимательно прочитал бюллетени, на левой стороне имя, отчество и фамилия кандидата в депутаты, на правой — какой организацией выдвинут, две-три секунды помедлил, была последняя возможность внести изменения, и решительно опустил. Заместитель председателя избирательной комиссии тепло поздравила товарища Дегтяря, пожелала ему скорейшего выздоровления, в присутствии свидетелей дополнительно проверила сургучную печать, два шпателька, все было на месте, Иона Овсевич, со своей стороны, сердечно поблагодарил комиссию за внимание и напомнил, чтобы не мешкали, до двенадцати ночи дел еще хватит.

Гостья ушла, Ляля под села поближе к больному, старуха рассказывала, какой чудесный в этом году буфет на участке, масло завезли ящиками, люди берут по два кило, сырокопченая московская колбаса не хуже, чем была когда-то у Дубинина, на Дерибасовской угол Преображенской. — Дегтярь, ты помнишь эту колбасу! — и отдельно похвалила пластинки: Утесов, Лемешев, Клавдия Шульженко. Рашид Бейбутов и целый комплект ансамбля песни и пляски Советской Армии.

Больной лежал на спине. глаза были закрыты.

— Малая, — больной повернулся на левый бок, на правый, потом опять на спину, — Малая, мне что-то не по себе.

Клава Ивановна внимательно посмотрела, сказала, наверно, ему лучше посидеть, чем лежать в постели, она сейчас пошлет за своей качалкой, больной в ответ горько усмехнулся, провел рукой в сторону двери, пусть идут, ему хочется подремать.

Как только гости ушли, позвонили с фабрики, Ионе Овсеичу пришлось дважды назвать себя — то ли не расслышали, то ли не узнали — на участке проголосовало девяносто восемь процентов, в связи с этим запрашивали, нельзя ли отпустить тех агитаторов, которые уже обеспечили по своим дворам сто процентов. Иона Овсеич спросил, на каком месте идут по району, оказалось далековато, где-то на третьем-четвертом, часть агитаторов разрешил отпустить, а остальные пусть включатся для помощи отстающим: надо выйти во что бы то ни стало, по крайней мере, на второе.

С улицы донеслась песня «Широка страна моя родная», Иона Овсеич невольно вздохнул, припомнил тридцать седьмой год, когда по всей Одессе — в кино имени Фрунзе, Постышева, Короленко, Уточкина — показывали картину «Цирк». Люди смотрели по пять раз, и каждый раз снова переживали за Любовь Орлову и ее маленького сына-негритенка, она пела немножечко в нос, с американским акцентом, под самым куполом цирка: Мэри, верит в чудеса, Мэри едет в небеса! — и могла в любую секунду сорваться с этой смертельной высоты на землю. А в конце картины, радостная, со счастливой улыбкой на лице, она шагает вместе с нашими людьми в одной колонне, рядом с ней красавец Мартынов, все в белых свитерах, как на физкультурном параде, и хором поют:

Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Пластинка закончилась, Иона Овсеич вытер ладонями слезы, в комнате воцарилась тишина, как будто вдруг в самом разгаре оборвался праздник, мучительно хотелось повторить все сначала, чтобы вернулась молодость, тридцатые годы, когда начали строить коммунизм и никто не думал про войну с Гитлером, которая отодвинет коммунизм на пятнадцать, а может быть, и на все двадцать лет.

В одиннадцать часов позвонили с фабрики, проголосовало свыше девяноста девяти процентов всех избирателей, вышли на второе место в районе. Иона Овсеич сказал, что можно отпустить еще несколько агитаторов, в первую очередь семейных, а остальных надо разослать по адресам, пусть дежурят у ворот, у дверей, в парадных, где угодно, но до двенадцати должны обеспечить стопроцентную явку.

От резких движений, когда говорил по телефону, в боку начало снова колоть, хотелось засунуть палец между ребрами, чтобы точно определить место, пока шарил и ощупывал себя, прибежала Орлова, вся запыхалась, раскраснелась и на ходу закричала: сто! Больной поднял голову, взял со стула часы, секундная стрелочка быстро делала круг за кругом, как будто кто-то подгонял и подстегивал, положил на место, от сильной боли над переносицей собрались складки, и сказал:

— В этом году на один час двадцать минут раньше, чем в прошлом.

Через полчаса приехала «скорая помощь», Бирюк и Хомицкий помогли снести больного, сзади шли Клава Ивановна с Орловой, Иона Овсеич смотрел вверх — потолок, лестница, кусочек неба, — все плыло и качалось, тело сделалось непривычно легким, вроде не стало опоры, вроде земля, которая всю жизнь притягивала, вдруг отпустила, и повис где-то в пространстве.

В больнице Сталинского района был сегодня urgentный день. Дежурный врач взял направление, записал больного в книгу приемов, велел сестре поставить ему градусник, а сам пошел в отделение. Еще не начинались сумерки, но было явственное ощущение, что на дворе поздний вечер, темно, а здесь, в приемном покое, уютно горела желтая лампочка, от кафельной печки по-

домашнему веяло теплом, казалось, вот-вот зайдет мама, родная мамочка, и скажет: проснись, мой мальчик.

Иона Овсевич вздрогнул, сестра вынула из-под мышки термометр, тридцать восемь и одна, сказала, к вечеру подыметься еще, сделала отметку в температурном листке и занялась своими шприцами: вода в стерилизаторе перекипала через край, заливала спираль электроплитки, на паркетном полу, под табуретом, образовалось бурое пятно.

Вечером, как предсказывала сестра, жар действительно усилился, труднее стало дышать, принесли подушку с кислородом, сделали укол, Иона Овсевич пытался заснуть, но тут же, от сильного толчка, просыпался, в голове все путалось, какие-то жандармы, Полина Исаевна, немцы в зеленых касках, одноногий Котляр, сумасшедший Граник со своей улыбкой, в ушах гудело, свистело, гремело, словно балаган или дикий шабаш; уродливый горбун, лицо было мучительно знакомое, падал с лошади, ноги застряли в стремянах, и кричал диким голосом: «Коня! Полцарства за коня!»

Тяжелое состояние держалось больше трех суток, больному вводили антибиотики, физиологический раствор, глюкозу, искололи все вены, буквально живого места не осталось, каждый день звонили товарищи из Сталинского райкома, спрашивали, не нужно ли какого-нибудь дефицитного лекарства. Перевели в другую палату, на две койки, вторая тоже временно оставалась свободной, сверху предлагали место в обкомовской больнице на улице Петра Великого, специально для партаппарата, бывших политкаторжан, пенсионеров союзного значения и людей, имеющих особые заслуги, заведующий отделением и главный врач отвечали, что в данный момент товарищ Дегтярь нетранспортабелен, кроме того, он получает здесь все, что способна дать сегодня медицина. Старухе Малой и Ляле Орловой выписали отдельный пропуск, который давал право навещать ежедневно, Ляля не щадила себя, сидела до смены, после смены, а иногда умудрялась забежать и в обеденный перерыв.

На четвертый день как будто наметилось улучшение, Иона Овсевич впервые сам попросил стакан чаю с лимоном, Ляля на радостях выжала пол-лимона, больной вынужден был отказаться, слишком много кислоты, и сказал, пусть положит один ломтик, чтобы видно было, как плавает на поверхности. Она вырезала кружочек из середины, где толще всего, бросила в стакан, чай немного побледнел, больной отпил несколько глотков, передохнул, лежа на боку, опять отпил, почти до половины, поставил стакан рядом, прямо на одеяло, и закрыл глаза. По лицу было видно, что сильно устал, Ляля прикусила губу, покачала головой, Иона Овсевич жалобно, как маленький мальчик, застонал, надо было иметь железные нервы, чтобы слушать этот стон, из глубины живота, ударило страшное предчувствие, хотелось закричать диким голосом, она с трудом пересилила себя.

Первого марта, как по заказу, выдался настоящий весенний день, за окном, на дереве, весело прыгали воробьи, чирикание было такое громкое, словно в птичнике зоопарка, Иона Овсевич попросил распахнуть обе створки, врач разрешил на десять минут, не больше, едва отворили, с улицы полился чистый, с последними остатками зимы воздух. Больной широко раскрыл рот, закрыл, опять открыл, хотелось жевать и жевать без конца, послышался звонок, по соседству была школа, звонили долго, видимо, дети заигрались и не замечали, из глаз выкатились две большие слезы, Боже мой, как хорошо жить на свете, а люди не умеют ценить, жизнь такая короткая, пробежит — не успеешь оглянуться, Иона Овсевич оперся на локти, приподнялся, появилась уверенность, что все будет хорошо, надо только как полагается захотеть, набросил на себя одеяло, взялся рукой за кровать, за спинку стула, ноги совсем не слушались, за несколько дней почти разучился ходить, с трудом добрался до подоконника, сердце то замирало, то с разбегу ударялось в горло, подступала отвратительная, со сладковатым привкусом, тошнота, на миг охватывал безумный страх, казалось, вот-вот отлетит душа, просто кусочек голубого неба, прикрепленный где-то внутри, под грудиной, на ниточке, на паутинке, Иона Овсевич еще раз вдохнул поглубже, закружилась голова, потемнело в глазах, чудом удержался на ногах.

К вечеру стало хуже, сделали укол камфары, укол кордиамин, принесли подушку кислорода с углекислым газом, опять появилось ощущение, будто

земля перестала притягивать, тело плавает в воздухе, старуха Малая держала за руку, считала пульс и говорила, что при таком пульсе Дегтярь должен себя чувствовать лучше. Иона Овсевич вначале не реагировал, а потом, когда немого отпустило, сказал:

— Малая, когда плохо, так плохо.

На следующий день девушки с фабрики прислали товарищу Дегтярю букетик подснежников и корзинку с консервами и апельсинами, словно готовится экспедиция на Северный полюс. Иона Овсевич положил несколько апельсинов в карман нянечке, пусть отдаст своим детям, две штуки съел сам, а корки собрал в бумажку и спрятал в тумбочку: для чая.

Пришел гость из райкома, товарищ Артюхов, передал общий привет и пожелание, чтобы Дегтярь поскорее перестал прикидываться, а то дурной пример заразителен: уже и Когут загрипповал, второй день подряд сорок, доктора никак не собьют температуру. Иона Овсевич ответил в шутку, что готов поменять свою двустороннюю пневмонию на один когутовский грипп, гость засмеялся и погрозил пальцем: знаем мы эти дегтярские шахер-махеры! Больной беспомощно развел руками, Клава Ивановна вдруг набросилась на гостя: чем приходить с такими гадостями, лучше вообще не приходить. Артюхов покраснел, удивился, чего это старуха лезет в бутылку, но добавил: если что и вправду не так, пусть товарищ Дегтярь извинит. Иона Овсевич сказал: какие извинения, у них с Малой старая любовь, она просто ревнует.

Гость еще немного посидел, говорили про дела в области, вот-вот начнется посевная, Конупа, Занозу, Пацелю уже послали в район, красноокнянцы чего-то загрузили с ремонтом техники, а в целом картина вырисовывается неплохо, с кормами только туговато, есть, конечно, и гады, скот режут, тайком сбывают среди своих. Ну ничего, тут первый сам кой-кого за шиворот поддел. Гость весело подмигнул, сделал большим пальцем снизу вверх, Иона Овсевич протяжно вздохнул: колхозу без малого четверть века, а кулак все еще находит себе притулок.

— Ну, будь!— Артюхов дружески похлопал по плечу, сказал, что завтра-послезавтра планируется рейд на обувную, пока Дегтярь болен, райком взял под свой усиленный контроль, у дверей вспомнил про шоколадку в кармане, вынул, положил больному на живот и велел поправляться.

Клава Ивановна, когда гость ушел, вернулась в палату, присела на угол койки.

— Артюхов! На тебе: Артюхов! Откуда он взялся?

Иона Овсевич молчал, под глазами легли огромные, как царский пятак, каленые круги, а старуха, будто ослепла и оглохла, еще больше расхотелась: почему Дегтярь позволил, чтобы какой-то Артюхов с ним так разговаривал!

— Малая,— с трудом произнес Иона Овсевич,— успокойся: это не какой-то Артюхов, это заведующий промышленным отделом. Он хороший парень.

— Хороший парень,— покачала головой старуха,— ой, Дегтярь, Дегтярь!

Больной повернулся на другой бок и тихонько застонал:

— Малая, почему мне так нехорошо? Эти антибиотики уже давно должны были помочь.

Перед рассветом, небо еще было черное, но звезды теряли свою яркость и мигали все быстрее, вроде догорают и очень торопятся, нахлынула жуткая тоска. Было ощущение такого одиночества и такой безысходности, как будто за всю жизнь ни с кем не обмолвился ни единым словом, не слышал человеческого голоса, а пролетел, прочертил — куда-то, откуда-то, — на полсекунды след в пространстве и погас. Иона Овсевич пытался вызвать приятные воспоминания, что-нибудь из детских лет, но все сбилось в одну точку, время не разделяло событий, начало было концом, конец был началом, прошедшее, настоящее, будущее — все было позади.

— Я умираю,— прошептал Иона Овсевич,— мамочка, я умираю.

По всему телу, как будто в один миг смазали с головы до пят эфиром, прокатилась волна ледяного холода, перехватило дыхание, сердце сделалось огромным, от живота до горла, но продолжало уплотняться, разбухать, ребра уже не выдерживали натиска, дальше могло быть только одно — взрыв, тело разнесет на миллионы частиц, частицы разлетятся во все стороны!— больной

собрал последние силы, прижал ногу к ноге, руки к туловищу, голова приросла к подушке. и вдруг изнутри трахнуло, мотнуло, из-под спины рвануло кровать, едва успел схватиться руками. бесчисленные будильнички ударили своими молоточками и били, били, били, пока Иона Овсеич не заплакал — свободно, не стесняясь, как плакал далеко-далеко в детстве.

Начало светать, за стеной, в соседней палате, включили радио: Москва передавала утренний выпуск «последних известий». Раньше всех в Туркмении закончил весенние полевые работы колхоз имени Калинина Тедженского района Марыйской области. Всего на один день от соседей отстали труженики сельхозартели имени Героя Советского Союза Курбана Дурды, теперь оба колхоза соревнуются за досрочное выполнение своих обязательств перед государством. Отличный подарок Родине преподнесли станкостроители Одесского завода имени Кирова: они сконструировали станок с программным управлением, на котором обработка деталей может вестись с точностью до тысячных долей миллиметра.

Иона Овсеич вздрогнул, как будто неожиданно окликнули по имени, завод Кирова — это буквально пятнадцать минут ходьбы отсюда, хотелось, чтобы диктор повторил еще раз. но уже передавали сообщение, только что полученное из Казахстана. — досрочно завершив февральское задание, шахтеры Караганды отгрузили сверх плана десятки эшелонов угля, — внутри закипало чувство возмущения и протеста. почему он должен валяться в постели, когда все вокруг трудятся и заняты своим делом, минувшая ночь вспомнилась как что-то постороннее, чужое, вроде происходило не с ним, а с кем-то другим, незнакомым, пришла Ляля, глаза были испуганные, всю ночь, до самого утра, ее преследовали кошмары. даже страшно повторять, Иона Овсеич махнул рукой, пусть обращается со своими снами к цыганке-гадалке, и первый раз за время болезни спросил, как идут дела во дворе. Ляля по инерции ответила, что надо сначала выздороветь, а дела потерпят, не убегут, но Иона Овсеич пропустил мимо ушей и поставил уже конкретный вопрос: как вел себя в эти дни старый Чеперуха? Ляля замаялась, по глазам было видно, что совершенно упустила из виду, Иона Овсеич забарабанил пальцами по койке, задал дополнительный вопрос, держит ли она контакт с Федей Пушкарем, тот наверняка больше в курсе дела, чем Орлова.

— Господи, — Ляля с силой сплела пальцы, послышался хруст, — я виновата, накажите меня, но я не могла ни о чем думать в эти дни: вам было так плохо!

Больной приподнялся на локтях, в глазах светилась насмешка: кому нужны эти сочувствия, эти переживания, если Орлова просто опускает руки и ждет у моря погоды. а Иона Чеперуха тем временем втихомолку радуется про себя и ликует, ага, Дегтяря взяла хвороба, значит, можно разгуляться во всю Ивановскую! Нет, встрепенулась Ляля, нет, это неправда, весь двор по десять раз на день спрашивает, как здоровье товарища Дегтяря, а Катерина Чеперуха обещала достать у себя на заводе какие-то особенные витамины.

— Орлова, — Иона Овсеич провел языком по губам, — я говорю не про Катерину Чеперуха, я говорю про Иону Чеперуху.

Ляля опустила глаза и молча теребила тесемки халата. Что она могла ответить: что Катерина Чеперуха и старый Чеперуха — одна семья? Да, одна, но одна семья — это не один человек. Даже один человек не всегда бывает одинаковый, сегодня так, завтра иначе, а послезавтра еще иначе. Хорошо, Ляля подняла голову, глаза смотрели в этот раз прямо, не убежали, чувствовалось, что действительно осознала, она сегодня же зайдет к Феде Пушкарю, и вдвоем послушают, о чем говорят у себя за стеной Чеперухи.

Заглянула сестра, попросила гостей удалиться, сейчас начнется обход. Иона Овсеич как раз задумался насчет Бирюков, интересно, каких успехов за минувшую неделю смогли добиться, но трудно было найти подходящую форму для вопроса, поскольку сестра вторично напомнила, что начинается обход.

Обход начали минут через сорок, доктор с порога велела больному снять рубаху, тут же присела на койку, выслушала со всех сторон через фонендоскоп, потом долго ощупывала, пальпировала, перкутировала, измерила тоно-

метром давление, отдельно на левой руке, отдельно — на правой, была небольшая разница, наконец разрешила лечь.

— Молодец, Дегтярь. Сегодня я вами довольна.

— Довольны? — переспросил Иона Овсевич. — Зато я вами недоволен.

Доктор машинально отодвинулась, в глазах промелькнул испуг, немного побледнело лицо, Иона Овсевич ласково взял за руку и поспешил успокоить: он недоволен тем, что согласны так долго с ним возиться, а он пользуется случаем и лодырничает. Доктор сняла очки, протерла уголком халата, близорукие глаза сильно щурились, теперь лицо было совсем другое, просто женщина, у которой свои заботы с семьей, с детьми.

— Знаете, у нас были здесь такие дни. В январе. В феврале.

Во рту появился неприятный осадок, Иона Овсевич сделал непроизвольное глотательное движение, отпустил руку доктора, перевел разговор на другую тему: когда, ориентировочно, смогут его выписать? Доктор опять надела свои очки, в глазах появилось обычное выражение, вроде знает о больном больше, чем он сам о себе знает, но обязана держать в секрете, а больной не вправе даже подозревать, улыбнулась одними уголками рта.

— Дегтярь, мы не шаманы и не знахари, мы врачи. Медики.

Иона Овсевич повернул голову немного набок, сощурил по старой привычке один глаз, тем более, как любая наука, медицина тоже должна иметь свои сроки и прогнозы.

— Дегтярь, — на лице сохранялась прежняя улыбка, Иона Овсевич опять почувствовал неприятный осадок во рту, — медицина не математика, не химия. Даже не сельское хозяйство.

— Даже не сельское хозяйство, — удивился Иона Овсевич, — а почему именно сельское хозяйство?

— Ну, — пожалала плечами доктор, — я могла сказать физика, астрономия, геология.

— Конечно, — подтвердил Иона Овсевич, — какие могут быть сомнения, просто само по себе с языка сошло сельское хозяйство. Я понимаю.

Наступила пауза, доктор на миг о чем-то задумалась, по лицу пробежала тень, поднялась с койки, заложила руки за пояс халата и громко, в голосе опять чувствовалась уверенность, сказала:

— Хорошо. Я полагаю, через недельку мы сможем выписать вас.

— Спасибо, доктор, — Иона Овсевич сложил руки на животе, — вы слишком много времени тратите на меня.

Да, повторила доктор, через недельку можно будет выписать, денька три придется отдохнуть еще дома, больница выдаст бюллетень вперед, а потом — обязательно в санаторий, хорошо бы кардиологический, она сама позвонит на фабрику.

Иона Овсевич хотел сказать, что нет надобности звонить на фабрику, сейчас не время для отдыха, но доктор уже отворила дверь и быстро захлопнула за собой. Нескольким секундам она стояла в коридоре неподвижно, глаза сделались колющие, маленькие, стекла еще сильнее уменьшали, подбежала Орлова, испуганным голосом спросила, что случилось, наверно, ему нехорошо, доктор вздрогнула, получилось неожиданно, и сказала, нет, напротив, ему значительно лучше. Ой, хлопнула в ладони Ляля, значит, скоро можно будет домой!

— А вот этого, — вдруг рассердилась доктор, — я не знаю.

Ляля немного растерялась, сказала спасибо, хотела зайти в палату, но доктор остановила ее и предупредила, что больше нет нужды дежурить возле больного. Ляля сделала вид, что послушалась и направляется к выходу, на самом деле спряталась у лестничной площадки, подождала две-три минуты и тихонько, на цыпочках, пробежала обратно в палату. Иона Овсевич был уверен, что она давно ушла, получился приятный сюрприз, налил ей стакан чаю из термоса, открыл свежую пачку бисквита, высыпал из кулечка шоколадные конфеты с белой начинкой, вчера прислали женщины с фабрики, спросил насчет Гизеллы Ланды, где она сейчас, у себя или у своей сестры, особо поинтересовался семьей Бирюковых, в частности, Мариной, по некоторым данным, у нее назревал конфликт с Ландой по квартирному вопросу, Ляля успела сделать глоток чаю, откусила кусочек бисквита и хотела ответить, но тут внезапно распахнулась

дверь, на пороге появилась доктор и буквально набросилась: как не стыдно обманывать врача! Взрослая женщина, а ведет себя хуже школьницы: прячется на лестнице и ждет удобного момента, чтобы прошмыгнуть!

Ляля что-то залепетала в ответ, открыла сумочку, пальцы сделались деревянными, с трудом нашла пропуск, доктор мгновенно выхватила, разорвала пополам, еще раз пополам и приказала немедленно оставить палату.

Ляля выскочила, словно ошпаренная, забыла даже попрощаться.

— Дегтярь, — доктор запнулась, видимо, колесбалась, говорить или не говорить, — я не хотела, но теперь вынуждена сказать: многие наши больные возмущены тем, что некоторые пациенты имеют здесь особые привилегии. Мне пришлось объяснять им, что вы в тяжелом состоянии.

Иона Овсич помедлил, требовалось время, чтобы собраться с мыслями, доктор терпеливо ждала, руки заложила за пояс, слышно было, как похрустывает халат, должно быть, перекрахмалили, наконец больной приподнялся, локти отставил немного назад, от большого усилия вздулись вены, и осипшим голосом произнес: да, они правы, он сам должен был догадаться, что у него здесь особые условия.

— Доктор, — обратился Иона Овсич, — у меня к вам просьба: передайте своему заведующему, что больной Дегтярь просит, не просит, а требует, чтобы его немедленно пересели в общую палату — для всех.

Доктор пожала плечами: это невозможно, сейчас нет ни одной свободной койки, больные лежат в коридоре. В коридоре, поразился Иона Овсич, и это в то время, когда рядом с ним в палате пустует кровать! Доктор опять пожала плечами: что значит пустует — это резерв для особо тяжелых случаев, распоряжается сам главврач. Хорошо, сказал Иона Овсич, тогда больной Дегтярь требует, чтобы ему дали койку в коридоре, а если нет, пусть заведующий придет сюда, он хочет поговорить с ним лично. Ладно, кивнула доктор, она передаст.

Ответа пришлось ждать довольно долго, Иона Овсич уже хотел попросить санитарку, чтобы напомнила, но тут вернулась сама доктор и сообщила: заведующего отделением и главврача сегодня не будет — вызвали в райком, на бюро.

— Обоих сразу? — переспросил Иона Овсич.

— Сразу, — с ударением произнесла доктор, — старшая сестра сейчас здесь — можно ее прислать, она подтвердит. Доктор продолжала стоять на месте, спросила, можно ли ей идти, в голосе послышались какие-то знакомые нотки — похоже на Ланду, нет скорее на Липидиса, тот был особенно большой охотник поиронизировать, — в животе, ближе к ребрам, у Ионы Овсича внезапно сделалось горячо, бешено застучало сердце, во всем теле, особенно в руках и ногах, напряглись мускулы, хотелось немедленно вскочить, трахнуть кулаком по столу, но секунду спустя охватила дикая слабость, вдоль позвоночника скользнули змейки холодного пота, он невольно прижался к матрацу, лицо доктора то наплывало, расплываясь, как в мутной воде, то поспешно удалялось, наконец остановилось, и снова прозвучал нарочито вежливый голос:

— Дегтярь, я должна идти, меня ждут больные. Пожалуйста, лежите спокойно и не взвинчивайте себя.

Минут через пять зашла сестра, в правой руке торчал шприц, игла прикрыта ваткой, велела больному повернуться спиной. Иона Овсич спросил, какой укол она собирается ему сделать, сестра сказала, анальгин с димедролом, Иона Овсич удивился, а откуда видно, что это анальгин с димедролом.

— Слушайте, Дегтярь, у меня кроме вас еще тридцать больных. Хотите делать, поверните свою жену, не хотите — не надо.

Иона Овсич не отвечал, молча смотрел в глаза, несколько секунд сестра выдерживала, вдруг засмеялась, выпустила из шприца струю в воздух и пошла за ампулами. Пока она отсутствовала, больной, чтобы не терять даром времени, спустил кальсоны до колен и лег на живот. Через минуту отворилась дверь, но оказалось, что пришла Малая.

— Что такое, — воскликнула старуха прямо с порога, — почему ты так лежишь: тебе должны ставить клизму?

Какая клизма, сердито ответил Иона Овсич, он ждет сестру, она должна сделать укол. Малая помогла натянуть кальсоны и сказала: ну, в добрый час, раз

в таком неглиже он ждет сестричку с уколом, значит, дело пошло на улучшение. Старуха присела на кровать, кошелку поставила возле ног, вынула кастрюльку с бульоном, еще горячий, надо сейчас же выпить, Иона Овсеич буквально затрясся:

— Что вы меня позорите на всю больницу, то одна, то другая сидят целыми днями, а люди вокруг возмущаются!

— Возмущаются? — удивилась Малая. — Люди просто не знают, кто здесь лежит, надо им объяснить.

— Малая, — Иона Овсеич закрыл глаза, — придешь в посетительский день, как все, с пяти до семи. Дай сюда свой пропуск.

Клава Ивановна не успела спросить, для чего, машинально подала, больной разорвал его на мелкие кусочки.

— Иди. До свиданья.

Возле дверей Клава Ивановна на секунду остановилась:

— Ты думаешь, старуха Малая на тебя обиделась? Нет, я счастлива, что ты опять стал похож на Дегтяря.

Сестра принесла анальгин и димедрол, положила ампулы на тумбочку, чтобы Иона Овсеич мог проверить, он отказался, сам послушно лег на бочок, когда игла вонзилась в тело, слегка дернулся, сказал спасибо и на прощание добавил:

— Сестрица, то, что произошло раньше, не принимайте на свой счет. Это по другому адресу.

Остаток дня и вечер Иона Овсеич провел сравнительно неплохо, даже захотелось встать, прогуляться по коридору, конечно, сказывалось и обычное нетерпение больного, которому, чуть становится лучше, уже кажется, что выздоровление идет слишком медленно, Иона Овсеич сделал несколько шагов от кровати к окну и обратно, выглянул в коридор, вдоль стены стояли четыре койки, у изголовий — белые табуреточки, не так страшно, как показалось днем, возле мраморной лестницы мужчины играли в домино, двое ударяли по столу с особенной силой, трудно было поверить, что больные, невольно брала зависть, впору было напомнить этим молодцам, где находятся, Иона Овсеич посмотрел вокруг, к сожалению, из медперсонала никого поблизости не было, от напряжения немного закружилась голова, пришлось вернуться на койку.

Часов до двенадцати лежал с открытыми глазами, мысленно перебирал дела, фабричные и дворовые, которые не успел довести до конца, однако фабрика вызывала меньше тревоги, ее взял под свой контроль сам райком, а двор остался, по сути, безпризорным. Бирюк, как ни хорохорится, сегодня еще только гость во дворе. Даже квартиру Ланды, если не направить его как следует, наверняка проворонит, а в итоге Гизеллу все равно выселят и достанется кому-нибудь со стороны. Надо будет завтра же передать Марине, чтобы зашла в больницу, она сразу поймет, что к чему, и сумеет поставить своего майора в оглобли. Ну, а с Чеперухой торопиться, пожалуй, не следует, тут работы не на один день.

— Ой, Чеперуха, Чеперуха, — с болью выговорил вслух Иона Овсеич, — какая тебя муха укусила!

За окном, на жестяном карнизе, послышалась какая-то возня, вроде кто-то царапался и хотел проникнуть в дом, Иона Овсеич выключил свет, в темноте присмотрелся, похоже было на птичку, хотя в такое время птицы обычно спят. в душе появилось сочувствие и жалость к живому существу, которое не может найти себе места и, наверно, хочет, чтобы его пригрили, приласкали, тихонько позвал переливчатым свистом, возня на несколько секунд прекратилась, Иона Овсеич невольно засмеялся, птица, а понимает, где хорошо, надо будет завтра насыпать побольше хлеба, пусть поклюет, повернулся на левый бок, лицом к стене, и заснул крепким, глубоким сном.

Утром проснулся в хорошем настроении, взял утку, чтобы помочиться, но тут же отставил и впервые, с тех пор как слег, самостоятельно прошел в туалет. Пока возвращался в палату, началась небольшая одышка, но это было в порядке вещей: скорее следовало бы удивляться, если бы не было одышки. Несколько минут полежал спокойно, все пришло в норму, потрогал ладонями щеки, щетина выросла такая, словно целый месяц бродяжничал в лесу и

первым делом, когда появилась нянечка, спросил насчет парикмахера. Оказалось, парикмахер уже здесь и принимает ходячих больных. На очереди был всего один человек, Иона Овсеич взял свободную табуретку, присел, приятно пахло одеколоном, парикмахер, видно, большой любитель поболтать, как все парикмахеры, рассказывал клиенту какую-то глупую историю про женщину, на которой женился один его знакомый, а когда сошлись поближе, оказалось, что эта женщина ко всему еще немножечко мужчина, получилась некрасивая история, теперь тот подает на развод.

Подошла очередь Ионы Овсеича, он пересел в зубо врачебное кресло с подголовником, парикмахер удивился, что не встречались раньше, хотя, судя по бороде, больной здесь уже имеет прописку. Пришлось объяснить, что положили с двусторонним воспалением легких, говорят, было тяжелое состояние, сегодня первый раз поднялся. Парикмахер намылил щеки, хорошо взбил пену и сказал, что, с тех пор как изобрели пенициллин, пневмония — это уже не та пневмония, когда умирали через одного. Рак, канцер, — это болезнь, а пневмония — это теперь не болезнь. Иона Овсеич сидел с закрытыми глазами, мысленно улыбался, в какую-то секунду было желание растолковать, что такое настоящая пневмония, но одолевала приятная истома, мыло показывало своими иголочками кожу, в нос ударял запах чистоты, здоровья, а пустая болтовня парикмахера еще больше убаюкивала. Когда закончили бритье, Иона Овсеич сделал движение, чтобы подняться, в груди вдруг кольнуло, отдало в позвоночник, должно быть, устал. Мастер сделал комплимент, теперь видно, что молодой человек, выставил два зеркала, одно перед глазами, другое сзади, чтобы клиент мог сам осмотреть свой затылок, получил пять рублей, сунул в карман и пожелал, пусть следующая встреча будет где-нибудь возле оперного театра, в кафе у тети Ути.

Когда Иона Овсеич вышел, мастер усадил в кресло нового клиента, сделал очереди знак, чтобы притворили дверь, и покачал головой:

— Он мне не нравится.

В палате первое желание было немедленно улечься на койку, однако Иона Овсеич заставил себя посидеть несколько минут возле окна, улица с ее движением, ее голосами и шумом должна прибавить бодрости, и действительно приятно было наблюдать, как люди торопятся, спешат, наверно, даже не задумываются, что рядом больница.

Иона Овсеич вернулся на койку, снял пижаму, аккуратно сложил и улегся. Захотелось подремать, закрыл глаза, повернулся лицом к стене, было как-то неудобно, повернулся на другой бок, на спину, все равно не то, лег опять к стене и, кажется, задремал. Перед глазами минуту-другую мелькали разноцветные огни, затем куда-то исчезли, на смену пришла мягкая бархатная чернота, но едва почувствовал облегчение, под сердцем появились такая адская боль и вместе с ней такой страх, что невозможно было ни вдохнуть, ни выдохнуть. К счастью, зашла нянечка, немедленно позвала врача, та взяла за руку, нащупала пульс, велела лежать абсолютно неподвижно, отлучилась на несколько минут, привела заведующего, он прижал пальцами под лопаткой, Иона Овсеич тяжело застонал, было такое чувство, словно изнутри прижигают каленым железом, заведующий сказал, спокойнее, спокойнее, ничего страшного, видимо, небольшая ишемия, сейчас пришем электрокардиограф, а пока надо ввести кубик морфина и кубик строфантина.

Иона Овсеич отчетливо слышал каждое слово, но голоса звучали сами по себе, будто вокруг беспросветная тьма, непонятно было, от кого исходят, кому адресованы, и даже собственные стоны доносились откуда-то извне, как запоздалый отклик на приступы жгучей боли за грудиной и в животе. Сестра принесла ампулы, но, еще не успела набрать в шприц, больной издал клочковатый звук, казалось, захлебывается, и тут же его вырвало. На висках выступили крупные, величиной с горошину, капли пота, лицо стало землистого цвета, губы посинели и набрякли. Ничего, голубчик, успокаивала доктор, ничего, быстро сделали укол морфина, руку перетянули жгутом, чтобы ввести строфантин, сестра шупала то в одном, то в другом месте, наконец сказала, вена пустая, пришлось вводить внутримышечно, предварительно для уменьшения боли дали пять кубиков новокаина, больной открыл глаза, во взгляде было невыразимое

страдание, доктор погладила по руке, вытерла со лба капли пота и опять повторила: ничего, голубчик, потерпите, станет легче.

Санитарка принесла две подушки с кислородом, доктор придерживала маску, больной не успевал как следует вдохнуть, уже следовал выдох, руки лежали словно плети, ноги были похожи на восковые, под икры положили грелки, к стопам — бутылки с горячей водой, доктор сделала сестре знак, чтобы сменила ее, санитарку послала в хозчасть, пусть приготовят баллон с кислородом.

Перед обедом техник принес кардиограф, наложил больному на запястья и грудь электроды, включил аппарат, внутри мерно, чем-то напоминало детский моторчик, застрекотало, наружу выползла узкая лента бумаги с длинным рядом зубцов, то крупных, со срезанными вершинами, как у кратера вулкана, то совсем крошечных, на отдельных участках была почти прямая линия, сестра позвала доктора, техник оторвал ленту, сказал, хрестоматия, задняя стенка миокарда, отключил электроды, свернул провода, накрыл ящик крышкой, кардиограмму захватил с собой, кабинет пришлет расшифровку, сегодня шеф до двух, значит, завтра, часиков в десять-одиннадцать, с порога, мельком, бросил взгляд на больного.

Привезли баллон с кислородом, доктор велела пока оставить в коридоре, больные иногда чересчур реагируют, Иона Овсевич то ли услышал, то ли каким-то чудом догадался, сам попросил, чтобы занесли в палату, доктор сказала, особой надобности нет, но дала команду закатить. Опять наведалься заведованием, сам измерил давление, тщательно выслушал, пощупал пульс и громко сказал, что объективно больной должен чувствовать себя лучше.

— Слышите, Дегтярь, — повторил заведующий, — сейчас вы должны себя чувствовать лучше.

Выйдя из палаты, заведующий незаметно поманил к себе доктора и сказал: надо непременно задержать кого-нибудь из сестер, пусть подежурят возле больного.

Под вечер наступило облегчение, дыхание сделалось ровнее, глубже, было явственное чувство освобождения, от недавнего страха остались лишь глухие отголоски, захотелось обменяться словом, узнать, какая на дворе погода, наверное, во всем уже видны приметы весны, больной вспомнил, что только сегодня утром сам выходил из палаты, побрился у парикмахера, сидел возле открытого окна, любовался улицей, а ощущение было такое, как будто с тех пор минула целая вечность.

Сестра сделала укол, вышла по своим делам, кажется, впервые за целый день Иона Овсевич остался один, в коридоре больные стучали костяшками домино, хлопала дверь женского туалета, чьи-то ноги быстро прошлепали по коридору, загремела металлическая кружка, видимо, набирали из бачка кипяченую воду, опять застучали домино, в этот раз целая автоматная очередь, от всех этих звуков складывалась странная картина благополучия, вроде людям наскучило у себя дома и сами решили пересидеть какой-то срок здесь, а потом опять вернуться каждый к себе. Захотелось подремать, вначале что-то внутри сопротивлялось, будто сон — это не просто сон, но в конце концов организм взял свое.

Среди ночи Иона Овсевич несколько раз просыпался, повторялась знакомая реакция, сразу не мог сообразить, где находится, сердце замирало в страхе, проходили мучительные секунды, понемногу успокаивался, на соседней койке спала сестра, слышно было, как похрапывает, однажды подняла голову, спросила, в чем дело, почему больной не спит, он сказал, ничего, пусть спокойно отдыхает. Вспомнился, Бог знает почему, запах лежалого сена, перед глазами возник пригорок, где-то вдали мирно рокочет трактор, по склонам бродят коровы, у каждой огромное вымя, переполненное за день молоком, вечернее солнце посылает прощальные лучи на землю. Потом безо всякого перерыва, хотя за окном уже светало, послышался тревожный голос диктора, назвали имя Сталина и слово за словом стали читать:

— В ночь на второе марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года у Иосифа Виссарионовича Сталина произошло внезапное кровоизлияние в мозг, захватившее важные области мозга, в результате чего наступил паралич правой ноги и правой руки с потерей сознания и речи. Второго и третьего были

проведены соответствующие лечебные мероприятия, которые пока не дали существенного перелома. Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства.

— Сестра, — окликнул Иона Овсевич, — вы слышали, что передавали по радио!

Никто не отзывался, только теперь Иона Овсевич увидел, что он один в палате, не с кем даже поделиться, машинально сделал движение, чтобы подняться с койки, выйти к людям, но тут же схватился обеими руками за сердце, громко вскрикнул, из коридора заглянул больной, хотел немедленно позвать дежурного врача, Иона Овсевич остановился, поманил пальцем к себе и сказал:

— Вы слышали, что передали по радио!

Человек горько вздохнул, опустил голову и прошептал: не дай Бог, не дай Бог! Сердце буквально жгло от боли, сверху давило на грудь, как будто наступила своим копытом лошадь, пришлось опять надеть кислородную маску, но облегчения не было, уже хотелось кричать диким криком, слава Богу, пришла доктор, сделали какой-то укол, боль немного утихла, однако через минуту поднялась такая дикая тошнота, что стало еще хуже, чем от боли.

— Оой! — застонал Иона Овсевич и сорвал с себя маску. — Ой, мне плохо!

Доктор ласково просила успокоиться, сейчас прежде всего требуется покой, но больной не слышал, тогда она приказала сестре надеть на него маску и закричала грубым голосом:

— Дегтярь, прекратите! Вы здесь не один, кроме вас здесь еще сто больных Иона Овсевич зажмурил глаза, в уголках выступили слезинки и прошептал

— Доктор, мне так плохо, почему вы мне не верите

Доктор поправила маску, немного освободила ремешки, чтобы меньше теснило, увеличила подачу кислорода из баллона, спросила, не сушит ли во рту, взяла больного за руку, в нескольких местах нажала пальцами и сказала сестре, пусть принесет большую ампулу глюкозы, пятьдесят кубиков.

Вена скользила под иглой, доктор на секунду застыла, как будто прицеливаясь, и быстро подала шприц вперед, на дне появился темно-бурый слой крови, сначала он быстро увеличивался, затем, по мере того как опускался поршень, постепенно исчезал, осталась одна прозрачная жидкость и медленно, от деления к делению, переходила в организм больного.

В обед раздатчица принесла тарелку манного супа, фрикадельки с картофельным пюре и стакан киселя, у порога замешкалась, сестра велела поставить все на тумбочку, раздатчица попросила чистое полотенце, чтобы накрыть, поискала глазами, ничего не нашла, глянула сбоку на больного, махнула рукой и тихо вышла.

До вечера состояние держалось на одном уровне, не лучше, не хуже, в пять часов пришла Клава Ивановна, первое, что бросилось в глаза, это баллон с кислородом, на тумбочке стоял нетронутый обед, сестра приложила палец к губам, но старуха уже села на кровать, взяла больного за руку.

— Дегтярь, что с тобой такое? Это я, Малая.

Иона Овсевич в ответ повернул голову, из-под век виднелись узкие, белесые, как бельма, полосочки, Клава Ивановна секунду-другую всматривалась в лицо и сама догадалась:

— Сердце?

Сестра выждала момент, когда больной закрыл глаза, и произнесла одними губами: инфаркт. Старуха вздрогнула, словно от икотки, выпрямилась, застыла в этой позе, чуть-чуть двигалась нижняя челюсть, Иона Овсевич приоткрыл глаза, по взгляду было ясно, что все прекрасно понимает и сознает, поднял руку, видимо, хотел снять маску и что-то сказать.

— Дегтярь, — старуха уже пришла в себя и взяла вожжи в свои руки, — лежи спокойно, теперь я буду сидеть возле тебя.

Внезапно распахнулась дверь, на пороге появилась Ляля, глаза были просто безумные, счастье, что больной не мог видеть, Клава Ивановна поднялась навстречу, взяла за руку, как маленького ребенка, вывела в коридор.

- Ой, мамочка, — завывала Ляля, — он умирает!
- Дура! — рассердилась Клава Ивановна. — Набитая дура!
- Ой, — ничего не хотела слышать Ляля, — он умирает!
- Орлова, — еще больше рассердилась старуха, — иди и не мешай здесь людям работать. Иди по-хорошему.

Ляля спустилась вниз, под лестницей стояли длинные скамьи без спинок, она села, прислонилась к стене, уткнулась взглядом в цементный пол и так просидела до семи часов. Закончилось посетительское время, гардеробщица сказала, пора уходить. Ляля вдруг вскочила, сунула ей в карман рубль и, не говоря ни слова, помчалась наверх, в отделение. У палаты она остановилась, чтобы перевести дыхание, но едва отворила дверь и опять увидела этот страшный баллон, эту маску на лице, все внутри перевернулось, как полоумная, бросилась на колени, схватила больного за руку и стала покрывать поцелуями.

Старуха с трудом заставила ее подняться с полу, несколько раз повторила, какой позор, в стране такое горе, заболел Сталин, люди, здоровые, хворые, дети, все подряд, из последних сил держат себя в руках, а Ляля Орлова в это самое время позволять себе устраивать дикие истерики!

Иона Овсевич громко застонал, наверное, слышал каждое слово, Ляля уже не упиралась, просила только, чтобы ей дали какое-нибудь поручение, она готова пожертвовать своей жизнью, наконец удалось вывести ее в коридор.

— Вахтер, — сказала Клава Ивановна, — если эта женщина попробует сюда рваться, позовите меня.

На ночь больному сделали два укола, промедол и строфантин, он стал засыпать, Клава Ивановна достала из-под кровати утку.

— Подожди, не засыпай. Ты уже давно не писал.

Мочи было немного, почти бурого цвета, с пронзительным запахом, старуха пошла в туалет, взяла на подоконнике чистую баночку и перелила: завтра надо будет послать на анализ.

Больной снова стал засыпать, она присела у него в ногах, подоткнула концы одеяла, поправила грелочку, вздохнула:

— Дегтярь, я опять думаю про нашу Орлову. Когда ты выздоровеешь, тебе придется по-настоящему взяться за нее.

Ночь выдалась нехорошая, больной часто просыпался, вызывали дежурного врача, старуха просила сделать какой-нибудь укол, один раз сделали, пользы от него не было, лицо больного прямо на глазах осунулось, нос заострился, на лбу проступили кости, словно сзади натягивали кожу. Но, слава Богу, организм напрягал свои силы. Больной часто просил пить, врач сказала: поменьше жидкости, чтобы не перегружать сердце. Клава Ивановна сначала поила с ложечки, потом смачивала губы влажной тряпочкой и повторяла:

— Раз нельзя, значит, нельзя. Ты сам всегда учил нас.

Под утро стало как будто лучше. Понемногу забирал сон, точнее не сон, а какая-то дрема при закрытых глазах. Иона Овсевич отчетливо видел, как за окном постепенно светает, торопятся на работу люди, сначала каждый сам по себе, затем стали быстро сбиваться в кучу, в толпу, отчаянно, заволакивая небо черным дымом, заревели гудки, люди разинули рты, чтобы закричать, но получалось, как в немом кино, рты раскрыты, а крика нет, тысячи рук, словно щупальца, беспорядочно цеплялись друг за друга, хватали за голову, за грудь, за горло, нечем было дышать, наконец прорвался чей-то безумный голос: «Дыхания! Дыхания!», — он открыл глаза, надо было вслушиваться, чтобы услышать:

— В течение ночи на четвертое марта нарушения дыхания и кровообращения продолжались. Наибольшие изменения наблюдались со стороны дыхательной функции: участились явления периодического (так называемого Чейн-Стоксова) дыхания. Увеличилась степень кислородной недостаточности. Систематическое введение кислорода, а также медикаментозных средств постепенно немного улучшили состояние, и утром четвертого марта степень дыхательной недостаточности несколько уменьшилась. В дальнейшем, на протяжении дня четвертого марта, вновь возобновились тяжелые расстройства дыхания. Кровяное давление — 210 максимальное, 110 минимальное. Существенных изменений в легких, а также со стороны органов брюшной полости за истекшие сутки не установлено. В моче обнаружены белок и красные кровяные тельца. при нор-

мальном удельном весе. При исследовании крови отмечено увеличение количества белых кровяных телец (до 17 тысяч). Продолжается вдыхание кислорода, проводится пенициллинотерапия. Больной находится в сопорозном (глубоком бессознательном) состоянии. Нервная регуляция дыхания, а также деятельность сердца остаются резко нарушенными. Министр здравоохранения СССР Третьяков. Начальник лечебно-санитарного управления Кремля Куперин. Главный терапевт Министерства здравоохранения СССР Лукомский. Действительные члены Академии медицинских наук профессор Коновалов, профессор Мясников, профессор Тареев. Член-корреспондент профессор Филимонов. Профессор Глазунов, профессор Ткачев. Доцент Иванов-Незнамов.

— Малая, — позвал Иона Овсеич, — ты слышала?

Да, сказала Клава Ивановна, она все слышала.

Кому могло прийти в голову, что такое мы когда-нибудь услышим про Сталина.

— Малая, там были все академики и профессора и один доцент — Иванов-Незнамов. Малая, что это значит: доцент Иванов-Незнамов?

Старуха молча сидела на своей кровати, из-за стены опять послышался голос диктора: тысячи трудящихся побывали за вчерашний день на родине товарища Сталина — в городе Гори.

— Малая, — больной сделал знак, чтобы дали кислород, — Сталин — грузин, в Грузии по сто двадцать лет живут.

До середины дня больному становилось то хуже, то опять немного лучше, один раз он открыл глаза и смотрел так долго, так пристально, что невозможно было выдержать.

— Дегтярчик, — нежно, ласково прошептала Клава Ивановна, — это я, твоя Малая, ты меня узнаешь? Ты будешь жить.

Иона Овсеич улыбнулся, она хорошо знала эту насмешливую улыбку, сердце разрывалось на куски, она взяла его за руку, вдруг мелькнула безумная мысль, что можно как-то вдохнуть в него частицу своей жизни, она выпрямилась, крепко сжала его пальцы, он смотрел и улыбался, она еще крепче сжала пальцы и повторила:

— Ты будешь жить.

Мягкие, теплые, похоже на утренний пар земли, волны покачивали туда, сюда, во всем теле было сладковатое, чуть-чуть с тревогой и недоумением, как в детстве, чувство дороги, впереди, будто кружочек солнца через закопченное стекло, виделось в черноте желтое пятно, пятно становилось все меньше и меньше, наконец совсем исчезло. Иона Овсеич вздрогнул, раздался сильный хрип, в горле заклокотало, на шее вздулись толстые, как резиновые трубки, вены, один глаз закатился под веко, другой смотрел прямо на Клаву Ивановну, но зрачок уже не реагировал. Она прижалась щекой ко лбу, лоб был теплый, немного влажный от испарины.

Пришла доктор, оттянула веки, пощупала пульс, осмотрела живот, секунду посидела неподвижно и вышла. Минут через пять сестра принесла баночку с иодом, обмакнула кисть, попросила Клаву Ивановну выйти, отбросила одеяло, придвинула поближе к себе ногу покойного и большими цифрами написала на ней номер. Затем опять накрыла одеялом, подтянула кверху, чтобы получилось с головой.

Через два часа приехала каталка, переложили тело с кровати на носилки, подняли каталку и увезли.

Хоронили на следующий день, гроб установили во дворе фабрики, военный оркестр играл траурную музыку, рабочие и работницы, инженеры, техники и служащие отдавали последний долг покойному, женщины открыто плакали, мужчины крепились сколько могли, все равно набегали слезы, с прощальным словом выступили товарищи из горкома партии, из Сталинского райкома и райисполкома, потом выступили свои, от дирекции, партийной организации и общественности фабрики. снова заиграл оркестр, во двор заехал грузовик, дно и борта были обтянуты красной материей, по краям свисали гирлянды вечнозеленой ели и веточек туи, процессия вышла на улицу, впереди несли алые подушечки с орденами и медалями, целый квартал гроб держали на плечах, затем распорядитель дал команду поставить на машину, для желающих провожать

приготовили автобусы, и направились в последний раз к дому, где жил покойный.

У ворот ожидала огромная толпа. Клава Ивановна привела отряд пионеров, майор Бирюк, Степа Хомицкий, Зиновий Чеперуха и сама Клава Ивановна надели траурные повязки, Ляля Орлова была одета в черное, многие принимали за вдову покойного, старый Иона Чеперуха, несмотря на сырую мартовскую погоду, вышел в одном костюме, шили на заказ до войны, Дина Варгафтик набросила на себя кашемировую шаль с бахромой и кистями, туго скрепила на подбородке, лицо получилось как в траурной рамке, Аня Котляр была в обычной своей одежде, демисезонное пальто, рукава оторочены цигейкой, мужская шапка-ушанка, приходилось оберегать раненую челюсть от переохлаждения, единственное, что добавилось, — это косынка из черного шелка вокруг шеи. Рядом стоял Адя, как всегда без головного убора, руки заложены в карманы, внимательно рассматривал лица, некоторые машинально останавливались, видимо, ожидали вопроса или обращения. Аня дважды дергала его за рукав и шепотом делала замечание, в ответ он поворачивался спиной и продолжал свое, Зиновий тоже сделал замечание, но, вместо того, чтобы прислушаться, Адя лишь неудачно прошелся насчет его траурной повязки.

Распорядитель хотел, чтобы попрощались здесь же, у ворот, люди возмутились, майор Бирюк, Зиновий, Степа Хомицкий и старый Чеперуха вчетвером взяли гроб на плечи, занесли во двор и поставили на стол, забранный со всех сторон коврами, теперь никому не приходилось подыматься на цыпочки, чтобы увидеть покойного. Вначале получилась сильная толчея и давка, каждый норовил пролезть вперед, испуганно закричали маленькие дети, Клава Ивановна дала команду мужчинам, чтобы оттеснили толпу, Андрей Петрович предложил всем построиться в колонну по одному и обходить вокруг гроба, большинство двинулось сразу, других пришлось брать за руку, подталкивать, кое-кто хотел задержаться у гроба подольше, Степа Хомицкий с Зиновием поторапливали и сами же подсказывали, что можно еще раз занять место в очереди, однако так могло продолжаться до бесконечности.

Майор Бирюк объявил, что доступ к телу покойного прекращен, слово для прощания предоставляется старейшему жильцу двора и многолетнему подвижнику Иону Овсеича Дегтяря товарищу Малой Клаве Ивановне.

Дворничка Лебедева принесла широкий табурет, старухе помогли подняться, кое-где еще слышался говор, однако быстро стихало, наконец наступила полная тишина и на весь двор зазвучал горестный голос:

— Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь нашего дорогого и любимого учителя, друга, соседа Иону Овсеича Дегтяря. Наш двор осиротел, мы понесли тяжелую потерю: тридцать пять лет подряд, днем и ночью, мы постоянно чувствовали, что рядом с нами, бок о бок, живет и работает товарищ Дегтярь. Вместе с ним мы шли через разруху и голод, через лишения и войну, и какие бы трудности ни возникали на пути, он всегда был первый, всегда подбадривал, всегда умел сказать теплое, душевное слово другу и в то же время учил нас ненавидеть врага, не давать ему пощады, не жалеть себя, своих сил и самой жизни. Какие выгоды он имел за свой нечеловеческий труд, какие санатории и дворцы он ждал взамен! Зайдите к нему в квартиру, посмотрите на эту обстановку, и вы получите ясный ответ, и, может быть, кой-кому из нас станет стыдно и совестно. Мы были неграмотные и темные, он помог получить нам образование, он заставлял нас учиться, потому что, кто не учится, тот не может построить коммунизм.

Клава Ивановна подняла голову, обвела присутствующих долгим, пристальным взглядом, протянула вперед руку, останавливая палец то в одном, то в другом месте, и продолжала:

— Здесь, здесь, здесь я вижу тех, кому он со всей щедростью отдавал частицы своего сердца и радовался, как маленький мальчик, когда мог сказать «Малая, кое-что уже сделано, но надо еще много и много работать, чтобы довести до конца». Он не успел.

Внезапно раздался крик, словно человек задыхается, Ляля Орлова упала на стол, схватила покойного за голову и прижалась губами с такой силой, что невозможно было оторвать. Андрей Петрович и Степа Хомицкий взяли ее за

руки, на миг удалось разжать. но тут же она уцепилась за гроб, в толпе началось волнение, майор Бирюк несламтно нажал снизу на локоть, Ляля жалобно застонала, отпустила гроб, из задних рядов передали пузырек нашатыря, заставили понюхать.

— Дорогой товарищ Дегтярь, — Клава Ивановна опустила голову, видно было, что взгляд устремлен на покойного, — ты всегда будешь жить в наших сердцах, и наши дети, наши внуки будут равняться на тебя, как равнялись их отцы и деды. Ты никогда не покидал строя живой, ты навечно останешься в строю. Прощай, наш верный товарищ, наш боевой друг! Спи спокойно, мой родной!

Клава Ивановна заплакала, слышались горестные вздохи, в толпе кто-то громко зарыдал, Андрей Петрович объявил, что траурный митинг закончен, старуха поцеловала покойного, затем подошли остальные, Тося Хомицкая хотела перскрестить, но успели одернуть, мужчины подняли гроб, ударили звуки траурного марша, в закрытом дворе получалось с удвоенной, с утроенной силой, буквально выворачивало душу наизнанку, и медленным шагом, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону, понесли к воротам. В подъезде пришлось замедлить шаг, со всех сторон так наседали и теснили, что в отдельные секунды возникала опасность для самого гроба с телом покойного, те, кто был рядом, подымали истошный крик.

Наконец гроб вынесли за ворота и поставили на машину. Шофер завел мотор и уже готов был тронуть с места, но старый Чеперуха вдруг взобрался наверх, поднял обе руки и своим зычным голосом потребовал тишины. Никто не успел остановить его и приказать, чтобы немедленно слез, Иона ударил себя кулаком в грудь и закричал:

— Дорогой Овсеич, сегодня ты последний раз проводишь время с нами, в своем родном дворе, и слезы не дают сказать, какая боль у меня в сердце, какую рану ты оставил внутри! Все годы советской власти я привык чувствовать тебя рядом. Подходя к воротам своего дома, Чеперуха всегда хорошо помнил, что ты здесь и видишь каждый шаг. В любой семье день не похож на день, бывает лучше, бывает хуже, отец может ударить сына, сын может ответить грубым словом, но все равно отец остается отцом, а сын остается сыном. Потеряв своих детей, ты строил форпост для наших детей; не заботясь о себе, ты заботился о том, чтобы у нас было хорошее жилье со всеми удобствами. Не всякому и не всегда нравилось, кой-кому приходилось против шерсти, но в глубине души каждый знал, что лично для себя Дегтярю ничего не нужно, ему нужно только одно: построить для всех наших людей полный коммунизм. И он не жалел себя, чтобы приблизить этот день, увидеть его своими собственными глазами. Но какое сердце могло столько выдержать! Он сгорел на работе, ушел от нас навсегда и унес с собой целый кусок нашей жизни, который больше никогда не вернется. Спи спокойно, дорогой Овсеич, и не помини нас лихом.

Опершись на каменную тумбу, возле ворот неподвижно стояла Гизелла Ланда. В глазах был нездоровый блеск, как будто от жара, на губах бродила горькая усмешка. Опять ударил оркестр, процессия двинулась, вскоре квартал опустел, на земле валялись сломанные веточки ели, обрывки бумажных цветов, Гизелла зашла во двор, вокруг была кладбищенская тишина, не осталось ни души, ушли провожать все, даже дети. В коридоре она прислонилась к окну, еще раз осмотрела двор, затем повернулась, отворила дверь, из комнаты пахло нежилым духом, на черной крышке пианино лежал плотный слой пыли, она провела пальцем, не раздеваясь, села на круглый стул, под сиденьем скрипнул винт, закрыла глаза и громко заплакала.

До проспекта Сталина провожающие шли пешком, оркестр играл «Вы жертвою пали в борьбе роковой», в памяти проносились знакомые слова, губы беззвучно повторяли вслед, неожиданно, на полуфразе, оркестр замолчал, процессия остановилась, к распорядителю подошел милиционер, тут же, по цепи, передали, чтобы сажались в автобусы, в первую очередь пропустили музыкантов, пока остальные занимали места, машина с гробом поехала вперед. Минут через десять миновали Чумку, железнодорожный мост и прибыли на второе христианское кладбище, бывшее интернациональное. Место дали очень хорошее, недалеко от главных ворот, гроб поставили возле могилы, задние ряды, по

инерции сильно нажимали, пришлось немного осадить, под ногами хлюпал мокрый снег, набивался в туфли, те, что помоложе, взбирались на памятники, на деревья, наконец представитель фабричной парторганизации открыл траурный митинг, сам сказал несколько слов, затем выступил товарищ от райкома, за ним, от имени жильцов двора и соседей, с последним словом к покойному обратился Андрей Петрович Бирюк. Прежде всего, сказал он, мы прощаемся с большевиком, коммунистом, солдатом, который словом и делом показывал пример, как надо жить, не для себя, а для людей. Иона Дегтярь прожил замечательную жизнь, и здесь, у его могилы, мы клянемся и обещаем так же бескорыстно, как он, со всей отдачей сил служить своему народу и партии.

Могильщики подхватили гроб, опустили на дно ямы, сгребли лопатами землю, кто стоял поближе, успел бросить свой ком, поднялся холмик, быстро обрезали края, немного утрамбовали, сверху положили венки, оркестр заиграл «Интернационал», люди подтянулись, выпрямились во весь рост и так стояли до последнего звука.

Константин Ваншенкин

Из воспоминаний

О Ярославе Смелякове

У меня уже есть воспоминания о нем, называются «Рекомендация Смелякова». В них рассказывается о моем знакомстве и многолетнем общении с ним, о том, как он мне дал когда-то рекомендацию для вступления в члены Союза писателей, и что из этого получилось. Даже о его необычной судьбе и о последнем его аресте, свидетелем которого я почти был.

Те воспоминания печатались в журнале, а потом вошли в мою книгу «Поиски себя». Но написаны они были в восемьдесят втором году, и о многом приходилось говорить намеками. О нынешних временах никто и не предполагал.

Теперь мне хочется восполнить недостающее.

Смелякова арестовывали трижды, и трижды он возвращался, возникал, воскресал. И снова писал стихи — не хуже прежних. Да что там трижды — он ведь еще и в плену был.

Первый раз его посадили рано, до широкого изъятия писателей; до этой акции он еще успел и выйти. Освободившись, он пришел в Союз к Ставскому по поводу устройства. В.П.Ставский был одним из руководителей Союза, вроде теперешнего оргсекретаря, а в ту пору скорее комиссара. Сам он писал очерки, был старым большевиком, тогда и старые большевики были молоды. Впоследствии он погиб на фронте.

Ставский сказал Ярославу, что, мол, ничего, оступился, но ведь ты способный рабочий поэт, выправишься, тебя следует определить в хороший пролетарский коллектив, в многотиражку. Он начал названивать с этой целью по телефону, а заодно поделился со Смеляковым собственной заботой: ему нужно посадить Павла Васильева и Бориса Корнилова, да вот пока не удастся.

Ярослав молчал, ни жив, ни мертв.

Разумеется, от него я это через много-много лет и услышал.

Прекрасные поэты П.Васильев и Б.Корнилов были закадычными друзьями Смелякова. Какой трагичный конец вскоре их ожидал!

Тоже в начале восьмидесятых я написал стихотворение «Борис и Павел». Там есть строчки:

Про них от Ярослава
Я только и слышал.

По правде, не только от Ярослава. Еще от Коваленкова. Он их тоже хорошо знал, восхищался ими. И ведь не боялся, рассказывал, и когда — в конце сороковых! Не всем, конечно.

Эта потеря всю жизнь больно сидела в Смелякове. Он без конца мысленно менялся с ними судьбой. Особенно с Корниловым:

Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.

...«в могилке без наград»?.. Чего уж там, если в могилке! Но как ни странно, это его, особенно в последний отрезок жизни, довольно серьезно занимало. Он, кстати, имел ордена и премии, правда, не самые высшие.

В начале последней мировой войны Ярослав Смеляков попал в плен. В финский. Потом о нем ходили всякие слухи, но факт тот, что после Победы, кажется, в сорок шестом, он объявился в подмосковном угольном бассейне, в местной газетке. Приезжал полулегально в Москву, дома ночевать боялся. Его тянули и вытянули-таки, прежде всего Симонов. Вскоре Смеляков уже печатался на виду, в «Новом мире».

Я впервые увидел его в сорок седьмом, познакомился в пятидесятом. Об этом у меня уже рассказано.

Однажды Смеляков обмолвился (хочу подчеркнуть, что и это, и рассказ его о Ставском были уже в нестрашные последние его годы, во всяком случае, после третьего освобождения. Но и теперь говорил он на эти темы кратко и осторожно), так вот, он обмолвился, что в плену содержался в одном лагере с братом Твардовского. Я в ту пору даже не сообразил, о каком брате идет речь.

Лишь относительно недавно, узнав, что в финском плену был Иван Трифонович Твардовский, я обратился к нему с просьбой сообщить что-либо по этому поводу.

Тот разъяснил:

«Дело, дорогой Константин Яковлевич, в том, что Я. Смеляков хотя и был в плену в Финляндии, но вряд ли в одном и том же лагере военнопленных, где был я. Но если даже, допускаю, он был где-то рядом, все равно знать меня как брата А. Твардовского он не мог. И вот почему: в плену я был под вымышленным именем — боялся, что моя судьба тяжелым камнем ляжет на имя брата и всех других родных.

Эту тайну никто не знал, я не делился. Но не отвергаю возможного в том, что когда Я. Смеляков проходил «фильтр», находясь в Подмоскovie (кажется, бывший Сталиногорск), то, может, и что-либо слышал обо мне...»

Наверное, так и было.

После войны Смеляков более всего дружил, пожалуй, с Михаилом Лукониным и — отдельно — с Павлом Шубиным. Со вторым, по-моему, теснее. Это был тоже настоящий поэт и независимый человек, автор нескольких отличных стихотворений и известнейшей в пору войны «Волховской застольной». Помните? —

Выпьем за тех, кто командовал ротами.
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами.
Горло ломая врагу.

Это была поистине неразливная дружба. Они с Ярославом вместе уезжали в длительные командировки — например, в Азербайджан, — участвуя в подготовке идущих одна за другой декад национальных литератур и искусств. Неделями, если не месяцами, жили на госдачах и переводили, переводили. Свое писалось все реже и трудней.

Шубин всегда был крепкого, плотного сложения, а Смеляков, наоборот, нервный, худой. А тут оба неожиданно стали схожими: округлившиеся животы, налившиеся затылки.

Весной пятьдесят первого — было уже тепло, — сидя на скамейке в скверике, умер Павел Шубин.

Ему было тридцать семь лет. Да и Смелякову не было сорока. Это был, конечно, жесточайший удар.

В то лето я не раз встречался с ним не только в Союзе писателей или в нашем ресторане. Дело в том, что как раз вышла моя первая книжка «Песня о часовых», рекомендованная год назад к изданию по предложению Смелякова. Я, разумеется, подарил ему книжку, а он дал мне ту самую рекомендацию для вступления в Союз. Датирована она 18 августа 1951 года.

А двадцать девятого мы с Винокуровым были у Смелякова в гостях. Я, по правде, не запомнил числа, это мне недавно сказала Евдокия Васильевна, тогдашняя Дуся. Уж она-то запомнила! Дусей ее называли все, кто имел право, в глаза, остальные заглазно. Дуся Смелякова жена Ярослава. В тот вечер ее не было дома.

Они жили в Спасо-Псковском, на Арбате, в крохотной однокомнатной квартирке, даже без кухни, газовая плитка стояла в коридоре. Мы с Женей принесли две, а может, и три бутылки, но их довольно скоро не хватило и Смеляков раскупорил стоящую на окне четверть (не четвертинку!) смородиновой наливки, объяснив, что напиток этот готовит Дуся, а он втайне доликает туда водочки, когда остается. Так что это уже не столько наливка, сколько настойка. Мне показалось, что, берясь за бутылку, он секунду поколебался, но тут же махнул рукой: а, все равно!..

Он был словно чем-то озабочен, расстроен, но пытался отвлечься, попросил нас почитать стихи, говорил о них. Когда Винокуров прочел стихи о возможной когда-нибудь смерти, Смеляков спросил у него про строчку «у звезд остекленевших на виду», случайно ли он ее написал. Женя заверил, что нет, не случайно.

Время от времени хозяин подходил к распахнутому окну и вглядывался в темноту, а однажды сказал Винокурову: «Посмотрите, там, напротив, никого нет на крыше?»

Винокуров охотно высунулся из окна, чтобы отвлечься от освещенной комнаты, а Ярослав мрачно добавил: «Только не блевать!..»

Винокуров не собирался — и обиделся.

Ушли мы очень поздно, спустились вниз, повернули направо, и тут же оказались на ярко освещенном Арбате. Вот интересно, это была правительственная трасса, здесь ездил Сталин, милиция и топтуны на каждом шагу, и в то же время бесчисленные магазины и особенно магазинчики, кафе, ресторанчики, шашлычные, всегдашнее оживление — Арбат.

Винокуров тут же на углу начал болтать с двумя девушками, смеясь, пытался познакомиться и направился с ними к Смоленской, ему все равно было в ту сторону, он жил на улице Веснина.

А я пешком пошел к Арбатскому метро, мне еще было нужно ехать за город к молодой жене и почти годовалой дочери. Москва тогда ложилась поздно, «последние известия» по радио начинались в половине двенадцатого и заканчивались боем Кремлевских курантов.

На другой день я снова оказался в городе, мне нужно было в «Литгазету» к Семену Гудзенко. Зачем? Может быть, я написал какую-нибудь рецензию. Во всяком случае, стихами он не занимался. В голове у меня еще слегка пошумливало.

Гудзенко сидел за столом в большой солнечной комнате, как всегда, красивый и полный энергии. Через две минуты после моего прихода он сказал бодро: «Знаешь, сегодня ночью взяли Ярослава...»

Я сел на диван. Можете себе представить мое потрясение. Однако виду я не подал.

Потом, с годами, я узнал, что Смеляков был арестован вскоре после нашего ухода. Знающие люди объяснили, что приехавшие за ним ждали, пока мы уйдем: с нами были бы лишние хлопоты, нас пришлось бы вносить в протокол...

А сейчас Гудзенко уверенно говорил, что лучше было бы, если бы умер Смеляков, а посадили Шубина.

Я ничего не понимал: почему?

А потому, что Смеляков поэт лучше и если бы он просто умер, его бы продолжали издавать, а теперь не будут...

Я его уже не слушал.

Дуся в недавнем разговоре подтвердила то мое давнее впечатление: Ярослав нервничал. Он ждал ареста. Один поэт прочел ему слабенькие стихи о Сталине, и Смеляков не удержался, небрежно-уничтожительно отозвался о них в присутствии третьего человека. Но ведь не о Сталине же отозвался! Еще он спросил: почему про Ленина у тебя хорошие стихи, а про Сталина плохие?.. Спросил и тут же пожалел, но было поздно. На другой день он сказал Дусе: «Скоро мне посадят...»

Горько приобретенный опыт не обманул его.

Его судила тройка. Обвинялся он по двум статьям: за плен и антисоветскую пропаганду. Следствие длилось долго. Дуся была на улице Осипенко, ее принял генерал, сказал, что к ней лично претензий у них нет, может жить, как прежде,

и спросил, есть ли просьбы. Она попросила о свидании, которое и было разрешено в Бутырской тюрьме. Но Ярослав выглядел каким-то потухшим, был уже не здесь.

Он получил на полную катушку — четвертак, то есть двадцать пять лет.

По сути, навсегда. Карта повернулась так, что умер он через двадцать один год. Последние семнадцать провел на свободе. И то до конца того срока не дотянул.

Через какое-то время Дуся вышла замуж за знаменитого мастера-наездника Московского ипподрома А.Г.Бондаревского. Его знала вся Москва. О нем писал в одной из своих книг Андрей Старостин.

Смеляков ничего не подозревал. Дуся писала ему письма, посылала деньги, отправляла посылки. Все по строго установленной норме. После смерти Сталина обозначились послабления, и она ездила к Ярославу в Инту.

Бондаревский был в числе тех, кто помогал хлопотать об освобождении Смелякова. Удалось снять с него первую статью, а по второй он, уже отбыв четыре года, попадал под амнистию. Реабилитирован он был значительно позднее.

О том, что Дуся замужем, он узнал уже в Москве, на вокзале от Миши Луконина.

Последний на свободе вечер, когда мы с Винокуровым были у него, запечатлелся в его сознании с необыкновенной точностью, и он восстанавливал его с хмурой веселостью, с какой-то мрачной наивностью — опять худой, молодой.

Он женился на поэтессе Татьяне Стрешневой, мы ее и раньше знали. Потом мы жили в соседних домах, да и вообще виделись и разговаривали бесчисленно.

Умер он неожиданно для многих. Я давно уже обратил внимание на то, что, разговаривая, он беспрерывно облизывает языком губы. Его мучил и погубил жестокий диабет. Похороны были малолюдные, негромкие. Помню Луконина, Слуцкого, Симонова, Евтушенко. На доме, где жил Смеляков, нет мемориальной доски. Конечно, он же не был секретарем или Героем.

В этих дополнительных заметках я почти не говорю о его стихах, о них я писал — и не раз — прежде. Я хочу только сказать, что нелегкие повороты его судьбы отложились и сказались на его столь противоречивом характере, в котором сочетались нежность и грубость, доброта и злоязычие, осторожность и смелость и еще многие, казалось бы, несовместимые черты.

Андрей Петрович

Об Ан. Старостине

Странно представить и просто невозможно поверить, что между этими двумя днями пятьдесят лет.

Я мальчишка, сижу со взрослыми на трибуне, упиваясь яркой зеленью поля, разноцветными вымпелами, оживленной праздничной толпой. И, переливаясь, шелестят в воздухе волшебные слова: Акимов, Леута, Ильин, Якушин. И, конечно, Старостин. Я знаю имена всех четырех братьев, но сейчас там только один — Андрей. Номеров на спинах нет и в помине, на поле круговерть, не сразу разберешь, кто где, а он виден сразу — высокий, худой, чернявый.

Что-то в нем впрямь цыганистое. И ведь действительно, всю жизнь его к ним тянуло. Он и женат на артистке, плясунье из театра «Ромэн» Ольге Кононовой, я, разумеется, не знаю об этом...

И второй день — ясный, прохладный. Конец октября. Я сел в такси: — Сейчас заедем на рынок за цветами и — в Сокольники.

Водитель спросил:

— К Андрею Петровичу?

Когда уже миновали парк и ехали вдоль трамвайной линии, я обратил внимание на то, что вагон, который мы обгоняли, набит битком. Время вроде не «пик», да и место не такое людное. Но тут трамвай остановился, и из него высыпали буквально все. Старички в кепочках, кое-кто с малым букетиком — сохранившиеся спартаковские болельщики довоенных времен. Да и не только, понятно, спартаковские — вся футбольная Москва шла. К Андрею Петровичу.

Когда-то зимним морозным вечером я был здесь с ним на тренировке «Спартак», поражался внутренней красоте крытого футбольного манежа. Теперь — сжалось сердце — перед входом ждали похоронные автобусы, подъезжали машины, тянулась и тянулась прерывистая людская цепочка.

Народ все прибывал, но не было ощущения, что людей особенно много. Ведь все это происходило не в комнате, не в зале, а на просторе футбольного поля.

Гроб стоял недалеко от входа, и, если употребить профессиональный термин, где-то у передней границы штрафной площади. Конечно, не это имелось в виду при выборе места, но уже дома я подумал, что именно здесь чаще всего можно было увидеть на поле Андрея Старостина.

Сменялся почетный караул, скорбно застыли около гроба родные, и пугающе поражал безупречной выдержкой старший брат — Николай Петрович.

Здесь было немало людей, хорошо знавших друг друга, здоровающихся, обнимающихся, не видевшихся очень давно. Их собрала его смерть.

Здесь были футболисты давних времен, глубокие старики, седые, морщинистые, сгорбленные, чаще всего совершенно неузнаваемые. Боже мой, какими они были когда-то, как играли! Узнать можно было лишь тех, кто стал потом тренером.

Здесь присутствовали все футбольные поколения. Нырков в генеральской форме, Николаев. И следующее — Нетто, Исаев, тяжело прохрамывший бедняга Яшин, Стрельцов, Иванов, Кавазашвили. Торпедовцы так и стояли в карауле вместе. Мы столкнулись с Игорем Нетто, разговорились сокрушаясь. Были тут и хоккеисты — Евгений Майоров, Александр Якушев. И еще многие, кого я не знал или не узнал.

Кое-кто удивлялся, что нет теперешнего «Спартак». Но Бесков привозил команду раньше, утром, ей вскоре предстояла серьезная игра. Да не одна. Немного не дождался Андрей Петрович нового спартаковского чемпионства.

Толпа топталась, медленно завихрялась, незаметно перестраивалась. Ко мне подошел человек, работавший с Андреем Петровичем в Федерации, стал мне показывать: это такой-то, а это такой-то, — я бы сам ни за что не догадался. Потом он выдернул из толпы еще одного:

— Расскажи, как видел Андрея на кладбище.

И тот охотно рассказал, что за несколько дней до кончины Старостина встретил его на Ваганьковском.

— Иду к выходу с товарищем, а навстречу Андрей Петрович по аллейке. В руке несет цветы совсем без стеблей почти. Вот, говорит, решил проведать брата и сестру, цветов нет, купил у бабки, видать, с могилы. А ты чего? И у меня, говорю, здесь близкие. А! И пошел. Мы тоже повернули, с ним идем. Он тяжело так идет. Подошел к могиле, на колено встал с трудом, цветы положил и поднялся с большим усилием. И говорит, знаете, своим голосом:

— Что, не по-старостински?

(Это он здорово подметил: с о и м г о л о с о м. У Андрея Старостина была очень сильная собственная интонация, замечательная, ни на кого не похожая манера говорить.)

— Я тогда: Андрей Петрович, хотите, подойдем сейчас к Андрюше Мионову? Здесь недалеко. Он спрашивает: сколько метров? Я говорю, метров триста. Он: триста? Нет, это далеко, в другой раз. Ноги не ходят... С юмором так говорит, то ли шутит, то ли как. И пошли обратно. Тяжело, правда, идет...

Тут началась панихида, речи, которые, даже самые искренние, в таких случаях всегда выглядят для меня как бы не слишком уместными.

Потом гроб подняли на плечи и не сразу направились с ним к выходу, но обнесли вокруг поля — последнее прощание с футболом.

Когда сходили мимо ипподрома и никто в нашем автобусе не обращал на это внимания, я сказал:

— Мимо Бегов везут Андрея... — и многие понимающие улыбнулись.

На Ваганьковском, особенно когда пошли по нужной аллее, стало совсем тесно от людей и венков, мало кто сумел подступиться к могиле, бросить на крышку горсть земли, даже услышать слова прощания. Да ведь и не это было главным.

На поминках, измученные этим днем, еще оглушенные первым горем, как под наркозом сидели родные: Ольга Николаевна, дочь Наташа, любимый зять Саша, любимейшая внучка Анечка. Братья, сестра, другие близкие...

И за всем посторонним растущим шумом запомнились мне слова младшего брата — Петра Петровича об их замечательной семье. Он сказал, тоже фирменным, старостинским голосом:

— Но Андрюша особенно удался, особенно хорошо был выпечен...

В конце пятидесят шестого года мы с женой приехали в Малеевку, в подмосковный писательский дом. Получили ключи, поднялись в комнату, поставили вещи. Я подошел к окну. Внизу, на дорожке стояли драматург Исидор Шток, с которым я был в приятельских отношениях, еще какой-то человек и Андрей Старостин. Я знал, что они с Исидором свояки, — женаты на родных сестрах.

За окном позванивал голубой морозец, но на Старостине была кепка, осеннее пальто, легкие туфли. Он стоял стройный, красивый, и я подумал: как же хорошо, что он здесь!

— Инна! — позвал я жену, — посмотри, Андрей Старостин.

Потом мы спустились обедать и встретили Штока.

— Андрей? — переспросил он. — Гости у меня три дня, только что уехал. Велико было мое разочарование.

Любопытно, но шаг к нашему знакомству сделал он сам. Редколлегия одного из выпусков «Дня поэзии» обратилась к ряду известных людей с вопросом о том, что им наиболее близко в современной поэзии. Старостин назвал Твардовского, Смелякова и меня. Нужно ли говорить, что мне это было приятней, чем статья иного маститого критика.

Это был человек огрѣмного обаяния. Однажды в Доме кино он остановился, терпеливо отвечая на вопросы нескольких женщин. Мужская компания чуть поодаль ждала его, и кто-то сказал:

— Любят Андрея женщины! — а другой возразил:

— Ну, что вы! Гораздо больше его любят мужчины.

И это была правда. Его любили, восхищались им, дружили с ним Чкалов, Шостакович, Олеша, Яншин, Ляпидевский, Утесов, Фадеев, Бернес. Его уважали все, кто играл рядом с ним или против него. А как обожали его самоуверенные футболисты пятидесятых — шестидесятых годов, столько слышавшие о нем и не разочаровавшиеся, когда он вернулся. Они слушали его, раскрыв рот, как никого.

Я сам наблюдал это в сборной команде, куда он тактично приглашал меня, — не выступать, а просто так. Бывал я с ним и на тренировках, и на играх, в ложе прессы, где ловилось на лету каждое его мнение.

Как бы я описал его внешность? Открытое мужественное лицо, сломанный нос. И одновременно — ум, скромность, интеллигентность, естественность. Врожденные, но и развитые замечательные качества.

У меня есть стихи о нем — «Андрею Старостину». Они много раз печатались. В них тоже его портрет. И еще стихотворение «Футбольные прозвища». Приведу только начало.

В спорте прозвища, как в деревне,
И традиции эти древни.
Каждый ловко и прочно зван:
Слон. Михай. Косопузый. Жбан.

Кто же это такие? Все довоенные корифеи. Слон — Артемьев, отец следующего Артемьева — Виталия, капитана «Локомотива». Михай, понятно, — Якушин. Жбан — Александр Старостин, знаменитый защитник, второй по порядку брат, из его рук Андрей получил капитанские повязки «Спартак» и сборной.

Я тоже познакомился и не раз общался с ним впоследствии. Это был умница, симпатичный, сразу располагающий к себе человек. Относительно невысокий, плотный, он оправдывал свое прозвище. Ну, а Косопузый? Это одно из прозвищ Андрея, элегантного, подтянутого. Прозвище наоборот. Изощренное болельщическое остроумие.

Когда с ним случился роковой инсульт и он умер почти скоропостижно, многие если не сказали, то подумали: что ж, судьба. Ведь представить Андрея Старостина парализованным, потерявшим речь — невозможно!

Даже первый, довольно поздний приступ радикулита он перенес с оттенком трагичности. Он привык чувствовать себя сильным и здоровым. Он получал от этого удовольствие. Когда он шел по улице, руки у него всегда были свободны — никакими портфелями, кейсов, дипломатов. Согласитесь, редкость по нынешним временам.

Когда-то он навестил меня в больнице. Только что вышедшая его книга, которую он мне принес, едва уместаясь, торчала из кармана.

Да, он прекрасно писал и прекрасно рассказывал, это сочетание встречается не столь часто. Он писал прежде всего о футболе — ярко, достоверно, со множеством подробностей. Мне приятно, что я имею отношение к двум его книгам, где говорится не только о футболе. Но что значит отношение, просто я долго убеждал и наконец убедил его написать и о детстве, о своей семье, об отце и дяде Мите — известных егерях, специалистах по красному зверю. Главное, что ему самому хотелось.

С младенчества слышал он рассказы о всяких подлинных охотничьих случаях. О том, например, как отцу и дяде пришлось спастись от волчьей стаи на ветвях ели. Стоял лютый мороз, они совсем околели и едва удерживались, когда неожиданно пришла помощь.

Но вот что пишет автор:

«Вместе с тем хищность волка осознавалась мною несколько притупленно. Быть может, острота восприятия снижалась тем, что убитые волки лежали у нас в московском доме в холодных сенях по несколько дней, дожидаясь отправки в мастерскую по выделке шкур и поделке чучел. Бегаю через сени во двор то за дровами, то за керосином в чулан — для быстроты операции, чаще всего босиком, — приходилось наступать необутой ногой прямо на промерзлое брюхо лежащего волка. Попирая поверженного хищника голой мальчишеской ступней, я подсознательно недооценивал злую силу жизни». Каково!

Как-то в Московской писательской организации возникла идея подготовить коллективную книгу о Красной Пресне, о ее истории и людях, — наш Союз находится в Краснопресненском районе. Из этой затеи так, по-моему, ничего и не вышло. А тогда мой друг Юра Трифонов загорелся написать о Старостиных, ведь они исконные пресненские.

Обратился к Андрею Петровичу, попросил рассказать поподробнее, но тот деликатно уклонился.

— Андрей не хочет (так мы называли его за глаза), — говорил Трифонов несколько смущенно. — Наверно, сам пишет...

Да, тот уже решился.

Я не только убедил его написать новую книгу, но и, предварительно условившись, привел Андрея в журнал «Москва», где его сердечно приняли и заключили авансовый договор.

Исидор Шток, узнав об этом, уверенно сказал:

— Не напишет! — имея в виду определенную неорганизованность, отчасти богемность его характера и образа жизни.

Но Андрей Старостин написал, а через несколько лет и следующую книгу. И здорово написал! Когда он принес в редакцию первый большой кусок, все там пришли в восторг, а опытейшая сотрудница спросила меня по секрету:

— Кто ему пишет?..

Увы, порой пишут, и не только государственным деятелям, но и самим писателям. Правда, писать так, как Андрей Старостин, они не умеют.

Но и устный рассказчик он был поразительный. Из тех, о которых говорят — непревзойденный. Как жаль, что бесчисленные рассказы его остались незаписанными на бумаге или на пленке.

Попробую воспроизвести некоторые его истории.

Я бывал с ним на Бегах. Но я-то так, за компанию. А он играл. Пропускали его и тех, кто с ним, без билетов.

— Еще не хватает билеты брать, — усмехнулся он хмуро и уточнил: — Это все на мои деньги построено.

То есть на проигранное им за долгие годы.

И вот — рассказ. Зима, холодно, метет. Они стоят на скамьях своей компанией — несколько дружков на подхвате и Александр Петрович. Его Андрей в рассказах часто называет брат Шурка. А самого старшего (того, разумеется, здесь нет) — Николай Петров.

Андрей делает ставки, дает деньги, ребята бегают в кассу, — и опять мимо, и опять не угадал. Смеркается, последний заезд. И снова неудача. Он бросает билеты. А метет! И вдруг до него доходит, что он выиграл, в дубле, большую сумму. Но ведь как затмение нашло. Он говорит об этом негромко, невозмутимо. Компания бросается искать. Но он же не будет лазать под лавками. Он, как прежде, стоит — высокий, стройный. И брат Шурка, разумеется, рядом.

А те ищут, уже чиркают спичками, — но разве найдешь! Иголка в стоге сена. Но находят — он называет кто, по имени. Бегут получать. Он, понятно, на месте. Кассы уже закрыты, не платят, но кассирши еще там. Одна соглашается выдать. Выигрыш — восемь тысяч. Тысячу пришлось дать кассирше. Это они объясняют. Деньги, понятно, старые. Он, не считая, сует их в карман. Пошли?

Святочный рассказ. Но чистая правда. Это было в середине пятидесятых.

В тридцать седьмом, когда «Спартак» выиграл рабочую Олимпиаду в Антверпене, а затем побывал еще и в Париже, в нашей печати, как выражается Андрей Петрович, проскочила статья «О насаждении в обществе «Спартак» буржуазных нравов». Об этом пишет Ан. Старостин в своей книге «Встречи на футбольной орбите».

«Кто-то распустил слух, — говорит он, — что спартаковцы якобы намеревались скомпрометировать престиж нашего футбола «неполноценным» выступлением на рабочей Олимпиаде».

Позвольте, но ведь они Олимпиаду выиграли. Логика, однако, не считалась тогда весомым аргументом.

В статье упоминались имена всех четверых Старостиных.

Вернувшись, они попросились на прием к Косареву, который старался успокоить их, а затем написали письмо на более высокий адрес.

В результате в «Известиях» появилось сообщение: «Дело братьев Старостиных прекращено». Если бы!

Еще до войны Андрей Петрович стал директором фабрики спортивного инвентаря, потом она стала выпускать противогазы. Бомбежки Москвы, жестокое первое лето, немыслимая осень, когда враг уже рядом, в ближайших дачных местах, и наконец всеобщий вздох облегчения, ликование, радость — первая настоящая победа, и где — под Москвой!

Дальше у Старостина сказано:

«А весной 1942 года шальная «фугаска» упала не по адресу. Бывают такие случайности во время войны, когда снаряды ложатся по своим. Взрывная волна огромной силы разбросала нас кого куда: Николая в Комсомольск, Александра в Воркуту, Петра в Соликамск, меня в Норильск».

Их взяли всех в одну ночь. У Андрея на спинке стула висел пиджак с орденом Знак Почета. Тогда эти ордена еще крепились не на колодке с булавкой, а на винте. Один из пришедших вырвал его, не развинчивая, с мясом. Грудная Наташа спала в соседней комнате. Андрей сказал, что должен попроситься с ней. Они не разрешили. Но он отмахнулся и шагнул в дверь. Они вдвоем завели ему за спину руки и держали так, пока он, нагнувшись, целовал ребенка

Его отвезли на Лубянку, где он провел восемь месяцев в одиночной камере, не зная, как идет война, что с семьей, с братьями и сестрами. Его только водили на допросы и требовали сознаться в службе западным разведкам, в подготовке террористических актов и в прочей чепухе, отнюдь не казавшейся забавной.

И ведь, напомним, — война, сорок второй год.

Потом, уже глубокой осенью, его посадили в «черный ворон» и повезли куда-то очень недалеко. «Здесь пешком пять минут». Он вышел, увидел прямую знакомую улицу и в стороне, на возвышении небольшую толпу, преимущественно из женщин. «И как они узнали?...» Он услышал женский голос:

— Андрей! — и успел заметить Шуру Кононову, свояченицу, сестру Ольги. Он махнул ей, и тут же его ввели, почти втокнули в подъезд.

Остальных братьев тоже привезли раздельно. И не только их. Подсудимых набралось в несколько раз больше. Это было так называемое спартаковское дело. Но они, понятно, ловили взгляды друг друга: ну, как ты, брат? Их специально посадили на скамье не рядом — через два-три человека.

Началось чтение обвинительного заключения. Они, стоя, слушали перечисление всех параграфов и пунктов пятьдесят восьмой статьи.

А за спиной зал ощутимо дышащих ненавистью слушателей или курсантов — будущих военных юристов.

Среди подсудимых был и Евгений Захарович Архангельский. Не тот Архангельский из Ленинграда, который ездил осенью сорок пятого в составе московского «Динамо» в Англию, а старый футболист, много старше Андрея. Я тоже его знал и неоднократно (потом, разумеется) с ним встречался. Сейчас его уже нет. У него было прозвище «Железное сердце», как из рыцарских времен. Это был человек ротский. Услышав это словечко, я тут же спросил, что оно значит. Андрей Петрович разъяснил, что это прилагательное от слова «р о т а». А ротой в Москве испокон веку назывался мир игроков, маклеров, барыг. Своеобразный жаргон, конечно. Так вот, Евгений Захарович был ротский человек, игрок. Он был сухой алкоголик. А это что еще? А то, что он играл непрерывно, во что и на что угодно. Вот, скажем, сидим, он предлагает: давайте — какая официантка раньше войдет в зал, Тоня или Аня? На десятку. И все. Экспресс-лото.

И вот они, стоя, слушают ужасные обвинения. А ведь ослабли еще к тому же, и вдруг администратор Р., потеряв сознание, падает вперед через барьер.

Вы, может быть, играли на бильярде в пирамиду и знаете, что, если «свой» шар перелетает через борт, это штрафуются пятью очками.

Так вот, Р. падает, к нему бросаются, мгновенная растерянность, председатель прерывает чтение, и в наступившей тишине раздается бесстрастный голос Евгения Захаровича:

— Пять очков!

И они, несчастные подсудимые, бесправные, оболганные обвиняемые, начинают хохотать. Нет, это не истерика, напротив, это здоровый, жизнерадостный смех. Глянут друг на друга — и еще пуще.

Им кричат со сцены:

— Прекратить! — а они не могут остановиться.

Тогда объявляется вынужденный перерыв, ведь судебное заседание едва началось.

А после перерыва напряжение несколько спадает, братьям уже разрешают сесть рядом, они сдержанно — это у них в крови — тискают друг друга.

Но неправый приговор нелепо жесток и разлука, по сути, бесконечна.

Думается, братья Старостины останутся и уже остались не только в истории нашего футбола, в его статистических справочниках, а вообще в истории. Слава их была всенародна, любовь и сочувствие к ним повсеместны.

Андрей Петрович по дороге в Норильск оказался в огромном, видимо, пересыльном лагере. Несмотря на то что он находился в з о н е, за охраняемой оградой, к нему был приставлен персональный конвоир.

К слову, генеральный конструктор вертолетов Михаил Леонтьевич Миль рассказывал мне когда-то, как во время войны он ездил по делам в Омск, на фирму Туполева. Известно, что туполевское КБ было целиком арестовано,

размещалось за колючей проволокой, но и внутри, по всей территории за Андреем Николаевичем неоступно следовал красноармеец с винтовкой. Туполев подчеркнуто не обращал на него никакого внимания.

Охранник Андрея Петровича исполнял свои обязанности не столь истово, да и что ему было беспокоиться: из зоны никуда не денешься. Он с кем-то заговорил, отвлекся, а в это время из длинной землянки, в каких обычно располагаются продовольственные склады, высунулся краснолицый старшина и позвал громким шепотом, сделав энергичный приглашающий жест:

— Старостин! Иди сюда!

Андрей не заставил себя ждать и спустился в землянку. Старшина запер дверь, быстро разлил по кружкам водку, вскрыл мясные консервы, крупно нарезал хлеб.

— Ну, давай!

Конвоир, потерявший подопечного, побегал, покрутился и безошибочно стал стучать в землянку. Старшина убрал со стола и открыл дверь. Конвоир придирчиво посмотрел по сторонам, понюхал воздух и спросил строго:

— Заключенный Старостин, кто вам разрешил опьяниться?..

Потом Андрей Петрович долгие годы провел в Норильске, тренировал местную футбольную команду, которая имела немалые успехи и выиграла Кубок Красноярского края.

Великое множество раз я встречался с ним и помимо прямого удовольствия от общения еще обязательно узнавал нечто новое.

Несколько лет он был начальником сборной команды СССР, объездил с нею без преувеличения чуть не весь свет, при нем она выиграла Кубок Европы. Но однажды он признался мне, что теперь он не тот, что был когда-то, нет в нем прежней уверенности, смелости, самоуважения.

Я не очень поверил ему, не хотелось верить. Тем более что у него было прескверное настроение: накануне «Спартак» проиграл торпедовцам финал Кубка в результате, как считал Андрей, недобросовестного судейства.

Помню, договорились мы встретиться в Центральном доме литераторов. Андрей Петрович пришел со своим вечным спутником, милейшим Ариком Поляковым, трогательным сотоварищем тех давних лет. Но оказалось, что ЦДЛ закрыт. Я предложил пойти в Дом архитектора.

Он спросил, где это. Я удивился и объяснил, что рядом, на улице Щусева.

— Щусёва? — переспросил он, — Где же это, Щусёва? — он так произносил.

Мы пересекли проходной двор, миновали страшный когда-то особняк и повернули направо.

— Щусёва! — сказал Старостин с чувством. — Это же Гранатный переулок. Вон мой дом, я здесь жил, а вот школа...

И он, усмехнувшись, рассказал, как однажды пришла завуч из этой школы и, долго извиняясь, попросила его и бывавших у него других футболистов пореже выходить на балкон. Она понимала бестактность своей просьбы, но ее вынудила необходимость: срывались занятия, падала успеваемость, мальчишки, ничего не слыша, глазели на его балкон, стоило кому-нибудь там появиться.

Андрей обещал это учитывать.

Он бывал у меня дома, хорошо знал мою семью. А в последнее его лето он вместе с Яном Френкелем был у меня на даче.

Пока накрывали на стол, я предложил немного пройтись.

— Пройтись? — переспросил он с преувеличенным ужасом. — Исключено. Мы сели на скамейку.

— А комаров у вас нет? — поинтересовался он весьма серьезно.

Комаров не было. В остальном это был прежний Андрей Петрович.

Недавно я сказал к месту своей внучке-третьекласснице:

— Был такой замечательный человек, Андрей Петрович Старостин...

Она посмотрела на меня с удивлением:

— Почему был?

— Он умер.

— Как? Но он же приезжал к нам летом... — и глаза ее наполнились слезами. Она хорошо помнила его, и ее поразила столь очевидная реальность перехода из жизни в смерть.

Несколько лет назад, на поминках по Александру Старостину я вспомнил и прочитал строчки из моего давнего стихотворения. Теперь их вполне можно отнести и к его брату Андрею. Там есть слово «команда», у меня имеется в виду корабельная, но ведь то же самое можно сказать и о футбольной:

Команда сильно поредела,
Таков был будничный уклад.
И для живых, по сути дела,
Жизнь состояла из утрат

...Горько и странно, что его нет.

Проигрыш Бернеса

Нет, не Бернес проигрался. Его проиграли.

Но сначала о другом. Прочитал воспоминания Алексея Аджубея о Хрущеве. Много там интересного — и о Никите Сергеевиче, и о Нине Петровне, и еще о прочих, больших и средних, кто был поблизости. Кто как и когда проявлялся. Хрущев фигура, конечно, поразительная, исторического масштаба. Решиться сказать правду о Сталине — и ведь не сейчас, тогда! Решиться пусть не на полную, но на массовую реабилитацию! Наконец вытащить генералиссимуса из Мавзолея! Все так. И одновременно какое неуважение к человеческой личности, к чувству достоинства, пренебрежение этим. Кто-то сказал, что есть демократия для всех, а есть для каждого. Вторая, понятно, предпочтительней. Но тогда преобладала первая. Его руководствовался и автор воспоминаний. А так-то он был симпатичный парень, дружил с артистами, гуманист. При нем и «Комсомольская правда» и «Известия» были живыми, интересными газетами. Я, однако, отдаю первенство «Комсомолке» следующего редактора.

Неограниченные возможности всегда вредны, они деформируют сознание; восприятие может быть искажено. Такое не раз бывало.

Конечно, Аджубей не злодей. Отнюдь. Но ведь тоже зять. Его стремительное продвижение трудно объяснить чем-то иным. И он был не просто главный редактор, за его спиной стояла родственно-государственная мощь. Пусть только в глазах других, и этого достаточно. Механизм срабатывал безотказно.

Он, вероятно, сделал и немало хорошего, но вот это равнодушие к отдельной судьбе... И как это — самому тянуться к искусству и одновременно чернить артистов и писателей? Не своими руками, не своим пером, разумеется.

Я не говорю сейчас о предвзятых разностных рецензиях, лишь о прямой бесцеремонности и клевете.

Виктора Некрасова назвать в газете «туристом с тросточкой»! А сколько еще ошельмованных! Да и меня, скажу, оклеветали в ту пору «Известия», написали, что я участвовал в поездной драке, вышел на волгоградский перрон к встречающей общественности, смущенно потирая синяки. А ведь Московская писательская организация просила не печатать этого — до выяснения. Но нет, сам поторопил, и сотрудники, которых я хорошо знал, выполнили.

Потом — редчайший случай — пришлось газете признаться, хоть и косвенно, в ошибке. А написавший заметку корреспондент «Известий», некий Ростовщиков, сделал потом карьеру, стал секретарем обкома. Но в результате был снят и исключен из партии за присвоение и ношение чужих боевых орденов. И это в городе-герое! Произошло это уже в брежневские времена, они все тоже как с ума посходили, лишь бы повесить что-нибудь на лацкан.

Был фельетон и про Бернеса, еще в аджубесевской «Комсомолке». И ведь хороший газетчик написал, вот что обидно. Но что поделаешь, бывает, с чужих слов, наверно, сочинил. Признала бы газета ошибку, как было бы благородно. Нет, ни за что!

В фельетоне говорилось о том, как популярный киноактер, сидя за рулем своей машины, грубо отказался выполнить требования постового милиционера, тот очутился на капоте движущейся бернесовской «Волги», и артист, рискуя каждую секунду сбросить его под колеса, не останавливаясь, проехал таким образом вокруг площади Дзержинского.

На основании этой публикации на Бернеса было заведено уголовное дело. Я сам читал тогда заключение следователя московской прокуратуры В. Ключанского, из коего (заключения) явствовало, что факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности. Были там и показания дежуривших в этот день милиционеров.

Марка эта несправедливость ударила больно. Он прервал гастрольную поездку, вернулся в Москву. Попросил Аджубея о встрече, тот принял его, но дело было сделано и менять что-либо главный редактор не пожелал.

Бернес целыми днями в бездействии лежал на диване, в отличие от того орудовца совершенно раздавленный случившимся. Следует сказать, что недавно он потерял жену, на руках у него осталась маленькая Наташа. К этому времени ей было не более пяти. Он без оптимизма смотрел в будущее.

Мы с Винокуровым часто бывали у него. Звонили разные люди, выражали сочувствие или возмущение. Он вяло благодарил. Приходили порой незнакомые. Помню офицера-грузина, предлагавшего Марку деньги.

Тут и случилась самая история.

Бернес позвонил вечером и спросил, не знаю ли я телефон поэта Виктора Парфентьева. Ведь есть такой? Так это сын начальника МУРа. На вопрос, что произошло, попросил приехать завтра.

А случилось вот что. Пришел человек, худой, в кепке. «Вроде тебя», — сказал Марк. У Бернеса кто-то был, и человек шепотом в передней сообщил ему, что на вокзале в Котласе освободившиеся из заключения урки проиграли Бернеса в карты — как завязавшего вора Огонька, сыгранного артистом в фильме «Ночной патруль». В течение недели — помню, он сказал: до первого — его должны убить. Человек объяснил, что предупреждает потому, что большой поклонник Бернеса, и тут же исчез.

(Слово «Котлас» звучало зловеще, я не знал тогда, что там живет мой дорогой фронтовой друг Борислав Бурков, и я буду не раз гостить у него на берегу прекрасной Северной Двины.)

Бернес растерялся. Может быть, следовало задержать того человека? Да нет, и как удержишь!

В тот же вечер он был у комиссара Парфентьева, — безо всякой протекции, просто позвонил в МУР, и все. Это же был Бернес.

Парфентьев успокоил, сказал, что самого его проигрывали четырнадцать раз, и вот ничего. Что скорее всего это туфта и человек объявится впоследствии, попросит сколько-нибудь за спасение души, но на всякий случай... Он помолчал и добавил с улыбкой:

— За тебя же голову снимут...

Мы, опять же с Женей Винокуровым, пришли на следующий день. И лишь дожидаясь лифта, обнаружили сбоку коренастого человека в сером плаще, читающего какую-то брошюрку. Свет в подъезде был слабый, лампочка высоко, но он читал достаточно увлеченно.

Поднялись на пятый этаж. Еще вчера Бернес долго переспрашивал из-за дверей: кто да что? Сейчас дверь отворилась мгновенно. Нам открыл крупный плечистый парень, выглядывая из-за него, кивал Марк. На руке парня, пока он запирает дверь, я успел заметить наколку: «Вова». Бернес представил нас. Вова опять сел смотреть телевизор.

— Телохранитель? — спросил Винокуров в комнате.

Марк кивнул и объяснил, что Вова мастер спорта по самбо и, кажется, по боксу. Да еще и вооружен, под пиджаком на пузе «пушка». И добавил шепотом

что Вова состоял в охране Булганина, но сейчас, как известно, такая необходимость отпала, и атлет пошел в МУР.

Теперь Вова постоянно жил у Бернеса и повсюду сопровождал его. Однажды, когда садились в такси, Вова, открывая дверь, нечаянно оторвал ручку. Марк познакомил его со всеми знаменитыми артистами и особенно артистками, которые встречались им в Доме кино.

Эта незаметная для других история, произошедшая на фоне шумного фельетона, с одной стороны, может быть, даже отвлекала Бернеса, но с другой наслаивалась еще большим напряжением.

Неожиданно выяснилось, что Вова учится заочно то ли на физмате, то ли на мехмате, что-то в таком роде. Марк при мне сказал об этом Долматовскому.

— Вот видишь, — подхватил тот, — в какой еще стране...

— Перестань! — закричал Марк почти истерически.

А между тем неделя прошла, все было тихо. Парфентьев удвоил срок — для страховки. Опять ничего. И когда пост был наконец снят, Бернес вздохнул с облегчением: он устал от Вовы.

Человек в кепке больше никогда не появлялся. Сгинул ли он где-то в своем блатном мире, а может быть, это была чья-то злая нелепая шутка.

Как бы там ни было, давняя история с проигрышем почти забылась. А с фельетоном нет. Ведь ничто так не укорачивает жизнь, как несправедливость.

Эдуард Клямко

Тревоги правосознания...



Правосудие означает суд правый, и наши публицисты едины во мнении: говорить о третьей власти¹ как о суде правом можно лишь с оптимистическим расчетом на будущее. Правосудие, наверное, никогда не достигнет идеала, но сегодняшнее состояние нашей уголовной юстиции есть состояние кризисное. Административный смерч более всего заботился об управляемом судопроизводстве — механизме самозащиты государства от верноподданного общества (и лишь попутно — о защите общества от преступлений). В результате мы имеем уникальное правосудие.

Всевластие государственного обвинителя и покорность суда. Дарованная суду свобода признавать доказанную вину обвиняемого. Чисто символическая роль института защиты. Многолетнее содержание обвиняемого под стражей до предания суду. «Чуткость» юстиции к велениям извне (телефонное право). Вот те обвинения, которые общественное правосознание предъявляет сегодня советскому правосудию, точнее — судопроизводству.

Не надо, разумеется, относить эти «обвинения» к каждому уголовному делу, но многие эпизоды судебной практики свидетельствуют о попустительстве закона правоохранительному волюнтаризму. Так, нравственный удар нанесло обществу широко известное «витебское дело»², в котором жизнь невиновного была принесена в жертву «красоте» судебного процесса. Суд, оценивая доказательства, уступил гипотезе обвинителя и признал недоказанное доказанным, действуя при этом в рамках уголовно-процессуального закона. Значит, это были ущербные доказательства, суд был бы должен их отвергнуть. Но какие «доказательства» считать ущербными? На эту серьезную проблему наталкивает не только «витебское дело». Она существует десятилетия, и это неудивительно. Административная Система не была, да и не могла быть заинтересована в том, чтобы лишиться посредством совершенствования закона права на монарший суд.

Обвинительный уклон находит свое воплощение в предрешенности судебных выводов. Если в двадцатые годы треть уголовных дел оканчивалась оправданием подсудимого, то в последующее время оправдания становятся исключением из правила. Это особенность правосудия удивительно перекликается с генетическим свойством Административной Системы заблаговременно готовить, предрешать резолюции, решения демократических органов, будь то производственные собрания, конференции или съезды. Система всегда и во всем верна себе.

Обратим особое внимание на фантастический объем процессуальных прав обвинителя, просто немыслимый во многих цивилизованных странах. Непомерные сроки содержания обвиняемого под стражей, легкость, с какой принимаются решения о возврате дел из суда на доследование, перемалывающие психику обвиняемого в изнурительных циклах, следствие — суд, новое следствие — новый суд. Законодатель, разре-

¹ Ю. Феофанов. «Третья власть». «Дружба народов» № 10 за 1989.

² Суд приговорил невиновного к высшей мере наказания за якобы совершенные им убийства (см. статью И. Гамаянова «Метастазы» в «Литературной газете» от 2 марта 1988 года).

шая подобное, словно бы уверен в совершенстве правосознания обвинителя, в его способности заранее с точностью знать, кто преступник, и по-шамански извлекать на свет божий доказательства его вины. Не видна ли здесь аналогия с горделивой уверенностью Административной Системы в своей непогрешимости, в совершенстве своих социальных институтов, в том числе — уголовной юстиции?

Заметим, что все сказанное относится к уголовно-процессуальному закону, к его вместилищу — Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), менее популярному, чем Уголовный кодекс, и потому пребывающему как бы в политической тени. Путь к правосудию требует расчистки «теневых преград» в процессуальном законе.

Посмотрим, как истолковывается у нас фундаментальная категория, основание самого уголовного закона — понятие преступления.

В октябре 1982 года решением Киевского городского суда, оставленным без изменения Судебной коллегией и смягченным Пленумом Верховного Суда республики, Ф. и В. были приговорены за антисоветскую агитацию и пропаганду к лишению свободы. Ф. готовил научный труд, В. вел политический дневник, то и другое содержало критические суждения о государственном и общественном строе СССР. Указанные антисоветские материалы легли в основу рукописи, которую авторы собирались опубликовать в газете. Пленум Верховного Суда СССР, не найдя в деятельности Ф. и В. признаков намерений подрыва или ослабления советской власти, все судебные решения по этому делу отменил за отсутствием в действиях Ф. и В. состава преступления. Постановление Пленума датировано сентябрем 1988 года.

Второй пример. В марте 1984 года приговором Горьковского областного суда с внесенным в него Президиумом Верховного Суда РСФСР изменением были осуждены Н. и П. за хищение государственного имущества. Начальник участка Н. заключал трудовые соглашения со смежными организациями на выполнение необходимых работ за договорные суммы, работы выполняли бригады под руководством Н. и П., в составе которых были подставные лица. Деньги, полученные подставными лицами, распределялись между фактическими исполнителями работ. В декабре 1988 года Пленум Верховного Суда СССР нашел, что выполненные бригадами работы по объему и качеству претензий не вызывали, заказчики оплачивали работы в соответствии с затраченным трудом. Начальник участка Н. использовал полученные деньги и для оплаты расходов на транспортные услуги и для привлечения к работе дополнительных лиц и техники. Признав в действиях Н. признаки лишь служебных проступков (а не уголовно наказуемых деяний), Пленум отменил все судебные решения по данному делу за отсутствием в действиях Н. и П. состава преступления.

Воздав должное здравому смыслу высшего судебного органа, обратим внимание на огорчительное обстоятельство в этих историях со счастливым концом. Явное изменение правосознания в сфере правосудия никак не связано с изменениями закона, уголовный закон изменений не претерпевал и допускал квалификацию одних и тех же деяний «с точностью до наоборот». Иначе говоря, Уголовный кодекс всегда позволял вершить правосудие правосознанию сегодняшнего дня, то есть такому правосознанию, которое процессуальный закон неосторожно называет «социалистическим». Торжественно звучащий непояснимый в законе термин открывает шлюзы правовому волюнтаризму. Таков малопривлекательный для нашего уголовного законодательства вывод из судебной практики. Понятие преступления выскальзывает из закона, становясь удобным инструментом государственного волеизъявления.

«Социалистическое правосознание» — сочетание слов без ясного правового смысла. Это лозунг, маскирующий пустоты закона. Отсутствие четко обозначенных владельцев преобладающей у нас «общественной собственности» делает потенциальными истцами в борьбе за ее сохранение неограниченную когорту лиц: ревизоров, следователей, прокуроров, руководителей предприятий, главков, министерств и т. д. Когда все — хозяева, все — истцы, любое отступление от правил административного хозяйствования легко становится «преступлением» с помощью «социалистического правосознания». Поэтому задача преобразования уголовного закона в инструмент осмысленной защиты экономических прав и свобод неразрешима, конечно, без радикальных преобразований производственных отношений. Но наметившиеся преобразования экономической системы общества могут в своем развитии опередить застывшее уголовное

право — детище тридцатых—пятидесятых годов. Такой дисбаланс в нашей правовой среде обитания — источник повышенной опасности для хозяйственной инициативы. Примеров тому в недавнем прошлом немало.

Не только действие рассматривалось как способ совершения преступления. Опасностью номер один являлось слово. Слово, способное нести конструктивную политическую мысль, было обречено, оно образовывало состав тяжкого преступления. Уголовный закон совсем не так давно позволял квалифицировать неординарное политическое слово как *п о с я г а т е л ь с т в о* на государственный или общественный строй: «Преступлением признается... общественно опасное деяние... посягающее на советский общественный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние».

Эта формула преступления, выработанная уголовной юстицией в годы беззаконий, есть правовой анахронизм, идущий из глубин государственного тоталитаризма. Не сулит больших надежд и опубликованный проект новых Основ Уголовного законодательства Союза ССР. Цитируем: «Преступлением признается... общественно опасное деяние, посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы... а равно иное общественно опасное деяние, посягающее на социалистический правопорядок...».

Как видим, та же нераскрываемая абстракция «посягательства».

Если сегодня мы говорим о построении правового государства, о развитии его политической системы, то вопрос о преступности или неправомерности *с л о в а* становится одним из важнейших в уголовном праве. Массовая реабилитация «преступников слова», происходящая в наше время, свидетельствует о назревшей потребности изменить само понятие преступления, его формулу — идеологическую основу уголовного закона. Объективным признаком состава преступления всегда является конкретный вид ущерба, который понесли или могли понести политическая система, общество и личность. Конкретность ущерба, его наблюдаемость, измеряемость, — вот та ниточка, которая заставит право служить интересам всего общества. Отметим, что даже юстиция тридцатых годов была вынуждена в своих фальсификациях прикидываться «защитницей» этого принципа в практике судилищ. Массовые «преступления» народа против собственной страны и ее политической системы обладали ярчайшей наглядностью, позволяли измерять «преступность замыслов» миллионами рублей ущерба и многочисленными жертвами, а также знать точно, какие регионы страны были бы «отданы во власть империалистических разведок».

Реальный (а не мнимый!) ущерб, нанесенный политической системе, следует видеть в вынужденном нарушении ее социальных функций. Политическое преступление искажает процессы нормального функционирования конкретных институтов, действующих по законам верховного органа власти. Такой принцип квалификации преступности деяния охватывает многие сферы деятельности человека, в том числе и связанные с формами собственности. Преступлением следовало бы считать предусмотренное уголовным законом и совершенное виновным деяние (а также реальную угрозу его совершения), причиняющее существенный вред общенациональным интересам государства, нарушающее функции социальных институтов, общественных и государственных организаций, препятствующее осуществлению конституционных прав и свобод личности, а также причиняющее вред здоровью личности и ее достоинству. Общенациональные интересы государства предусматривают защиту природной среды, мира и национальной безопасности в возможном противостоянии агрессору, экономического потенциала страны и ее финансовой системы, национального равноправия и национальной культуры. Потерпевшей стороной, следовательно, могут быть вооруженные силы, финансы и так далее, а также тот или иной социальный институт, конкретная организация или лицо. Слово может стать преступлением в качестве клеветы (оскорбления) в адрес определенного лица, в том числе — представителя института власти, но оно не может «посягнуть» на государственный или общественный строй, на политическую систему в целом как *н а п о н я т и я*. В новом законе формула преступления должна стать визитной карточкой демократического правового государства.

Но это только часть дела. Правосудие в конечном счете есть процесс *д о к а з а т е л ь с т в а* преступной вины или *о т р и ц а н и я* ее доказанности. И здесь мы вновь возвращаемся к уголовно-процессуальному законодательству, определяющему правила возбуждения уголовного дела, предварительного следствия, предания суду,

судебного разбирательства, обжалования и исполнения приговора. Степень «правосудия в правосудии» измеряется совершенством (или несовершенством) именно процессуального законодательства. Конституционные гарантии неприкосновенности личности, равенства граждан перед законом, независимости суда, права обвиняемого на реальную защиту и, наконец, гарантии отправления действительного правосудия, использования судом основательных — и только основательных — доказательств. — все это обретает плоть и кровь лишь при процессуальном обеспечении этих гарантий. Чтобы не совершить преступления, надо, как говорил герой Ильфа и Петрова, «читать Уголовный кодекс». Но чтобы преступление раскрыть, наказать виновного, а невиновному при этом не пострадать, от общества и государства требуется чтить и пестовать Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

Скрытые пружины обвинительного уклона — правовой аномалии в нашем судопроизводстве — следует искать прежде всего в процессуальном законе, в его концептуальных основах.

Начнем со стадии предания суду — с той стадии, когда суд впервые знакомится с поступившим обвинительным заключением и принимает (или не принимает) решение о назначении слушания уголовного дела. Эта «невзрачная» стадия судопроизводства обидно обойдена вниманием нашей печати. Казалось бы, ничего существенного в ней просто не может быть, но...

На этой стадии закон скромно требует от судьи личной досудебной проверки «достаточности доказательств» в материалах поступившего дела. При «несогласии судьи с выводами обвинительного заключения» проводится распорядительное заседание суда в полном его составе с обязательным участием прокурора, следовательно, для снятия разногласий. Во всех случаях закон разрешает назначить слушание дела, если только в результате такой экспертизы суд протокольно подтвердит «достаточность доказательств» для его рассмотрения, «не предрешая» при этом, как сказано в законе, «вопроса о виновности». Всего несколько выдержек из УПК, но в них просто кладешь процессуальных идей!

Что такое «достаточность доказательств», почему законодатель так упорно требует досудебного подтверждения ее судом? Речь здесь не идет о достаточной полноте состава документов, необходимых формально для открытия и проведения судебного процесса, их можно было бы просто перечислить. УПК недвусмысленно требует проверки судом содержательной полноты доказательств в материалах дела, то есть их достаточности для совершения судебных выводов. Суду, таким образом, поставлена удивительная задача: он должен заранее рассмотреть всю совокупность данных «за» и «против» обвиняемого и предвосхитить возможность однозначных судебных выводов в предстоящем процессе, в то же время не предрешая вопроса о виновности.

Есть ли на свете уникум, владеющий таким секретом: видеть достаточность собранных данных для совершения определенного вывода, оставляя в полном тумане сам вывод? Разве осознанная судьей достаточность доказательств не повлечет неминуемо его скрытый внутренний вывод о степени виновности обвиняемого? Более того, только наличие такого вывода и есть убедительный для судьи признак требуемой достаточности доказательств, признак, исключающий конфликт судьи и прокурора в предстоящем процессе.

Вот здесь и виден замысел законодателя! Все решить загодя, не допустить публичного рассмотрения дела с непрогнозируемым результатом, заблаговременно образовать союз обвинения и суда. Обратим внимание: упреждающее разрешение конфликтов вынесено в распорядительное заседание суда. Решение о виновности обвиняемого таким образом вытолкнуто законодателем за пределы судебного разбирательства дела. Эта любопытная особенность УПК обязывает судей в сотрудничестве с прокурором вершить досудебный суд, но без права официального оформления приговора. Законодатель минувших лет, подготавливая к утверждению такой юридический шедевр, хорошо чувствовал его уязвимость. Поэтому в нужных местах (именно — в нужных!) УПК украшается декоративным оборотом — «не предрешая вопроса о виновности». Процессуальная бесполезность подобного украшения лишь подчеркивает его маскирующую цель.

Что же на деле? Обвинитель и суд согласовывают позиции при закрытых две-

рях. Законодатель обходным маневром выхолащивает конституционный принцип открытости суда. Распорядительное заседание — модель предстоящего судебного процесса в условиях достигнутого согласия суда и обвинителя — ведет к предрешенности судебных выводов.

При недостаточности доказательств суд должен вернуть дело прокурору и обязать его указать, «какие обстоятельства должны быть дополнительно выяснены». Лаконизм этой нормы закона не умаляет ее поистине концептуального значения в отечественном судопроизводстве.

Что же предписывает УПК суду? Ответ ясен: законодатель обязывает суд оказывать прямую профессиональную помощь обвинителю. Суд, возвращая дело, дает прокурору четкие профессиональные предписания, — что еще необходимо уточнить, дополнить, чтобы новое обвинительное заключение могло выдержать повторную «экспертизу» суда. По сути, УПК возложил на суд функции высшего прокурора, имеющего право направлять, корректировать действия прокурора-подчиненного. Весьма странные функции для суда! Подобная «странность» имеет место не только при возврате дел обвинителю. Так, если суд не возвращает дело, то он вправе «исключить из обвинительного заключения отдельные пункты обвинения или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении». Законодатель позаботился о гуманности закона? Но «поправляя» таким образом обвинительное заключение, суд на стадии распорядительного заседания готовит собственную редакцию обвинительного заключения. Таким образом, суд предназначает самого себя к роли второго прокурора в предстоящем процессе с уже подготовленной обвинительной позицией.

Подчеркну, что процессуальное законодательство предоставило суду экспертную власть над обвинительным заключением в стадии предания обвиняемого суду. Суд до судебного процесса корректирует или бракует обвинительное заключение, то есть исполняет прямые функции прокурора. Как видим, функции суда и функции обвинителя опасно переплетаются. Суд превратился в инстанцию согласования обвинительного заключения.

Но почему при «недостаточности доказательств» суд в стадии предания суду не прекращает в отношении обвиняемого уголовное дело?

Право прекратить дело процессуальное законодательство предоставляет суду лишь в том случае, если «исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств». Значит, суд рассчитывает, что, потрудившись дополнительно, обвинитель с помощью обязательных по закону профессиональных подсказок суда или докажет вину обвиняемого, или откажется от обвинения.

Можно считать, что закон вменяет в обязанность суду продолжить процессуальные действия обвинителя по уголовному делу, если, по мнению суда, обвинитель не справился со своей задачей удовлетворительно. Иначе говоря, закон возложил на суд... опекунические обязанности. Суд напутствует обвинителя, предоставляет ему время для исправления замеченных судом несовершенств обвинительного заключения. Это уже новый аспект слияния обвинителя и суда: суд воздействует на стадию предварительного следствия как следователь. Законодатель, следовательно, видит в суде внештатный орган внутренних дел.

Вот весьма характерный пример. В декабре 1988 года суд высокой инстанции направил на новое расследование дело по обвинению Т. в убийстве. Суд признал недостаточность доказательств и наметил в своем постановлении впечатляющую комплексную программу нового следствия. Предписывалось, во-первых, проверить возможность причастности к событиям в районе преступления и других лиц; во-вторых, уточнить противоречивые данные о предполагаемом оружии убийства; в-третьих, провести новую экспертизу с целью выявить индивидуальные совпадения особенностей ран и предполагаемого оружия преступления; в-четвертых, уточнить, видели ли впоследствии Т. на месте обнаружения трупа, где имелись следы крови, которые могли попасть на обувь обвиняемого, в-пятых, провести дополнительную экспертизу для выяснения причин повреждений кожи на теле убитой, которые не могли быть вызваны предполагаемым орудием убийства, и т. д.

Наш суд в этом примере почти хрестоматийно иллюстрирует органическое слияние суда, следствия и прокуратуры — опекуна и опекаемых — в единое ведомство.

Такое слияние — свойство всей нашей судебной системы, оно не зависит от уровня звеньев, оно рождено и поддерживается процессуальным законом. Таков сегодня закон.

Смешно искать в этом законе обязанностей суда опекать, например, адвоката. А вот опека обвинителя — это реальность, и, увы, совсем не смешная.

Опекунская роль суда в стадии предания суду игнорирует предостережения передовой юридической мысли — о недопустимости слияния, переплетения функций суда и обвинителя. Столетия лучшие умы человечества вырабатывали концепцию, согласно которой правосудие возможно только там, где цели обвинителя и цели суда не совпадают: обвинитель ищет и представляет доказательства вины, суд только судит, то есть оценивает убедительность представленных доказательств. Явный отказ от этого принципа в нашем процессуальном законодательстве нельзя оправдать «поиском истины». Ведь у нас в правосудии остается только *с л е д о в а т е л ь*, исчезает независимый суд. Судебная практика, особенно тридцатых, пятидесятих и семидесятых годов, не оставляет в том никаких сомнений. Общество просто не имеет права ставить правосудие в теснющую зависимость от нравственности «судящего следователя».

Теперь риторический вопрос: можно ли рассчитывать на то, что, находясь под заботливой опекой суда, ни один, даже талантливый следователь или прокурор никогда не допустит брака, не поспешит закончить следственную работу кое-как, понадеявшись, что «там» проверят и подправят? Не стоит сомневаться: практика возврата дел из суда для совершенствования обвинительного заключения порождает профессиональный инфантилизм. Вечно опекаемый всегда деградирует.

Посмотрим теперь на проблему с позиций конституционного права. Закон, допускающий возврат дела обвинителю со стадии предания суду, наделяет суд не предусмотренным в Конституции правом *о т к а з а с у д и т ь* (напомним, «судить» не означает «осуждать»). Суд может отказаться от исполнения своей прямой конституционной функции на той стадии, когда «уголовный спор» уже вынесен на уровень *с а м о г о с у д а*! Перед нами пример надконституционного законотворчества.

Закон наделил обвинителя процессуальными правами с избытком. Переплетение функций обвинительной и судебной власти есть форма расширения прав обвинителя. Досудебная согласованность обвинительного заключения, тенденция предрешишь судебные выводы, опекунский характер функций суда в стадии предания суду — все это черты правосудия с обвинительным уклоном.

Стадия предания суду ждет радикальных законодательных перемен.

Зададимся вопросом: могло бы существовать такое «правосудие с обвинительным уклоном», если бы система оценки доказательств была достаточно совершенной или хотя бы удовлетворительной?

Этот вопрос с заранее известным ответом поднимает весьма непростую юридическую и нравственную проблему. Казалось бы, демократическое государство, озабоченное правом невиновного на свою невиновность, должно позаботиться о развитии в законе системы оценки доказательств. Но давайте процитируем десятилетиями не менявшуюся статью процессуального кодекса «Оценка доказательств», исчерпывающую все государственные предписания суду в этой области:

«Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и *с о ц и а л и с т и ч е с к и м* (разрядка моя. — Э. К.) правосознанием. Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее установленной силы».

Возникает вопрос: чем же поможет суду при оценке доказательств именно социалистическое правосознание? Если это понятие есть тавтологическая ссылка на уже существующие нормы законов нашего социалистического общества, то, будучи тавтологией, оно ничего нового суду не даст. Если же этот термин подразумевает возможность незаконного расширения правосознания по *у с м о т р е н и ю с у д а*, то мы должны будем признать факт парадоксального провозглашения законом правового волюнтаризма как нормы закона. Поэтому ссылку на социалистическое правосознание следовало бы опустить. Введенный в цитируемую статью оборот лишь создает видимость какой-то особой основы, на которую может будто бы опереться вывод суда в оценке доказательств.

Остается «внутреннее убеждение» — основополагающий принцип, закрепленный

в российской юстиции еще в прошлом веке. Оценка доказательств — задача не для компьютера. Но что же явится для суда критерием требуемой объективности внутреннего убеждения? Внутреннее убеждение — институт процессуального права, а всякое право должно иметь очерченные границы. В тексте цитируемой статьи нет и призрачного намёка на критерий объективности. Его подменяет «всестороннее рассмотрение дела» — правовой пустоцвет.

Доказывают ли вину подсудимого показания свидетелей — путанные, неоднократно меняющиеся — если у суда нет никаких вещественных улик? Доказывают ли вину одного человека, называемого подсудимым, лишь обвинительные интонации и блеск глаз другого человека, называемого свидетелем? А если все обвинения в тяжком преступлении строятся исключительно на согласованных показаниях свидетелей? Нет ли здесь организованного оговора? Судебная практика знает примеры подобного антиправосудия. Можно ли считать вину доказанной, если обвиняемый отказывается подтвердить в суде свое признание вины, а у суда в числе подтверждающих вину обстоятельств есть лишь сведения негативного характера о личности подсудимого, и только они?

В подобных случаях УПК бросает судей на произвол судьбы и подсудимого на произвол суда.

Показательно уголовное дело против проректора одного из вузов, профессора К., обвиненного только на основании показаний свидетелей во взяточничестве (О. Чайковская. «Тайны следствия». «Литературная газета» от 15.07.87). К. был осужден, хотя никаких других улик против него просто не существовало и, более того, некоторые свидетели говорили в суде о принуждении их следователем к даче ложных показаний. Сработало, однако, внутреннее убеждение в угоду следствию. Позднее Президиум Верховного Суда РСФСР приговор отменил и дело производством прекратил. И для этого не потребовалось никакого дополнительного расследования. Внутреннее убеждение, уже правосудное, восстало против самого себя как средства правосудия.

Отсутствие сдерживающих начал для выводов о доказанности вины — это юридическая чума. Две пандемии такой «чумы» вспыхивали в 30-х — 50-х годах. Не ограниченное законом внутреннее убеждение превращается в опасный для правосудия инструмент назначения вины.

Принцип внутреннего убеждения в столь абстрактном звучании не выдерживает проверки здравым смыслом. Эта законодательная абстракция распахивает двери для проникновения в суд организованного лжесвидетельства, вырванных преступным путем «признаний» и диктата местных феодалов. Иначе говоря, лаконизм законодателя благоприятствует ведомственному и «вневедомственному» давлению на правосудие.

Наука вряд ли представит в распоряжение суда критерий «совершенного доказательства вины», но чтобы внутреннее убеждение при оценке доказательств не перерастало во в л а с т ь м н е н и я, закон должен ограничить свободу внутреннего убеждения суда точным указанием явных несовершенств, ущербности тех или иных совокупностей «доказательств», оградив тем самым суд от «неправосудного правосудия». Этого закон не делает. Ставка на руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР и республики, не снимая проблемы, закрепляет принцип непарламентского законотворчества. Суд оказывается в двойном подчинении: он подчиняется и закону и Верховному Суду, его руководящим разъяснениям, не являющимся, строго говоря, законами. Но тогда как же интерпретировать статью Конституции о подчинении судей только Закону? Нет, ни Закон, ни руководящие разъяснения не рассеивают тумана вокруг проблемы «внутреннего убеждения» как правового института.

Если доказанность вины влечет обвинительный приговор суда, то ее недоказанность еще ничего для обвиняемого не з н а ч и т. Суд обязан направить дело для дополнительного расследования и с этой стадии, если установит «неполноту произведенного дознания или предварительного следствия», то есть обнаружит недостаточность доказательств (разумеется, для обвинительного приговора).

Суд опять не расстается с ролью опскуна обвинителя. Конечно, возврат дела свидетельствует о том, что суд на предшествующей стадии предания суду неудачно произвел «экспертизу» обвинительного заключения, оказался по своей «вине» в ошибках, не позволяющих доказать вину подсудимого, и признал ее недоказанность.

Так почему же суд не оправдывает подсудимого?

Именно здесь наш закон подменяет понятия. Закон всегда говорит о «недоказанности», а подразумевает «н с д о к а з у с м о с т ь». Ведь он требует для оправдания подсудимого «исчерпанности всех возможностей для собирания дополнительных доказательств», то есть фактически требует для оправдания подсудимого доказательства недоказуемости вины.

Но критерия «исчерпанности всех возможностей» просто не существует: «дополнительные доказательства» можно собирать всегда! Поэтому самая трудная задача для нашего суда — оправдать невиновного.

Процессуальный принцип нашего законодательства можно сформулировать так: «Подсудимый может быть оправдан лишь в том случае, если исчерпаны безрезультатно все мыслимые попытки доказать его вину при неограниченных процессуальных ресурсах обвинителя». Иными словами, процесс поиска доказательств вины практически не лимитирован. Невиновный, ставший по прихоти судьбы обвиняемым, может оказаться в утрашающих лабиринтах судопроизводства (вспомним «Процесс» Кафки). Цикличность судопроизводства — возврат дела, новое рассмотрение и так далее — процессуальный закон не ограничивает никакими временными рамками.

Какой же из этого следует вывод?

Если для оправдания обвиняемого требуется тем или иным способом доказывать его невиновность (а не вину!), то закон изначально видит в обвиняемом преступника, исходя из презумпции его вины. Итак, тсеновой, необъявляемый принцип нашего законодательства можно интерпретировать как презумпцию виновности обвиняемого.

Не парадокс ли? Ведь правоведение относит к основным принципам нашего судопроизводства презумпцию невиновности. Приведем ее формулу («Социалистическая законность». «Как понимать презумпцию невиновности» №4 за 1989 г., а также см. статью №14 Закона СССР о судопроизводстве): «Обвиняемый считается невиновным пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Какова же нравственно-правовая основа этой формулы, какие существенные права обвиняемого она декларирует и защищает? Только одно право: считаться невиновным, пока не докажут виновность. Формула не прсграждает дорогу процедурному изнурению обвиняемого, она закрепляет полномасье законодателя, определяющего процедуру решения вопроса о виновности. Подобная «презумпция» всего лишь этическое правило, запрещающее произносить слово «виновный» до вхождения в законную силу приговора суда. Никаких реальных процессуальных прав обвиняемого формула не содержит и открывает завидную свободу обвинителю и законодателю. В этом ее правовая безнравственность. Юстиция среднсвековья вполне могла бы, не греша в логике, начертать эту формулу на сводах своих подземелий.

Так что никакого парадокса тут нет, презумпция виновности уже присутствует в процессуальном законе в замаскированном виде, спрятанная за эфемерной этической нормой.

Коллегиальность рассмотрения дел в суде — принцип конституционный. Законом учрежден институт народных заседателей, последние законодательные акты расширяют в особых случаях их состав. Для чего нужна коллегиальность суда? Для исключения субъективизма, волюнтаризма и принятия решений на основе компетентности.

Так почему же будни судебного бытия свидетельствуют о несостоятельности к о л л е г и а л ь н о г о института народных заседателей, почему публицистика нарекает заседателей «тихими мышками», способными лишь расписаться под любым приговором (исключения только подтверждают правило)?

Равноправие народных заседателей и судей, формально провозглашаемое законом, ставит заседателей в условия демократического полновластия, при том, что они — власть — не знают ни законов, ни способов компетентного властвования, ни реального содержания спектра возникающих задач. Сознательно или нет, но законодатель использует известный прием обращения демократических структур в инструмент диктатора. Отсутствие интереса вынуждает следовать указаниям активного дирижера; реальный интерес требует понимания деталей, то есть компетентности.

Закрепленный законом институт полновластных народных заседателей допускается у нас постольку, поскольку он не мешает действовать главному лицу — председа-

тслю суда. Закон мог бы сузить рамки власти народных заседателей, приблизить их к решению ограниченного круга вопросов, как это делается в судах присяжных. Сегодня же, наделяя их номинально всей полнотой судебной власти, закон аннулирует реальную коллегиальность суда. Участие народных заседателей в судебном процессе превращается в почетное для них и почти совершенно формальное мероприятие. Закон институтирует несудящих почетных судей.

Впрочем, закон предусматривает дополнительную перестраховку. В числе вопросов, подлежащих, согласно УПК, разрешению судом, нет опасного для обвинителя, а именно: доказано ли обвинителем совершение деяния подсудимым? Вопрос в УПК поставлен, как перед гадалкой: «Совершил ли это деяние подсудимый?» Заметим, он обходит доказательность обвинения. Легко ли народному заседателю при наличии в деле признаков преступления лично гарантировать: «Нет, не совершил?» Постановка вопроса склоняет отвечающего к нужному обвинителю ответу и в нужной ему форме.

Воплощение идеи корпоративной бесконфликтности органов следствия, прокуратуры и суда в отправлении правосудия, точнее — в судопроизводстве, покоится, как видим, на трех глобальных принципах. Это:

- экспертно-опекунские функции суда на стадии предания суду, влекущие иллюзорную состоятельность сторон и практическую предерженность судебных выводов;

- отрицание презумпции невиновности, то есть обязанность суда доказывать для оправдания подсудимого принципиальную недоказуемость его вины, используя возврат дела на следствие (безлимитный процессуальный ресурс обвинителя);

- фантастическая свобода внутреннего убеждения суда, точнее, судьи — председателя иллюзорно-коллегиального судебного органа.

Такова сила власти процессуального закона.

Поставим теперь вопрос: может ли единоначалие судьи в совещательной комнате суда быть противовесом с о в е р ш е н и ю естественному обвинительному уклону обвинителя, если таковой уклон войдет в противоречие с правосознанием судьи?

Обвинительное заключение есть результат длительной работы специалистов целого ведомства. Судья либо принимает работу ведомства (спасибо ему!), либо отправляет ее в брак (то есть создает ЧП). Чем руководствуется судья? Конечно, он должен руководствоваться идеей справедливости. Каковы последствия для него со стороны «обиженной» им идеи справедливости? Осужденный подает кассационную жалобу на приговор, то есть на достигнутое единомыслие профессионалов — обвинения и суда. А вот внезапный единоличный акт судьи против ведомства обвинителя, то есть оправдательный приговор, влечет не только протест «обиженного» обвинителя. Незащищенный пожизненной несменяемостью судья готовит себе непредсказуемые последствия.

Здесь мы выходим за пределы уголовно-процессуального законодательства в сферу общественных отношений, связанных с организацией власти. Централизованный, аппаратный ее характер может сделать судью объектом «законных» и незаконных репрессивных акций ведомственного правосознания (А. Борин. «За что судили судью?». «Литературная газета» от 03.02.88.). Поэтому уголовно-процессуальное законодательство следует рассматривать и с той точки зрения, насколько оно способно защищать правосудие от неконституционного вмешательства внешних сил. Пока судья процессуально обозначен как ответственный контролер, «приемщик» ведомственной работы с обязанностью возврата дела на следствие обвинителю, будут существовать (а то и крепнуть) диктат обвинителя и вероятный диктат других, неведомых обществу сил. Лишь непредсказуемость состава судей (именно судей!) и полное очищение закона от замаскированных обвинительных функций суда — позволят уйти от какой бы то ни было диктатуры в правосудии. Действующее уголовно-процессуальное законодательство ни одним из таких необходимых признаков не отмечено. Иначе говоря, закон попустительствует внесудебному давлению на правосудие.

Длительное время мы имели (как это прозвучало в нашей публицистике) уникальное правосудие: правосудие без оправдательных приговоров. Сейчас говорят о возрастании относительной доли оправдательных приговоров и ставят под сомнение правомерность наблюдаемой тенденции правосудия. Но именно сам этот факт свидетельствует об управляемости судопроизводства, о неспособности закона быть стабильным регулятором в уголовных процессах.

Можно предъявить претензии и нашей официальной судебной этике. Оправдательный приговор при наличии признаков совершенного преступления выносится по мотиву: «не доказано участие подсудимого в совершении преступления». Формулировка ставит

оправданного в положение подозрительного в глазах общества хитреца, сумевшего скрыть главные улики. В ней слышится упрек обвинителю с интонациями вынужденной досады суда. Оправдание с такой порочащей формулировкой — не изобретение нашей юстиции. Еще в царской России до прогрессивной реформы суда 1864 года при аналогичном оправдании использовалось резолютивное: «оставить в подозрении». Несмотря на различие формулировок, их смысл весьма близок. Не следует ли оправдывать «за несобоснованностью обвинения», то есть прямо указывать обвинителю на его ошибку?

Устав уголовного судопроизводства 1864 года уже предусматривал такие процессуальные принципы, как разделение обвинительной и судебной власти, гласность судебного разбирательства, его непрерывность, состязательность сторон, внутреннее убеждение суда, независимое предание суду, суд присяжных, две инстанции прохождения уголовных дел. Для посткрестовической России Судебные уставы явились юридическим совершенством, удивительным примером того, каких крупных общественно-значимых результатов может достигнуть осмысленная государственная политика.

Важны детали. Предание суду осуществлялось внешней для суда инстанцией — судебной палатой, в отличие от принятого сегодня принципа, когда предание суду осуществляет тот же суд с вытекающей отсюда predeterminedностью судебных выводов. Суд присяжных с его процессуальной неизбежностью принятия судебного решения (виновен — невиновен) исключал возврат дела обвинителю на доследование — услужливая мера не столько для правосудия, сколько для обвинителя. О степени разработанности процессуальных деталей говорит количество статей процессуального законодательства: в Уставе 1864 года их было свыше тысячи, тогда как в сегодняшнем УПК — менее пятисот. Последующее наступление монархической «командной системы» на правосудие привело к сужению круга уголовных дел, подсудных судам присяжных, и к привлечению жандармского корпуса в уголовное судопроизводство в качестве органа предварительного следствия. При всем этом, мне кажется, уровень сегодняшнего процессуального законодательства все же уступает тому, что мы имели в прошлом веке.

«Мертвая зона», начавшаяся с бессудного «правосудия» и получившая некоторые процессуальные признаки в кодексе 1924 года (умалчивающем о независимости судей, о праве подсудимого на защиту, о назначении наказания только по приговору суда), существовала до пятидесятих годов. В этот период в юстиции процветает организованная преступность. Здесь поле исследований криминалистов, а вовсе не правоведов. Важным событием стало появление в 1958 году «Основ уголовного судопроизводства Союза ССР» и в 1960-61 годах республиканских Уголовно-процессуальных кодексов. С 1956 года по 1961 год был отменен сонм предшествующих законодательных актов, в том числе — Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года со впечатляющим названием: «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов». Были отменены также Постановления ЦИК от 1 декабря 1934 года и от 14 сентября 1937 года, устанавливающие исключительный порядок рассмотрения дел по эпохальной статье того времени 58 УК.

С шестидесятых годов процессуальное законодательство практически не меняется, вносимые в него отдельные изменения и дополнения не затрагивают принципиальных основ процессуального права. Это время можно было бы назвать периодом абсолютского государственного правосознания, вкрапленного в институты внешне демократической структуры. Институт судей уже не включает в себя особые совещания, но правосудие обвинителя — правовой атавизм — еще несет вахту. Органы, называемые правоохранительными, следовало бы именовать правоприменительными. Адвокатура почему-то официально отлучена от причастности к правоохранению.

Общественный вердикт, вынесенный нашей публицистикой в последние годы, вводит адвокатуру в состав правоохранительных органов. Почему же сочетание этих слов режет слух? Не потому ли, что адвокат лишь защищает права и интересы обвиняемого, а мы привыкли считать правоохранительными только органы, имеющие право обвинять и карать? Выпадение адвокатуры из состава правоохранительных органов фиксирует, кстати, энциклопедический словарь. Четко отражая официальные воззрения, словарь перечисляет состав этих органов: суд, прокуратура, органы внутренних дел, государственной безопасности, юстиции, госарбитража с примыкающими к ним органами народного контроля, комиссиями по борьбе с пьянством, инспекциями и товарищескими судами. Об адвокатуре — ни слова.

Но только адвокатура в сочетании с обновленным прокурорским надзором может поставить процессуальный заслон недобросовестному следствию. Недобросовестному не только из-за возможного отсутствия профессионализма, но часто и сознательно, когда вступают в дело интересы ведомственной карьеры. Следственные допросы лиц, находящихся под стражей, должны происходить непременно в присутствии защитника. Задачи адвокатуры, конечно, этим не исчерпываются. Защитник должен и — в случае содействия ему нового закона — сможет защищать обвиняемого от обвинительных доминант следствия.

В нынешнее время адвокат имеет лишь право ходатайствовать вместе с обвиняемым о проведении следственных действий, экспертиз в интересах обвиняемого, то есть о контррасследовании для установления невиновности или смягчения вины. Право просить — его главное право. При сохранении только такого права допуск защитника к делу на более ранних стадиях (этот вопрос недавно уже решен) ничего не изменит. Жалобы, ходатайства — лишь эмоциональные акты бесправного существа. Адвокат должен получить право на протест, обязывающий следственные группы, экспертные службы выполнить согласованные с обвиняемым следственные действия, экспертизы. Оставление за судом и обвинителем права отказывать в проведении таких действий, что имеет место сегодня, совершенно недопустимо, так как подобное право выражает откровенный процессуальный диктат обвинителя. Что касается финансовых издержек — этот вопрос мог бы найти естественное законодательное решение.

Отказ от возвратов дел обвинителю со стадии предания суду исключит необходимость судебной «экспертизы» обвинительного заключения на пресловутую «достаточность доказательств», устранив досудебное единение обвинителя и суда. Фактически это будет означать, что предание суду станет естественной функцией обвинительной власти. Обвинитель направляет в суд свое обвинение в адрес обвиняемого для разрешения судом «уголовного спора», что не вызывает протеста правосознания.

Вопрос имеет свою историю. В прошлом веке великий русский юрист А. Ф. Кони возражал против внесудебного предания суду (минуя судебную палату). В России, только что избавившейся от сословного суда с его механическим правосудием, сам факт предания суду в народном правосознании оценивался уже как наказание. Тонко чувствуя исторически сложившиеся черты народного правосознания, А. Ф. Кони справедливо настаивал на сужении сферы таких наказаний, видя в судебной палате орган пресечения обвинительного уклона следствия. Современное правосознание отдаст предпочтение признанию невиновности по суду. Прекращение дела следователем после его возврата из суда есть форма бессудебного «оправдания» — унижительная для невиновного акция. Презумпция виновности не может быть сохранена в процессуальном законодательстве правового государства. Исключение возвратов дел обвинителю при сохранении (и даже расширении) его прав в предоставлении новых доказательств в стадии судебного разбирательства — важнейшая задача нового законодателя. В этой области, к сожалению, мы должны лишь догонять процессуальные законодательства многих стран.

Новый процессуальный принцип решения вопросов о невиновности или виновности можно выразить формулой. обвиняемый в ограничиваемый законом период обвинения не считается виновным и провозглашается невиновным при недоказанности его вины в суде.

Почему эту формулу можно рассматривать как презумпцию невиновности? Она провозглашает невиновность обвиняемого, если обвинитель и суд исчерпали процессуальный лимит на доказательство обратного. В этих ограничениях власти обвинителя и суда и следует видеть реальный правовой смысл презумпции невиновности. Безграничность власти — всегда безнравственность власти. Презумпция невиновности должна стать принципом и символом нравственной власти суда.

Надежды на новый, правый суд связываются с особой ролью будущего закона в регулировании процесса доказательства вины. Внутреннее убеждение — не власть мнения, оно должно быть ограничено строгими рамками закона, как всякое право. Мы говорим: любое сомнение толкуется в пользу подсудимого. Но может ли закон относить право судьи не сомневаться в виновности подсудимого в область его права — личного, бесконтрольного? Новый закон, надеемся, ответит на этот вопрос однозначно.

Закон может и должен исключить из рассмотрения судом «доказательства» бесильные, ущербные, явно сомнительные, к числу которых можно, видимо, отнести:

противоречивые показания любого свидетеля в полной их совокупности (изъятие из дела информации, причастной к источнику парадоксов):

свидетельские показания при полном отсутствии иных улик, кроме случаев задержания на месте преступления с оформлением протокола (исключение гипотез);

сведения негативного характера о подсудимом как «подтверждение» его участия в преступлении (отбрасывание данных, не относящихся конкретно к предмету доказывания);

неподтверждаемое в суде признание обвиняемым своей вины.

В истолковании бессильных доказательств должен главенствовать закон, а не толкователь закона, сколь бы ни был высок его ранг.

Не исключает ли такой закон свидетельские показания из состава доказательств? Нет, но противоречивые, выплывающие на свет божий с удивительным запозданием и ничем объективно не подтверждаемые гипотезы лишаются силы. Будет ли нанесен ущерб правосудию? Поставим контрольный вопрос: должен ли закон содержать противоядие против фальсификаций — грубых, легко организуемых в угоду истинным преступникам? Давайте честно ответим себе на этот вопрос, имея в виду известные случаи подобных фальсификаций во многих странах и, увы, в нашей стране.

Независимость суда! Суд призван быть независимым и от обвинителя с Уголовным кодексом, и от обвинителя с... телефонной трубкой. Поэтому независимость суда — проблема не столько юридическая, сколько общественная, социальная. Для радикального решения ее не нужно никаких юридических изобретений: это суд присяжных заседателей. Представительность, независимость суда даже от его председателя, невозможность заранее предвидеть состав присяжных заседателей, коллегиальность их судебной власти и процессуальная неизбежность принятия судебных решений — достоинства такого суда. Их трудно переоценить с позиций развитого правосознания.

Теперь о компетентности присяжных при решении ими вопроса о доказанности или недоказанности вины. Достаточно избирать и профилировать коллегии присяжных из числа лиц с близкой профессиональной ориентацией или опытом общественной деятельности, разделив их, соответственно, по группам расследуемых преступлений. Так, группа должностных, хозяйственных преступлений и преступлений против общественной собственности потребует от присяжных способности разбираться в организационно-экономических вопросах производства. Преступления против жизни и здоровья личности, против личной собственности потребуют для их разбирательства гражданской зрелости и жизненного опыта, не столь тесно связанных с узко профессиональной деятельностью присяжных. Государственные преступления, преступления против политических и трудовых прав граждан, против правосудия — поле судебной деятельности тех присяжных, которые могут избираться из числа наиболее авторитетных людей, известных своей общественной деятельностью.

Учреждение суда присяжных поставит на реальную основу неприкосновенность и несменяемость судьи. До тех пор, пока суд и председатель суда — суть одно и то же, бессмысленно надеяться на какую бы то ни было защищенность одиночки от власти аппарата. Фактическое единоначалие судьи означает наличие ведомственного суда. Только суд присяжных, коллегиальный, независимый, компетентный, может окончательно ликвидировать ведомственное правосудие.

Если пытаться как-то ранжировать отрасли права по их влиянию на жизнь общества, то можно с определенной условностью заметить следующее. В правовом государстве с устоявшимся экономическим базисом на первом плане — экономические и политические права граждан. В тоталитарных системах главенствующее значение обретают правовые механизмы подавления оппозиции тоталитаризму. Такими механизмами становятся уголовное и уголовно-процессуальное законодательства, наделяющие особой властью правоприменительные ведомства. Роль общества, его выборных представителей в отправлении правосудия приобретают значение символическое, порождается и находит закрепление в законе правосудие обвинителя.

Наше советское общество сегодня испытывает все ниспосланные ему судьбой тяготы и муки переходного периода. На поверхности лежат трудноразрешимые экономические и связанные с ними национальные проблемы, они поглощают основной ресурс общественного внимания. Следует, однако, не упускать из виду, что приоритет этих животрепещущих проблем над задачами преобразования судопроизводства — только

кажущийся Преобразования в рассматриваемой области права должны идти одновременно с преобразованиями экономическими и политическими, не отрываясь от них.

Бедственное, запущенное состояние правоохранительной системы вряд ли позволят реформировать ее «одним махом». Сначала следовало бы привести к цивилизованным нормам стадию предания суду (то есть сразу начать с разрушения связки «обвинитель — суд» на этапе ее зарождения).

Новый законодатель — сегодняшний законодатель будущего правового государства — поставлен перед проблемой ограничения полновластия государственной правоприменительной системы. Эта система до сих пор прекрасно решала задачу охраны государственных прав, а точнее — прав государственного аппарата. Ограничение прав органов государства и расширение прав граждан и их общественных органов — в том числе в судопроизводстве — задача политического значения. Очищение функций суда от функций обвинителя, прекращение челночных движений уголовного дела по маршруту суд — прокуратура, отказ от волюнтаристской свободы внутреннего убеждения и единоначалия в суде есть очищение суда от наслонившихся ведомственных атавизмов.

Наша отечественная Фемида, отрицая ведомственный суд, поступит разумно, если «возьмет за основу» с выстрадавшими самой жизнью поправками идеи реформы суда 1864 года. Движение к правовому государству требует возврата на прерванный путь.

...И муки права

(комментарий юриста)

«Соблюдайте советские законы!» — как хорошо знаком каждому из нас этот призыв (конкурировать с ним могло до недавнего времени разве что другое заклинание: «Еще теснее сплотимся вокруг...»). Нам внушалось, что закон не только обеспечивает общественный порядок, но и гарантирует каждому гражданину свободу личности. В ходу была цитата из Маркса: «Свод законов есть библия свободы народа».

Нет, обсуждать всерьез вопрос о законе как необходимой форме существования личной свободы в условиях человеческого общежития я не собираюсь. Как-то даже неловко. Еще в глубокой древности люди осознали: порядок и закон — наивысшее благо для общества и личности, беспорядок и междоусобица — наибольшее зло. Но закон закону рознь, и если мы заглянем в конкретные нормы закона, которые призваны неукоснительно исполнять, то обнаружим там немало неожиданного с точки зрения нравственности.

Так, ныне действующая составная часть «библии свободы советского народа» — Уголовный кодекс под страхом лишения свободы воспрещает гражданину выезжать за границу или переходить ее «без разрешения надлежащих властей», продавать, дарить, обменивать и приобретать иностранную валюту, драгоценные металлы и камни, заниматься предпринимательством и коммерцией (тут букет статей — частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредничество, спекуляция, занятие запрещенным промыслом), кормить скотину хлебом, проживать без прописки, пристраивать без разрешения исполкома к дому или даче дополнительное помещение. В то же время Уголовный кодекс принуждает близких родственников — мать и сына, сестру и брата, мужа и жену доносить друг на друга и свидетельствовать друг против друга на следствии и в суде.

Справедливости ради заметим: раньше было хуже. Всего лишь год назад можно было привлечь к уголовной ответственности за личные убеждения, если они расходились с официальной оценкой советского образа жизни и методов правления страной. Статьи 70 и 190 УК РСФСР содержали для подобных okazji формулу: «распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». В прежнем Уголовном кодексе, существовавшем до 1960 года, содержалась норма, позволявшая репрессировать граждан даже не за их собственные действия — они подлежали отправке на пять лет в места не столь отдаленные, если их близкий родственник бежал за границу или отказался вернуться в СССР. А еще раньше, в тридцатые — сороковые годы, уголовный закон карал крестьян, не сдавших хлеб государству, колхозников — за невыработку минимума трудовой, рабочих — за самовольный уход с предприятий и даже за непосещение курсов по ликвидации неграмотности!

Это уголовный закон. А если взять закон уголовно-процессуальный, устанавливающий порядок расследования и рассмотрения уголовных дел? Еще год назад арестованный по подозрению в совершении преступления гражданин обнаруживал, что может пребывать в тюрьме бессрочно — Президиум Верховного Совета СССР продлевал досудебное содержание под стражей на сколь угодно длительное время.

В декабре 1989 года закон наконец-то определил предельный срок предварительного заключения — восемнадцать месяцев. Да вот беда: для арестованного это мало что меняет. Есть в отечественном уголовно-процессуальном законе норма, неведомая судебному праву других государств. Она разрешает суду, если тот посчитал обвинение недоказанным, не оправдывать подсудимого, а возвращать дело на дополнительное расследование: дескать, следствие проведено неполно, найдите тех-то, допросите таких-то, проведите очные ставки, назначьте еще одну экспертизу и т.д. и т.п. И будет обвиняемый с неустановленной виной продолжать маяться в тюрьме, ибо закон определяет по делу, вернувшись на следствие из суда, дополнительный месяц для содержания подследственного под стражей. Доследовали в течение месяца — и опять направили дело в суд. А оттуда вновь возвращают его следователю. А следователь снова... Догадались? Правильно. Закон не ограничивает число взаимных возвратов дела. При отсутствии правовой преграды ведомственный судебно-следственный «пинг-понг» может продолжаться годами. И надо еще учитывать: в срок содержания под стражей засчитывается только время пребывания под следствием, нахождение же обвиняемого в суде сюда не входит. Такие дела...

«Да это же произвол!?» — воскликнете вы. И будете правы. Чистейший произвол. Но заметьте — все по закону. И тюрьма за проживание без прописки, и тюрьма за то, что не донес на отца родного, и тюрьма за недоказанную вину.

Нет, не любой закон — «библия свободы». Только правовой. Это и имел в виду Маркс. Для неправовых законов у основоположника было другое выражение — «законодательство произвола». Так что не напрасно встревожился Э. Клямко, приглядевшись к нашему криминальному законодательству, — действительно, есть от чего вздрогнуть. Многие суждения и оценки автора я разделяю. Но не все. Проблемы, поднятые в статье, сложны, они длительное время изучаются в специальной, часто закрытой для широкого читателя, юридической литературе. И неудивительно, что при ближайшем рассмотрении они оказываются более глубокими, чем представляется автору.

Э. Клямко справедливо озабочен необходимостью создания гарантий против осуждения за убеждения и предпринимательскую инициативу. Такие гарантии он усматривает прежде всего в правильном определении общего понятия преступления. Действующее уголовное законодательство содержит следующую формулу:

«Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом».

Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного особенной частью настоящего кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».

В этом определении автор усматривает «коварный смысл», позволяющий преследовать не за действия, а за убеждения и мысли. Несет заряд коварства, по мнению Э. Клямко, слово «посягательство». Заменить его указанием на конкретный вред, который причиняет преступное деяние, и вопрос решен.

Я думаю иначе. Проблема существует, но термин «посягательство» здесь ни при чем. Заменить его в определении общего понятия преступления на «вред» («ущерб») не представляется возможным по той причине, что конкретные преступления по своему составу бывают не только материальные, то есть причиняющие реальные, «наблюдаемые, измеряемые», как пишет автор, последствия, но и формальные, когда наказуем сам факт совершения деяния, независимо от дальнейших последствий. Шпионаж признается оконченным преступлением с момента получения для передачи иностранной разведке сведений, составляющих государственную и военную тайну; разбой — с момента нападения, независимо от того, удалось завладеть имуществом потерпевшего или нет; дезертирство — с момента оставления воинской части; нарушение правил охраны труда

— при существовании реальной возможности несчастных случаев с людьми и т. п. На сорок процентов Уголовный кодекс состоит из подобных составов преступлений.

Указавшим на конкретный вред в определении общего понятия преступления невозможно предотвратить ни уголовное преследование инакомыслящих, ни осуждение инициативных хозяйственников. Для соответствия действительности в приведенной выше законодательной формуле преступления общественный строй следовало бы назвать тоталитарным. И все встало бы на свои места.

Для тоталитарного общественного строя нет большей опасности, чем свободное слово. Для государственно-монополистической экономики главный враг — хозяйственная инициатива. Так что за дело преследовал режим развитого тоталитаризма правозащитников и частных предпринимателей. Не по ошибке, не по невведению, не по правовому недомыслию. За реальный вред, наносимый партийной идеологии, тоталитарной государственной машине, умертвлявшим гражданское общество и экономику свободных производителей.

Но «коварный смысл» в формуле преступления есть. Только несет его другое слово, не «посягательство». Какое? Для наглядности сравним определение «советского» преступления с «зарубежными».

«Преступление — это виновно-противоправное действие, определенное в уголовном кодексе» (Япония).

«Преступление — деяние, которое законы карают мучительным или позорящим наказанием» (Франция).

«Преступление — противоправное деяние, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и более» (ФРГ).

Определения краткие и какие-то будничные, лишённые малейшего налета торжественности. Обратим внимание, нет в них упоминания общественной опасности — признака преступления, фигурирующего в отечественном законе и семь десятилетий выдаваемого за главное достижение нашей юридической мысли.

Как же так, разве всякое преступление не является общественно опасным? — слышится мне вопрос растерянного читателя. Разумеется, общественная опасность — основной критерий для отнесения деяния к числу преступлений. Но в уголовном законе не должно быть места общественной опасности как самостоятельному признаку преступления. Общественная опасность полностью опосредуется признаком противоправности: раз предусмотрено деяние в уголовном законе, значит, оно является общественно опасным. Следствию и суду надлежит исполнять закон, а не решать самим, помимо Уголовного кодекса, обладает деяние общественной опасностью или нет. Присутствие в законе «общественной опасности» в качестве признака преступления открывает путь произволу. Так и происходило в течение многих лет. Это сейчас общественная опасность существует у нас в законе наряду с противоправностью, а до 1958 года находилась там в месте нее.

Для чего необходимо четко определить в законе понятие преступления? Для того, чтобы судьи правильно этот закон применяли, а граждане знали, за что их могут привлечь к уголовной ответственности.

Правовое государство стремится обеспечить законность в стране. Законодатель говорит судьям и гражданам: преступление — это те деяния, которые обозначены в Уголовном кодексе. Откройте его, прочитайте и вам все будет ясно. У деспотических режимов иная задача — держать своих подданных в страхе. Власть не хочет себя связывать ясным и точным законом. И тогда в Уголовном кодексе либо вообще не дается перечня конкретных деяний, либо такой перечень примерный, неисчерпывающий. «Преступление — это то, что опасно для власти», — вот формула бесправия. И с таким определением понятия преступления наша страна жила сорок лет!

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, принятые 12 декабря 1919 года, определяли преступление как «действие или бездействие, опасное для данной системы общественных отношений». А кодексы 1922 и 1926 годов признавали преступлением «всякое действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». Как видим, нет в этих определениях «пустячка» — обозначенности деяния в Уголовном кодексе.

Решать, что преступно, а что нет, предлагалось самим судьям, исходя из требований момента. Коль они своим революционным правосознанием решат, что действие опасно для «системы» или «переходного правопорядка», так тому и быть.

Обозначенность деяния в кодексе как признак преступления появилась в нашем законе только в 1958 году. Но упоминание об «общественной опасности» из закона не исчезло, не отказался и постсталинизм от критерия социалистического правосознания.

Ныне действующий уголовный закон дает команду судье: смотри в кодексе, там все предусмотрено, но этого недостаточно: учти, что кроме противоправности есть еще и общественная опасность. Ты можешь признать не преступным действие, обозначенное в кодексе как преступление, если своим социалистическим правосознанием посчитаешь его не общественно опасным. Но ты должен быть готов признать преступными действия, вредные для системы, хотя прямо они законом не предусмотрены, а что общественно опасно я, государство, тебе подскажу своими постановлениями, программами и т. д. Ты, судья, своим социалистическим правосознанием будешь воспринимать мои, государства, идеологические указания.

И суды воспринимали, признавая хозяйственных руководителей, оплачивавших отличную работу по расценкам выше нищенских ведомственных, — расхитителями, а граждан, использовавших конституционное право на свободу слова, — «антисоветчиками».

Так «общественная опасность» размывает противоправность, позволяет, прикрываясь законом, творить произвол.

Справедливо критикует Э. Клячко «невзрачную» стадию нашего правосудия — предание суду. Принятое у нас требование определить достаточность доказательств для рассмотрения дела в судебном заседании, не предвещая при этом вопроса о виновности, — действительно законотворческий «индевр». Но ни у кого не должно сложиться впечатление, что предание суду — ненужная стадия судопроизводства, специально придуманная нашими «стражниками-наставниками» для того, чтобы связать суд и государственное обвинение одной веревочкой. Предание суду — необходимый этап правосудия, и смысл его как раз состоит в том, чтобы никто не мог предстать перед судом без достаточных оснований для привлечения к ответственности. Основной вопрос, который решает стадия предания суду «у них», — о допустимости собранных обвинителем доказательств, то есть об их соответствии требованиям процессуального закона.

Законодательство и судебная практика западных стран последовательно проводят принцип недопустимости доказательств, собранных с нарушением прав человека. Вот, например, дело Хинкли, обвиняемого в покушении на убийство Президента США Рейгана. Хинкли задержали на месте происшествия и тут же заключили под стражу. Через некоторое время в его камере полиция произвела обыск и обнаружила дневник. Записи, которые вел арестованный, свидетельствовали о том, что преступление было совершено не внезапно, как утверждал на допросах Хинкли, а тщательно готовилось заранее. Но при предании суду дневник был исключен из числа представленных государственным обвинителем улик и не допущен к рассмотрению суда присяжных. Недопустимость дневника Хинкли как доказательства суд обосновал тем, что тот был изъят с нарушением конституционных прав личности. Конституция США (как, впрочем, и наша) закрепляет неприкосновенность жилища. Обыск в жилом помещении может быть произведен только при наличии выданного судом ордера. Камеру Хинкли обыскали без ордера. В своем решении суд указал, что камера является жилищем обвиняемого — вторгаться в нее без судебной санкции полиция не имела права.

Если обвинение хочет представить на суд в качестве доказательства признание, сделанное обвиняемым в полиции или перед другими представителями власти, оно должно доказать с абсолютной достоверностью, что признание было сделано добровольно. В Правилах для судей Англии записано: «Одним из основных условий допустимости обвинительных доказательств, выдвинутых против любого лица, независимо от того, содержится ли оно в любом устном ответе этого лица на вопрос полицейского или в любом заявлении, исходящем от этого лица, является обязательная их добровольность в том смысле, что они не должны быть от него получены под страхом ущерба или в надежде на выгоду, предоставляемую или предлагаемую представителем власти, или под принуждением». Если причинная связь между признанием и принуждением, опасением вредных последствий, надеждой на выгоду не исключается, такое признание не допускается к судебному рассмотрению, чтобы оно не могло повлиять на присяжных заседателей...

Это все — их сложности. В нашем законодательстве нормы о допустимости доказательств нет, а на нет, как известно, и суда нет. У нас стадия предания суду, будучи не в состоянии решать те вопросы, для которых она, собственно, предназначена, выроди-

лась в чисто формальную процедуру. Но решение о рассмотрении дела психологически действует на суд, ибо ему, этому суду, и предстоит в дальнейшем выносить приговор. У них судьи, предающие обвиняемого суду, в судебном разбирательстве участия не принимают. У нас предает суду и судит один и тот же состав судей, что, естественно, связывает суд принятым ранее решением, подталкивает к вынесению обвинительного приговора.

С чем никак не могу согласиться, так это с утверждением Э. Клячко о будто бы существующей в нашем законодательстве «фантастической свободе внутреннего убеждения судей». Напротив, внутреннее судебское убеждение у нас серьезно ограничено — закон требует письменно мотивировать вынесенный приговор, то есть изложить, почему признаны достоверными одни доказательства и отвергнуты другие. Полной свободой внутреннего убеждения обладает как раз суд присяжных, который свой вердикт не мотивирует. Ратуя за введение суда присяжных и предлагая в то же время ограничить внутреннее судебское убеждение, автор тем самым противоречит сам себе.

Совершена ли принятая практически повсеместно форма оценки доказательств по внутреннему убеждению, предохраняет ли она полностью от судебных ошибок? Разумеется, нет. Судебное исследование — это частный случай построения надежной системы из ненадежных элементов. Ведь строительным материалом в суде служат, как сотни и тысячи лет назад, главным образом, показания людей. Человечество на протяжении всей своей истории пытается преодолеть несовершенство судебных доказательств — люди могут сводить личные счеты, оговаривать себя и других, наконец, просто добросовестно заблуждаться.

Вплоть до середины прошлого века существовала система формальных доказательств. Закон сам наперед исчислял силу и вес каждой улики: признание обвиняемого — «царица доказательств», единица; согласные показания двух незаинтересованных свидетелей — «полное доказательство» — тоже единица; показания одного незаинтересованного свидетеля — половина, а заинтересованного — четверть полного доказательства; поличное — две трети и т. п. Судье оставалось только производить четыре арифметических действия.

От системы формальных доказательств отказались, перешли к системе оценки доказательств по внутреннему убеждению. Она позволяет учесть индивидуальные особенности конкретного дела, оценить неисчисляемые по своей природе обстоятельства, могущие приобрести решающее значение для исхода процесса.

Но опасность судебной ошибки, конечно же, остается. В целях ее снижения закон и руководящая судебная практика стремятся регулировать процесс формирования судебного убеждения. Так, закон воспрещает выносить обвинительный приговор, если признание обвиняемым своей вины ничем не подтверждено, лишает доказательственной силы свидетельство по слуху. Разъяснения Верховного Суда СССР ориентируют на особо критическое отношение к определенным доказательствам (например, к показаниям соучастников или лиц, заинтересованных в исходе дела).

В данном вопросе нормы нашего закона и разъяснения вышестоящих судов практически не отличаются от регулирования процесса оценки доказательств за рубежом. Там чрезвычайно осторожно подходят к включению в закон правил о силе доказательств, предпочитая осторожные, но не абсолютные указания Верховных судов. В Англии, например, закон обязывает судью обратить внимание присяжных на опасность ошибочного осуждения, если оно основано на неподкрепленном показании соучастника, ничем не подтвержденном заявлении о половом преступлении или опознании обвиняемого только одним из нескольких очевидцев преступления. Но категорического запрета выносить обвинительный приговор в таких случаях нет. И вот по какой причине. Судебное разбирательство происходит в условиях непосредственного восприятия доказательств. Оно позволяет присяжным уловить то живое чувство правды, какое движет показаниями того или иного лица. Как участник многих судебных процессов утверждаю: бывает ситуация, когда каждому присутствующему на суде видно — вот этот свидетель говорит правду, а тот лжет.

Гарантии от необоснованного осуждения выработаны. Не абсолютные — их в делах человеческих и быть не может, — но достаточно надежные. Может ошибиться один человек, менее вероятно, что двое, еще меньше риск ошибиться троим... Для осуждения требуется единогласие двенадцати присяжных. Хотя один сомневается — надо оправдывать. Согласитесь: запас прочности немалый...

Но все это, опять-таки, у них. У нас нет суда присяжных. У нас свои «тройки»:

председательствующий и двое народных заседателей. Решения принимаются большинством голосов, так что могут двумя голосами осудить человека к смертной казни. Запас прочности, как видим, пониже. А если принять во внимание нашу всем хорошо известную реальность (судит один профессиональный судья, а заседатели только отбывают время), то увидим: «золотое правило» правосудия — «сомнения толкуются в пользу подсудимого, а недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности», — перестает действовать. Испытывать сомнения становится просто некому.

Автора, как и, думаю, миллионы советских граждан, потрясло «витебское» дело. Благородное стремление предотвратить такие трагедии движет Э. Клямко, когда он предлагает ограничить свободу внутреннего убеждения суда «точным указанием явных несовершенств (ущербности) тех или иных совокупностей доказательств». Но вопреки мнению Э. Клямко, в «витебском деле» произвол выразился не в свободе внутреннего убеждения судей, а в отсутствии у них такого убеждения. Это дело — не судебная ошибка. Ошибка предполагает в худшем случае неосторожную вину, часто в ней вообще нельзя никого винить (как тонко заметил Станислав Ежи Лец, «ошибка становится ошибкой, когда рождается как истина»). В витебском деле и аналогичных ему делах не было поиска истины — шла фабрикация заведомо ложного обвинения (на следствии) и бездумная штамповка обвинительных заключений (в суде).

Пора уяснить, что сегодня мы имеем особый суд. Он страшен тем, что не решает спор между сторонами обвинения и защиты, как принято в цивилизованном мире, а борется с преступностью. В одном ряду с милицией, со следствием, с прокуратурой. Под руководством. В доперестроечные времена — партии, затем Советов, сейчас, похоже, Президента. А когда суд с кем-либо «борется», когда судьи входят в состав временных и постоянных комитетов (теперь уже даже не по борьбе — по войне с преступностью!), о какой независимости судебной власти может идти речь?

Умница Лец предупреждает: «Там, где господствуют жестокие законы, люди тоскуют по беззаконию». Дождется ли наше пострадавшее общество мудрых и справедливых, цивилизованных законов? Верю, дождется. Но лишь при том условии, что будет о них тревожиться.

Г. РЕЗНИК,
адвокат, кандидат юридических наук.

От кризиса к катастрофе

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По меткому выражению американского экономиста Д. Штейнберга, нашу экономику можно уподобить огромному пузырю, который искусственно накачивали на протяжении десятилетий. Он до сих пор не лопнул лишь только потому, что экономика и общество в целом паразитировали все эти десятилетия за счет прошлых поколений (материальный и духовный потенциал, доставшийся в наследство от капитализма) и будущих (среда обитания и сам человек). Чем раньше лопнет этот пузырь, тем лучше, меньше боли для всех нас. Хотя вовсе избавиться от нее, увы, не удастся.

В здоровом экономическом механизме кризис часто является неизбежным этапом устранения диспропорций, накопившихся в экономике в период подъема. В ходе самого кризиса, таким образом, формируются предпосылки дальнейшего здорового развития. Такова, в самом грубом виде, роль кризисов в рыночной экономике. Неизбежен, очевидно, кризис и при переходе от командной экономики к рыночной. Однако то, что происходит сейчас у нас, не имеет ничего общего ни со здоровой рыночной экономикой, ни с оздоровительным кризисом перехода к рынку. Да, пузырь начинает лопаться. Но оздоровление не наступает, а наоборот, болезнь усугубляется и возникает все больше сомнений в ее излечимости.

Об экономическом кризисе можно еще было говорить до середины прошлого года. Сохранись положение в экономике на уровне 1 полугодия 1990 года, мы имели бы за последние два года падение национального дохода примерно на 10%. Если сюда добавить почти всеобщий потребительский дефицит, огромный бюджетный дефицит, крупные размеры роста цен (примерно 15% в год), рост внешней задолженности и начавшееся прекращение многих внешних платежей, ясно, что экономическая ситуация уже весной 1990 года была очень тяжелой. О причинах этого кризиса говорилось не раз. Здесь, конечно, и последствия административно-командной системы, и бесконечные экономические ошибки правительства в последние годы, и издержки демократизации, и наглый и хитрый саботаж перестройки. При таком множестве причин и слишком слабом противодействии кризису со стороны государства превращение кризиса в катастрофу было просто неизбежным. И об этом той же весной предупреждали ЦРУ США, шведский экономист Ослунд, академик О. Богомолов. Они предрекали падение национального дохода на 15-20%. Позволю себе сослаться и на свой собственный аналогичный прогноз прошлого года.

Осенью прошлого года к хору предсказателей катастрофы примкнул тогдашний глава советского правительства Н. И. Рыжков. Всегда оптимистически оценивавший положение в советской экономике, он на этот раз, выступая в Верховном Совете СССР с обоснованием правительственной программы экономических реформ, предсказал, что при сохранении существующих тенденций в будущем году национальный доход и промышленная продукция упадут на 15%. Если учесть, что правительство почти не учитывает роста цен, что преуменьшает его оценки, как минимум, на 10%, то получается падение национального дохода и промышленной продукции на 25%. Именно такую оценку дал в «Правде» весьма близкий к верхам А. И. Милюков (один из авторов экономической реформы 1983 года), до недавнего времени ответственный работник ЦК КПСС. А в «Советской России» от 3 октября группа работников Госплана СССР предсказывала падение производства в 1991 году уже на 30-40%, а по многим позициям даже на 50-70%. Не исключено, что в алармистских оценках аппаратчиков есть и немалый элемент шантажа. хватит играть в

перестройку, пора вернуться к старому механизму, иначе катастрофа. Но даже по минимальной оценке Н. И. Рыжкова, с учетом реального роста цен, катастрофа очевидна.

«Где тонко, там и рвется». Тоньше всего у нас оказалось на стыке с внешним рынком. Здесь ведь обманывать труднее всего. Хотя нам это удивительно долго удавалось. В сущности, в последние двадцать лет мы поддерживали наш экономический корабль на плаву во многом за счет внешних факторов: то мировые цены фантастически вырастали на основные продукты нашего экспорта, то, после резкого их снижения в середине 80-х годов, удавалось найти щедрых кредиторов. Они долго не могли реально оценить наше валютно-экономическое положение и продолжали давать кредиты (нетто-задолженность за эту пятилетку выросла в 3 раза). Отрезвление наступило в начале прошлого года, с прекращением ряда внешних платежей. И даже тогда кредиторов ослепляли немалые цифры золотовалютных резервов, исчисленные западными экономистами.

Но когда в короткий срок СССР для получения кредитов заложил 200 тонн золота, получил 5 млрд. западногерманских марок и, несмотря на это, неплатежи все равно продолжали расти, уже самым наивным на Западе стало ясно, что с валютой у нас катастрофа. Принятая программа экстренных мер по увеличению экспорта, как и следовало ожидать, мало что дала.

Правда, получение в последнем квартале 1990 года по чисто политическим причинам новых кредитов сделало сокращение импорта не столь трагичным. Окончательная оценка еще не обнародована, но отдельные сообщения о сокращении торговли с нашими главными партнерами — странами — членами СЭВ позволяют предположить, что наш импорт сократился на 25-35%.

20 лет на импорте держалась вся наша экономика. Истинный объем импорта намного больше, чем говорят цифры в инвалютных рублях, сосчитанные по завышенному более чем в 3 раза официальному валютному курсу. Но ведь важны не только валовые цифры. Очень часто не такие уж большие по стоимости объемы импорта обеспечивают поставку важнейших деталей, материалов, без которых может остановиться производство. Я уже не говорю об импорте зерна, многих потребительских товаров. Весьма справедливо уже в середине 80-х годов эту зависимость нашей экономики от импорта называли «импортной чумой».

О том, что сокращение импорта уже начинает влиять на динамику промышленного производства, говорило хотя бы паническое письмо текстильщиков руководству страны осенью прошлого года. Они сообщали, что в связи с сокращением импорта сырья вынуждены уже в четвертом квартале уволить четверть работающих. Реальное сокращение производства тканей оказалось меньшим — в четвертом квартале примерно на 10%. Но тенденция наметилась уже вполне определенная. И было ясно, что вскоре те же проблемы возникнут у швейников, потребителей технических тканей.

Сам факт намечаемого сокращения производства в легкой промышленности демонстрирует уродливый характер нашей экономики. В нормальной экономике сокращаются прежде всего отрасли, где производство превышает спрос. У нас их немало. Бесспорно, раздута группа «А» — прежде всего за счет гипертрофированных военных расходов, многолетнего расширения инвестиционного сектора и гигантского объема выпуска сырьевых и промежуточных продуктов вследствие их крайне расточительного использования. Однако сокращают накануне перехода к рынку не эти искусственно раздутые отрасли, а легкую промышленность, продукция которой у нас в страшном дефиците. Как видим, наш кризис делает как раз противоположное тому, что делает нормальный кризис.

Пожалуй, именно во внешней торговле крах раздутой экономической деятельности произошел с особой быстротой и силой. И это совершенно закономерно. Ведь связи с внешним миром особенно трудно контролировать. Даже тот весьма ограниченный по мировым меркам объем внешней торговли, какой у нас был до недавнего времени, поддерживался преимущественно не на основе экономической выгоды, а по политическим соображениям. Переход на торговлю со странами-членами СЭВ по мировым ценам и в свободно конвертируемой валюте естественно ликвидирует политизированную торговлю.

Импорт из стран Восточной Европы сокращается и еще по одной причине. В

последние 2-3 года мы торговали с большинством из них с большим превышением импорта над экспортом. Теперь у этих стран, тоже испытывающих большие экономические трудности, уже нет возможности нас кредитовать, и они добиваются не только выравнивания экспорта в нашу страну с импортом, но и превышения импорта из СССР для получения таким образом долгов.

Даже одна из самых устойчивых статей нашего экспорта — торговля оружием — должна сократиться в связи с ослаблением международной напряженности. Сокращение коснулось и главной статьи экспорта — топлива. В связи с падением производства угля и нефти их экспорт уменьшается уже второй год. Просто драматически собираются сократить его в этом году: сразу в два раза, со 122 до 60 млн. тонн. (Совсем не уверен в правильности этого решения. При экономическом спаде потребность в нефтепродуктах внутри страны уменьшается. Столь значительное сокращение экспорта нефти при новом, в результате кувейтского кризиса, росте мировых цен на нефть кажется абсурдным. Трудно отделаться от мысли, что уж очень хочется каким-то силам поглубже и быстрее втянуть СССР в экономическую катастрофу, к которой он и так идет, но, видимо, медленнее, чем им этого хотелось бы.)

Все хуже выручают нас теперь наши золотовалютные резервы и получаемые нами внешние кредиты. Кредиты давались охотно, потому что долгое время высоко оценивалась платежеспособность СССР. Здесь принималось, конечно, во внимание богатство наших недр и немалые запасы золота. Их величина с середины 30-х годов не оглашалась, но на Западе ее рассчитывали и приходили к довольно высоким оценкам. Их наши экономисты и статистики не подтверждали, но и не опровергали. Последнее должно было насторожить: многие наши экономисты с упоением опровергали невыгодные для нас расчеты западных экономистов по динамике экономических показателей (на самом деле западные экономисты и их переоценивали). С чего это такая сдержанность в отношении золотовалютных резервов?

Весной прошлого года, находясь в США, я с удивлением обнаружил, что специалисту по советскому валютному положению приходится слепо полагаться на оценки советских золотых резервов, предоставляемые ЦРУ. Приведенная в журнале «Известия ЦК КПСС» цифра дефицита платежного баланса СССР в 1989 г. — 12 млрд. инвалютных рублей — была никому не известна. Отрезвление относительно нашей платежеспособности началось лишь недавно.

Правда, еще в 1989 году Джудит Шелтон из Гуверовского института написала книгу «Грядущий финансовый крах», в которой ставилась под сомнение наша платежеспособность. Но бизнесмены верят не столько книгам, сколько своим убыткам. Лишь когда в конце 1989 и начале 1990 года началась серия неплатежей советских фирм зарубежным партнерам, пришло время серьезно задуматься. Но и тогда еще какое-то время многие на Западе искали причину этих неплатежей в неопытности новых советских участников внешней торговли и других второстепенных факторах.

Должен признаться, что и я долгое время не ставил под сомнение западные оценки советских золотовалютных резервов, хотя доверие к советской статистике и к западным альтернативным оценкам у меня было не очень высокое...

Спустя некоторое время я попытался разобраться, каким образом появились западные оценки. Расскажу вкратце, что удалось выяснить, хотя эта тема, конечно, заслуживает более подробного разговора. Долгое время (вплоть до 1960 года) на Западе имели хождение исключительно высокие оценки советского производства и запасов золота. Для 50-х годов ежегодное производство оценивалось цифрой 550 тонн в год (более половины от тогдашнего южноафриканского), а запасы в 9 тысяч тонн (это значило, что СССР по запасам стоит на втором месте в мире, уступая США всего в 2 раза). Проведенная в 1960 году ЦРУ переоценка этих данных на основе доставленных перебежчиками партийных документов уменьшила цифру производства золота примерно в 4 раза, а золотых запасов — в 5 раз. Впрочем, в некоторых источниках еще долгое время держались первоначальные цифры. Так, в вышедшей в 1978 году очень содержательной в целом книге «Колыма: арктический лагерь смерти» Роберт Конквест приводит (но без веского обоснования) ежегодную добычу золота на Колыме в размере от 400 до 500 тонн (а было ведь и другие золотодобывающие бассейны!).

Включившаяся в оценки производства советского золота исследовательская кампания «Консолидейтид Голд Филде» использовала такую методику. Сначала она анализи-

рвала советскую техническую прессу, где иногда проскальзывали отрывочные данные о приростах производства и геологических запасах золота. При этом возникало немало проблем с отрывочностью исходной базы, возможностью дезинформации. С 1974 года фирма перешла, как казалось, на более совершенный метод. На этот раз специалисты опирались на характер и величину парка используемого оборудования. Полученные этим способом оценки привели к пересмотру первоначальных оценок в сторону увеличения. Рассматривавшая эти оценки комиссия США вынуждена была признать, что оценки были серьезно завышены в результате предположения, что производительность советского оборудования такая же, как и на Западе. Абсурдность этого предположения для нас очевидна. И, наконец, в начале 80-х годов компания начала использовать космическую съемку. Допускаю, что благодаря этому стало возможным определить объем вынудой руды. Но ведь надо еще знать и содержание золота на каждом руднике...

Каковы же наши золотые резервы? Можно предположить, что в начале 1990 года они были в 2-2,5 раза меньше, чем считали на Западе. Это подтверждается и свидетельствами о завышенности западных оценок добычи золота в СССР, и весьма вескими косвенными данными. Вряд ли СССР допустил бы позор неплатежей, имея 2000-2500 тонн золота.

Но с начала 1990 года запасы еще поубавились. СССР продал, или заложил (очень сомнительно, чтобы этот залог когда-нибудь удалось выкупить), не менее 500 тонн. Так что, скорее всего, у нас осталось около 500 тонн. Если так, то у нас золота в 3 раза меньше, чем в дореволюционной России. И это при том, что десятилетиями добычей золота занималась армия рабов в сотни тысяч человек!

Опять приходится просить кредиты у Запада. Они-таки отвалили нам в конце 1990 года более 10 млрд. долларов. С текущими неплатежами мы благодаря этому справились. Но ведь кредиты придется отдавать, и совсем скоро: платежи по ним начнутся уже в 1992 году. Убежден, что новых кредитов мы теперь уже не получим. Ведь и нынешние даны отнюдь не по экономическим соображениям, а с целью поддержать перестройку. Но с политическим поворотом от перестройки к диктатуре, вполне отчетливо наметившимся уже в конце 1990 года и особенно после событий в Прибалтике в январе 1991 года, исчезли всякие иллюзии в отношении не только нашего экономического, но и политического положения.

Что же касается состояния наших золотых резервов, то в последнем докладе комиссии Европейского сообщества о состоянии советской экономики годовая добыча в Советском Союзе оценивается в размере от 125 до 300 тонн. Причем советские организации, как я и ожидал, вопреки первоначальным заверениям не представили совместной комиссии четырех международных банков, которая анализировала состояние советской экономики, никаких данных о производстве и резервах золота, что говорит само за себя — лгать, видимо, уже не хотят, а правда слишком печальна.

Кризис в добыче нефти — это только самое наглядное, но отнюдь не единственное проявление сырьевого кризиса. Подобные же явления (хищническая добыча, техническая отсталость) имели место и в других отраслях добывающей промышленности. В некоторых из них, например лесной, дела обстоят еще хуже, чем в нефтяной. О большинстве отраслей мы просто мало знаем, ибо правда упорно скрывается. Что, например, мы знаем о добыче золота, цветных и редких металлов? Почему мы должны думать, что там дела обстоят лучше?

Падение добычи или потребления сырья (для нас это почти синонимы, поскольку основная часть добываемого сырья потребляется внутри СССР) для любой страны — проблема. Для нас это катастрофа. Другие страны могут внутреннюю нехватку возместить импортом, быстро исправить положение благодаря лучшему использованию (как это произошло в капиталистическом мире после сокращения производства нефти в странах ОПЕК в 70-е—80-е годы). И то и другое при наших скудных валютных ресурсах и неработающих экономических рычагах заказано. Падение поставок сырья вызывает непропорционально большое сокращение производства. Ведь у нас в отличие от стран с рыночной экономикой не снижается, а растет материалоемкость продукции. Она и раньше росла заметно: на 1% в год в последние 3 десятилетия. А в нынешней пятилетке этот рост стал просто стремительным — на 3-4% и даже на 5% в год. Цифры так велики, что я не исключаю и рост приписок в добывающей промышленности, благо контроль в статистике еще больше ухудшился.

Так или иначе, если производство сырья у нас упадет на 10%, то производство конечной продукции сократится уже на 15%, и заденет это прежде всего тяжелую промышленность. Заметим, что инфляционные процессы, которые сейчас бушуют в нашей экономике, больше всего ударяют по добывающей промышленности. В конце прошлого года я писал о падении производства в добывающей промышленности как о неизбежности. Наступил январь, и оно стало реальностью: добыча угля и нефти уже сократилась против соответствующего периода прошлого года на 8-9%.

Обрабатывающая промышленность, строительство, сфера услуг легко вздувают цены на свою продукцию и благодаря этому могут хоть как-то поддерживать жизненный уровень своих работников... В добывающей промышленности такой возможности практически нет. Цены здесь жестко фиксированы. Поэтому здесь наиболее нуждающимся остается либо искать работу в других отраслях или кооперативах, либо бастовать. Недаром самые крупные забастовки у нас происходят как раз у шахтеров, давно уже грозятся забастовать нефтяники. Но ведь забастовки не проходят бесследно. Падает добыча угля, растёт себестоимость угля, снижается производительность труда. А если забастуют нефтяники, а за ними и те, кто добывает железную и другие руды, золотодобытчики, металлурги? А чем лучше положение электроэнергетиков, лесников? И уж совсем страшно подумать о том, что могут (а такие угрозы раздаются все чаще) забастовать железнодорожники, которые тоже работают при стабильных тарифах. Верно, им запрещены забастовки, но много ли у нас считаются с запретами? Да и кто может бросить в них камень, когда уже десятилетиями нужны железнодорожного транспорта и его персонала удовлетворяются чуть ли не в последнюю очередь?

Нарастает опасность и с еще одной стороны. Стареют и приходят в негодность основные фонды народного хозяйства. На что никогда в советской истории не жалели средств — так это на их рост. Советские экономисты любили сравнивать возраст советского оборудования с возрастом американского, который неизменно оказывался старше. А раз возраст моложе, то и состояние лучше, и технический уровень вроде бы должен быть выше. Последний вывод был сомнительным: вследствие безобразного ухода у нас и новое оборудование могло быть в худшем состоянии, чем у «них» старое, а технический уровень нового оборудования вследствие медленного технического прогресса чаще всего оказывался не лучше их старого. И все же положение в целом было удовлетворительным.

Но постепенно и здесь происходило ухудшение. Наше машиностроение с трудом справилось с триединой задачей: наращивать выпуск военной продукции, возмещать выходящее из строя оборудование и расширять его парк, увеличивать выпуск товаров культурно-бытового назначения. Не справлялись и строители с наращиванием производственных мощностей. Часто оборудование годами ждало монтажа из-за того, что не было производственных площадей.

Наша беспомощная и лживая статистика долго показывала видимый рост основных фондов, но и она не могла скрыть негативные тенденции. Так, стремительно рос износ. В 1975 году он был еще достаточно мал — 29%, но уже в 1980 году составил 33%, в 1985 году — 38%, а в 1989 году — 40%. В промышленности последние 10 лет износ рос на 1 процентный пункт в год.

В действительности положение с износом было намного хуже, чем показывали статистические справочники. Дело в том, что у нас традиционно не умели (да и не хотели) проводить переоценки этих фондов в соответствии с их современной стоимостью. Старые, более изношенные фонды, введенные, когда рубль был дороже, оказались недооцененными, а новые относительно переоцененными. В результате наименьший износ оборудования оказывается в пищевой и легкой промышленности, где значительная часть основных фондов сохранилась с дореволюционных времен.

Истину об ухудшении положения с основными фондами удалось установить еще в начале 80-х годов на основе официальных данных: характер процесса они все же отражали. Тогда и возник диагноз главной болезни нашей экономики: нехватка производственных капитальных вложений. Сотрудники Института экономики Сибирского отделения АН СССР (отдадим им должное) одними из первых обнаружили застой в производственных капитальных вложениях и без долгих раздумий решили, что главная болезнь найдена. То, что обнаруженный факт может явиться лишь следствием других, более глубоких причин, а также реальность и последствия ускорения инвестиционной активности даже не обсуждались. Все было в традиционном советском стиле экономического

мышления. найти очередную кукурузу, которая должна была спасти нас так же, как она (кукуруза) выручила американское сельское хозяйство, которое, однако, отличалось от нашего и по климату, и, главное, по хозяйственному механизму и формам собственности.

Неструдно было даже по небольшому размышлении понять, что наша неэффективная экономика не осилит существенного роста инвестиций. По этой причине и толку от них будет немного. Вложения наверняка пойдут не туда, куда нужно, и создадут дополнительные рабочие места добавок к тем миллионам (около 10), которые и так уже не использовались. Был проигнорирован низкий уровень использования основных производственных фондов, и отставание в этом отношении даже от уровня 1928 года, совсем, кстати, не идеального. Не было проведено и элементарного подсчета.

Тем не менее злосчастный план экономического «чуда» был умело разрекламирован и подан руководству страны академиком А. Г. Аганбегяном как раз накануне составления плана 12-й пятилетки. Так родилась идея ускорения, которая наделала немало бед, отвлекая внимание от насущного реформирования хозяйственного механизма.

В ряде отраслей состояние основных фондов близко к катастрофическому. В них велика доля оборудования с большим возрастом службы. Вспомним, например, о сахарной промышленности, мукомольной, текстильной. Нехватка хлеба в Москве осенью прошлого года во многом была вызвана крайней изношенностью оборудования хлебных заводов, построенных в 30-е годы и с тех пор не реконструировавшихся, и число сурпризов, которые нас ожидают в связи с изношенностью фондов, будет расти.

Даже не разделяя фантастических планов раздувания производственного строительства, предлагаемых отдельными научными работниками, трудно согласиться с действиями советского правительства в последние годы в этом вопросе. Вместо того чтобы по-настоящему сократить расходы на военно-промышленный комплекс и начать наконец радикальную экономическую реформу, оно для сбалансирования бюджета пошло на огромное сокращение производственных капиталовложений: более чем на 30% только по официальным данным, без учета скрытого роста цен в инвестиционном секторе. Такое решение, несомненно, ускорит развал основных производственных фондов.

Дефицит валюты, сырья, основных фондов — только этого достаточно, чтобы привести экономику к катастрофе. Но мы не сказали о самом большом и страшном дефиците. А в нем-то, да еще в негодном хозяйственном и общественном механизме — корень всех других дефицитов.

Речь идет о трудовых ресурсах. Я вовсе не имею в виду только их количественную сторону, но начну все же с нее. Уже в 11-й пятилетке численность рабочих, служащих и колхозников росла медленнее, чем население в целом. А в 12-й пятилетке этот рост вообще прекратился, произошло даже сокращение на 3 млн. человек. Это было связано с образованием новой кооперации. Иными словами, общая численность занятых осталась неизменной. Значение этого факта станет более ясным, если учесть, что основная часть экономического роста до тех пор шла за счет роста численности занятых. В производственной сфере дела с занятостью обстояли в 12-й пятилетке хуже, чем в непродуцированной, где численность занятых продолжала расти. В промышленности она сократилась на 1,7 млн. человек (на 4%), в сельском хозяйстве на 1,1 млн. человек (на 5%). Выросла только в строительстве на 1,6 млн. человек (на 15%). Но этот огромный рост численности занятых в строительстве не пошел ему впрок: выпуск продукции вырос в 1985—1989 годах по реальным оценкам лишь на 7,5%, т.е. в 2 раза меньше, чем численность занятых: производительность труда, следовательно, снизилась почти на 7,7%. А в 1990 году произошел подлинный обвал: даже самая приоритетная отрасль — жилищное строительство — в 3-м квартале снизила выпуск на 16%. С учетом роста численности занятых в кооперативном секторе строительства падение производительности труда в строительстве окажется еще большим.

Быстро падает занятость в сельском хозяйстве. Если в 1986 году численность занятых сократилась на 0,2 млн. человек, а в 1987 году даже стабилизировалась, то в 1988 году упала уже на 0,35 млн. человек, а в 1989 году — более чем на 0,5 млн. человек.

О том, что пережитые страной испытания и жертвы будут иметь тяжелейшие последствия для генофонда населения СССР, предупреждали ученые. Еще в 1922 году

крупнейший русский социолог Питирим Сорокин незадолго до высылки за границу в журнале «Экономист» (вскоре после этого закрытом) подробно писал о тяжелых последствиях первой мировой и гражданской войн для качества трудовых ресурсов, морали населения. Эти последствия, предупреждал П. Сорокин, будут ощущаться еще многие десятилетия. А ведь ему не пришлось видеть ни коллективизацию, ни репрессии 30-х—40-х годов.

И все же, несмотря на тяжелейшие испытания и катастрофические потери, еще долго у значительной части народа сохранились унаследованные от старого общества трудолюбие и моральные ценности. Вытравить их оказалось не так уж просто. Но они угасали со сменой поколений. Когда-то у нас любили все трудности сваливать на пережитки капитализма в сознании людей. Я бы сказал так: пока пережитки капитализма в сознании еще сохранялись — сохранялись, пусть в урезанном и искаженном виде, и элементарная трудовая мораль и общая нравственность. Именно этим больше всего поддерживался экономический рост (и определенные успехи в других областях) вплоть до 50-х—60-х годов.

Надлом наступил в 70-е годы, когда ушло из трудовой жизни не только поколение, выросшее до революции, но и следующее за ним и им воспитанное. То почти поголовное пьянство, которое охватило советское общество в начале 70-х годов, было следствием глубочайшего надлома в общественной психологии, потери всех моральных устоев и общественных ориентиров.

Если коротко охарактеризовать развитие советской экономики за 70 лет, то можно сказать, что первые 40 лет оно шло за счет прошлого (материального и морального наследия старого общества), а последующие 30 лет — за счет будущего (природных ресурсов и здоровья населения). Расплата должна была наступить, когда оба эти фактора себя исчерпают.

Из современных работ, касающихся качественного ухудшения трудовых ресурсов, сошлюсь на исследования Б. И. Исакова (Московский институт народного хозяйства). В работах этого ученого не хватает широты охвата изучаемого явления и анализа его глубинных причин. Но они и в нынешнем виде интересны и полезны. Б. И. Исаков связывает деградацию генофонда с ростом алкоголизма, огромным загрязнением окружающей среды, плохим питанием, низким уровнем медицинского обслуживания, что привело к резкому ухудшению здоровья населения, включающего, с его точки зрения, нравственную, интеллектуальную, психическую и физиологическую составляющие. По данным Б. И. Исакова (использовавшего сведения Минздрава и Министерства просвещения), доля ослабленных и предрасположенных к болезням в Советском Союзе уже превышает половину. Среди детей и молодежи эта доля колеблется от 53 до 70%, что указывает на тенденцию к ухудшению генофонда населения. Среди московских детей, родившихся на рубеже 70-х годов, ослабленные составляли около 55%, на рубеже 80-х годов — 70—90%.

В последние шесть лет положение с качеством трудовых ресурсов продолжало ухудшаться. Произошли, конечно, и положительные сдвиги. Гласность и демократизация разбудили общество, оказали огромное положительное влияние на молодежь. Поток свежих идей, хлынувших в общество и уже начавших его преобразовывать, скажется на его интеллектуальном потенциале. Но скажется не сразу: быть может, результатов придется ждать 10—15 лет. А пока появились дополнительные факторы, ухудшающие положение с трудовыми ресурсами.

Начну с эмиграции, которая уносит все больше квалифицированных, работающих людей. Я имею в виду прежде всего массовую эмиграцию немцев и евреев. Но уже начинается «утечка умов» и из среды других национальностей. Нельзя преуменьшать негативные последствия этого. Кто не знает, что многие наши институты живут умом 3—5—10 ведущих (не по званию, а по таланту) научных сотрудников. Стоит им уйти, и институт можно закрывать. А многие лучшие физики и математики уже законтрактировались, кто на год, кто на больший срок, в западные научные учреждения. И весьма сомнительно, что значительная часть их вообще вернется в страну, пока у нас такое неустойчивое политическое положение и негодный общественный механизм.

Отнюдь не слышно об улучшении качества обучения в школах, техникумах и вузах. Напротив, преподаватели чуть ли не единодушно говорят о растущей апатии учащихся, их незаинтересованности в знаниях. Да и преподавание становится все менее престижным, разрыв оплаты труда педагогов и других категорий работающих

увеличивается. Дело доходит уже до того, что некоторые школы могут закрыться из-за нехватки преподавателей, уходящих кто куда.

Отнюдь не способствует укреплению трудовой морали и качество труда и псевдodemократизация последних лет, связанная с выборами директоров, других должностных лиц, с советами трудовых коллективов. В. Мартынюк, автор статьи в журнале «ЭКО», посвященной внутренней жизни промышленных предприятий в годы перестройки, пишет (хотя речь идет о Киеве, уверен, что аналогичное происходит по всей стране): «работать хорошо становится не только не выгодно, но и опасно... Основной тип руководителя, который остался на плаву: «и сам живет и другим даст»... Пьянство вернулось в раздевалки и на рабочие места, а то и в кабинеты руководителей. Произошло смыкание интересов привилегированной малоквалифицированной части рабочего класса и наиболее консервативной части хозяйственных руководителей, парткомов». Одним словом, худшие в очередной раз взяли верх.

Надо бы еще поговорить о научно-техническом прогрессе — традиционно важнейшем факторе развития экономики. Однако о его состоянии можно судить по сказанному ранее. Не хватает валюты — значит, сокращается импорт совершенной западной технологии, научных приборов. Сокращаются капиталовложения — значит, не вводятся объекты с лучшими технологическими характеристиками. И главное, деградация генофонда болезненнее всего сказывается как раз в таких сферах, как наука и техника. И без того чахлый научно-технический прогресс в последние годы совсем увял.

Кризисное состояние финансово-кредитной системы является следствием кризисного состояния всей экономики. В нем отразились и грубые ошибки руководства страны в проведении кредитно-финансовой политики, и распад хозяйственных связей, и перебои в платежах предприятий друг другу и бюджету, и развал прежней системы отношений между Центром и союзными республиками, другими территориальными образованиями.

Долгое время руководство страны как будто не замечало сгустившихся туч. Неблагополучие скрывалось от непрофессионалов, в частности, и мнимым превышением доходов над расходами бюджета. Но в условиях гласности спрятать истину уже не удалось, и к началу 1989 года правда об огромном дефиците государственного бюджета (10% от валового национального продукта) и невиданной эмиссии (18 млрд. рублей в 1989 году), быстро растущем внешнем и внутреннем долге была обнародована. Задача оздоровления этой сферы при составлении плана и бюджета на 1990 год была поставлена как первоочередная. И это были не только красивые слова. Правительство пошло (вопреки многолетним советским традициям) на очень существенное сокращение производственных капиталовложений. Шаг отнюдь не бесспорный: опасность деиндустриализации стала вполне реальной. Планировалось сокращение дефицита бюджета до 60 млрд. рублей и эмиссии до 10 млрд. рублей. Планировался и поворот структуры народного хозяйства в сторону потребительского сектора, что в совокупности с ростом импорта товаров должно было привести в большее соответствие товарную и денежную массу, сократить товарный и бюджетный дефицит. Правда, слабо были затронуты три крупнейшие статьи расходов: дотации сельскому хозяйству (более 100 млрд. рублей), военные расходы, по многим оценкам приближающиеся к 200 млрд. рублей, и помощь союзникам. Все это ставило под сомнение возможность коренного улучшения кредитно-финансовой сферы. К тому же всегдашний розовый оптимизм наших плановиков в отношении роста доходов в связи с повышением эффективности экономики никак не вязался с сохранением старого хозяйственного механизма.

Первое полугодие, казалось, не давало оснований для тревоги. Размеры эмиссии (8,6 млрд. руб.) соответствовали уровню 1989 года, а дефицит государственного бюджета был даже ниже планировавшегося. Явно неблагоприятным выглядел лишь рост государственного внутреннего долга (на 60 млрд. рублей) и продолжавшийся рост внешней задолженности. Столь стремительный рост внутреннего долга противоречил скромному дефициту государственного бюджета.

Катастрофа началась в третьем квартале. Здесь сказались и последствия ускорения спада в сфере производства, и ошибочные правительственные решения, и все остальные факторы, которых мы уже касались. За один только третий квартал было выпущено денег в обращение больше, чем за всю одиннадцатую пятилетку! В месяц выпускалось

денежных знаков на сумму 3,6 млрд. рублей — вместо 1,6 млрд. рублей, приходившихся, в среднем, на один месяц в 1 полугодии. Даже если в 1991 году размер эмиссии останется на этом уровне (а ведь она последние годы только росла), то она составит 43,2 млрд. рублей, что означает прирост денежной массы на 30—40 процентов к нынешнему уровню. В действительности, нет сомнения, рост денежного обращения окажется намного большим.

Развал денежного обращения подтверждается неуклонным падением курса рубля по отношению к доллару на черном рынке, наконец, еще одно свидетельство краха денежной системы — рост цен на колхозном рынке, составивший только за октябрь прошлого года 37,2% (по исчислению газеты «Коммерсант»)

Уже январь 1991 года показал, что приведенный здесь прогноз роста денежной массы более чем оправдывается. Только за три недели января денежная масса выросла со 132 до 139 млрд. рублей, т. е. на 7 млрд. рублей. При таком уровне роста денежное обращение увеличится за год на 110 млрд. рублей, или почти в два раза. Собственно проведенный в феврале обмен 50 и 100-рублевых купюр был во многом следствием гиперинфляции в январе

Резко поднял размер бюджетного дефицита рост закупочных цен сначала на зерно, а затем на животноводческие продукты. И та и другая акция не были необходимы. Нет ровно никаких доказательств, что у нас занижены цены на сельскохозяйственные продукты. Напротив, немало свидетельств, что они завышены. Это и неудивительно: ведь нам приходится оплачивать крайне расточительное хозяйствование в колхозно-совхозном секторе. Но так добавилась еще одна ошибка в финансовой политике (уже которая по счету!), усугубившая положение в финансово-кредитной сфере.

Добавим к росту бюджетного дефицита и эмиссии продолжающийся рост внутреннего государственного долга, внешнего долга — и нынешняя критическая ситуация станет, надеемся, вполне очевидной. Она, кстати, имеет не только внутривнутриполитические и экономические последствия. Западные правительства и частные кредиторы очень внимательно следят за состоянием нашей кредитно-финансовой системы — мерила способности советского руководства стабилизировать положение в стране надежности СССР как делового партнера. Нынешняя ситуация в этой сфере усилила пессимизм их оценок.

Подготовка бюджета на 1991 год велась с огромным опозданием. Еще в начале декабря не был принят ни один бюджет в стране. Только развернулось обсуждение союзного бюджета. Республиканские, местные бюджеты даже не обсуждались. Уже на стадии обсуждения союзного бюджета в комиссиях Верховного Совета СССР выявилась его слабая обоснованность, и комиссии одна за другой его отвергли. Одно то, что бюджет опять не затронул сокращения военных расходов, говорило о многом. Зато снова сократились (на 30%) производственные капиталовложения. Хотя, казалось бы уже в прошлом году дошли здесь до предела.

Не ясно, какой вообще смысл имеет обсуждение союзного бюджета, когда нет союзного договора или, на худой конец, временного экономического соглашения между республиками, разграничивающего их бюджетные полномочия и вклад в общесоюзные расходы. РСФСР, к примеру, давно заявляет, что не собирается платить налоги в союзный бюджет, пока не выяснит, насколько обоснованы расходы союзного бюджета. А на местах тем временем составляются бюджеты с колоссальным дефицитом: в Москве — около 10 млрд. рублей, Омске и Новосибирске — более 1 млрд. рублей. По одним только городским бюджетам в пересчете на все городское население страны получается дефицит в размере около 150 млрд. рублей. Какой же будет реальный дефицит бюджета: 300—400 млрд. рублей? Кто будет его оплачивать? И возможно ли это?

Развернувшиеся в конце декабря события вокруг бюджета только усугубили состояние хаоса. Правда, Верховный Совет РСФСР утвердил в самом конце декабря Закон «О государственной бюджетной системе РСФСР в 1991 г.». Начался процесс утверждения бюджетов в некоторых других союзных республиках и в национально-территориальных формированиях РСФСР. Но ясности отнюдь не прибавилось.

РСФСР отпустила на финансирование общесоюзных нужд на 119 млрд. рублей меньше, чем в 1990 году. Россия утверждает продекларированный ею суверенитет и малую роль, которую она придает Центру в будущем союзе республик. Одновременно таким образом, она легко решает проблему с дефицитом своего бюджета, который составил всего лишь 9 млрд. рублей (6% от запланированных расходов). Однако такой односторонний акт РСФСР лишь усугубляет тупиковую ситуацию, созданную дей-

ствиями центра, который с лета при всей очевидной неизбежности грядущего бюджетного тупика не сделал ни малейшей попытки его избежать. Правительство и парламент РСФСР претендующие на большую государственную мудрость могли бы продемонстрировать ее в этом вопросе, но вместо этого заняли позицию обиженного ребенка.

Чтобы сократить колоссальный бюджетный дефицит (а его уже и министр финансов СССР определял в 250 млрд. рублей), Президент СССР перед самым Новым годом издал указы (вот когдагодились чрезвычайные президентские полномочия!) о введении 5-процентного налога с продаж и образовании внебюджетного фонда стабилизации. Первый может дать дополнительно 80—90 млрд. рублей доходов, второй — покрыть часть издержек по переходу к рынку. Но, облегчая одни проблемы, эти указы усугубляют другие. Растут еще больше оптовые и розничные цены, сокращаются реальные финансовые ресурсы предприятий, основа их самостоятельности. А без этого теряет смысл переход к рынку. Весьма неопределенное положение сохраняется и с бюджетом. Достигнутое между союзными республиками соглашение о формировании союзного бюджета многих конкретных вопросов не решило. Недаром текст экономического соглашения так и не был опубликован. В сущности, мы и в середине февраля, когда я пишу эти строки, еще толком не знаем, что же представляет наш бюджет на 1991 год. Да он еще и не утвержден во многих местах. Только что, скажем, его начал обсуждать Ленсовет...

Явившись во многом результатом экономического кризиса, кризис кредитно-финансовой системы явился мощнейшим фактором его углубления. Наши и зарубежные экономисты прежде всего видят негативное влияние развала денежной системы на командную экономику в ослаблении стимулов к труду. Дескать, зачем за зарплату трудиться, коль деньги так мало стоят. Я отношусь к этому доводу с большим скептицизмом. Не хочу сказать, что совсем его отрицаю, но, думаю, его переоценивают. До известного предела (но туда нам еще надо подойти) уменьшение стоимости денег и рост дефицита на официальном рынке слабо влияют на стимулы к труду непосредственных работников. Имея деньги, нужный товар или услугу почти всегда можно найти на свободном рынке — по повышенной, конечно, цене. Но раз это так, то и зарабатывать имеет смысл больше.

Гораздо опаснее другие последствия инфляции и всеобщего дефицита. Это золотое время для паразитических элементов. Для тех, кто стоит у истоков распределения товаров, наступают золотые деньки. В самом деле, когда цена на черном рынке превышает государственную иногда в 10—20 раз, изъятие товаров из государственной сети и продажа их на черном рынке приносит баснословные барыши. При всеобщем дефиците выигрывают распределители, проигрывают производители. Рабочая сила перемещается в без того разбухшую распределительную систему, да и занятые на производстве пытаются приобщиться к распределению дефицита. Водитель такси, торгующий вечерами водкой по баснословной цене, — это лишь наиболее очевидный пример совмещения производственной и распределительной деятельности в ущерб производственной. Торговля, маттехснабжение подогревают дефицит. Коль цены через полгода-год на ряд товаров вырастут еще больше, выгодно попридержать этот товар. Отказ от реализации товара в расчете на будущий рост цен еще больше усиливает дефицит. В таких условиях значительная часть населения превращается в спекулянтов и воров.

Если бы рост цен на отдельные товары, услуги и виды деятельности шел более или менее равномерно, негативное влияние инфляции было бы не столь значительным. Но в том-то и дело, что наша экономика, которую Н. Шмелев справедливо назвал королевством кривых зеркал из-за неспособности обоснованно оценить продукцию и ресурсы, в условиях инфляции становится еще более кривой. В наихудшем положении в такие периоды оказываются рабочие тех отраслей, где цены установлены директивно, трудно утащить и реализовать продукцию. Сюда относятся отрасли добывающей промышленности, железнодорожный транспорт, электроэнергетика. Рабочие, ИТР бегут из этих отраслей в кооперативы, в другие отрасли, усиливая падение производства, обусловленное истощением сырьевых ресурсов и износом производственных фондов. В лучшем положении оказываются занятые в легкой и пищевой промышленности, отдельных отраслях машиностроения. Здесь и цены легко можно поднять, и при случае есть что утащить. Еще лучше живется занятым в торговле и во всей распределительной сфере.

Кто-то скажет, что не таким плохим является это перемещение занятости. Оно

ведь идет в ту же сторону, что и необходимые структурные изменения в экономике. Но это только видимость совпадения. Необходимые структурные изменения обеспечиваются повышением эффективности производства. Здесь происходит обратное.

Не столь уж положительным оказался — вопреки ожиданиям многих — и рост кооперативного сектора. Попав в жуткие условия нашей бюрократической системы, этот сектор, располагающий немалыми потенциальными ресурсами роста, не сумел их реализовать. Обстановка инфляции и всеобщего дефицита оказалась идеальной для получения этим сектором больших доходов при зачастую довольно скромных реальных достижениях. Сторонники и противники нынешнего кооперативного сектора аргументируют свои позиции, помимо теоретических соображений, наудачу выбранными примерами достижений и провалов отдельных кооперативов. Нет нужды доказывать, что такой метод порочен. Среди десятков тысяч кооперативов нетрудно найти любые примеры. Но до сих пор ни один экономист не сравнил эффективность производства в однородных отраслях, где функционируют и государственный и кооперативный секторы.

Попробуем произвести этот расчет. Учтем, насколько возможно, разницу в ценах, недооценку продукции в отчетности кооперативов. Результат получается обескураживающий, при денежных доходах одного работника в 2—3 раза выше, чем в государственном секторе, производительность труда в кооперативах оказывается в лучшем случае такой же, а нередко и ниже!

Знакомые мне кооператоры этот вывод не оспаривают. Правда, предостерегают и от переоценки полученных результатов. Все элементы отчетности кооперативов настолько запутаны, что трудно даже сказать, куда идет равнодействующая имеющихся искажений. Впрочем, одна из причин низкой производительности труда в кооперативах достаточно очевидна: техническое оснащение намного ниже. Но можно ли считать прогрессивным процесс перехода от современной техники к более примитивной? Причины технической отсталости могут быть разными — от препятствий, которые чинит кооперативам бюрократическая система, до нежелания самих кооператоров вкладывать средства в расширение производства.

Растущая инфляция еще больше запутывает все экономические расчеты в стоимостном выражении. При быстром и неравномерном росте цен они превращаются в простую фикцию.

Начну с самого очевидного. Что значит величина расходов государственного бюджета, если в них не отражается предстоящее повышение цен? Поскольку официальные данные искажают размеры текущего роста цен, а предстоящее не принимается в расчет, статьи расходов бюджета отражают только объем выделенных средств в текущих ценах. Какой реальный объем ресурсов в физическом выражении за ними стоит, не знает, в сущности, никто.

Столь же загадочны и туманны данные о динамике прибыли, объеме капитальных вложений, их эффективности в разных отраслях народного хозяйства и ряд других. Коротко говоря, инфляция превращает экономику в подобие казино или огромного рынка, где много желающих продавать и перепродавать и все меньше тех, кто производит.

Наконец, обилие денег, падение авторитета команд сверху в организации хозяйственных связей все более приводят к натурализации хозяйственных отношений. Денежный обмен все больше превращается в продуктообмен. Это огромный шаг назад в хозяйственных отношениях даже по сравнению с тем, что было в период традиционной командной экономики.

Для полной ясности хотел бы отметить, что смертелен для экономики не сам рост цен. Относительно равномерный рост цен, может быть, не столь уж и опасен. История знает немало стран, где рост цен был намного больше, чем у нас в последние годы, а экономика этих стран не погибла. Сравнительно недавний пример — многие латиноамериканские страны, у которых рост цен исчисляется в несколько сот и даже тысяч процентов в год. Почему же мы, имея намного меньший рост цен, так мучительно страдаем от инфляции? Да потому, что в одних отраслях цены директивные, они вообще не растут, а в других, где контроль за ценами ослаблен или его вообще нет, как во многих кооперативах, они растут стремительно. Одно только всеобщее освобождение цен заметно улучшит положение, цены станут сравнимы друг с другом, экономические расчеты приобретут ясный смысл.

Чаще всего (я бы сказал, почти всегда) ученые и практики видят выход из нынешней огромной товарно-денежной несбалансированности в том, чтобы стабилизировать кредитно-денежную и финансовую систему, а потом на этой основе перейти к более или менее свободному ценообразованию. Однако при отсутствии реальных рыночных отношений (даже свободных цен рынок это не рынок) оздоровление хозяйственной системы в этом случае надолго откладывается. Без здоровой экономики нет и здоровых финансов. Правильно было бы действовать как раз наоборот: сначала освободить (за некоторыми исключениями, касающимися отдельных потребительских товаров) цены, обеспечить в условиях рынка относительно рациональные их соотношения, дать благодаря свободным ценам мощный толчок реальным рыночным отношениям и параллельно с этим, а частично и после этого, оздоровить денежную и финансовую структуру. Из истории успешных денежных реформ (в СССР в 1922—1924 годах, в Западной Германии в 1948 году, в некоторых латиноамериканских и азиатских странах в послевоенный период) известно, как шли именно по этому пути.

При объяснении причин катастрофического положения советской экономики невозможно обойти «экономический саботаж». Это словосочетание появилось в официальных документах в СССР осенью 1990 года. Борьба с экономическим саботажем теперь поручена Комитету государственной безопасности. Зная прошлую практику этой организации, можно усомниться и в наличии данного явления, и тем более в способности КГБ с ним бороться, если явление действительно существует.

Многие публицисты по этой причине вполне искренне отвергают само наличие экономического саботажа, считают его очередным громоотводом аппарата, попыткой, таким образом, как и в прошлом, отвлечь внимание от реальных причин экономических трудностей, а заодно и начать новую волну репрессий. Согласен, что такие подозрения имеют основания и вполне оправданы. Но не согласен, что не существует самого явления. Другое дело, собираются ли на самом деле с ним бороться и там ли ищут саботажников.

Начну обсуждение этой проблемы с логического рассуждения. Как должна вести себя консервативная часть государственного и партийного аппарата в борьбе с перестройкой, угрожающей не только ее власти и привилегиям, но и личной безопасности, ибо значительная ее часть замешана в хозяйственных и политических преступлениях? В прошлом этот аппарат руками органов госбезопасности для сохранения своей власти не побоялся отправить на тот свет десятки миллионов людей. Почему мы должны думать, что он не применит все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы и сейчас не допустить потери власти? И конечно, в этом отношении мощнейшим оружием является сознательное усугубление хозяйственных трудностей. Цель очевидна: добиться экономического краха и тем самым доказать несостоятельность перестройки, найти прекрасный аргумент для восстановления утраченных позиций.

Удобство именно такого направления борьбы с перестройкой в том, что обнаружить и разоблачить его весьма непросто. Ведь экономические провалы в командной экономике, конечно же, неизбежны — и из-за ее органических дефектов, и из-за столь же неизменных ошибок в экономической политике, объясняемых новизной ситуации и традиционной некомпетентностью. Такие объяснения часто встречаешь среди экономистов, когда поднимаешь вопрос об экономическом саботаже. Особенно недоумевают западные экономисты, чаще всего слабо знакомые с нравами нашей бюрократии, им такие рассуждения кажутся происшествиями в духе 1937 года.

Восстановим историческую справедливость. Первыми об экономическом саботаже говорили не М. С. Горбачев и не В. А. Крючков (осенью 1990 года), а С. Андреев и Т. Корягина еще 3—4 года назад. Они приводили и факты такого саботажа. Мне самому возможность такого саботажа казалась очевидной с того момента, когда перестройка приняла радикальный характер, вызвав ненависть большинства аппаратчиков верхнего звена (именно тогда, работая в Туве, я впервые столкнулся с этим аппаратом лицом к лицу). Но фактов саботажа некоторое время я не находил. И тут произошел первый заметный продовольственный кризис периода перестройки — сахарный. Должен честно признаться, что на его неестественность мое внимание обратил мой коллега, физик. Вам не кажется, спросил он, что дефицит носит организованный характер и для него нет объективных оснований? Для ответа на поставленный вопрос я проанализировал на

основе опубликованных данных баланс сахара и пришел к выводу, что нехватки сахара в стране нет. Спустя некоторое время этот же физик рассказал, сославшись на работников торговли, о больших запасах сахара на складах. Через некоторое время журнал «Огонек» и газета «Аргументы и факты» начали публиковать письма читателей и расчеты, подтверждающие отсутствие дефицита сахара, причем ни один из официальных органов даже не попытался эти расчеты опровергнуть. Именно тогда тезис об экономическом саботаже получил первое подтверждение.

О том, что среди наших государственных деятелей и чиновников высшего и среднего уровня, формировавших политику, гениев нет, а таланты редки, знают все. Но умные люди попадают. И уж никак не скажешь, что преобладают идиоты. Поэтому, когда видишь, как экономические решения принимаются одно другого нелепее, вопреки не то что экономической науке (которую чиновники не знают или забывают), но просто здравому смыслу, который все же у них есть, то никак не можешь отделаться от мысли, что такая глупость не от природы. Готов спорить со специалистами по истории советской экономики и у нас и за рубежом, что такого длинного непрерывного перечня грубейших экономических ошибок не было у нас с начала 30-х годов. Да неужели, скажите на милость, именно в середине 80-х годов все наши чиновники враз поглупели?

Никак не могу отнести к простой ошибке и некомпетентности составление документов по проведению экономической реформы 1987 года (знаменитый пакет из 17 постановлений) таким образом, что практически во всех из них одни мероприятия по развитию рыночных отношений буквально парализовались другими, прямо противоположными по смыслу. Вспоминаю, как в мае 1987 года, когда этот пакет постановлений еще был проектом, В. Селюнин, выступая в Научно-исследовательском институте Госплана СССР, показал противоречивость подготовленных документов, парализующих их заявленные намерения. «Такая реформа работать не будет», — сказал он. Да неужели же в Совете Министров СССР тогда не нашлось таких, кто это понял или хотя бы прислушался к критическим оценкам (а их было много)? Сколько же с тех пор было выпущено постановлений такого же сорта: объявленные цели одни, способы реализации — противоположные. Нужные «мины» под провозглашенные реформы умело спрятаны. Неплохо задумано, не правда ли? Два-три пункта постановления — и весь многообещающий новый экономический механизм парализован.

А бюджетные дефициты последних лет? Да неужели работники Минфина СССР не отдают себе отчета, какой огромной разрушительной миной замедленного действия являются эти дефициты? Так нет же. Сначала спокойно предлагают стомиллиардный дефицит в 1989 году, затем, по сути, такой же в 1990 году (в сопоставимых условиях), и, наконец, намного больший в 1991 году. Говорят, депутаты жмут, популистов среди них развелось много. Но где это видано, чтобы правительство не противостояло популистским настроениям, а охотно шло им навстречу? Где противодействие нашего министра финансов, когда принимаются один за другим все более дорогостоящие законопроекты, явно непосильные для страны? Объяснил ли он хоть раз (а это его прямая обязанность), к каким последствиям приведет такая расточительность?

Поясню свою мысль рассуждением от противного. Когда вышедший из совсем другой среды министр финансов РСФСР Б. Федоров увидел, что правительство принимает ошибочные решения в финансовой области, не считаясь с его мнением, он сделал то, что для государственного деятеля является элементарной нормой: подал в отставку.

Ну, а наши бесконечные дефициты? После сахара каких только дефицитов не было: мыльный, табачный, наконец, хлебный, солевой, спичечный... Я уже не говорю о бесконечных дефицитах промтоваров. Интересно время и место их возникновения. Они обрушиваются, как правило: как раз в те периоды и в тех местах, где и когда демократические силы одерживают победу. Намек понятен. Смотрите, как беспомощны демократы, не могут обеспечить население самым необходимым! А тем временем на складах, на железнодорожных путях, в портах скапливаются огромные запасы как раз тех товаров, которых остро не хватает в крупных городах. Прямо чудеса! При всем том и оптовые базы, и железная дорога, и розничная торговля план вроде выполняют. Может даже родиться мысль, что есть у нас некий банк, который финансирует закупку дефицита и его последующее уничтожение или сокрытие. Денег мафии и номенклатуры для такой чепухи, конечно, акции должно хватить.

Посмотрите, как ловко срываются те совсем немногие мероприятия, которые способны принести реальное улучшение положения в экономике! Стоило только концерну АНТ сделать самые первые шаги, обещавшие в 1990 году обеспечить внутренний,

рынок потребительскими товарами на 35 миллиардов рублей, как он тут же был ошельмован и расписан. Корреспондент «Советской России» оказался в порту, куда должны были прибыть злополучные танки, заранее. Какая поразительная осведомленность!

А история с сокращением экспорта нефти в 1991 году? В виде исключения я должен согласиться с председателем КГБ СССР В. А. Крючковым, который критиковал эту акцию как свидетельство экономического саботажа. Снижать в два раза экспорт нефти в период, когда мировые цены на нефть растут, а внутренний спрос в связи с сокращением производства падает и валюты катастрофически не хватает, могут только идиоты или экономические саботажники. Но ведь не было же такого идиотизма в предыдущие годы!

Я мог бы приумножить число примеров. Но, кажется, и этого хватит. Не то плохо, что сейчас заговорили об экономическом саботаже. Об этом следовало говорить еще несколько лет назад. Плохо, что как с ним не боролись, так и не борются. Нельзя же считать серьезной борьбой набеги на кладовые некоторых магазинов. Истинные и самые опасные организаторы саботажа находятся не здесь. Они, если судить по их действиям, находятся в самых верхних эшелонах нашего государственного управления. Но там-то их как раз и не ищут. Использовать наши правоохранительные органы, один из оплотов тоталитарной системы, для борьбы с экономическим саботажем — это все равно что заставить козла стеречь капусту. Не хочу сказать, что там совсем нет честных людей. Но целеустремленные поиски истинных виновников экономического саботажа руководство этих органов вести не будет.

Грустное впечатление оставляет и деятельность тех руководителей, которые искренне хотят демократических изменений и серьезных экономических реформ. И они несут свою долю ответственности за провал перестройки. Они вступили в перестройку с одной только мыслью, что так дальше жить нельзя. Этого мало для проведения реформ. Ни стратегии, ни тактики, ни, наконец, объективной оценки состояния общества у них не оказалось. Решения часто принимались либо под давлением обстоятельств, либо под влиянием критики и подсказок общественности. Они почти всегда запаздывали на 2—3 года, да и в этом случае оставались половинчатыми, поручались для исполнения противникам их реализации. Обнаружить тайные ходы враждебных перестройке сил лидеры перестройки оказались не в состоянии...

Надо бы еще более резкое слово сказать по их адресу. Цена, которую приходилось платить за провалы лидеров всему обществу, очень велика. Но что-то останавливает от слишком резких обвинений. Много ли можем мы от них требовать? Они ведь тоже (как сами они любят говорить) дети своего времени. Ходили в наши детские сады, учились в родной советской школе и вузе, где не были избалованы хорошими преподавателями. Не пришлось им тогда, когда формируется мировоззрение человека, прочитать нужные книги, послушать образованных, умных людей. Не стану уж говорить о дальнейшей их судьбе — работа в партийном, хозяйственном аппарате отнюдь не способствует интеллектуальному росту и убивает даже те ростки хорошего, которые были в человеке раньше. Удивимся же не их просчетам и ошибкам, а тому, что все-таки хоть что-то сделано положительного для отечества и народа.

Ответственность за провал перестройки с политическим руководством страны и лидерами оппозиции должна разделить и официальная общественная наука. Во всех странах именно наука разрабатывает программы общественных преобразований. В США, например, ведущие политические партии имеют по несколько институтов, которые продумывают планы социальных изменений, их стратегию, тактику, конечные цели. Эти планы изложены в объемистых книгах и докладах, которые уже выпущены к тому моменту, когда та или иная партия побеждает на выборах. Жизнь, конечно, заставляет вносить в эти планы изменения, часто немалые. Но наличие планов и программ придает деятельности новой администрации целеустремленность, последовательность и продуманность.

Официальные общественные науки в нашей стране преимущественно обслуживали идеологическую деятельность политического руководства. В условиях тоталитарной диктатуры трудно было ожидать глубоких исследований от советских ученых-обществоведов. Деграция здесь оказалась еще больше, чем в других областях творческой жизни. Скажем, немало писателей в тех же условиях писали в стол, и когда наступила перестройка, мы узнали эти произведения. У советских обществоведов в столах подобного не оказалось. Ничтожное количество научных трудов, извлеченных в начале перестройки из столов, принадлежало ученым и публицистам, находившимся вне официаль-

ной науки. Но и эти работы не могли претендовать на научный план преобразования общества. Таким образом, перестройка была лишена программного обеспечения.

Это относится в полной мере и к экономике. Лишь с большим опозданием ученые-экономисты начали разрабатывать программу экономических реформ. Нет слов, прогресс за эти годы в понимании характера экономических преобразований не мал. Но такой вывод следует лишь из сравнения с очень низким исходным уровнем экономической мысли. Если же сравнивать уровень нашей экономической мысли с западной или большинством восточноевропейских стран, то отставание все еще громадно. В этой области мы все еще глубокая провинция. Статус нашей экономической науки в мире низок.

Приведу только один пример. В знаменитой книге венгерского экономиста Корнаи «Дефицит» среди сотен цитируемых авторов только два советских, но и те писали в двадцатые годы. В. Новожилов и Л. Крицман. Из авторов последующих лет для книги о проблемах социалистической экономики автор не нашел ни одного, достойного внимания.

Отставание советской экономической науки нашло отражение и в программе Шаталина-Явлинского, подготовленной осенью 1990 года. Об этой программе было сказано немало лестного, и я разделяю общую положительную оценку подхода авторов к проблеме радикальной экономической реформы. Но сколько же в ней поспешного, непродуманного, противоречивого! Упомяну только мало обоснованные надежды на большой объем приватизации, быстрое сбалансирование государственного бюджета, недооценку значения сокращения военных расходов для оздоровления экономики, противоречивость в решении вопросов ценообразования, государственных заказов... Об этих недостатках убедительно писали Пияшева, Пинскер, ряд западных экономистов. Я рискну даже сказать, что, может быть, не было большим несчастьем, что программа Шаталина-Явлинского не была тогда принята. Неудача в ее осуществлении, которая мне кажется весьма вероятной, надолго скомпрометировала бы рыночную экономику в глазах населения. Но программа Шаталина-Явлинского, безусловно, останется в наследии советской экономической мысли и может послужить отправным пунктом для дальнейшей, более углубленной и продуманной программы, если для нас еще есть время. К разработке такой программы с самого начала следует привлечь западных экспертов, а также специалистов из восточноевропейских стран, которые имеют, несомненно, большие знания относительно характера рыночной экономики и путей перехода к ней.

Когда вдумываешься в причины провала нынешней перестройки, понимаешь всю его неизбежность. Страна не была готова к радикальным переменам. Очень хорошо сказал года три назад Ю. Буртин, когда на вопрос, что же мешает перестройке, ответил: «Все, решительно все».

Легко впасть в уныние при виде краха очередной попытки реформировать наше общество. Не скажу, что я свободен от этого чувства. Но все же история не остановится на нынешнем этапе. Какие бы испытания ни поджидали нашу страну впереди, если не случится какого-либо катастрофического события вроде гражданской войны или войны с другими государствами, через 5—10 лет наступит новый раунд общественных изменений. Он, безусловно, будет происходить в еще более трудных обстоятельствах. Дальнейшая деградация генофонда народа, истощение природных ресурсов, сокращение производственной базы, растущие экологические проблемы, обнищание населения и вследствие этого еще больший накал общественных противоречий сделают задачу экономического возрождения более тяжелой. Но интеллектуальный и политический багаж, накопленный нынешней перестройкой, поможет более обдуманно совершать последующие изменения. Ведь были же в России относительно удачные реформы: отмена крепостного права, реформы Витте и Столыпина, даже нэп...

Очень важен критический анализ нашей перестройки. Ясно, что традиционные шаги, которые приходят в голову на основе анализа своего и чужого опыта, у нас могут и не пройти. Есть большой соблазн думать, что если бы была предоставлена возможность реализовать предложения наших прогрессивных экономистов, наступило бы быстрое экономическое улучшение, и, следовательно, самое важное добиться смены политического руководства и политической системы как главного препятствия радикальным решениям. Мне кажется, что такое мнение слишком упрощает проблему. Главные трудности у нас связаны не только с характером политического строя, но и в меньшей, может быть, степени с огромными нравственными и квалификационными потерями последних десятилетий, и никакие изменения политического строя не восполнят этих потерь.

Уникальность ситуации, тяжесть ее, по моему убеждению, несравненно больше, чем у любой другой страны. Ведь ни одна из них, даже подвергнувшаяся военному поражению (как, например, Япония и Германия после второй мировой войны), не пережила такой деградации генофонда. Следовательно, и решения должны у нас быть во многом уникальными.

При всей катастрофичности ситуации нельзя забывать, что СССР все еще обладает довольно сильным потенциалом в ряде областей, который, при умелом его использовании, может выручить нас на несколько лет, пока не заработал новый экономический механизм. Это все еще довольно богатые природные ресурсы, которые можно, кстати, реализовать не только в виде продукции, но и прямо продавая отдельные месторождения или части их. Это наш огромный военно-промышленный комплекс, где сосредоточено новейшее оборудование, лучшие научно-технические и рабочие кадры. Вследствие нашей величайшей бесхозяйственности накопилось огромное количество ненужных нам материалов и оборудования, которое можно продать (даже старое оборудование купят по дешевке в какой-нибудь африканской стране, которая не имеет средств для покупки нового оборудования в развитых капиталистических странах). И, наконец, у нас все еще немало талантливых инженеров и ученых, которые могут обеспечить выручку на мировом рынке за научно-технические достижения при наличии благоприятного экономического механизма и хорошего оборудования. Так что основания для надежды на возрождение нашей экономики все еще остаются

Октябрь 1990 г. — февраль 1991 г.

Россия будет

(ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД)

Предлагаемая ниже статья

Д. С. Мережковского была опубликована в 1918 году в двух номерах «Нашего Век» — петроградской газеты либеральной ориентации, наследницы кадетской «Речи» (см. «Наш Век» от 23 и 28 июня 1918 г., №№ 100 и 103, В августе 18-го года за «контрреволюционную»

направленность «Наш Век» был запрещен. Немногие увидевшие свет его номера на долгие годы оказались погребенными в запасниках спецхранов. С ними в неизвестность канула и статья Мережковского, оставшаяся неизвестной как отечественному, так и зарубежному читателю.

I

России нет. Была ли, будет ли, — мы не знаем, но знаем, что сейчас России нет.

Что такое Россия? Отечество? Вот слово, непонятное не только русской интеллигенции, но и русскому народу. — в этом, по крайней мере, хотят нас уверить у русского народа, будто бы, нет России, нет отечества.

Так что же такое Россия? Безымянная «страна», географическая площадь, экономический класс, этнографический материал или просто физические «массы»? О, конечно, понятие «отечество» — не физическое. Массы, народ, страна, класс — только тело, а отечество — душа. Если душа не пар, то она бессмертна. Душа не может о себе не знать, есть ли она, была ли, будет ли. Душа больше тела, тело разрушается, меняется — душа неизменна. Отечество больше, чем народ, народы, роды, поколения — приходят, уходят, остается отечество. Отечество есть духовная связь родов, поколений, живущих, умерших и нерожденных. Отечество — чудесная и реальная победа над рождением и смертью, воскресение мертвых, бессмертье живых.

Отечество — понятие не физическое и даже не метафизическое, а религиозное. Бог — Отец; от Отца — отечество. Если нет Отца на небе, то нет и на земле отечества. Отечество — религиозное соединение людей для всемирно-исторического действия. Пока есть воля к этому действию, есть и отечество.

Если мы сейчас говорим: нет России, нет отечества, — значит, у нас его никогда и не было, — не было религиозной воли к действию.

«Что нам Россия, мы калуцкие», — ухмыляется солдатик-дезертир, русский и уже не русский, а интернациональный хитрый мужичонка. И мы ему верим. Напрасно. Хитрый мужичонка хитрит, лжет, чтобы скрыть свое предательство. Он темен и дик. Но, ведь еще более темные и дикие предки его уже знали, что такое Россия, а он вдруг забыл. Еще в 14-м году помнил, а в 17-м забыл. И дикари знают, что такое родная земля.

И младенец, сосущий грудь матери, знает, что такое мать.

Россия — мать. Но хитрый мужичонка с пьяных глаз всегда ругался над матерью гнусным ругательством, кажется, нигде в мире неслыханным. Стоном стояло оно по всей русской земле тысячу лет. Думали, даром пройдет. Нет, не прошло. Приняв «похабный мир», хитрый мужичонка принял и похабное «социалистическое отече-

ство» — с — никакое, потому что для русского «социалиста» нет отечества, а есть интернационал — «Мы не русские, мы калужские, интернациональные» Уже не только на словах, но и на деле надругался народ над Россией-матерью

Народ — тело, отечество — душа. Во грехе, в болезни, в безумии, тело воссоединяется с душой, народ — с отечеством. Тело становится врагом души. Тело убивает душу, народ убивает отечество

Интеллигенция, как Иван Карамазов, сказала «все позволено, убей отца» А народ, как Смердяков, сделал, — убил. Произошло небывалое всемирно-историческое преступление: народ стал убийцей своего отечества, отцеубийцей.

Это безумие. Отечество — религиозное понятие. И убийство отечества — безумие религиозное.

Тут возникает вопрос о религиозном существе русского народа. По Гоголю, Достоевскому, это народ-богоносец. Сам народ называет себя «крестьянским» — т. е. христианским по преимуществу

Но вот Белинский возражает: «Пригладитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко-атеистический народ»

Судя по тому, что сейчас происходит, прав не Гоголь и Достоевский, а Белинский. «Ни креста, ни молитвы, — удивляется В. В. Розанов (в только что написанной книге «Апокалипсис нашего времени»). — Уж если при смерти чьей нет креста и молитвы, то это у русских. Всю жизнь крестились, молились, вдруг смерть — и сбросили крест. Переход в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой»

Да, всего удивительнее эта безболезненная легкость, мгновенность перехода. Тысячелетнее христианство с русского народа — как с гуся вода, как пыль — с платья. Присяжный поверенный Шпицберг¹ доказал, что Бога нет, что «Бог — буржуй», и весь крещенный народ раскрестился мгновенно, согласился. «Да, буржуй: надо расстрелять Бога»

Но Достоевский все-таки кое-что знает о народном атеизме, чего не знает Белинский.

«Виджу, — вползает ко мне раз мужик на коленях, — рассказывает в «Дневнике Писателя» один старец-монах, — Первым словом ко мне:

«— Нет мне спасения: проклят! И что бы ты ни сказал — все одно проклят! Собрались мы в деревне несколько парней и стали промежду себя спорить, кто кого дерзостнее делает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глаза на глаз.

— Теперь скоро пост, стань говеть. Когда подойдешь к причастью, — причастье прими, но не проглоти. Отойдешь, — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: «положи!» Я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье

Я принес.

— Заряди

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, — вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Русский народ в своем мгновенном атеистическом безумии не похож ли на этого парня? Но предстанет ли и народу «неимоверное видение» Распятого? Достоевский в этом не усумнился бы. Во всяком случае, он предвидел возможность того, что сейчас происходит.

Что же это такое? А вот что.

«Это, прежде всего, забвение всякой меры во всем: потребность в замирающем ощущении дойти до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и, — в частных случаях, но весьма нередких, — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это — потребность отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, всей народной святыни, во всей ее полноте... Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силою, с такою же стремительно-

стью, с такою же жадной самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда».

«Я думаю, — заключает Достоевский, — самая коренная духовная потребность русского народа — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого. Этою жадною страдания он, кажется, заражен искони веков... Страданием своим русский народ как бы наслаждается».

Достоевский вскрывает здесь последние глубины религиозной народной стихии.

Христианство — религия страдания, только страдания, страдания как мирового синтеза. Так ли это на самом деле?

В мире и в человеке существуют два полюса, два начала: страдательное и действительное, жертвенное и героическое. Дионисовское и Аполлоновское, вечно-женственное и вечно-мужественное. В совершенном человеке — Богочеловеке — эти два начала соединяются. Когда Сын обращен к Отцу, то Он страдателен, жертвен, женствен: «Не Моя, а Твоя да будет воля». Когда Он обращен к миру, то действителен, героичен, мужествен: «Я победил мир».

Что в Богочеловеке, то и в человеке. Человеком преодолевается абсолютный животный пол. Человек — не только мужчина и не только женщина; человек — мужчина и женщина вместе. В самые человеческие — божественные минуты свои, минуты любви, как жертвы, мужчина становится женственным, — и в этом высшая красота мужества (Дионис-Аполлон в женском образе): в самые человеческие-божественные минуты свои, минуты любви, как подвига, женщина становится мужественной (Аполлон-Артемиды в мужском образе). И в этом высшая красота женственности.

Утверждение голого абсолютного пола есть падение человека до зверства. Мужчина, только мужчина — уже не человек, а зверь, самец. И женщина, только женщина — самка. Но человек, в падении своем, не останавливается и на зверстве — он падает ниже — до сатанинства. Сатанинское искажение мужского начала — «саизм»; женского — «мазоизм».

Религиозная болезнь русского народа есть **чрезмерная женственность**.

Первое всемирно-историческое действие славянского, будущего русского племени — отказ от своего мужества. Народ юноша, народ жених не стыдится выступить на сцену всемирной истории в образе невесты. «Я не то, что вы думали: я не мужчина, а женщина; у меня нет порядка, нет власти, нет воли, нет мужества. Я сама не своя. Я ничья. Но я прекрасна и обильна. Придите, владейте мною. Возьмите меня!» Это — призвание варягов.

Варяги — в политике, византийцы — в религии. В противоположность западному католическому христианству — мужественному, действительному, героическому, — восточное, византийское — женственно, жертвенно. Православие на русский народ — женственность на женственность.

С византийским христианством принимается и византийское язычество — самодержавие. В самодержавии — начало римской власти, римского мужества. Но как преломляется оно в женственной русской стихии?

По Константину Аксакову, сущность русской истории — «открещивание от власти», религиозная анархия, осуществляемая в политической монархии. «Государство, — говорит Аксаков, — никогда у нас не обольщало собою народа: вот почему, хотя и были случаи, — не хотел народ наш облегчаться в государственную власть, а отдавал эту власть избранному им и на то назначенному государю, сам желая держаться своих внутренних жизненных начал», т. е. женственных, жертвенных.

В самодержавии народ как бы **выделяет из себя все свое мужество** и отдает его одному единственному лицу — самодержцу. Опять: «я не мужчина, а женщина — возьми меня!» Это второе «призвание Варягов». Народ — жена; царь — муж. Грозный царь, грозный муж. Чем грознее, тем возлюбленнее. Кого люблю, того и бью. Царь бьет Россию, а ей чем больнее, тем слаще. В самодержавии утоляется та «коренная духовная потребность русского народа — потребность страдания», о которой говорит Достоевский. «Страданием своим русский народ как бы наслаждается». Величайший из наших древних царей, завершитель византийско-русского самодержавия — Иван Грозный — сладострастный мучитель-саист. Тут уже воистину сатанинское искажение религиозной воли к страданию: православная жертвенность и самодержавное мучительство, — мазоизм и саизм.

Петр кончил старую византийскую Россию и начал новую. Что же такое преобра-

юванис Петра? Не третье ли «призвание Варягов», не новое ли явление русской женственности? Нет, сам по себе Петр — величайшее восстание русского мужества. Он вовсе не хотел, как думают славянофилы, отказаться от своего для чужого, а наоборот, чужое хотел сделать своим, выправить главный вывих народа, преодолеть восточную женственность западным мужеством. Прав Петр, но не прав — петербургский период: он вовсе не продолжение, а искажение Петра, борение с Петром. И не случайно именно в наши дни так забыт Петр, как еще никогда. Мы сейчас накануне полной победы старой допетровской Руси над Петром, Москвы над Петербургом, русского Востока над Западом, нашей дурной женственности над нашим добрым мужеством. Мы накануне третьего и последнего окончательного «призвания Варягов».

Болезнь России — дурная женственность, но болезнь Германии — дурная мужественность. Это два одинаковые безумия, два равные искажения пола — наслаждающаяся жертва и наслаждающийся палач. Всемирно-исторический мазохизм и садизм. Русский анархо-коммунизм, толстовское «Царство Божье», осуществляемое Пугачевым-зверем, и германский империализм — ницшеанское царство «Антихриста», осуществляемое «христианнейшим» кайзером. Черный Дионис и черный Аполлон.

Русский народ вошел в мировую войну как муж в состязание мужей. Он сам себя назвал «мужицким», т. е. мужским, мужственным по преимуществу. И все ему поверили. Но вот мужик оказался бабою. У бабы ум короткий. В политике соблазнил ее первый шпион², а в религии — Шпицберг.

Вся мужественность русского народа оказалась сосредоточенной в царе. Пал царь — пала мужественность — осталась голая женственность. И как зверь на добычу, накинулась бесноватая мужественность на бесноватую женственность — германский садизм — на русский мазохизм. Обнажился небывалый всемирно-исторический срам. По слову пророков: «Так говорит Господь Бог Саваоф: обнажу срамоту твою, дочь Сиона». Вот лежит она, обнаженная, посрамленная, поруганная, окровавленная, и молит своего истязателя: «Возьми меня! Убей меня!» Это и есть «похабный мир».

Абсолютная женственность — абсолютная бессознательность. Вместо сознания — слепой инстинкт. Слепой религиозный инстинкт русского народа обманут православием и самодержавием. Царь — от Бога; был царь, был Бог; не стало царя, и Бога не стало. Вот почему «переход в полный атеизм совершился до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой». Раскрестились мгновенно. Велел шпион — и на Россию плюнули: велел Шпицберг — и плюнул на Бога.

Да, у бабы ум короткий. Большой религиозный инстинкт и короткий ум. Слабый интеллект — слабая русская интеллигенция.

Народ поклонился царю, как Богу; интеллигенция поклонилась народу, тоже как Богу. Безличный коллектив обожестил личность царя; одинокая интеллигентская личность обожестила безличный коллектив — народ; все одного, один — всех. Взаимное идолопоклонство, взаимное обожествление. Два равных кощунства — человекобожество и народобожество. Не только в своем теперешнем атеизме, но и в своей прсжней религиозности, православно-самодержавной, — народ был таким же «нехристом и безбожником», как атеистическая интеллигенция. Тут никакой между ними пропасти. Трагедия русской интеллигенции не в отъединении, а в ложном соединении с народом. Иван Карамзов сказал: «человек есть Бог», — а Смердяков сдсделал себя Богом.

Когда народ стал Богом, то совершилось над ним то, что сказано о всяком человеке и коллективе человеческом, который становится на место Божье. «Отнимется у него сердце человеческое, и дастся ему сердце звериное».

Страшен царь-зверь: но не менее страшен зверь-народ.

Вот он сам себя терзает, сам над собой ругается, — не только над собой, но и над человечеством, над двумя величайшими святынями его — миром и равенством. Сказал: «социалистическое равенство», — и объявил анархо-коммунизм русских мешочников. Марксо-Пугачевых: «грабь награбленное!» Сказал, «демократический мир», — и начал такую войну, какой еще никогда не бывало: человекоубийство заменил братоубийством, зверскую бойню сделал сатанинской.

И все восстание вылилось в падение, революция в контрреволюцию. Самодержавие опрокинуто, но не разрушено, даже не тронуто. Самодержавие царя — пирамида острием вверх: царь поработает народ, один — всех. Самодержавие народа — та же пирамида, острием вниз: один поработается всеми, личность — народом. Но сила гнета, тяжесть рабства в обоих случаях одинакова.

А, может быть, теперь еще хуже, чем при царе? Нет, не хуже. Только скрытое тогда — раскрыто теперь. Вот почему кажется, что теперь хуже, страшнее, подлее, отвратительнее. Значит, не надо было свергать царя? Нет, надо. При царе мы погибали медленно и все равно не спаслись бы. Теперь **можем** спастись. Скоро погибнем или скоро спасемся. Пирамида на острие долго стоять не может.

У царя Николая был Распутин: у царя-народа много Распутиных, но один главный. Недавно я сравнивал портреты обоих, — того, царского, и этого, народного. Тот — мужик, этот — интеллигент; тот блудник и пьяница; этот — аскет. Как несхожи, а все-таки сходство есть. В глазах или даже не в глазах, а во взоре, или еще вернее, в возможности взора — один и тот же русский хмель, русский бес, черный бабий Дионис — одно и то же безумие хлыстовских радений, все равно каких, монархических или анархических³.

В последние дни царя Николая стоило взглянуть в лицо Распутина, чтобы понять, это бред, наваждение, это не может длиться долго.

И теперь, стоит взглянуть в лицо второго Распутина, чтобы понять, это не может длиться долго: падет второй Распутин и начнется вторая революция, — нет, не вторая, а первая — все та же единственная, не оконченная, а только задержанная, заваленная ледяной нарастающей глыбой опрокинутого самодержавия — октябрьской контрреволюцией.

Теперь, больше, чем когда-либо, должно сказать: да здравствуй февраль! да здравствует революция!

II

Что такое революционная демократия, — это все хорошо знают. Но что такое **революционная аристократия**, — этого почти никто не знает или не хочет знать. Не только в нашем захолустном «социалистическом отечестве», но и в подлинных европейских демократиях все еще непонятно, дико, феодально-крепостнически или буржуазно-капиталистически звучит слово «аристократия». Демократия не значит власть черни, — это все понимают; но никто не хочет понять, что аристократия не значит власть господ, капиталистов, буржуев и помещиков.

Подлинная демократия осуществляет власть народа; подлинная аристократия — власть лучших людей. Когда все будут хорошими, — не будет лучших, не будет аристократии — установится абсолютная демократия или, вернее, теократия, царство Божье на земле. А пока есть люди получше и похуже, надо, чтобы власть имели лучшие. Это значит, что демократия и аристократия не абсолютны, а относительны. Сама демократия утверждает свою относительность, облекая властью меньшинство, — избранных.

Вопрос об отношении демократии и аристократии есть вечный вопрос об отношении общества и личности, социализма и анархизма, или, еще шире, метафизичнее, — вопрос об отношении категорий **количественной и качественной**. Соизмеримы ли эти две категории? Можно ли качество свести к количеству, **то есть**, в последнем счете, жизнь — к математике, к механике, это не разрешенный и, кажется, неразрешимый вопрос гносеологии. Во всяком случае, в настоящее время мы не можем качество заменить количеством, личность — обществом, аристократию — демократией.

«Миллион больше ста», — это арифметика. Но жизнь не арифметика. Иногда сто больше миллиона.

Право большинство? — «Нет, только меньшинство право», — возражает Ибсен, ненавистник демократии. Оба утверждения относительны.

Ну, конечно, большинство не всегда право. Будем надеяться, что умных и честных людей больше на свете, чем дураков и мошенников; но если к дуракам и мошенникам прибавить невежд, то едва ли большинство окажется на стороне умных и честных.

Представьте себе решение вопроса о достоинстве яиц по большинству голосов. дюжина свежих и миллион тухлых яиц голосуют; нельзя сомневаться в решении: яйцам надо быть тухлыми.

Никогда, ни при каком торжестве демократии, не следует забывать, что Иисус Христос был распят по большинству голосов.

Большинство, революционная демократия, продолжает и кончает революцию: а начинает ее всегда меньшинство, революционная аристократия.

Говорить о таких азбучных истинах давно уже стыдно в буржуазно-демократиче-

ской Европе, а в нашем «социалистическом отечестве» мы все еще погибаем от бестыдного забвения азбучных истин.

Вечная истина о революционной аристократии, кажется, самая трудная для русской интеллигенции.

Подлинная аристократия есть начало мужественное, героическое. Русский народ безмерно женствен и потому безмерно демократичен. Для него никогда не было лучших людей, потому что лучше всех был один: не было героев, потому что был один герой; не было личностей, потому что одна была личность. — царь.

Абсолютная власть утверждала абсолютную ложную демократию — подлинную оклократию — царство черни. Острые горы — самодержавие, а под ним — бесконечная равнина — «равенство».

Русский интеллигент такой же абсолютный демократ, вечный антигерой, как русский народ. Для интеллигента тоже нет героев-личностей, потому что для него единственный герой — безличный коллектив — «царь-народ». Злейшая обида для русской интеллигенции сознать себя тем, чем она призвана быть — не ложной демократией, а подлинной аристократией. Не быть собою, уйти от себя, раствориться, исчезнуть в народе, как капля в океане, — такова неутолимая жажда русской интеллигенции. Ее неумная «трагедия» — в **отделении от народа**. А это первое условие ее бытия, ибо только тогда интеллигенция и начинает быть, когда отделяется от народа.

Для русского народа, безмерно женственного, демократичного, единственное спасение — воля к мужеству, к действию, к героизму, к аристократии. Но этой-то воли русская интеллигенция и не могла дать народу, потому что сама ее не имела.

Душа подлинной демократии есть то, что Карлейль называет «почитанием героев», как носителей святынь народных. Этой души не оказалось в русской демократии. Непочитание героев, неблагоговение перед святынями — источник хамства. Торжествующая русская демократия открыла дверь перед «царем-народом» — и вошел Торжествующий Хам¹.

Самодержавие царя не додушило интеллигенцию. Народ кончает дело царя. Собственно народ хочет «додушить» не интеллигенцию, а буржуазию, но демогоги уверили его, что это одно и то же. Из всех демагогических обманов бесстыднейший — смешение интеллигента с буржуем.

«Буржуй» — такое же глупое погромное слово, как «жид». Когда Торжествующий Хам бросает нам в лицо: «Буржуй!» — мы могли бы ответить ему, как жида царским погромщиком: «Пусть жида: жида — святое племя!» Да, как это ни дико звучит для русского интеллигентского уха, — есть **буржуазия святая, святое мещанство**.

Вся европейская культура — «страна святых чудес» — искусство, наука, общественность — Возрождение, Реформация, Революция и даже самый социализм, — все это создание святой буржуазии. Для Европы святость эта уже в прошлом, но не для России. В России никогда никакой буржуазии не было, ни святой, ни грешной. Русский коммунизм убивает нерожденное, но не убьет: русский буржуй все-таки родится. И, может быть, единственное не мертворожденное дитя нашей «социалистической» революции будет именно он, так называемый мелкий, грешный или святой, буржуй.

Не так давно анархист Блейхман предлагал собрать всех петербургских буржуев в один концентрационный лагерь и взорвать на воздух. Товарищи смеялись. Над чем? Ведь предлагается же в конституции советской республики «полное подавление буржуазии» Давить, душить медленно, или сразу взорвать, — что милосерднее? За милосердие я, так и быть, открою Блейхману важный секрет: буржуя нельзя взорвать, задушить или даже поймать: он — неуловимый, незримый, бесплотный и бессмертный дух, — для самого Блейхмана то же, что для Ивана Карамазова «чорт с хвостом датской собаки». Буржуй — двойник анархиста. Не случайно преходящее соединение этих двух несуществующих признаков — русского «коммунизма» с русской «буржуазией». Анархическое: «грабь награбленное!» есть откровение, хотя и не святое, конечно, а грешное, но, несомненно, мелкобуржуазное. Анархизм — озверевший и осатаневший либерализм, анархист — сошедший с ума буржуй.

Торжествующий Хам узнается по дурному запаху. Люди художественно чуткие давно уже обоняли в русской демократии запах грядущего Хама. Это шутка? Нет, эстетика — не шутка, а проникновение в сердце вещей. Некрасота, антиэстетика русской «социалистической» революции — зловещий знак. Жизнь прекрасна: все живое цветет и благоухает: только мертвое тлеет и смердит.

Как благоуханны наши февраль и март, солнечно-снежные, вьюжные, голубые,

как бы неземные, горние! В эти первые дни или только часы, миги, какая красота была в лицах человеческих!

Где она сейчас? Вглядитесь в толпы октябрьские. На них лица нет. Да, не уродство лиц, а отсутствие лица — вот что в них всего ужаснее.

Увы, наш Октябрь начался еще в Марте.

Тли по Мартовским алым зорям
Прошли в гвоздевых сапогах.
Душа на ключе, на тяжелом затворе —
Отврат... тошнота... но не страх⁵

Как пошли тогда, так все и идут без конца, не страшные, а тошнотные, серые-серые, безликие, насекомоподобные.

По-славянски «тля», а по-русски — то насекомое, от которого сыпной тиф — природная болезнь нашего «социалистического отечества». Петроградская коммуна собирается мыть народ в бане насильно, как моют маленьких детей. Тысячу лет он сам шел в баню, а теперь и палкой не загонишь. Полюбил нечисть. Понял, что «с чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь». В «Войне и мире» Пьер Безухов, после пожара Москвы, во французском плену, до того опростился, что полюбил вшей: «вши, евшие его, согревали его тело», — говорит Толстой. Вот она откуда, эта «социалистическая» тля. Чужой германский зверь жрет, а своя русская тля тлит Россию.

В гербе самодержавия царского — св. Георгий Победоносец, пронзающий копьем крылатую тлю. Неужели же в гербе самодержавия народного — бескрылая Победоносная Тля?

Да, сейчас нет лица на русском народе: его самого как бы нет. И если Россия — только народ, то сейчас нет России.

Но Россия больше, чем народ. Сознательной религиозной воли к отечеству, к мужеству, у нас никогда еще не было, а была лишь воля стихийная, бессознательная. Но уже и у ней видно, чем сможет быть русский народ, если захочет, поймет, что надо хотеть.

Когда полудикая дружина Святослава шла в челноках на Царьград (тоже «империалисты»), это уже была Россия. И на Куликовом поле, и в собирании земли, и в смутное время, и в преобразованиях Петра, и в двенадцатом году, и в декабрьском восстании — Россия была. И пусть только краткие дни, часы, миги февраля — марта, но видели и наши глаза больше, чем русский народ, — всю Россию — Отечество.

Воля к мере — победа над безмерным, дионисовским, женственным — есть высшая воля к мужеству. Может быть, с эллинской древности не было такого совершенного гения мужества, гения меры, как Пушкин. Стоит вспомнить о нем, чтобы поверить: русский народ способен к мужеству. Немцы могут отнять у нас все, до последнего клочка земли, но не отнимут Пушкина, а есть Пушкин — есть Россия.

Сейчас России нет для русского народа и русской интеллигенции, потому что у них нет сознательной **религиозной** воли к отечеству. Чтобы приобрести эту волю, им нужно изменить сознание: опомниться, покаяться не друг перед другом, а перед Россией, и не прежним русским покаянием жертвенным, а новым, действенным, героическим. «Глас вопиющего в пустыне: покайтесь, **обратитесь** — *metanoete*⁶» — опомнитесь, измените сомнение.

«Мы не спасемся, пока не вырвется из наших сердец крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит весь мир» (Чаадаев). Да, весь мир, потому что наша вина — не только перед Россией, но и перед всем человечеством.

Мы захотели быть выше и оказались вне человечества. Захотели кончить всемирную историю, начать Апокалипсис: но раньше конца мира наступил наш собственный конец.

Мы решили: дерутся два разбойника, два зверя — империализм Германии с империализмом Англии, Франции. Пусть же они друг другу перервут горло — тем лучше для нас, русских социалистов. Но дерутся не два зверя, а один зверь с человеком, Англия. Франция создали великую буржуазную демократию; Германия — социал-демократию; но она сделала с нею то же, что рыболов с червяком — поплевала и насадила на крючок: червяк для рыбы, а рыба — русский социалист.

Демократический империализм Англии, Франции — человеческий, исторический; самодержавный империализм Германии — человекобожеский, апокалипсический. Для

русских социалистов, взятых заживо на небо, тут нет никакой разницы: но для живущих на земле — разница огромная. Победа Европы — продолжение всемирной истории; победа Германии — нечто, в самом деле, похожее на «конец мира», «пришествие Антихриста».

Мы должны вернуться из нашего русского ложного Апокалипсиса во всемирную историю. Должны сделать выбор между человеком и зверем, Европой и Германией.

Германия может победить Европу; но честь и совесть человечества никогда не помирятся с этой победой. После «похабного мира» европейского начнется вторая война. Мы сейчас не можем к ней готовиться. Но побежденные, раздавленные, обезоруженные, именно сейчас больше, чем когда-либо, мы должны повторить вместе со всем человечеством: не будет мира, не будет мира, не будет мира, пока не победим!

Октябрь мы должны отвергнуть до конца, но так же до конца принять февраль. Сейчас русская революция может быть только буржуазно-демократическая, утверждающей свободу прежде, чем равенство. Нельзя достичь равенства сначала, — а потом свободы. Свобода для равенства, а не равенство для свободы. Слишком дорогой ценой купили мы эту дешевую истину, поняли, что вводить в России «немедленный социализм» — значит выдавать замуж пятилетнюю девочку. Это не брак, а растление. Но отвергнуть всякий социализм, чтобы избежать русского, — значит, сделаться скопцом, чтобы избежать разврата.

Победить русский ложный социализм нельзя иначе, как утвердив социализм всемирный, подлинный. Буржуазно-демократическая революция в России может совершиться только под знаком грядущего социализма; свобода может быть достигнута только под знаком равенства.

III

Все это довольно легко понять и, кажется, русская интеллигенция уже начинает понимать все это. Но очень трудно, не знаю даже, возможно ли ей понять, что необходимая предпосылка национального возрождения России — религиозная.

Трудно понять, что наша русская беда, социальная и политическая, — только часть европейской, всемирной беды религиозной: что мгновенное атеистическое сумасшествие русского народа — пария, стреляющего в причастие, — отражение длительного атеистического безумия, овладевшего всей европейской, христианской, да, все еще христианской, культурой, потому что, по слову Чаадаева, «Европа, что бы ни говорила и ни делала, все еще тождественна христианству». Гибель христианства — гибель Европы.

«Глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском человечестве образовались **колоссальные пустоты** от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все» («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 1918). Не политическим и не социальным, а только религиозным сознанием можно осветить эти пустоты, понять всю безбрежность того, что сейчас происходит. Нам кажется, что с Россией происходит небывалое, — нет, не только с Россией, но и со всем человечеством. Мы первые, но не последние.

В самом деле, разве все это не похоже на конец мира, Апокалипсис, не русский, ложный, а настоящий? Можно надеяться, что это еще не конец, и человечество выживет, но именно можно **только** надеяться.

Настоящий конец не совершится ли так же, как это подобие конца — изнутри, сначала изнутри, а уж потом извне? И уже сейчас не повторяется ли на наших глазах исполинское видение Патмоса? Не издыхаем ли мы от страха бедствий, грядущих на вселенную? Не свивается ли наше внутреннее небо как свиток? Не становится ли наше солнце, как кровь, и наша вода, как полынь? Не рушится ли наш Вавилон великий? И багряный Зверь не выходит ли из бездны — из бездны наших сердец?

От Чаадаева до Вл. Соловьева и Достоевского, русская интеллигенция религиозная, тайная, отреченная, вся пронизана чувством конца. Интеллигенция явная, торжествующая, атеистическая только смеялась над этим чувством. Пусть же и теперь посмеется!

Для русского интеллигентского, так же как для всего европейского сознания,

метафизическая основа социализма есть материализм, то есть, в последнем счете, **атеизм**. На основе атеизма строится здание идеалистическое, то есть, в последнем счете, религиозное. Прочно ли такое строение? Можно ли утвердить религию на атеизме?

Кризис европейского социализма (точнее, социал-демократии, марксизма) не менее глубок, чем кризис европейского христианства. «Колоссальные пустоты» образуются в человечестве не только от «былого христианства», но и от будущего социализма.

Как проблема, социализм неизменен. Но так же ли неизменен, как разрешение проблемы? Не будет ли оно когда-нибудь религиозным?

Все попытки «христианского социализма» неудачны. В историческом христианстве социальная проблема не разрешена и даже не поставлена. Но она заложена в самом явлении Христа.

Учение Христа есть учение о царстве Божием **на земле**. И проблема о царстве, о власти ставится в этом учении, как проблема **социально-экономическая**, как вопрос об отношении хлеба и власти.

Сейчас об этом можно говорить только наивно, символически, почти мифологически, потому что тут еще все — не в религиозном опыте и действии, а только в гаданьях и чаяньях.

Первый христианский символ социально-экономический — искушение Христа хлебом. «Если Ты Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом». Достоевский в «Великом Инквизиторе» раскрыл необъятный всемирно-исторический смысл этого искушения. Камень — материя неорганическая — превращается в хлеб — материю органическую — чудом не Божьим, а дьявольским, — это и есть «материализм», атеизм, как демоническая основа социализма.

И тотчас за искушением хлебом — искушение властью. «Ибо кто накормит людей, тот и будет над ними властвовать», — обещает Великий Инквизитор. «Тебе дам власть на всеми сими царствами», — обещает диавол.

Неужели все это для нас — только «миф», а не социальная и психологическая, даже не физиологическая действительность? Ведь мы сейчас так пронзительно-плотно, кровно, животво, чревво чувствуем вопрос о власти, как вопрос о хлебе. Осьмушка хлеба, который становится камнем (обратное «чудо» диавола), есть для нас уже несомненный красуольный камень грядущего безвластия, анархии, войны всех против всех. «Кто бы ты ни был — Ленин, Вильгельм, Николай или сам диавол — только приди, властвуй и накорми!» — вот реальнейший вопль наших голодных чрев.

Атеистической основе социализма, предложенной диаволом, Христос противопоставляет основу религиозную: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». — «Я семь хлеб жизни».

Это первый символ, а вот и второй.

Главное чудо, за которое народ хочет сделать Иисуса царем (как «Царь Иудейский» — мятежник против настоящего римского, всемирного царя — Кесаря и был распят Иисус) — есть чудо — социально-экономическое — насыщение пяти тысяч пятью хлебами. «Повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели **рядами**». О, как непохожи эти «ряды», эти хлебные очереди — на наши безобразные голодные «хвосты»! Представьте себе, что каким-нибудь чудом внезапно досталось одному из таких хвостов в пять тысяч человек — пять хлебов. Что произошло бы? Люди перегрызлись бы, как звери, смешали бы хлеб с кровью, и никого не насытил бы этот кровавый хлеб. Не помог бы и хваленый «учет» Ленина: «социализм есть учет». Ленин учитывает все, кроме главного — духовной силы любви или ненависти, соединяющей и разделяющей людей в социально-экономические «ряды» — «классы». А без учета этой силы «борьба классов» становится борьбой нечеловеческой — звериною свалкою. Ведь потому-то и произошло чудо насыщения, что силу любви учел Учетник Божественный.

И в молитве Господней, тотчас после прошения о царстве, о воле Божьей на земле, как на небе, — прошение о хлебе насущном. Самое сердце молитвы — царственно-хлебное, социально-экономическое..

Я говорю все это непонятно, нереально, недостойно, косноязычно, почти кощунственно. Но если бы кто-нибудь сказал, как следует, то засверкала бы ослепляющая истина, самая простая, потому что самая нужная, хлебная, чревная, плотная, кровная...

А так, как я говорю, это — только письмо в бутылке, которую кидает в море мореплаватель перед крушением...

Итак, соединима ли социальная проблема с проблемой религиозною? Ответить на

этот вопрос и значит ответить на вопрос о религиозной предпосылке национального возрождения России.

Великодержавность нации не только в ее государственной, но и в духовной всемирности — в религиозном служении человечеству. В чем же служение России?

Если русский народ страдает сейчас не бессмысленно, если он все-таки недаром назвал себя «крестьянским» — христианским по преимуществу, и если когда-нибудь проблема социальная встанет перед человечеством, как проблема религиозная, христианская. Христова по преимуществу, то понятно, в чем будет заключаться всемирное служение России — религиозная предпосылка ее национального возрождения

Мгновенное атеистическое сумасшествие русского народа пройдет как тому парню, стрелявшему в причастие, — предстанет и всему народу «видение Распятого». Но в эту роковую минуту, когда будут решаться на веки веков судьбы России, — будет ли с русским народом русская интеллигенция, как религиозный разум и совесть народа? Если не будет, то горе обоим.

Сейчас России нет для русского народа и для русской интеллигенции, потому что они забыли о Христе. Только тогда, когда о Христе вспомнят и скажут во имя Христа: «да будет Россия», — Россия будет

Июнь 1918 г

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Шпицберг Иван Анатольевич — юрист, подвизавшийся на ниве борьбы с религией. Автор атеистических брошюр, составитель и редактор «Атласа по истории религии», хрестоматии «Лев Толстой как столп и утверждение поповщины» и др.

² См. в этой связи А. Авторханов. Происхождение партократии. Т.1. Ленин и ЦК. Франкфурт-на-Майне, 1981. А. Арутюнов. Был ли Ленин агентом германского Генштаба?, его же Родимое пятно большевизма. — «Столица» №№ 1-4 за 1991 г. Юрий Фельштинский. Деньги для диктатуры пролетариата. — «Родина» № 11 за 1990.

³ Ранее, 26 ноября 1917 г., выступая в Петрограде на митинге в защиту свободы печати, Д.С. Мережковский проводил параллель непосредственно между В.И. Лениным и Николаем II (см. Д. Мережковский. Упырь. — «Новая Речь» № 1 от 28 ноября 1917 г.).

⁴ См. Д.С. Мережковский. Грядущий Хам (1906) — Полн. собр. соч. Т.11 СПб., 1911.

⁵ Заключительная строфа из стихотворения жены Д.С. Мережковского Зинаиды Гиппиус «Тли», написанного в ночь с 28 на 29 октября 1917 г. Имеются некоторые расхождения с текстом первого издания, вышедшего до появления статьи Мережковского в печати. Привожу его полностью.

Тли
Припав к моему изголовью
ворчит, будто выстрелы, тишина,
запекшейся черной кровью
ночная дыра полна.
Мысли капают, капают скупом,
нет никаких людей.
Но не страшно.. И только скука,
что кругом — все рыла тлей.
Тли по мартовским алым зорям
прошли в гвоздевых сапогах.
Душа на ключе, на тяжком запоре,
отврат тошнота .. но не страх.

З. Н. Гиппиус. Последние стихи. 1914—1918. Петербург. 1918.

⁶ Раскайтесь (*греч*)

⁷ Остров в Эгейском море, место ссылки у римлян

Подготовка текста, вступительная статья и примечания доктора философских наук

И. МОЧАЛОВА

Алексей Спешнев

Портреты без ретуши

Дерзкое признание

Я еще щенок. Но не чуждый отвлеченным интересам и способный оценить артистизм. Я пришел в кино «Колосс» на лекцию Анатолия Васильевича Луначарского и с восторгом внимаю: «Бриан — это последний политический шармер Европы»... Нарком с французским грассированием выделяет «р» в словах «Бриан» и «шармер». «ан» произносит растянуто, в нос. И рокошующий голос наркома, и эта фраза надолго почему-то застревают в моей памяти...

Мне двадцать, я уже печатаюсь, по моим сценариям поставлены маленькие фильмы, и теперь я намерен сочинять нечто на международную тему. Мой сюжет встречен сочувственно, но сценарный отдел «Межрабпомфильма» считает разумным перестраховаться: мне двадцать, однако в глазах киностудии я все еще щенок и меня нужно подкрепить серьезным консультантом. Это может показаться невероятным, фантастическим, но так было: в качестве консультанта приглашен совершенно официально Луначарский. В это время Анатолий Васильевич уже не народный комиссар просвещения, а председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. У него открытый дом, он по-прежнему окружен людьми, и ему нужны деньги. Он сотрудничает во многих журналах и газетах, читает лекции, пишет для театра. Раз в две недели его личный секретарь объезжает редакции и собирает гонорар для Анатолия Васильевича.

Мой высокий консультант назначает мне первую встречу в ложе того самого кинотеатра «Колосс», где я услышал рокошующую фразу: «Бриан — это последний политический шармер Европы...» Я гляжу на снисходительно улыбающегося человека в пенсне и с бородкой и неожиданно вспоминаю, что я его видел не только здесь, в этом зале лет пять назад, а давно — в бедном, приниженном моем детстве. Да, да, это он, вечерний гость тети Наташи, подруги моей матери. И теперь, слушая Анатолия Васильевича, я все время об этом думаю. А вслух сказать остерегаюсь. Я покорен им, его неисчерпаемым запасом знаний и ассоциаций, его ренессанской натурой. Он вулкан, деликатно заливающий собеседника своей ослепительной лавой. Он называет меня Алексеем Владимировичем, и это еще больше смущает меня.

Следующую нашу встречу Анатолий Васильевич опять назначает в ложе «Колосса» и на этот раз настаивает, чтобы я рассматривал свою фабулу на широком политическом и философском фоне. И нам опять мешают — пришли знакомые актрисы моего консультанта. И он уже гадает одной из них по руке, прорицая и остерегая с серьезностью профессиональной вещуньи. А затем с увлечением рассказывает о графологии как науке. Разгадывание человеческого характера по почерку его страсть.

Однажды в фойе кинотеатра обнаруживаю профессионального графолога по фамилии Инсаров. Он сидит за маленьким столиком с картонной афишей, на которой выведена тушью благожелательная рекомендация Анатолия Васильевича и его оценка инсаровского аналитического метода. Этот Инсаров с цепкими темными глазами гипнотизера станет достопримечательностью фойе многих московских киношек.

При наших беседах Анатолий Васильевич не раз возвращается к графологии, показывает мне, как расписывались различные знаменитые личности. По памяти на листке блокнота он бегло воспроизводит их автографы: подпись Гете размашистая, крупная, без всяких украшений; очень простые росписи Пушкина, Чехова, Толстого. А вот у современного писателя Олеши — Луначарский посмеивается — в графике бессамоутверждения. Первая буква фамилии «О» — маленькая, а последняя «а» — боль-

Новеллы из книги «Портреты без ретуши» полностью будут напечатаны в творческо-производственном объединении «Киноцентр».

шая, заглавная. И вот еще что характерно, продолжает Анатолий Васильевич, если в конце росчерк идет вниз — это признак слабой, неуверенной в себе личности. А расстояния между буквами внутри слов — свидетельство скрытности, эгоизма.

Мне не хочется быть скрытным, я просто жажду рассказать моему высокому консультанту, как он явился мне в далекое голодное детстве. Я вспомнил все, но еще не смею.

Подруга моей мамы танцовщица-босоножка, белокурая, чуть близорукая, античная Наталия Флоровна Тьян, жена ученого-физиолога, живет отдельно от мужа в холодной студии с вечными сквозняками, с окнами, занавешенными тяжелыми пыльными шторами из солдатского сукна, пахнущего мышами. В пустом зале стоит одинокий рояль и разбросаны по полу спортивные маты. Рядом за скрипучей, высской дверью будуар босоножки с овальным псише, вольтеровским креслом, лампой под розовым абажуром на мраморном столике и полуразвалившейся кроватью — ковчегом с бронзовыми инкрустациями. Я дружу с племянником тети Наташи, то есть Наталии Флоровны, который обитает в комнатухе при кухне для прислуги. Играем мы с ним, как правило, в студии, в зале, когда античная тетя Наташа не упражняется и не мечется под музыку Скрябина, высоко забрасывая босые ноги или внезапно скрбно падая на пол.

Однажды, оставшись с Анатолием Васильевичем наедине, я набираюсь храбрости и наконец рассказываю о том, как я его впервые увидел. Конечно, это дерзость, но что-то меня толкает в бездну. Итак, я тихий голодный мальчик, мама стареет, теряет голос и не может больше петь в опере. Мы живем безрадостно и бедно. Игры с племянником тети Наташи — бегство из домашней угнетенности и печали — единственное развлечение. В тот памятный день мы оба сильно устали от возни и беготни по студии, и мой друг рано ушел спать. А я решил передохнуть, прежде чем кинуться в морозную мглу и бежать домой. Я залез под рояль, растянулся на мате и скоро уснул.

Пробудился в темноте в пустом зале, по которому, шелестя и попискивая, носились мыши. Я похлопал в ладоши, чтобы рассеять их, вылез из-под гудящего от ветра за окном рояля и обнаружил розовую полосу света, падающую из полуприкрытой двери в будуар тети Наташи.

Доносились приглушенные голоса.

Надо было себя обнаружить и сказать, что ухожу домой. Я перешагнул розовую полосу, потянул на себя дверь и прежде всего увидел на мраморном столике под розовым абажуром рядную коробку шоколадных конфет — зрелище невиданное, ошеломляющее. С трудом оторвавшись от него, я перевел взгляд на тетю Наташу в креслах и стоящего перед ней на одном колене мужчину в пенсне и с бородкой. В левой руке он держал раскрытую маленькую книжку, а правой сжимал розовое плечо античной Наталии Флоровны, маминой подруги. Я чихнул. Тетя Наташа тихо засмеялась. А мужчина, не поднимаясь с колена, повернулся ко мне и сказал:

— Здравствуй, мальчик. Тебе что?

Я еще раз чихнул, как замороженный глядя на коробку. Видимо, я простыл под гудящим роялем. А здесь было тепло, потрескивали дрова в кафельной печке. Тетя Наташа в вечернем зеленом хитоне с брошью была очень красива, но это меня не интересовало. Я смотрел на коробку. Мужчина повторил добродушно свой вопрос. Я не ответил. Я потерял дар речи.

— Возьми конфету, — сказал мужчина в пенсне.

Я подошел, взял.

— Возьми еще.

Взял еще, но с места не двинулся. Во мне проснулся дух вымогательства.

— Возьми всю коробку, — улыбаясь, кинул мужчина.

— И беги домой, — мягко произнесла розово-зеленая тетя Наташа. — Уже поздно. Мама будет беспокоиться.

Прижав к груди коробку, я кинулся к двери, а на пороге все-таки обернулся. Закинув бородку и приблизив к глазам маленькую книжку, мужчина читал тете Наташе французские стихи, все еще стоя перед ней на одном колене.

Разумеется, в человеке в пенсне ренессансный Анатолий Васильевич узнал себя и был в полном восторге, долго смеялся и дерзость мою простил.

Вскоре он уехал за границу и лестное для меня сотрудничество оборвалось, и сценарий я не написал.

Через много лет поблекшая, но все еще античная Наталия Флоровна тоже как-то вспомнила этот случай. И сказала:

— Анатолий Васильевич считал себя человеком счастливым. «Мне в жизни повезло — я был близок к великому Ленину. А в молодости красив». Он вытащил из бумажника выцветшую фотографию допотопного худенького гимназиста... «И вот теперь я министр и веду вас в концерт в бывшем автомобиле императрицы Александры Федоровны». Все это, понятно, с иронией, но и не без доли истинной удовлетворенности. Я всегда поражалась его кипучей разнообразной деятельности. Он даже в кино играл самого себя, то есть наркома просвещения, кажется, в «Саламандре» Рошаля. И был всегда пленительно чужд всякому ханжеству, чувству зависти, мести. Маяковский ругал его в газетах, на диспутах, а он неизменно принимал его у себя дома, поддерживал, восхищался талантом...

Годы, годы пронесли, а я до сих пор слышу рокошующий голос в зале «Колосса» «Бриан — голос с гассирующим «р» Анатолия Васильевича — последнего шармера большевистской партии

Сергей Юткевич, опасный космополит

Место происшествия: дом кинематографистов в Болшеве. Позавтракали. Были благодущны. Зашли поболтать в гостиную — Юткевич, Марк Донской и я. Режиссеры, как в прежние времена, на «ты»: «Сережа», «Маркуша». И вспомнилась мне клятва Юткевича: до конца дней не забыть предательства Донского, его выкрики с трибуны: «Эй ты, Юткевич, космополит, положи на стол свой докторский диплом!» И с идиотской откровенностью я вслух говорю об этом. Донской зажмуривается, закинув голову, и валится нам в ноги. И, ударяя кулаком себя в грудь, стонет:

— Ну был, был подлецом. Но один раз!..

— Заблуждение, Марк Семенович. — саркастически кидает Юткевич.

— Другие всю жизнь, а я один... один раз...

Остановились любопытные в дверях, посмеиваются. Но не удивляются: к эксцентрикам режиссера привыкли.

Как-то он подарил свою книжку. В авторской надписи были такие слова: «От немного милого, но тоже доброго (правда, как говорят, немного сумасшедшего) Марка Донского». Все верно, однако, по выражению шекспировского Полония: «В его безумии был ужасный педантизм».

И я снова предаюсь воспоминаниям.

Актив кинематографистов громит космополитов. Обвинители и жертвы заранее отобраны и назначены. Кем? Непосредственно заместителем министра кинематографии по кадрам. Одни ораторы клеймят своих друзей и товарищей страстно, с подъемом, возбуждая себя несправедливой гражданской яростью. Другие стараются порицать явление, не называя имен. Ко вторым относится Михаил Ромм, к первым — Донской. За трибуной, как за дзотом, он кричит, размахивая руками. Высота сооружения подчеркивает малость роста Марка Семеновича, крупность головы и сумасшедшую нечленораздельность речи.

— Вот они... сидят среди нас... все такие умные... все на свете знают... низкопоклонники... антипатриоты... призываю стыдиться... стыдиться прошлых отношений с ними... — И вскоре сакраментальный выкрик: — Отдай докторский диплом!

В зале, пронизанном токами настороженности, отвращения и страха, тонут лица космополитов.

А Марк Донской, режиссер с мировым именем, постановщик «Детства» Горького, «В людях», «Моих университетов», «Радуги», продолжает на трибуне унижать себя ложью и трусливым угодничеством перед властью. И трудно понять, почему он это делает с такой самоотверженностью. Ведь, в сущности, он добрый, отзывчивый, даже сентиментальный человек. Чужая беда, несчастье способны заставить его заплакать, разрыдаться. И он смел и решителен, и не раз это доказывал в беге своей непоследовательной жизни. Этот несостоявшийся поэт, прокурор, адвокат, футболист, боксер в все пера и дипломированный стрелок, когда ухаживал за будущей своей женой Ириной, сбивал из пистолета яблоки с ее макушки. Возмущенный отец, профессор, выгнал Вильгельма Телля из дому, а дочка вышла за него замуж, поверив в Марка на всю жизнь... Это не помешало будущей сценаристке относиться к мужу с юмором: «Вот он кричит, дергается, впадает в транс, а между прочим, нервная система железная»... Или это его словечко, этот мифический «Коздалевский», которого он бессмысленно вста-

влияет в фразу, не находя нужного эпитета, фамилии, глагола, существительного. «мы идем сегодня в это Коздалевский... дом кино на этот Коздалевский как его актив?»

Я никогда не спрашивал Ирину, что она думала и чувствовала, когда «Вильгельм Телль» стрелял по головам друзей — Коварского, Трауберга, Блеймана, Юткевича и других. Вероятно, ей было страшно и она стыдилась этого... этого... Коздалевского... ринга, где ее Маркуша в все пера наносил тяжеловесные удары и целил по своим.

В пятидесятом году мы начали с Юткевичем работать над режиссерским сценарием «Пржевальского». Юткевич считал чудом, что ему, опасному космополиту, все же дали возможность работать и обещают отправить в Китай для съемок натуры. Но когда меня встречают знакомые на улице Немировича-Данченко вместе с Сергеем Иосифовичем, то неизменно потом следует телефонный звонок и дружеский совет. «Зря появляетесь с Юткевичем и работаете с ним. На днях его арестуют». Мне все это казалось диким, и я пренебрегал предупреждениями.

Юткевич был со мной откровенен, признавался: последние события и публичное унижение заставили его переоценить свою жизнь. Он любил искусство, но был тщеславен, честолюбив. Теперь все это умерло. И будь он материально независим, ушел бы навсегда в буддийский монастырь, то есть в кукольный театр Образцова, где инкогнито принял участие в постановке «Под шорох твоих ресниц». Как пленительно, между прочим, иметь дело не с артистами, а с куклами. Справедливо заметил когда-то Гордон Крэг: «О, если бы они были марионетками!» В марионетках Крэг видел будущее театра, а Юткевич свое буддийское настоящее.

Единственное, что от меня скрыл Сергей Иосифович тогда, свое письмо Сталину.

Благодаря этому письму и произошел поворот в его судьбе. Буддийский уход и марионетки, и куклы, и клятвы — все снова оказалось забытым.

Опять им овладели честолюбивые замыслы, расчеты на успех в Кремле, возможность художественного общения с передовой интеллигенцией Запада (Арагон, Триоле, Пикассо, Леже, Матисс, Садуль). Опять он делит себя, свои пристрастия между Москвой и Парижем.

Он начинал рядом с Эйзенштейном и Козинцевым, вместе с поколением, заявившем о себе революционными новаторскими опытами — в театриках, «Синей блузе», кино. Энтузиасты и насмешники, они меняются вместе со временем, трезвея, приспосабливаясь и протестуя. Их кинул в искусство ветер революции. Он разбудил в них азарт поиска, жажду нового языка и форм. И этот азарт всю жизнь спорит в душе Юткевича со здравым практическим смыслом.

Возвращаюсь в пятидесятые.

Итак, письмо Сталину мне неизвестно, но скоро я стану свидетелем и жертвой участия вождя в судьбе нашего фильма. Это произойдет после окончания работы над «Пржевальским», в решающие дни первых просмотров.

На «Мосфильме» наш труд встречен прекрасно. Впереди показ в министерстве Большому худсовету, назначенному лично Сталиным. Председатель его, лукавый и насмешливый Леонид Федорович Ильичев, члены совета: общественно-политические деятели, крупные журналисты, несколько именитых писателей и режиссеров. Это, так сказать, сенат, парламент, ограничивающий полномочия министра И. Г. Большакова. Он сидит в стороне, на диване, позади кресел членов совета, прикрыв тяжелым веком левый глаз, что свидетельствует о критическом отношении к происходящему.

А происходит в конференц-зале нечто невообразимое. Картина принята великолепно, успех ошеломляющий. Поднимается секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов и заявляет, что считает невозможным говорить о нашем произведении сидя, и предлагает всем встать. И встают. И, утирая слезы, пожилая Дубовина, министр просвещения, целует Юткевича. Раздувая пушистые усы, хвалит фильм старый фельетонист Заславский. Даже ироничный Ильичев говорит, что картина замечательная.

А сидящий рядом со мной Юткевич все больше мрачнеет. Восторженный гул его пугает. Он не забыл, что одна из его ленинских картин после похвалы и комплиментов была смыта, физически перестала существовать. Правда, тогда еще не было этого арсопага. Он протягивает мне записочку: «Алеша, что-то уж больно много восторгов. Часторазживает. А Вас? Тыфу, тыфу... Посмотрите на Большакова».

Большаков на старом диване усмехается, щурит глаз.

Потом победителей, то есть нас, приглашают в соседнюю гостиную пить чай с пtifурами и тарталетками, и наконец ликование завершается коллективным просмо-

тром какого-то страшного американского детектива с монстрами и пышногрудыми красавицами.

На следующее утро, в половине десятого, мне звонит секретарь Большакова Катя Федоссева и говорит, что Иван Григорьевич просит меня срочно приехать в министерство. Я сажусь в машину и мчусь на Гнезниковский. Федоссева сразу проводит меня к министру. Не вставая и не подавая мне руки, министр говорит:

— Юткевич уже был у меня и все знает. Вчера вечером товарищ Сталин просмотрел вашу картину и спросил меня: «Что же это ваши авторы, халтурщики, что ли?»

Я ошеломлен и без разрешения падаю в кресло. Министр продолжает:

— Как известно, у Пржевальского было пять путешествий, подчеркнул товарищ Сталин, а ваши авторы показывают только два и еще на одно намекают. А вот что касается изображения благородной мамыши, роскошной ампирной мебели и полированных паркетов в поместье Пржевальского, тут они щедры. Но ведь ничего подобного в действительности не было. А вот путешествия были. И очень важные — в Уссурийский край, в Корею, Монголию. Показать эти путешествия необходимо.

Большаков закончил цитировать вождя, поясняет от себя.

— Картину будем переделывать. Сколько это будет стоить, значения не имеет. Вы напишите литературную разработку новых сцен, и Юткевич посед снимать. — Министр приоткрыл глаз и неожиданно улыбнулся. — Вечером актив в Доме кино — буду вас критиковать. Если хотите, отвечайте.

Через год был готов второй вариант картины. Сняты новые путешествия, мамышу исключили, из дам теперь осталась одна лошадь Пржевальского.

Фильм показали худсовету на Гнезниковском. Теперь ликования не было. Все вздыхали, стараясь не смотреть на нас с Юткевичем. Туманно разглядывая лепной потолок, Ильчев сказал:

— По-моему, обсуждать тут нечего. Замечания директивных инстанций явно не выполнены. Серое неудачное произведение.

И все с этим согласились, и заторопились (на этот раз уже без нас) к птифурам, тарталеткам и «смотреть кино».

На следующее утро мне опять звонит Катя Федоссева и очень строго просит немедленно приехать к Большакову. Бросаюсь в машину. Она с трудом заводится, страшный мороз. По дороге, наскочив на троллейбус, разбиваю фару и бампер и со значительным опозданием являюсь к министру. Он встает, радостно идет мне навстречу и говорит:

— Вчера вечером смотрел вашу картину товарищ Сталин и сказал: это большая победа советского киноискусства. Поздравляю вас, товарищ Спешнев. Товарищ Юткевич уже был у меня и все знает. Выпустим фильм соответственно высокой оценке.

После скептически суверенного обсуждения «чуда» с Сергеем Иосифовичем уже в темноте я возвращался домой в своей старой побитой «Победе», и помятая ее фара подмигивала, как глаз Большакова.

В пятьдесят втором году фильм был выпущен с ассирийской роскошью, с плакатами в высоту пятиэтажного дома, с аншлагами: «Шедевр советского киноискусства» и выдвинут на соискание Сталинской премии. Торжествовало большое вранье: мы-то знали цену своей работы и помнили оскорбительно трудный ее путь к экрану.

Премия картина не получила — умер Сталин. Оборвалась эпоха. Началось новое будущее, в котором душа художника и теоретика Сергея Юткевича продолжала вечный спор между азартном поиском и расчетом, между мечтами и реальностью, между добром и злом. Я любил говорить с ним об искусстве, потому что он им жил. Мы беседовали часами, и это было для меня удовольствием. Мы были разные, я понимал его слабости, но испытывал к нему интеллектуальную нежность (выражение Юткевича). Я всегда показывал ему материал своих фильмов и получал изысканные и вместе с тем весьма практические советы. Он убеждал меня больше заниматься прозой, написал о первой моей книге прекрасную, тонкую и умную статью. Мне всякий раз делается больно, когда я думаю, что уже никогда не смогу поговорить с Сережей Юткевичем. Уход его из жизни — моя личная утрата. Изящное дитя беспощадного времени... в воображении он остается моим собеседником.

Театральный детектив с мрачным финалом

Итак, театральный детектив. Точнее, детектив из театральной жизни. А если совсем точно, не только театральной.

В 1949 году Театр имени Моссовета объявил о постановке пьесы Анатолия Сурова «Бесноватый галантерейщик». Однако вместо нее начал репетировать мою «Мадлен Годар». Попала «Мадлен» в театр совершенно случайно. В ней оказалась роль для первой актрисы. Вера Петровна Марецкая побывала во Франции, и ей хотелось сыграть женщину из Сопротивления. Были, видимо, и другие причины, определившие выбор дирекции и главного режиссера.

Завадский сам ставит «Мадлен», а ему помогает Анисимова-Вульф, бывшая его жена. Марецкая, также в прошлом супруга главного режиссера, шутливо меня наставляет

— Если вы хотите иметь хорошие отношения с нашим театром, то должны помнить, мы дружный коллектив бывших жен Юрия Александровича. Подчеркиваю, дружный.

Все началось весело.

Но было одно настораживающее обстоятельство: Завадскому нравилась моя пьеса. А это считалось в театре дурным предзнаменованием — «черной кошкой».

И «черная кошка» скоро появилась на дороге.

Завадскому и директору театра начали частенько звонить из Управления культуры и министерства с глухими угрозами: «Вы все-таки ставите эстетскую пьесу Спешнева? Еще раз подумайте хорошенько. Пока не поздно».

Ближе к премьере угрозы участились, стали более резкими и откровенными.

Но первые представления прошли успешно, политических претензий к спектаклю предъявить было невозможно и чиновникам пришлось его разрешить.

Марецкая радостно возбуждена. Не уверен, что это лучшая из сыгранных ею ролей. Но все равно она признательна автору, а он, естественно, признателен Вере Петровне. Самым же интересным в спектакле мне казался иронический Ростислав Плятт, сыгравший писателя Лейна. А наибольший успех имел романтически яркий Мордвинов — Морис Шуазель. С ним все было достаточно банально: он тоже благодарил, что не помешало артисту через много лет в книге воспоминаний назвать роль Шуазеля «недостойным материалом». Разумеется, оценка возникла после резкой критики в печати спектакля «Мадлен Годар».

Статья в «Советском искусстве» под названием «Недостойное увлечение» появилась в самый канун Нового года, так сказать, подарок под елку. «Черная кошка» сделала свое черное дело. Правда, кошка оказалась мужчиной, даже целой компанией мужчин — и весьма влиятельных.

После замечательно испорченной встречи Нового года потерпевшие собрались в кабинете директора театра, чтобы обсудить положение. Статья была обзорная. Критик громил остро сюжетные пьесы, на которые шел зритель: «На той стороне» Барянова, «Тайную войну» Михайлова и мои «Мадлен Годар» и «Опасный перекресток», поставленный Завадским вскоре после «Мадлен». Успех этих пьес, несомненно, кому-то мешал («Перекресток» еще и на Сталинскую премию был выдвинут). Но кому?

В этом же номере редакция газеты поместила критическое письмо зрителей о спектакле «Мадлен Годар» — директора завода «Серп и молот» и его заместителя.

— Возникает вопрос, — говорит нам Завадский, — почему вдруг уважаемые деятели промышленности решили поделиться своими сердитыми впечатлениями? Безусловно, неспроста. Прежде всего надо звонить директору «Серпа и молота». Я с ним знаком. — У режиссера большое практическое чутье, профессиональное умение нащупать слабое место в интриге.

Дозвонившись, Завадский даст мне вторую трубку, и почти тотчас я понимаю, что детектив начался. Ничего не говоря о письме, Юрий Александрович интересуется, почему давненько не видно в театре директора завода. Тот тяжело вздыхает — текучка засла. Создается: года два уже не был ни на одном спектакле.

— А что у вас есть новенького? — спрашивает, — интересного?

— «Мадлен Годар», — отвечает Завадский. — Вера Петровна в заглавной роли. Из французской жизни. Непременно приходите.

Директор просит передать привет Марецкой, благодарит за приглашение и обещает непременно посмотреть «Мадлен»

Юрий Александрович глядит на нас не без торжества

— Не видел! Ясно? Позвоним теперь заместителю

По голосу сразу понятно, что заместитель смущен, застигнут врасплох. Но решает не отрицать. Да, он подписал письмо. Приходил корреспондент из «Советского искусства», просил поддержать точку зрения газеты и Управления культуры.

Прикрыв трубку рукой, Юрий Александрович бросает нам:

— Тоже не видел! Но крутится. Слышите? Будет на спектакле сегодня. А шефу он просто дал подмахнуть.

Потерпевшие принимают решение: писать жалобу от имени театра в Московский комитет партии.

Жалоба написана и в горьком рассмотрена, назначено расследование.

Вызванный для объяснения корреспондент напуган и кается, что содействовал подлогу. Но не по своей воле. Он только исполнитель. Кто же его направил на «Серп и молот»? После некоторого колебания отвечает: «Один из членов редколлегии и критик Залесский, автор статьи «Недостойное увлечение».

Вызывают в горьком Залесского Виктора Феофановича. Тот оправдывается, выставляет идейные мотивы. Его обрывают, задают прямой вопрос: по чьему указанию послан на завод журналист? Залесский человек неуравновешенный, истерик. Кричит и вдруг плачет и сознается: заварил всю кашу член редколлегии Суров. Но не он один, конечно.

Теперь все сходится, все становится ясным до конца: театр поставил «Мадлен Годар» вместо «Галантерейщика», добился выдвижения второго спектакля по моей пьесе на соискание Сталинской премии. Недостойные произведения могут заслонить в репертуаре театров творения борцов против космополитизма.

Руководство Театра имени Моссовета настаивает на публичном признании подлога на страницах оскандалившегося «Советского искусства».

Но никакого опровержения, конечно, не появляется — извиняться не принято.

Восстанавливает (в известной мере) литературную честь орган ЦК КПСС «Культура и жизнь» в статье «Об ответственности театрального критика».

Подлог и интрига остаются неназванными, скрытыми.

Анатолия Сурова я впервые увидел вблизи на пятидесятилетии Погодина, которое отмечалось в гостиной ЦДЛ. Общество собралось пестрое: актеры, драматурги, несколько критиков, функционеры Союза писателей, дамы и много мужчин, совершенно случайных и неизвестных юбиляру. Стол накрыт щедро. Гостей приглашал не Погодин, а устроители, то есть функционеры.

Суров оказался моим соседом и, почему-то подмигивая, обращается ко мне на «ты». Как ни в чем не бывало.

Серого, грубо вырубленного его лица не запомнил. Запомнился голос — глухой и хриловатый. Говорил он невнятно, со странными ударениями, вдруг выкрикивал отдельные слова. Жена сжала мне руку, глазами умоляя не вступать с ним в объяснения.

Гости юбиляру не нравились, он хмурился, и его чуть косящие глаза сердито и опасно бегали. Скандал начался очень скоро, еще до котлет по-киевски. Первый тост произнесло официальное лицо, после чего наступило долгое молчание. На помощь пришли испытанные остроумцы. А борцы из компании Сурова насупились. Юбилей становился капустником. Конферировал Иосиф Прут. С переменным блеском. Мрачно набрякший Суров вдруг поднялся, качнулся и гаркнул на весь развеселившийся стол.

— А мне не нравится. Тоже не нравится, когда русского писателя обсмеивают евреи! — И в сторону Погодина. — Ты почему молчишь, Коля?

Я не расслышал, что ему ответил юбиляр, потому что поднялся великий шум и началась дискуссия — стенка на стенку. Среди обескураженных актеров резко встал Рубен Симонов, чтобы высказать свое возмущение:

— Как вам не совестно, писатели земли русской! Собрались поздравить товарища, замечательного драматического автора и начали постыдную свару. Лучше уж я буду читать стихи.

И он стал читать Пушкина, и за столом примолкли. А потом под гитару, принесенную одним из актеров-вахтанговцев, пел старинные романсы и цыганские песни.

Дирекция Дома подарила юбиляру огромный торт, и Погодин заявил, что съест его один дома. Вместе с ним и его женой Анной Никандровной мы вышли на улицу к автомобилю.

— Все-таки одному мне будет тяжело. — смеясь, кинул Погodin — Едем к нам пить чай

Когда мы сели в машину, из темной подворотни вышел Суров и прохрипел

— А что же меня не приглашаешь, Николай?

— Такую сволочь, как ты, я домой не зову. — Юбиляр умел быть грубым и бескомпромиссно резким.

Детектив кончился. Сурова ожидало впереди разоблачение — он зарвался.

Сменив Фадеева на посту руководителя Союза писателей, поэт Алексей Сурков начал очистительную работу. Цель ее была вроде бы благородна. Но мстительный азарт, с которым она проводилась, озадачивал — во всяком случае, меня. Временами секретариат превращался в трибунал

Докладывал очередное «дело» начальник отдела кадров, странный человек с холодным нездоровым лицом, с пробором и в пенсне, похожий на Берия. Его размеренная речь без интонаций всех тяготила. Вел дознание первый секретарь Сурков с ласковой улыбкой волка, принявшего облик красной шапочки. Не знаю почему, но процедура доставляла ему заметное и немалое удовольствие. Члены секретариата (Тихонов, Леонов, Симонов и другие) брезгливо или хмуро молчали. Был исключен из Союза ряд писателей, в том числе лауреат трех Сталинских премий Николай Вирта. Не все факты обвинения, перечисленные человеком в пенсне, подтвердились. Жизнь за «Голубым забором» (так назывался фельетон в газете) оказалась не столь уж роскошной — и забор-то был зеленым, и Татьяна Лагина, жена Вирты, не скакала амазонкой по колхозным полям, и портрет отца-антоновца не висел в красном углу. Однако было доказано, что Вирта организовал на стройке своей дачи бесплатный комсомольский субботник и заключил незаконный договор на большую сумму с чехословацким издательством. По должности мне полагалось присутствовать на секретариатах, но судилища вызывали только чувство стыда и тоски.

Однажды стало известно, что человек с нездоровым лицом и голосом, не оставляющим никакой человеческой надежды, покончил с собой: снял пенсне, вышел на площадку лестницы своего дома и выстрелил себе в живот — у него был рак.

Наступил день, когда предстал перед трибуналом красной шапочки «мой злодей» Анатолий Суров. Разумеется, не театральный детектив был тому причиной. Просто, как уже сказано, борец за чистоту соцреализма зарвался. Казалось бы, чего ему еще надо, всего достиг: критики-антипатриоты укорочены и не терзают нетрезвую его впечатлительность, театры заискивают, собраты побаиваются, а он ездит набобом с личным шофером в обширном черном автомобиле ЗИМ.

Ножку подставил случай, малоинтеллигентный инцидент. На лестнице писательского дома в Лаврушинском борец побил палкой своего шофера. Из-за женщины. Шофер дал сдачи. Пьяная драка всполошила жильцов. С этого началось. А дальше уже всплыло все. Не помню списка обвинений, предъявленных ему Сурковым на секретариате. В разделе общественно-политической беспардонности фигурировала поразительная деталь: борец тайно нанимал за деньги космополитов, то есть своих жертв, в качестве литературных негров. Позже выяснилось, что и другие это делали. Суров был не единственным продуктом времени, которое выносило на гребень волны палачей всех типов.

Суров на судилище огрызался, но постепенно обмяк, отчаялся и под конец хрипло кинул последний аргумент в свою защиту.

— Но я же бил жидов, когда дали команду!..

«Красная шапочка» оскалила зубы волка и произнесла ласково, напирая на букву «О».

— Дорогой Анатолий, бывают моменты в нашем историческом существовании, когда иной старатель опасней дурака и врагов. — И обращаясь уже к членам секретариата: — Есть предложение Анатолия Сурова исключить.

Проголосовали почти единогласно. Он вытер холодный пот с серого лица и, опираясь на палку, пошатываясь, поднялся. Мне было даже жаль его. Я быстро вышел и спустился по мраморной лесенке во двор. Вскоре появился Суров. Он сел в свой черный ЗИМ, рядом с шофером-соперником и, махнув рукой, бросил.

— Гони отсюда к чертовой матери!..

И навсегда покинул Союз писателей

«Неясная поляна»

Пространство перед дачами Фсдина и Пастернака персделкинские аборигены называли «Неясной поляной». На поляне, принадлежащей колхозу, изредка сажали клубнику, чаще капусту. Вокруг же в дачах накалялись литературные и политические страсти.

Дачи меняли хозяев — одни писатели исчезали, другие умирали. Дома захватывали литературные нувориши, а имена некоторых прежних обитателей становились со временем названиями улиц и просек. Впрочем, нувориши слились больше в новом поселке, прозванном «Нахаловкой».

Исчезали писатели немо и глухо. Исчезли Пильняк и Бабель, исчез Бруно Яасснский, автор романов «Я жгу Париж» и «Человек меняет кожу». Его обвинили в том, что он сменил кожу.

Постепенно уходили из жизни персделкинские жители старшего поколения: Трснев, Афиногенов, Вера Инбер, Вишневский, Всеволод Иванов, Фадеев, Погодин, Чуковский.

Остался на «аллее классиков» один Лсонид Максимович Лсонов, справивший недавно девяностолетие. Новые обитатели старых дач бродили теперь по дорожкам среди знаменитых и скандальных теней отшумевшего времени.

Драматический наш век, разменянный на трагикомедии и анекдоты под крышами писательских домов, творил мучительные судьбы и отношения.

Как-то Николай Федорович Погодин признался мне в одном вроде бы незначительном персживании, которое мне показалось знаменательным. Драматургу, наделенному большим житейским реализмом, были временами свойственны приступы шальной, эпатуирующей откровенности, беспощадной самооценки.

Странная, можно сказать, фантастическая встреча его с Пастернаком произошла при закате солнца на «Неясной поляне».

Было у Николая Федоровича весь тот день отвратительное, мерзкое настроение.

— Чувствую, должно что-то случиться, не могу работать, жить не могу. Отправился ближе к вечеру пройтись и, чтобы не встретить никого из собратьев, стал бродить среди несубранной капусты, и все думаю: что же случится со мной?

И вдруг хруст и дикая боль в ноге, и с тихим воплем Погодин падает на землю между жестких кочанов. И сразу успокаивается: вот оно, вот что, оказывается, должно было произойти.

— Лежу и, как идиот, улыбаюсь и радуюсь. Однако подняться не могу, боль просто нестерпимая.

И тут из-за кустов, отделяющих дачи от капустного поля, появляется освещенный закатным солнцем Борис Леонидович Пастернак и вскрикивает напевно, чуть в нос:

— Николай Федорович, голубчик, что с вами, почему вы лобзаете капусту?

— И меня охватывает ужас, — продолжает Погодин. — Понимаю, что признаться во внезапной душевной панике постыдно, но без полной откровенности не будет понятен смысл.

В тот день и час жизненные обстоятельства преуспевающего драматурга и гонимого поэта весьма различны. Погодин хоть и потрепан литературными опричниками, но все еще официально чтим как автор ленинской трилогии и певец пятилеток. Пастернак же в омуте бедствий, исключен из Союза писателей. Дачу поэта облипает назойливое любопытство иностранных журналистов. Они кружат вокруг его дома и его жизни. На обочине «Неясной поляны» вязнут в земле длинные «форды» и «шевроле». Корреспонденты выслеживают существование поэта, залезают ночью по садовой лестнице в его кабинет. Он их гонит, кричит в темноте:

— Господа, я не желаю вас видеть, оставьте меня в покое, наконец!

А покой так необходим ему: он во власти несчастья поздней любви и поздней беды. Поэт и драматург знакомы бесконечно давно, дружны их жены, но в эти недели и месяцы по немому уговору не встречаются.

Итак, Пастернак возник на краю поля, а Погодин со сломанной ногой лежит в капусте, объятый страхом: он знает, что сейчас произойдет. Поэт потащит его к дороге, горестно вздыхая, и все увидят, как «осужденный, изгнанный, презренный» Пастернак оказывает милосердную помощь лауреату Ленинской премии.

— Потерпите, голубчик, — направляется к Погодину поэт, — сейчас я вам помогу подняться.

— Не надо, не надо, — просит Николай Федорович, — я сам... сам! Не подходите ко мне!

— Но почему?! — недоумевает Пастернак. — Вам плохо? Вы сломали ногу?

— Очень прошу вас, Борис Леонидович, уходите!

— Я ничего не понимаю. — растерянно останавливается Пастернак. — Ничего не понимаю, мой друг.

— Идите отсюда, ради бога! — срывается Погодин. — Я не нуждаюсь в вашей помощи. Умоляю вас, идите отсюда прочь, Борис Леонидович!..

Поэт растерянно разводит руками и отступает, спотыкаясь о кочаны, и бормочет:

— Я просто хотел помочь... Не понимаю!.. Ничего не понимаю..

И пропадает за пыльными кустами.

А Погодин, преодолевая боль, ползет по-пластунски к дороге. Ползет долго, презирая себя.

Он лежит в кювете, пытаясь остановить проносящиеся машины. Наконец его подбирает знакомый шофер и отвозит на дачу.

Итог: перелом голеностопного сустава и жажда глумливой исповеди — он прекрасно понимает, так сказать, историческую нелепость, позорность встречи на «Неясной поляне».

Империя Кремля

Часть IV. Послесталинская национальная политика

Национальная политика в эру Хрущева и Брежнева

Сталин был холодный, скрупулезный и терпеливый калькулятор в политике, который знал не только границы своих возможностей, но и природу объекта, на который направлена его политика. Политик среди уголовников и уголовник среди политиков, Сталин нашел в синтезе политики с уголовщиной тот универсальный и магический рецепт, при помощи которого он действовал как в общей, так и в национальной политике. В его богатой уголовно-политической карьере вы не найдете ни одной предпринятой им политической акции, в которой он потерпел бы поражение. Даже став неограниченным диктатором, он не позволял себе ни эмоциональных взрывов, ни импровизированных решений. Как новые решения, так и пересмотр уже принятых готовились с расчетом на абсолютный успех.

Во всем этом его преемник Хрущев был антиподом своего предшественника.

Сталин ликвидировал ленинский нэп и нэпманов — и уцелел. Сталин ликвидировал свободное крестьянство, составлявшее 80 процентов населения страны, — уцелел. Сталин ликвидировал ленинскую партию, организатора победы в Октябрьской революции и гражданской войне — уцелел. Но когда он подошел к проблеме ликвидации национальных республик и слиянию нерусских народов с русскими в одну коммунистическую нацию с одним общим русским языком, то тогда Сталин остановился, словно почуяв, что тут уж не уцелет.

Хрущев решил: на что не осмелился Сталин, может отважиться он. По его поручению идеологический аппарат партии под руководством Суслова разработал целую комплексную программу денационализации нерусских наций СССР, чтобы подготовить их слияние с русской нацией. В программе этой нет элементов прямого насилия, да и названа она фарисейски и идиллически одновременно: «Расцвет и сближение наций». Но «расцвет» понимался как привитие нерусским народам русской культуры, а «сближение» — как слияние. Стержень программы: превратить русский язык в родной язык всех нерусских народов — как предварительное условие создания единой коммунистической нации.

Методы и каналы русификации предусматривались многообразные. Главные из них:

1. В связи со школьными реформами 1958 года был принят закон, согласно которому изучение национального языка и обучение на национальном языке в национальных школах считалось делом добровольным. От родителей зависело, в какую школу: русскую или национальную отдать своих детей. Родители также решают, на каком языке в национальной школе должно вестись обучение — на русском или родном. Разумеется, родители, думая об успешной карьере своих детей и хорошо зная, что дорога «наверх» идет через русскую школу, отдают детей туда.

2. В словарный фонд национальных языков намеренно щедро вносятся русские слова и русская терминология, несмотря на наличие в этих языках соответствующих эквивалентов. Даже русское новое словообразование в связи с развитием техники предлагается включить в национальный язык, хотя национальное словообразование сразу дало бы понять, о чем речь (например, «вертолет», «пылесос», «телевидение» и др.).

Массовая колонизация славянским населением Туркестана и Кавказа с установкой создания там славянского большинства в общем национальном составе республик.

Такая практика русификации нерусских языков началась еще при Сталине, но широко проводилась в эру Хрущева. Поэтому не удивительно, что, например, по данным специалистов, в тюрко-татарском словаре за 1958 год в два раза больше русских слов, чем это было в словаре 1929 года, а в узбекском словаре зарегистрировано за тот же период около 20 процентов слов русского происхождения. С тех пор процесс русификации национальных языков развивается стремительно и в более широком масштабе.

Были случаи, когда националы выступали в защиту чистоты своих языков (в том же Туркестане, см. «Партийная жизнь Казахстана» № 9 1959). В Грузии даже создали в явочном порядке специальный «Комитет за чистоту национального языка». «Известия» не замедлили подвергнуть грузинскую инициативу разгромной критике с чисто великорусских позиций, чтобы другим нерусским народам несподручно было подражать грузинам (см. «Известия» 24 9 1963).

Недавно известный советский писатель, пишущий по-русски и по-киргизски Чингиз Айтматов повелал внешнему миру, как развивается киргизская национальная культура. Он заявил: «... Русский язык великий, но это не означает, что не надо обращать внимания на внутренние закономерности другого национального языка и привносить в него, в частности, из русского то, что можно не привносить. Киргизским фактом в этом смысле являются названия двух областных газет, выходящих на киргизском языке — одна из них называется «Исык-Куль правда-си», а другая — «Нарын правда-си». Меня это глубоко оскорбляет. Что же это за народ с тысячелетней историей, у которого в языке отсутствуют слова «правда», «истина», «справедливость»? Кому нужно такое коверканье русского языка и унижение киргизского, в котором только синонимов понятия «правда» насчитывается около десяти» («Литературная газета» 31 8 1986).

То, чем возмущается здесь Айтматов, однако оставалось «генеральной линией» партии в языковой политике. В эпоху Хрущева партийные философы выдвинули даже совершенно новую идею в отношении дальнейших перспектив развития национальных культур народов СССР. В основе новой идеи лежал тезис: нерусские народы могут создавать свою национальную культуру на русском языке. Так журнал «Вопросы философии» утверждал, что потеря родного языка не означает для нерусских народов, что они лишаются тем самым возможности творить свою национальную культуру. Успехи языковой русификации среди малых народов СССР выдавались как предвосхищение перехода на русский язык культуры и литературы наций союзных республик. Журнал писал: «У нас в СССР имеются факты, когда многие племена, народности и небольшие нации используют русский язык для развития своей национальной культуры» («Вопросы философии» № 9 1961). В этой связи журнал назвал народы, которые начали создавать национальную культуру и литературу на русском языке: карелы, удмурты, марийцы, коми, мордва и осетины.

Если в школах к литературе партия применяет прямые и открытые методы русификации, то существуют сферы, где она прибегает к косвенным и скрытым методам для достижения той же цели: 1) массовая миграция славянского преимущественно русского населения в нерусские республики; 2) новостройки — заводы, фабрики, совхозы — в национальных республиках создаются со смешанным, «интернациональным» контингентом рабочих из разных народов, чтобы они между собой вынуждены были говорить по-русски; 3) в армии нет национальных формирований, не только из-за недоверия к националам, но еще и для того, чтобы, смешивая национальных солдат с русскими, поставить их в условия необходимости изучить русский язык; 4) места заключения (тюрьмы, лагеря, ссылки) тоже являлись и являются «школой интернационального воспитания» наций на русском языке.

В 1959 году Хрущев захотел узнать, каких же успехов достигла политика «интернационализации» на русской основе за сорок с лишним лет существования советской империи. В том году была проведена, впервые после 1926 года, Всесоюзная перепись населения СССР, где специально был поставлен вопрос о том, как велик процент среди нерусских, считающих русский язык своим родным языком. Успехи языковой политики оказались скромными: если сравнить их с большими усилиями партии с ее неограниченной властью. Так, если по переписи 1926 года нерусских признавших русский язык своим родным языком было 6,6 миллиона человек, то в 1959 году их стало 10,2 миллиона. Языковая ассимиляция чувствительно коснулась главным образом малых народов и народностей, не имеющих своей территории. У более крупных народов ее успехи

незначительны. Если брать союзные республики, то только среди славянских народов, живущих в городах со смешанным населением, число людей, считающих русский язык своим родным языком, составило в 1959 году от 10 до 15 процентов, среди балтийских народов и молдаван оно не доходило и до 5 процентов, в то время как во всех туркестанских республиках и Грузии этот процент ниже двух, а в Азербайджане выше двух. Среди армян, 44 процента которых живут вне Армении, считают русский родным языком 8 процентов. Разнообразной оказалась картина и в автономных республиках. В девяти из 17 автономных республик, где население живет компактной массой, процент националов, считающих русский язык родным, исчисляется от одного до пяти, а в республиках со смешанным населением он поднимается до восьми. Наибольший успех языковой ассимиляции отмечен среди народов, живущих в СССР без собственной территории, без собственных школ, без национальной литературы и искусства. Так, среди русских немцев 25 процентов признали своим родным языком русский, среди поляков — 45 процентов, среди евреев — 78 процентов.

Я хочу быть правильно понятым. Величие русского языка и гениальные творения русских классиков, писавших на нем, являются достижениями всей мировой культуры и литературы. Только не надо, как сам Ленин говорил о русификации, «загонять в рай дубинкой», если она даже завернута в бархат псевдоинтернационализма.

Отказ от коренизации в 30-е годы означал провозглашение нового курса в национальной политике, состоящего из двух связанных между собой элементов — языковой денационализации снизу и декоренизации органов власти сверху. О первом аспекте нового курса мы уже говорили, но сейчас поговорим о втором аспекте. Еще при Сталине были введены в национальных республиках институты «вторых секретарей» партии и «первых заместителей» главы правительства, назначаемых прямо из Москвы. Существовало неписаное правило, что первого секретаря партии, председателей правительства и «парламента» назначают из представителей коренной национальности республики (кроме Украины и Белоруссии). С 30-х годов это новое положение стало законом с уточнением функций «вторых секретарей», которые отныне руководили двумя отраслями партийной работы: распределением кадров и «интернационализацией» республик. Этот пост не мог занимать местный национал или даже местный русский. Его занимал партаппаратчик, непосредственно назначенный из ЦК КПСС и только перед ним ответственный.

Второй секретарь — не только московское бдительное око, но и фактический правитель. Юридический правитель — «первый секретарь» — национал — это знает точно, знает также, что при малейшем нарушении правил игры его бесцеремонно высадят из кресла «первого». ...

Так же обстояло дело и в отношении государственных органов. Определенный круг должностей и здесь занимали лица, непосредственно назначенные из Москвы — «первые заместители» председателей советов министров и президиумов Верховных советов, а также должности, которые, в принципе, могли быть заняты москвичами: руководители госбезопасности, внутренних дел, военных округов, гарнизонов и пограничных войск, а также руководители предприятий всеобщего значения.

Хрущев сначала тоже придерживался этого сталинского порядка, но вносил коррективы в непоследовательную политику Сталина. Сталин не разрешал назначать «вторых секретарей» в Грузию, Азербайджан и Армению из Москвы. Хрущев ввел и там институт «вторых секретарей». Сталин не разрешал назначать первыми секретарями Украины и Белоруссии украинцев и белорусов. Хрущев впервые отменил и этот порядок, назначив в обеих республиках первыми секретарями соответственно украинца и белоруса.

Хрущев вскрыл на XX съезде партии уголовные преступления Сталина, граничащие с народоубийством. — поголовную депортацию в Среднюю Азию и Казахстан чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкар, калмыков — и восстановил их автономию. Хрущев и в этом не был последователен, не реабилитировал крымских татар, месхов, немцев. Не был он последователен и в проведении старой кадровой политики в туркестанских республиках — первыми секретарями назначать местных людей. С Хрущева соответственно началась практика назначения русских первыми секретарями в Казахстане. Когда первый секретарь ЦК Казахстана казах Шаяхметов и второй секретарь русский Афионов выступили против славянской колонизации Казахстана под видом поднятия целины, то Хрущев их вызвал в Москву и сообщил им, что они сняты, назначив на их место Пономаренко и Брежнева.

Хрущев решил вернуться к дорволюционному ленинизму — к слиянию наций.

Мы видели, что до революции Ленин был врагом любой формы федерации для России. Республику, которую он провозгласил после захвата власти, он сначала объявил просто Российской советской республикой. Только на III съезде Советов 25 января 1918 года Ленин, предчувствуя опасность распада Российского многонационального государства, в случае если он будет настаивать на унитарной форме правления, решил объявить Российскую республику Российской федерацией (РСФСР).

Ленин скоро увидел, что даже такую форму федерации отвергают как национальные коммунисты, так и нерусские народы. Их пугало и отталкивало слово «Россия». И вот когда в 1922 году русские и национальные большевики решили объединить независимые советские республики в одну новую федерацию, то тогда и возник новый тип федерации: СССР.

По конституции СССР, к компетенции правительства в Москве были отнесены только шесть отраслей государственного управления:

- 1) иностранные дела,
- 2) военно-морские дела,
- 3) внешняя торговля,
- 4) пути сообщения,
- 5) почта и телеграф,
- 6) финансы.

Во всех остальных отраслях государственной жизни федерированные советские республики оставались суверенными. Соответственно были созданы и правительственные органы власти (наркоматы): одни двойного подчинения, как ВСНХ, продовольствия, труда, финансов и РКИ, другие только местного подчинения — как наркоматы внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения. Конечно, было единое централизованное коммунистическое руководство над всеми республиками, но и здесь ленинский устав оговаривал автономии национальных компартий в решении местных проблем. Некоторые из этих прерогатив ленинской конституции, в том числе и право свободного выхода союзной республики из состава СССР, переключались и в сталинскую конституцию 1936 года. Конечно, любая конституция при однопартийной системе — пустая бумажка, одна лишь проформа, чтобы придавать диктатуре партии видимость правового государства. И все-таки Сталин предпочитал проформу, сохраняя федерацию квазисуверенных национальных республик.

Хрущев пришел к выводу, что наступило время подумать не только о конкретных сроках наступления коммунизма, но и о слиянии наций, как это предусматривает сама цель коммунизма. Обе эти проблемы Хрущев поставил в третьей Программе партии, установив для решения первой проблемы совершенно конкретный срок — построить коммунизм через 20 лет (1961—1980), а вторая проблема была сформулирована в Программе на эзоповском жаргоне партии, а потому не была понята. Между тем расшифровать эзоповский язык было нетрудно. Хрущев хотел не больше и не меньше, как превращения национальных республик в географические понятия. Вместо сталинской формулы «расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур» Хрущев и его шеф-идеолог Суслон выдвинули новую формулу, о которой уже говорилось: «расцвет и сближение наций». Из этой формулы намеренно была исключена «национальная форма» Сталина, то есть национальный язык как главное орудие любой национальной культуры. Причина ясна: когда произойдет «слияние наций» через «сближение», то и язык будет для всех один — русский.

Первой ступенью к слиянию наций и созданию единой коммунистической нации и является новая социальная общность: так называемый советский народ.

Стыдливо избегая упоминать дореволюционную формулу Ленина «целью социализма является не только сближение наций, но и слияние их», «Программа КПСС» говорит, что задача партии — это «дальнейшее сближение наций и достижение их *полного единства*».

Посмотрим, как рисовалась в Программе партии судьба союзных республик в ближайшие два десятилетия. Сначала оговоримся, что текущая национальная политика Хрущева в вопросах управления, как и его общая политика, была более либеральна, более умеренна и более терпима после тридцатилетней тирании Сталина.

В ряде законов и актов 1957 года значительно были расширены права союзных республик. Однако в главном и решающем положении не изменилось: суверенитет союзных республик как был, так и остался *фиктивным*. Им расширили круг административных полномочий, не трогая их вассальный статус. Ведь в законоинициативе и законо-

творческой деятельности между «суверенной» союзной республикой, скажем, Узбекистан и простой административно-территориальной единицей (скажем, Орловская область) никакой абсолютно разницы нет. ЦК партии Узбекистана имеет те же права и обязанности, что и Орловский обком партии (сам Устав КПСС ставит центральные комитеты компартии союзных республик в один ряд с обычными обкомами РСФСР в отношении их прав и обязанностей).

Органы верховной власти в Узбекистане — Верховный Совет и Совет Министров — осуществляют ту же «законодательную» и административную власть, что Орловский областной Совет и облисполком, с той только разницей, что в Узбекистане дублируют уже принятые в Москве законы как свои собственные, а Орловская область проводит их в жизнь без дублирования. Поэтому не было ничего удивительного и неожиданного, когда Кремль записал в свою Программу следующее положение:

«Развернутое коммунистическое строительство означает *новый этап* в развитии национальных отношений в СССР, характеризующийся дальнейшим сближением наций и достижением их полного единства... *Границы между советскими республиками в пределах СССР все более теряют свое бывшее значение*». В программе сказано и об общем языке для всех наций СССР: «Русский язык фактически стал общим языком общения и сотрудничества всех народов СССР».

Что в Программе речь шла о ликвидации давно не существующей федерации союзных республик в ближайшем будущем, было видно из интерпретации Программы авторитетным органом Академии наук СССР — журналом «Советское государство и право». Вот что писал названный журнал по свежим следам принятия Программы.

«В настоящее время вопрос о национальных взаимоотношениях в СССР имеет лишь прямо коммунистическую постановку — достижение всестороннего единства советских наций с конечной перспективой их *полного слияния*... если раньше степень федерирования, характер национальной государственности, юридическое содержание национально-государственных границ имели значение гаранта национальной свободы, то теперь они по существу не имеют больше такого смысла.. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что с этой стороны национальная государственность и *федерация в целом выполнили свою историческую миссию*» («Советское государство и право» № 12. М. 1961, стр. 15.23). Другими словами, поскольку федерация и федерированные республики уже выполнили свою историческую миссию, они подлежат упразднению. Вероятно, в качестве подготовительной меры по реорганизации союзных республик в административно-территориальные единицы обычного русского типа хрущевское руководство задумало и новые филиалы ЦК КПСС — Среднеазиатское бюро ЦК КПСС и Закавказское бюро ЦК КПСС. Такое же бюро, видимо, планировали создать и в Прибалтике. Во главе этих бюро ЦК были поставлены московские партаппаратчики среднего ранга, не являющиеся ни членами, ни кандидатами ЦК. Они руководили центральными комитетами союзных республик Средней Азии и Закавказья, первые секретари которых были членами ЦК КПСС, два из них даже кандидатами в члены Политбюро (Мжаванадзе, Рашидов). «...» Таким образом, союзные республики, находящиеся по конституции между собой и Москвой в прямой федеративной связи, к тому же, согласно той же конституции, «суверенные» в осуществлении власти в пределах своей территории, были лишены своих пусть даже бумажных, но все же конституционных прав и поставлены под надзором московского наместника с чрезвычайными правами. Грубо был нарушен и устав партии, согласно которому центральные комитеты компартий союзных республик находятся в прямой связи и непосредственном подчинении ЦК КПСС.

Не было никакого сомнения, что эта акция находилась в общей связи с подготовкой ликвидации федерации и преобразования союзных республик в административно-экономические регионы. К этому выводу приходишь, когда знакомишься с персональным составом названных бюро ЦК. Вот состав Среднеазиатского бюро. В нем представлены четыре национала — первые секретари центральных комитетов перечисленных республик и пять русских чиновников: председатель Среднеазиатского совнархоза, начальник главного управления по ирригации, начальник Среднеазиатского управления по хлопководству, управляющий Среднеазиатским районом и сам председатель бюро ЦК КПСС.

Из этого состава видны функции бюро ЦК — завершить экономическое районирование в Средней Азии, в результате которого исчезнет их национально-государственный статус.

Это должно было произойти в те же сроки, которые Программа КПСС назвала для построения коммунизма в СССР, — до 1980 года. К этой дате должно было завершиться и

слияние всех наций СССР в одну коммунистическую нацию. Цитированный автор из Академии наук СССР писал на этот счет: «Взаимная *ассимиляция* наций по сути дела *денационализирует* национально-территориальные автономии и даже союзные республики, приближая и с этой стороны советское общество к пункту, за которым полное государственно-правовое *слияние наций* станет делом обозримого будущего» («Советское государство и право» № 12. 1961, стр. 24). Тут воистину комментарии излишни.

Когда собственные выдвигенцы Хрущева свергли его путем заговора, то все предпринятые и намечаемые им реформы были объявлены плодом его необузданной фантазии, плодом субъективизма и волюнтаризма. Этим объяснили даже и его всемирно-историческую заслугу — разоблачение культа и преступлений Сталина, что доказала частичная ресталинизация в эру Брежнева. Была объявлена ошибочной и его установка на ликвидацию национальных республик в ближайшем будущем. Отсюда и решение брежневского руководства распустить Среднеазиатское и Закавказское бюро ЦК КПСС. Вернулись к испытанной сталинской великодержавной политике денационализации национальностей, рассчитанной на длительный исторический период.

Нации и национальные языки в СССР

Первоначально формула «советский народ» была обобщающей и служила для обозначения людей разных национальностей, живущих при общем для всех *советском* режиме. «Советский народ», «Советский Союз», «Советское правительство», «Советская Армия», «советский человек» — прилагательное «советское» во всех этих сочетаниях в смысле национальном — абсолютный нонсенс, а в смысле политическом — намеренная дезинформация. Мало-мальски осведомленный человек знает, что Советская власть в России существовала — и то наполовину (так называемое *двоевластие*) — только восемь месяцев: от февральской революции и до большевистской октябрьской революции 1917 года. После этого власть перешла от Советов к большевикам, и Советы превратились в ширму монопартийной диктатуры. Но вот партия провозгласила на своем XXIV съезде в 1971 году, что термин «советский народ» означает не то, чем это люди до сих пор считали, а некое принципиально новое и даже феноменальное явление. «советский народ» — это интернациональная нация! Читайте официальное определение, что такое «советский народ», в котором присутствуют все признаки нормальной нации: «Советский народ, новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель — построение коммунизма... Общим языком... является русский язык». И тут же приведена цитата из Ленина, что он еще в 1914 году предвидел «уничтожение теперешних национальных перегородок» (БСЭ, т. 24, ч. 1, стр. 25, М. 1976).

Сталин говорил лишь о «социалистических нациях» Советского Союза, что тоже бессмыслица, ибо в истории не было ни рабовладельческих, ни феодальных наций, как нет и капиталистических наций. Брежнев пошел дальше Сталина, провозгласив новую единую нацию, которая исчезнет только вместе с исчезновением советской власти. Не страшна была новая догма, страшными оказались ее последствия. После XXIV съезда последовал ряд решений ЦК КПСС и центральных комитетов компартий союзных республик о расширении программы изучения русского языка в школах за счет резкого уменьшения удельного веса родного языка. Вот тогда впервые появилась идея не только о постепенном переводе всех типов школ на русский язык обучения, но и о создании специальной сети детских садов в национальных республиках для нерусских детей на русском языке. В ход пустили и демагогию. «великий русский язык — это язык великого Ленина!» Кто же из националов посмеет не учить язык великого Ленина? Хотя конечной целью языковой политики Кремля на всех этапах оставалось превращение русского языка в общий язык для всех нерусских народов, все же такой известный «языковед», как Сталин (вспомните его работу «Марксизм и языкознание», написанную в 1951 году), решил, что путь к этому лежит через национальную консолидацию, то есть через слияние родственных наций и народностей в отдельные «зональные нации» со своими «зональными языками». Ведь бывшая Российская, а ныне Советская империя была и осталась современным Вавилоном наций, народностей и языков. Перепись населения 1926 года учла 194 национальности со своим собственным языком, некоторые из них, конечно, были диалектами какого-нибудь основного языка, хотя каждая из народностей настаивала на самостоятельности своего языка.

По лингвистическим признакам языки народов Советского Союза ученые делят на следующие группы:

1. Славянская группа (русские, украинцы, белорусы плюс национальные подгруппы из западных славян).
2. Тюркская группа (узбеки, казахи, азербайджанцы, туркмены, киргизы, татары, чувашы, башкиры, якуты, каракалпаки, тувинцы, карачасцы, балкарцы, хакасы, алтайцы, гагаузы, кумыки, ногайцы, уйгуры, шорцы, крымчаки и другие).
3. Угро-финская группа (эстонцы, мордва, удмурты, марийцы, коми, карелы, финны, фанты, вепсы, манси, венгры).
4. Летто-литовская группа (литовцы, латыши).
5. Армянская группа.
6. Картвельская группа (в основном, грузины).
7. Романская группа (в основном, молдаване).
8. Евреи (включая горских, грузинских, среднеазиатских евреев, а также крымчаков по вере).
9. Иранская группа (таджики, осетины, курды).
10. Чечено-дагестанская группа (чеченцы, ингуши, бацбитцы, аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы и другие).
11. Германская группа (немцы).
12. Абхазо-адыгейская группа (абхазцы, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, абазинцы).

Языковая политика Кремля в отношении каждой из названных групп первоначально ориентировалась на завершение внутригрупповой «языковой консолидации» и создание для некоторых групп общего литературного языка на основе диалекта ведущего народа. В этой связи, комментируя языковую политику партии, журнал «Вопросы философии» писал еще при Хрущеве: «В условиях социализма могут происходить частичные процессы добровольного слияния небольших этнических и экстерриториальных национальных групп, вкрапленных в крупные социалистические нации, с этими национальностями... Особенно важным в этом процессе является усвоение сливающимися этнографическими и экстерриториальными национальными группами языка крупной передовой социалистической нации, среди которых эти группы живут» («Вопросы философии» № 9. 1961).

«Языковая консолидация» не есть естественный процесс. «Сближение и расцвет наций... протекает не стихийно, а планомерно... В нашем многонациональном государстве это осуществляется в процессе единого государственного планирования» (там же).

Известный советский статистик П. Подъячих в своей книге «Население СССР» (1961, стр. 111—112) приводил данные, которые должны были доказать, что, во-первых, происходит специальная внутригрупповая ассимиляция в форме «узбекизации», «таджикизации», «грузинизации», «аваризации» — когда малые народности среди названных народов просто причисляются к основному народу; во-вторых, происходит и другой, параллельный, процесс межгрупповой ассимиляции в форме «интернационализации». Это означает в данном случае как «языковую консолидацию» внутри славянской группы на основе языка «ведущей социалистической нации», т. е. русификацию украинцев и белорусов, так и переход к интернационализации неславянских народов. На это указывает и цитированный выше автор, не называя процесс своим именем — русификацией, когда кончает свой анализ следующим выводом: «Материалы переписи показывают, что параллельно консолидации происходит *ассимиляция*». Руководство Брежнева отошло от политики окольной русификации через промежуточный этап «зональных языков» и «зональной ассимиляции». Оно предпочло прямой путь «интернационализации» всех языков на основе языка державной нации — языка Ленина. Но и тут началась новая манипуляция — да еще с «приписками» по двум вопросам в бланках переписи — в отношении «родного языка» и «второго языка» опрашиваемого. «Приписки» здесь явно очевидны, особенно среди «младших славянских братьев» — украинцев и белорусов. Если за 300 с лишним лет пребывания Украины в составе царской и советской России признали русский язык родным лишь 12%, то только за 20 лет — с 1959 по 1979 год — это число у украинцев поднялось на пять процентов, а у белорусов даже на десять процентов (с 15 до 25 процентов). Но тут совершить «приписку» не большая проблема, все-таки все три нации легко понимают язык друг друга, а вот в Средней Азии и на Кавказе за тот же период произошел лингвистический «взрыв» в отношении признания русского языка своим «вторым языком», хотя число признавших его «родным языком» колеблется

вокруг нуля. Свидетели переписи рассказывают, что «вторым языком» признавали русский — у всех тех националов, кто мог отвечать по-русски на пару несложных вопросов, а также у национальных детей в школах и детсадах с обучением на русском языке. Только странно, что в русской художественной литературе ее герои из националов, окончившие даже русские средние и высшие школы, разговаривают на исковерканном русском языке, не говоря уже о неистребимом акценте кавказцев. «...»

Пропаганда и навязывание русского языка нерусским народам сопровождается намеренным унижением национальных языков, как «бесписьменных», «младописьменных» (Туркестан) или «бесперспективных» (Украина, Белоруссия). Что у кремлевских великодержавников на уме, то у их низовых функционеров на языке, когда они проводят политику «интернационализации» на практике. Бесчисленны примеры намеренного и грубого оскорбления национального чувства даже у такого большого и древнего народа, как украинский. Вот только пара примеров из вполне марксистско-ленинской книги Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». На одном из украинских предприятий состоялся литературный вечер на украинском языке. Русский председатель фабзавкома прервал чтение стихов криком: «Переводите ваше выступление на человеческий язык, мы не понимаем язык Бандеры». Другой пример. В деле известного украинского писателя и диссидента Василия Стуса, погибшего в лагере, лежало показание свидетеля: «Василий Стус — явный националист, ибо упорно разговаривает только на украинском языке». Книга эта была составлена с ведома или даже при поддержке ЦК компартии Украины. Дзюба сел за нее в тюрьму, а члена Политбюро и первого секретаря ЦК Украины Шелеста сняли за «национализм». «...»

Было бы глупо отрицать пользу от изучения русского языка нерусскими народами. Его надо изучать не потому, что он язык Ленина, а потому, что он язык Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Достоевского и Толстого. Чехова и Бунина. Его только нельзя изучать в м е с т о родного языка, а наряду с другими языками — английским, французским, немецким, испанским, арабским и с любым другим языком и только по добровольному выбору. Единственный язык, который нельзя изучать добровольно, — это родной язык!

Если Хрущев объявил изучение родного языка делом добровольным, то Брежнев сделал еще один шаг вперед в политике русификации — он объявил русский язык не только межгосударственным языком для национальных республик, но и государственным языком для самих республик и их жителей, хотя формально и нет, по крайней мере, опубликованных, юридических актов на этот счет. Третий его шаг был не менее антинациональным: именно брежневское руководство заставило советских историков, как мы уже отмечали, заново переписать всю историю нерусских народов, положив в ее основу новую историческую концепцию. Новая историческая концепция была не только антинаучной, но и кричаще антиисторической. Сверху были заданы три принципа, которые легли в основу этой новой концепции:

первый принцип — все нерусские народы присоединились к царской империи якобы сами, добровольно;

второй принцип — все национально-овоободительные движения, противодействовавшие этому, были реакционными движениями;

третий принцип — включение этих народов в состав старой царской империи было исторически прогрессивным актом для них.

Изучая период Брежнева, я сделал еще одно поразительное открытие: в Большой Советской Энциклопедии (третье издание) нет термина «русификация»! Русификация есть, а слова такого нет. И это понятно, по толкованию Ожегова, русификация означает: «делать русским по языку, обычаям»! В своем докладе к 60-летию образования СССР Андропов центральным пунктом своей национальной программы сделал старый утопический тезис большевизма о слиянии всех наций в одну нацию, тезис, от которого потом молчаливо отказался сам Ленин, когда возглавил многонациональную Россию. Однако после его смерти Сталин и его наследники вернулись к этому «первобытному ленинизму».

Стратегия языковой денационализации

Путь к окончательной победе коммунизма в национальном и мировом масштабе лежит, по Ленину, как это мы видели, через ассимиляцию малых народов большими

народами что он называет слиянием всех народов мира в одну коммунистическую нацию с одним или двумя языками

Правда, Ленин был против насильственного или искусственного навязывания русского языка нерусским народам России но он считал что когда в России победит коммунизм то все национальные языки обречены на исчезновение сохранится только русский который и станет языком всех народов России (сравнивая несравнимые исторические процессы — образование американской нации из разных этнических групп и даже разных рас с единым английским языком Ленин думал что таким же «американским путем» пойдет и образование единой коммунистической нации народов России с единым русским языком

Ленин писал «Всемирно-историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок к стиранию национальных различий к *ассимилированию* наций которая составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм»

Хорошо известно из истории с каким неистовством Ленин боролся с еврейским социалистическим Бундом который выступал за «культурно-национальную автономию» евреев в Российской империи и против их ассимиляции в русском народе Ленин писал что Америка «походит на мельницу перемалывающую национальные различия» а весь этот процесс называет «прогрессивным перемалыванием наций в Америке» что он считал аргументом в пользу еще более быстрого «перемалывания» нерусских народов вместе с русским в будущей коммунистической России

Ленин впускал из виду одну «мелочь» американская нация образовалась из разных этнических групп добровольно эмигрировавших в Америку чтобы стать американцами Российская же империя образовалась в основном, из насильственно завоеванных народов, которые не хотели как не хотят и сейчас становиться русскими Эту «мелочь» первым заметил сам Ленин когда он захватил власть над многонациональной империей Не только заметил, но и сделал отсюда трезвые выводы ассимиляция нерусских народов как и вся теория слияния наций — утопия, что же касается судьбы его новой советской империи, то ее стабильность несмотря на действие центробежных сил нерусских национальностей, может быть достигнута только на путях создания федерации и юридически и фактически равноправных и суверенных национальных республик Таким ему рисовался СССР как федерация

Наследники Ленина, сохраняя ленинскую ширму, решили вернуться к дореволюционному Ленину и стать на новый «советский», путь «перемалывания народов», чтобы создать одну общую коммунистическую нацию с одним общим языком Для этой цели была разработана новая «национальная» стратегия

Отцом этой стратегии был сам Сталин Эту национальную стратегию последовательно и методически проводят и наследники Сталина

По Сталину «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей возникшая на базе общности четырех основных признаков, а именно на базе общности языка, общности территории, общности экономической жизни и общности психического склада проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры»

Как раз из этого далеко не полного определения нации видно что если территория есть величина данная то все другие признаки нации сложились тысячелетиями, а потому не только «устойчивы» но и неистребимы какими-либо декретами Некоторые из этих признаков например языки продолжают служить человечеству даже после исчезновения народов говоривших на этих языках если сохранились их письменные памятники (я имею в виду так называемые мертвые языки, один из которых — латинский — служил языком дипломатов и ученых в средние века, да еще основой образования романских языков)

Все главные языки нерусских народов Российской империи являлись письменными языками некоторые еще за несколько веков до возникновения самой этой империи Письменные памятники древнейших народов, на нынешней территории Советского Союза — армян и грузин — относятся уже к началу V века нового летосчисления Мусульманские народы России которые советская пропаганда называла «бесписьменными» чтобы подчеркнуть что письменность им принесла советская власть, уже с VII-VIII веков пользовались письменностью на основе арабской графики Даже книгопечатание у некоторых нерусских народов Кавказа и Балтики появилось за полвека до знамени того русского первопечатника Ивана Федорова, организовавшего свою типографию в 1573

году во Львове на Украине. Книгопечатание в Армении появилось в первой половине XVI века, в Грузии — в начале XVII века, в Азербайджане значительно позднее — в начале XIX века, в Литве, Латвии и Эстонии в первой половине XVIII века.

Все это говорится не для умаления культуры русского народа, а чтобы подчеркнуть трудность проблемы, которую большевики хотели решить декретами чиновников. Проблема эта гласит: чтобы создать общую коммунистическую нацию, надо создать главный и ведущий принцип нации и национальной культуры — один общий для всех язык. Таким языком в условиях России мог быть только русский язык. Эту проблему тоже поставил сам Сталин еще в конце 20-х годов в статье «Национальный вопрос и ленинизм», заявив, что на первом этапе развития советской культуры преобладают приоритет расцвета национальных языков, а вот на втором этапе, по словам Сталина, сами нерусские нации почувствуют необходимость иметь наряду со своим национальным языком «один общий, межнациональный язык» — то есть нерусские народы сами объявят русский язык сначала вторым, а потом и первым родным языком. Практическая языковая политика Кремля отныне переключается на осуществление сталинской идеи создания одного общего языка для всех национальных республик. Значительный вклад в теорию Сталина внес здесь, как мы видели, его наследник и разоблачитель Хрущев, объявив, что изучение родного языка и обучение детей в школах на родном языке — дело добровольное.

Однако русские генсеки ЦК были достаточно тактичными, чтобы порекомендовать эту великодержавную миссию своим национальным вассалам на местах — тамошним первым секретарям. В Москве руководство по проведению в жизнь этой новой программы русификации было возложено на члена президиума ЦК и секретаря ЦК узбека Мухитдинова. На XXI съезде КПСС Хрущев вложил в его уста требование партии, что «овладению в совершенстве местным и русским языком нужно уделить самое серьезное внимание» («Правда» 31 I 1959 год). «Местный язык» пристегнули сюда для соблюдения «интернациональной» проформы. На деле речь шла о радикальном пересмотре старых языковых программ, согласно которым обучение во всех школах происходило на родном языке, а русский язык был только обязательным предметом. Теперь начали переводить все типы школ на русский язык обучения, сохранив родной язык только как предмет добровольного изучения.

Вне всякого сомнения, родители добровольно отдают своих детей не в национальные школы, а в школы на русском языке по одной, всем известной, причине: только для тех детей открыта возможность успешной жизненной карьеры, кто кончил русскую школу. Для такой карьеры необязательно знать родной язык даже в собственной республике. Таким образом, добровольность выбора языка обучения — русского или родного — на деле выявляется как замаскированная форма русификации. Ведь если союзные республики суверенны и их национальная культура не пустая формула, то обучение детей на родном языке должно быть не добровольным, а обязательным. Это касается и высших школ, дипломы которых должны быть признаны на всей территории СССР. Вот тогда приверженцев добровольной русификации будет меньше.

Колонизация и русификация как рычаги денационализации

Цари посылали на завоеванные ими национальные окраины не колонистов, а армию и бюрократию. Поэтому русское население составляло там еще в 1926 году только 5%. Большевики, помимо армии и бюрократии, взяли курс еще на массовое заселение национальных республик представителями некоренных национальностей, преимущественно русско-украинским населением. Проводится этот курс колонизации под лозунгом «постоянного обмена кадрами между нациями», как это записано в третьей «Программе КПСС» Хрущева. Эту программную установку наиболее интенсивно проводил Брежнев в течение 18 лет. Результаты такой преемственной политики генсеков сказались и на деле: сейчас в национальных республиках некоренное население составляет более 20%, а в некоторых даже большинство. Советский философский журнал еще при Хрущеве оценил факт денационализации национальных республик как положительное явление. Вот что писал журнал «Вопросы философии». «В ходе социалистического строительства, в особенно отсталых до революции... республиках, ясно проявляется тенденция к уменьшению удельного веса коренных национальностей. В то же время удельный вес представителей других народов в населении национальных республик и областей неуклонно

увеличивался» (№ 6. 1963. Стр. 6). Такой вывод журнал сделал из переписи населения 1959 года, согласно которой в двух союзных республиках, а именно в Казахстане и Киргизии, коренное население составило соответственно 30 и 40 процентов, а в семи национальных союзных республиках некоренное население, главным образом славянское, составило от 33 до 47 процентов. Еще интенсивнее шел этот процесс в автономных республиках и областях. В семи автономных республиках русское население составляло тогда 39%, а в десяти автономных республиках и областях еще больше — 65%. Массовое, в порядке «оргнабора рабочей силы», заселение национальных окраин русским населением Кремль и называет «интернационализацией». Цитированный журнал писал: «Ныне не только республики, но и города и районы, тысячи и тысячи коллективов предприятий, строек, колхозов и совхозов и даже отдельных бригад стали подлинно интернациональными» (там же).

В чем же стратегический смысл этого «подлинного интернационализма»? Политическая цель — постоянная денационализация республик, военная цель — создание имперских баз со славянским населением в важнейших районах национальных республик, чтобы опереться на них в случае национальных восстаний.

Однако в своей стратегии «интернационализации» Кремль не учел двух факторов: во-первых, это растущая нехватка рабочей силы в самой России, связанная с последствиями войны (большие людские потери, замедление прироста русского населения), во-вторых, фактор совсем непредвиденный и с точки зрения марксизма даже, иррациональный, ибо, по марксизму, одинаковые социальные условия имеют одинаковые последствия, этот фактор — феноменальный демографический взрыв в советских мусульманских республиках, куда было направлено острие «интернационализации». И это в то время, когда в славянских республиках прирост народонаселения имел тенденцию к спаду. Вот официальные данные прироста населения в мусульманских республиках. В 1959 году мусульманское население составляло 24 миллиона человек, в 1970 году — 35 миллионов, а в 1979 году оно поднялось до 43 миллионов, то есть за 20 лет мусульманское население увеличилось на двадцать миллионов человек, тогда как за тот же промежуток времени удельный вес русских в составе населения СССР начал падать. Удельный вес русских в СССР в 1959 году составлял почти 55%, а сегодня он колеблется вокруг 50%, а по некоторым оценочным данным, он опустился даже ниже пятидесяти процентов. Все это затрудняет «интернационализацию» на основе «обмена кадрами». <...>

Мы уже говорили, что стратегическая цель миграции — это денационализация наций, в конце которой коренное население республик составит национальное меньшинство в собственных республиках. Отсюда ясно, что пришлое население, став большинством в республике, будет претендовать на занятие всех руководящих постов, да и само существование национальных республик с русским большинством станет анахронизмом.

Русский язык — язык этого большинства — заменит во всех сферах жизни местные языки. Что именно такова языковая цель миграции, сообщил тот же журнал «Вопросы философии»: «Растущая подвижность населения... способствует постепенному языковому сближению наций и народностей как по линии взаимовлияния и взаимообогащения национальных языков, так и по линии превращения одного из них — русского — в общий язык всех социалистических наций» (№ 6. 1963, стр. 11).

«Взаимообогащение» сводится к массовому засорению национальных языков русскими словами, что же касается превращения русского языка в «общий язык всех», то это остается утопической целью Кремля.

По переписи населения 1979 года, русский язык своим родным языком назвали в Средней Азии меньше одного процента населения, в Казахстане два процента, в балтийских странах около трех процентов, в Азербайджане и Грузии менее двух процентов. Даже в славянских республиках с родственными языками — на Украине и в Белоруссии, где число школ на национальном языке приближается к нулю, русский язык признан родным языком соответственно 17 и 25 процентами. При таких скромных успехах задача по превращению русского языка в общий для всех язык потребует тысячи лет. Вероятно, к этому выводу пришли и идеологи Кремля, когда придумали новый метод русификации, который обещает выполнение данной цели в одно-два поколения. Это воспитание нерусских детей в детских садах на русском языке. Первый опыт по этой части был проведен в некоторых автономных республиках (Марийская АССР, Башкирская АССР). <...>

Предложив националам величать себя «старшим братом» (Рашидов: «У узбеков, как и всех наших народов, есть старший брат — великий русский народ» — из его речи на XXV съезде КПСС в 1976 году), русский бюрократ, тот самый, которого Ленин назвал

великорусским держимордой, ведет себя в национальных республиках как деспотический опскун над малолетними детьми. «Старший брат» их поучает, понукает, наказывает, но никогда не считает их равными себе, что вполне естественно для «старшего брата» в его отношениях с младшими братьями, когда они еще малолетки. Но беда «старшего брата» в том и заключается, что «младшие братья» по законам природы со временем взрослеют и начинают выходить из повиновения «старшему», превратившемуся в дряхлого деспота. Я думаю, что мы живем во время, когда национальные отношения в Советском Союзе начинают развиваться в этом направлении. Подспудные национальные силы впервые открыто заговорили о себе как раз в начале эры Горбачева с ее официальными лозунгами «гласности» и «демократизации». <...>

Гласность Горбачева и кризис национальных отношений

Результаты стратегии языковой денационализации

В брежневскую эпоху «застоя и негативных явлений» национальные республики, наоборот, переживали феномен, имеющий судьбоносное значение в их истории. У них происходило тихое возрождение национального самосознания в тех же темпах и с тем же упорством, с каким в этих республиках свирепствовала великодержавная практика — под фальшивой вывеской «интернационализации». Предупреждения Ленина в его последних записках по национальному вопросу сбылись. Чем больше великодержавники будут давить и ущемлять национальные чувства нерусских народов, тем шире, глубже и острее эти последние будут реагировать. По Ленину, в любом многонациональном государстве местный национализм является естественной и неизбежной реакцией на шовинизм державной нации. <...>

Сталин на ранней стадии существования Советской империи называл такие явления болезнями роста, и это в каком-то смысле было правильно. Но нынешние болезни Советской империи — это болезни ее упадка, прогрессирующей дряхлости, начало всеобщего кризиса национальных отношений одновременно во всех ее частях. Ведь Кремль и его новые лидеры обманывали самих себя, когда в очередной редакции «Программы КПСС» на XXVII съезде партии категорически заявили: «Национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен». И после того как за этим «успешным решением» национального вопроса последовал алма-атинский шок, крымскотатарские демонстрации в Москве, многократные и массовые демонстрации в столицах Эстонии, Латвии и Литвы под знаменем восстановления их национальных прав, новые лидеры Кремля вместо трезвого анализа глубинных причин роста национального движения на окраинах, вместо пересмотра великодержавной политики своих предшественников, — продолжали ту же старую политику под тем же фальшивым лозунгом «интернационализации», переименовав ее теперь в политику «двуязычия».

Однако, как мы уже говорили, рост национального самосознания — не локальное и не спорадическое явление. Национальное самосознание — наиболее ярко проявляющееся в области культуры и в «переоценке ценностей» собственного исторического прошлого, растет во всех стратегически важных окраинах империи — на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в Прибалтике. Причем убежденными глашатаями национального возрождения выступают там не какие-нибудь «буржуазные националисты», а выдающиеся культурные деятели, коммунисты, апеллируя к тому же Ленину, к которому часто начал обращаться и Горбачев для обоснования «радикальных реформ», «гласности», «демократизации». И все они в один голос утверждают то, о чем мы уже говорили: бессмертие нации держится на бессмертии ее языка, добавляя, что их национальные языки обречены на исчезновение, если не будет «радикальных реформ» и в области партийной языковой политики. <...>

Документом исторической важности по национальному вопросу в СССР является письмо от 15 декабря 1986 года группы выдающихся деятелей культуры Белоруссии на имя Горбачева. Его подписали 28 человек — писатели, артисты, композиторы, журналисты, ученые, среди которых есть хорошо известные во всех республиках деятели лите-

ратуры, искусства, науки, такие, как Василь Быков, Янка Брыль, Рыгор Бородулин, Василь Витка, Вячеслав Адамчик. К письму Горбачеву приложен специальный документ под названием. «Комплекс предложений по коренному улучшению положения родного языка, культуры и патриотического воспитания в БССР»

Прежде чем оиснить эти два документа по существу, важно заметить, что документы белорусов составлены за два-три дня до алма-атинской демонстрации за национальные права казахского народа (17–18 декабря 1986). Однако события в Казахстане и письмо белорусов Горбачеву находятся в незримой, но глубокой духовной связи между собой. Что хладнокровные европейцы из Минска аргументированно изложили на бумаге, темпераментные казахи из Алма-Аты вынесли на улицу. Документы белорусов точно и без эмоций, по существу, воспроизводят действительное положение во всех национальных республиках, областях и округах

Обратимся к самим документам. Главное значение белорусских документов состоит в том, что они ставят кардинальный вопрос национальной политики партии, на который на данном этапе «гласности» Горбачев едва ли мог бы ответить иначе, как общими фразами. Вопрос этот следующий: какова цель национальной политики КПСС — вымирание или сохранение национальных языков, следовательно, вымирание или сохранение нерусских наций? Поскольку одна из конечных целей — это слияние всех советских народов в одну коммунистическую нацию с одним общим языком, то есть русским языком, то следующее положение названных документов звучит как вызов всей всlikо-державной доктрине партии: «Язык. — пишут авторы, — душа народа, наивысшес проявление его культурной самобытности, основа полноценного духовного существования. Пока живет родной язык, живет, имеет историческую перспективу и народ. С упадком языка чахнет, деградирует культура, народ перестает существовать как национальный исторический организм». Авторы сообщают Горбачеву, что, начиная с середины пятидесятых годов, то есть после смерти Сталина, в городах Белоруссии происходит «интенсивная ликвидация» школьной сети с белорусским языком обучения.

Многие из ранее существовавших периодических органов печати на белорусском языке теперь издаются только по-русски. Сельские школы в последние два десятилетия фактически превращены в русские школы. Высших учебных заведений и техникумов с белорусским языком обучения вообще не существует. Педагогические институты республики уже несколько десятилетий не готовят учителей белорусского языка. Издание книг растет только на русском языке. Из 15 театров республики только три ставят пьесы на белорусском языке. Кинофильмов на белорусском языке вообще нет. Авторы подводят итоги национальной политики партии в Белоруссии: «Родной язык, — пишут они, — был вытеснен почти из всех сфер жизни общества. Белорусский язык как рабочий язык и язык делопроизводства почти не употребляется ни в партийных, ни в государственных органах и учреждениях... Лиц, которые пользуются родным языком, нередко автоматически зачисляют в «националисты».

Авторы напоминают генсеку: «Мы переживаем сложный период в истории белорусского народа, когда требуются решительные действия по спасению (именно спасению, ибо отдельные меры поверхностно-косметического характера положения не исправят) родного языка, родной культуры, а следовательно, белорусского народа от духовного вымирания». В заключение авторы сформулировали свои требования к Кремлю в трех пунктах. Пункт первый: надо «приступить к введению белорусского языка в качестве рабочего в партийные, государственные (прежде всего это касается министерств просвещения, культуры, высшего и среднего специального образования, связи, государственных комитетов по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, по кинематографии, по телевидению и радиовещанию, Академии наук) и советские органы и учреждения республики. Пункт второй: ввести обязательные экзамены по белорусскому языку и литературе для абитуриентов средних школ. Пункт третий: ввести обязательные экзамены по белорусскому языку и литературе для всех выпускников высших школ и техникумов»

Как реагировал Кремль и лично Горбачев на письмо белорусов? Об этом мы узнаем из второго письма белорусов, о чем далее

Уже подчеркивалось, что в деле русификации ученики и наследники Сталина пошли гораздо дальше своего учителя в кардинальном вопросе любой национальной политики — в вопросе о судьбе национальных языков. В языковой политике Сталин выступал против утверждения Ленина, что победивший мировой социализм будет пользоваться одним или двумя из существующих языков — английским или русским

Сталин, наоборот, утверждал «После победы социализма не может быть и речи о поражении одних и победе других языков» и языки «соются в один общий международный язык, который, конечно, не будет ни немецким, ни русским, ни английским, а новым языком» (Сталин. «Марксизм и вопросы языкознания» 1950). Но надо заметить, что, касаясь роли русского языка в таком многонациональном государстве, как Россия, Ленин говорил, что все языки должны пользоваться равными правами. Правительство демократического государства, по Ленину, «безусловно должно признать полную свободу родных языков и отвергнуть всякие привилегии одного из них».

Исходя из этого, X и XII съезды партии в 1921 и 1923 годах объявили языки народов советских национальных республик государственными языками этих республик — в этом собственно и заключалась внешняя форма их «советского национального суверенитета». Но уже в начале 30-х годов Сталин начисто вычеркнул из истории оба эти съезда, хотя по Конституции 1936 г. грузинам, азербайджанцам и армянам (и только им) было разрешено указать в своих собственных конституциях, что в данных республиках их языки являются государственными. Однако до официального объявления русского языка государственным для национальных республик Сталин еще не дошел. Зато до этого дошли его наследники, правда, не называя вещи своими именами. В «Программе КПСС» они записали как закон: 1) надо «добровольно» изучать русский язык, 2) русский язык отныне «общий язык межнационального общения всех народов СССР». С этих пор и появилась не только доктрина, но и форсированная практика «двуязычия». Термин «двуязычие» для народов России—СССР Ленину совершенно неизвестен. У Сталина он встречается в далеком перспективном плане развития.

Но главное в другом. В устах наследников Сталина «двуязычие» совсем не означает того, что вытекает из сочетания этих двух слов. В самом деле, что значит «двуязычие» в классическом смысле? Его лингвистическое толкование дано в «Словаре русского языка» Ожегова в следующем определении: «Пользование двумя языками как *равноценными*». Но как определить политически «двуязычие» в условиях суверенных по Советской конституции советских национальных республик? ...»

Под «национальной политикой» обе стороны подразумевают вещи диаметрально противоположные. под национальной политикой партии белорусы понимают, ссылаясь на послереволюционного Ленина, расцвет и даже увековечение наций. Вожди Кремля, тоже ссылаясь на Ленина, но дореволюционного, понимают под ней постепенную, но систематическую денационализацию всех наций. Поэтому Кремль допускает только такое «двуязычие», которое не противоречит этой стратегической цели, а именно, русский язык — государственный на всей территории СССР, а родной язык, обреченный на исчезновение, — только бытовой язык (ведь «бытовые языки» существуют и в разных регионах самой России, их принято называть «диалектами»). Произошло еще одно историческое недоразумение, которое нельзя объяснить никакими хитроумными законами большевистской схоластики, названной марксистской диалектикой. Форма явно претендует стать содержанием. Чтобы сохранить и расширить империю, большевики прибегли к уникальному трюку в правовой мысли и правовой практике: республики, составившие СССР, были объявлены «суверенными», при этом под суверенитетом понималась одна лишь форма для прикрытия имперской сущности советского тоталитарного государства. Сегодняшний кризис советской национальной политики и есть результат вырвавшихся наружу, благодаря «гласности», противоречий между этим эфемерным суверенитетом нерусских республик и имперским диктатом Москвы.

В первую очередь кризис коснулся самой большой, после России, славянской республики — Украины, которая в условиях «гласности» выступает в авангарде борьбы за возвращение родному языку узурпированного у него партаппаратом права быть государственным языком. ...» Двух примеров достаточно, чтобы продемонстрировать глубину ревизии ленинской национальной политики на Украине: ленинское правительство декретировало и проводило тотальную *украинизацию* партийного, государственного, хозяйственного аппарата и культурных учреждений. Вышло, что слово «украинизация» равнозначно «буржуазному национализму». Ленинское правительство объявило изучение украинского языка и обучение на нем обязательным, а изучение русского языка — добровольным. Вышло как раз наоборот — русский язык обязательный, а украинский — добровольный. Недовольство такой национальной политикой Москвы вышло наружу в первую очередь в выступлениях весьма заслуженных украинских писателей, деятелей культуры и науки, среди которых много и членов партии. В каком-то смысле Москва была застигнута врасплох патриотическими выступлениями украинской

и белорусской интеллигенции. По всей вероятности, не было в Москве и единодушия в отношении того, как ответить украинцам и белорусам, тем более что в их требованиях, по существу, речь идет о радикальном пересмотре всей национальной политики Сталина, Хрущева и Брежнева. Судя по внешним данным, Политбюро долго колебалось между двумя позициями — либо неизменно продолжать старый курс русификации, либо попытаться разрешить кризис в национальной политике путем заключения компромисса с национальными патриотами. Когда первый вариант сорвался из-за упорного противодействия белорусов, Кремль решил идти на компромисс сначала с украинцами. Отсюда постановление ЦК партии Украины от 14 августа 1987 года «О мерах реализации в республике решений XXVII съезда партии и июньского пленума ЦК КПСС 1987 г. в области национальных отношений и усиления интернационального и патриотического воспитания трудящихся» («Правда» от 16.8.1987).

Сразу заметим: данное постановление в определенном смысле носит юбилейный характер. Это первое постановление ЦК КП Украины за 60 лет, повторяю — за шестьдесят лет, «Об улучшении изучения украинского, русского и других языков народов Украинской ССР». Каждый понимает, что русский язык и языки других народов пристегнули сюда только для соблюдения проформы, ибо все постановления Центральных Комитетов республик и ЦК КПСС с конца 20-х годов и до конца правления Брежнева были посвящены только одному языку — изучению русского языка среди нерусских народов, но ни одно постановление партии за эти 60 лет не было посвящено национальным языкам. В этом смысле постановление украинского ЦК, принятое, конечно, по поручению московского ЦК, — явление необычное. Его декларативная цель увековечить роль русского языка как государственного языка Украины, предложив за это условное и ограниченное расширение сферы действия украинского языка в быту, литературе, искусстве, в школе, отчасти даже в партийных и государственных учреждениях. В постановлении подчеркнуто, что все это делается, исходя из принципа новой доктрины — «национально-русского двуязычия». Это значит, что в каждой республике, как уже указывалось, употребляются два языка: для государственных дел — русский, а для бытового общения — национальный язык.

Московских великодержавников вечно преследует идея фикс, а именно: если все национальности Советского Союза заговорят по-русски, то они станут русскими и тогда окончательно исчезнет национальная проблема в СССР. Отсюда и практические меры: обучение детей в национальных начальных школах на русском языке, обучение допризывников и солдат русскому языку (опасно формировать национальные части в армии), даже создается и специальная сеть детских садов в республиканских городах и поселках, где с нерусскими малышами разговаривают только по-русски. «...»

Однако великодержавники недостаточно хорошо знают историю западных колониальных империй, чтобы понять, что знание языка великодержавной нации — не панацея против сепаратизма. Совсем наоборот: это знание языка угнетателя со временем становится вернейшим оружием в национально-освободительной борьбе против колонизаторов. Более того, язык бывшей метрополии становится у многих освободившихся колониальных народов их государственным языком, иногда наряду с одним из местных языков (бывшие французские колонии в Африке, бывшие английские и американские колонии в Азии, давнишние испанские и португальские колонии в Латинской Америке и Африке). «...»

Я знаю, что ни один «нацмен», даже в своей республике, не может сделать ни научную, ни техническую, ни административную карьеру без знания русского языка, но, спрашивается, почему «Правда» хочет, чтобы и каждый национальный колхозник обязательно изучил русский язык?

Советская империя требует от своих колониальных народов того, чего не требовали западные империи — изучения поголовно всеми нерусскими русского языка, ибо это, как замечает «Правда», «закономерный процесс интернационализации культуры и межнационального смешивания населения», то есть та же самая формула «слияния наций» путем поглощения малых наций большой, державной нацией. Отсюда и требование: малые нации обязаны знать язык державной нации.

В национально-культурной политике наследники Сталина стали правее самого Сталина. Его известная двухэлементная формула гласила: «Культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию». Наследники Сталина нашли, что в этой формуле отсутствует самый важный третий элемент — *великодержавный*. Отсюда дополнение формулы Сталина этим новым третьим элементом. В цитированной статье

из «Правды» новая формула, уже при Брежневс пущенная в ход, читается так: «Единая по социалистическому содержанию, многообразная по национальным формам, *интернационалистская* по духу культура». Поскольку знатоки партийной эзоповщины хорошо знают, что термин «интернационализация» в советской национальной политике является синонимом «русификации», то все становится на свои места. Именно в интересах такой «интернационализации» газета выступает за то, чтобы национальные историки не копались в своем национальном прошлом, художники не культивировали «реакционные» традиции своих народов, акыны и ашуги не воспевали величие своих исторических героев. «Правда» констатирует: «к сожалению, в некоторых произведениях художественной литературы и искусства, научных трудах встречаются попытки под видом национальной самобытности идеализировать реакционно-националистические и религиозные пережитки, приукрасить историю одного народа, принизить роль других народов». Словом, то, что положено «старшему брату» (воспевать князей Игоря, Александра Невского, Дмитрия Донского, полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова), не подобает младшему брату (туркестанцам запрещается воспевать Тимура, Бабура, Кенесары, кавказцам — шейха Мансура и имама Шамиля, украинцам — Мазепу и Грушевского, балтийцам своих национальных героев). Зато царским генералам, покорявшим огнем и мечом Кавказ и Туркестан, ставят памятники на территории завоеванных ими народов, как и царю Петру I в завоеванной им Прибалтике.

Все, кто этому сопротивляется в национальных республиках, числятся в националистах. Странно, что эти советские идеологи все еще называют себя марксистами. Я их называю монархо-марксистами, ибо в старых царских учебниках писали то же самое.

Наконец, вопрос о национализме и шовинизме. Безусловно, всякий национализм, переходящий в шовинизм, явление по сути своей античеловеческое. Особенно страшен шовинизм державной нации в таком многонациональном государстве, как Советский Союз, именно потому, что державная нация вершит судьбами подвластных ей народов. Местный национализм в таком государстве — лишь реакция на великодержавный шовинизм господствующей нации. Ленин это хорошо понимал и боролся с ним, чтобы тем самым предупредить развал Советской империи. Сталин, став на великодержавную позицию, сочинил доктрину о «буржуазных националистах», которые, оказываясь, орудут во всех союзных и автономных республиках, но не среди самой державной нации. В этом вопросе все генсеки после Сталина последовательно и скрупулезно продолжали линию бывшего «отца народов». В двадцатые годы в партийных документах и партийной печати еще говорилось о двух уклонах в национальном вопросе — о «великорусском шовинизме» и «местном национализме». Причем «великорусский шовинизм», в согласии с Лениным, объявлялся главной опасностью. С тех пор как Сталин на XVII съезде партии в 1934 году объявил «местный национализм» основной опасностью, совершенно исчезло из литературы понятие «великорусский шовинизм», зато ни один партийный документ, ни одна работа советских идеологов не обходится без упоминания зловредного «местного национализма», без настойчивого призыва бороться с ним. Но и здесь ученики Сталина, как это полагается прилежным ученикам, превзошли своего учителя. После Сталина оба уклона «национализма» и «шовинизма» соединены вместе и водятся только среди националов. В новой программе партии говорится, что каждый советский человек должен проявлять «нетерпимость к проявлению национализма и шовинизма, национальной ограниченности и национального эгоизма». На январском Пленуме ЦК (1987 г.), который происходил после событий в Казахстане, Горбачев ограничился, по существу, подтверждением старой линии по национальному вопросу. Но на встрече в ЦК КПСС с главными редакторами столичных газет, журналов, телерадио Горбачев впервые за свое генсекство сказал нечто такое, что допускает возможность распространения перестройки и на область национальных отношений. Вот это место из выступления Горбачева:

«Особого внимания требует национальный вопрос... мы за уважительное отношение и к национальным чувствам, и к истории, и к культуре, и к языку всех народов, за полное и фактическое равенство. Мы живем в многонациональной стране, и невнимание к этим вопросам опасно. К сожалению, мы порой оценивали положение на этом направлении в виде зазданных тостов... Растет, повышается культурный уровень всех народов и народностей, выросла своя интеллигенция». Но по адресу интеллигенции он добавил: «Она изучает корни своего прошлого, порой это приводит к обожествлению истории и всего, что с ней связано, и не только прогрессивного» («Правда» от 14.2.1987).

Но «здравных тостов» было в прошлом не так уж много. Была перманентная чистка, направленная против так называемых буржуазных националистов на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и на мусульманском Востоке, был геноцид гитлеровского типа против национальных меньшинств во время войны. Великодержавники все еще поют гимны царским полководцам за их прогрессивное дело — за насильственное присоединение к России чужеземных народов. Когда же национальные историки и писатели «обожают» свое героическое прошлое, то их обвиняют в националистической идеализации «реакционного прошлого».

История таких злодеяний не прощает, а народы их никогда не забывают. В этом отношении, чем дальше, тем больше советская империя будет чувствовать себя неуютно, ибо она последняя империя в истории.

Идеологи эры Горбачева пропагандируют в национальной политике два понятия, которых не было раньше: понятие «Большая и малая родина» и уже упомянутое понятие «двуязычие». Внешне это выглядит как дань великодержавников национальным чувствам нерусских народов. В самом деле, ведь до сих пор признавалась только одна большая «советская родина», которую к тому же надо писать с большой буквы, а теперь разрешено писать и о своей национальной родине, как о «малой родине» но уже с маленькой буквы. Это игра в пропагандную эквилибристику в смысловом отношении — явный «перекос», ибо у человека может быть только одна родина, где тысячелетиями жил и живет его народ. В чем же «перекос»? Хотя бы в следующем: у грузин — Грузия «малая родина», а СССР — «большая Родина», у русских — Россия «малая родина», а СССР — «большая Родина». Это расчленение «большой Родины» на многочисленные национальные «малые родины» является, с одной стороны, вынужденным компромиссом официальной идеологии со сложившимися веками и внутренне неистребимым комплексом чувств национальной исключительности, аутентичности и неповторимости каждого народа, а, с другой стороны, компромисс свидетельствует, что учение большевиков об ассимиляции нерусских народов русским народом с единым русским языком и исчезновением в исторической перспективе всех других языков (более 100) молчаливо признается если не утопией, то, по крайней мере, чем-то неактуальным. К сожалению, всякий вынужденный компромисс сильного со слабым обычно недолговечен. Как только исчезают обстоятельства, принудившие власть идти на уступки, наступает реакция. Это особенно касается доктрины «двуязычия». Судя по официальным документам, «двуязычие» тоже в своем роде уступка великодержавников нерусским народам, ибо с начала тридцатых годов и до нашего времени ни в одном из партийных документов ЦК КПСС и центральных комитетов партий национальных республик ни слова не говорилось о необходимости «двуязычия» или изучения родного языка, зато выносились многократные решения о необходимости изучения русского языка. Теперь говорится, что надо изучать оба языка — русский и родной язык, чтобы все республики и национальные области и округа сделать «двуязычными». Даже начинают говорить, что дети некоренной национальности могли бы изучать язык той нации, среди которой они живут. ...»

Новая доктрина великодержавников — «двуязычие» — не только новый псевдоним той же самой русификации, но и бессмысленное требование, ибо человек может знать много языков, а мыслить может только на одном — на своем родном языке.

Появилось еще одно новое понятие для национальных республик — это «патриотизм» без прилагательного «советский». Не хотят говорить прямо «грузинский патриотизм», «украинский патриотизм» — это по-прежнему строжайшее табу. Но даже и такой «патриотизм» «малой родины» обязательно связывают с «интернационализмом», то есть с псевдонимом русификации. Поэтому полная формула гласит: развернуть в такой-то республике «патриотическое и интернациональное воспитание». Но важны не пропагандные выкрутасы, а важна практика «реального функционирования» и безоговорочное признание языка, культуры и истории национальностей. Отрывки из писем национальных читателей «Правды», опубликованных 25 августа 1987 года, показывают как все еще велик разрыв между словом и делом у партийных идеологов. Стоит привести здесь некоторые выдержки из них. Украинец из Днепропетровска спрашивает: «Разве это не ведет к обеднению языка — в русских школах украинский не обязателен для изучения, идет как факультативный. Английский или немецкий обязателен, а украинский по желанию. Не парадокс ли?» «Правда» комментирует: «Такого же рода сетования в письмах из Белоруссии. Лет 20 назад в республике приняли постановление, дающее родителям право «освобождать» детей от изучения в школе родного языка». Другой

украинец, из Харькова, сообщает что «можно привести десятки грустных примеров обывательски-черносотенного отношения к украинскому языку» и что в Харькове «царит *украинофобия*». Корреспондент видимо «нацмен» из далекого Хабаровска по словам «Правды», «принадлежит к той категории людей которым не хватает культуры национальных отношений». Вот продолжение цитаты: «Это проявляется в делах и поступках представителей разных народов страны. Разве не об этом свидетельствует высказывание А. Г. Тополева из Хабаровска, который обвиняет русский народ в великодержавности». Вот уже более 60 лет как «Правда» не находит ни одного примера великорусского шовинизма в делах и поступках русских бюрократов в национальных республиках, зато почти каждый день находим примеры местного национализма. Даже поступок русского председателя горсовета Харькова который выкинул в городе все вывески на украинском языке как излишние «Правда» не осуждает как проявление великодержавного шовинизма хотя сама сообщает об этом в цитированном выше письме украинца из Харькова. Напротив автор обзора писем украинских читателей защищая великорусских шовинистов заявляет что вот он видите ли «сам по национальности украинец» и его поэтому «особенно возмущает такого рода напраслина его земляков по адресу жителей второй столицы Украины». Можно родиться украинцем но быть прожженным «великорусским держимордой» — по терминологии самого Ленина. Людям которые считают себя его учениками, надо бы знать хотя бы работы Ленина по национальному вопросу. Вот что писал Ленин в своей известной статье против «великорусских держиморд» из нерусских народов — против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе: «Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилий и оскорблений и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений. Поэтому интернационализм со стороны так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций но и в таком неравенстве которое возмещало бы со стороны нации большой то неравенство которое складывается в жизни фактически». Как Ленин хотел ликвидировать это фактическое неравенство между Великороссией и нерусскими народами, между советской Россией и национальными республиками? Указания Ленина на этот счет актуальны по сегодняшний день. Вот эти его указания. «Надо ввести строжайшие правила относительно употребления национального языка в национальных республиках, входящих в наш союз и проверять эти правила особенно тщательно. Нет сомнений, что под предлогом единства и т. п. у нас будет проникать масса злоупотреблений истинно русского свойства. Тут потребуются детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь успешно только националы живущие в данной республике» (Ленин. О национальном и национально-колониальном вопросе, стр. 518—519).

Непопулярны сегодня в Москве такие высказывания Ленина:

Старое мышление Кремля в национальной политике

Национальный вопрос всегда был функциональной величиной генеральной стратегии большевизма. Таким он был на путях завоевания власти до революции. Таким он остается на путях удержания и укрепления этой власти после революции. Поэтому постановка национального вопроса, подход к нему характер его решения менялись в зависимости от изменения стратегии партии и ее ближайших целей.

Таким образом, национальная политика партии в строгом смысле этого слова не была даже политикой вообще, а была тактикой партии, которая менялась каждый раз когда менялась общая политика партии. Мы уже видели, через какие этапы прошла генеральная линия партии в национальном вопросе при Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежнев.

Сегодня, когда генеральная стратегия сформулирована в установках «революционной перестройки» во всех сферах «нового мышления», «гласности» и «демократизации» советского общества, национальный вопрос как раз в силу этой стратегии приобретает самодовлеющее значение. Уже сама практика нынешней дозированной «гласно-

сти» показывает, какие потенциально взрывчатые силы таятся в недрах национальных отношений. Стоило газете «Правда» подать пример гласности, сообщив о казахской национальной демонстрации в Алма-Ате 17–18 декабря 1986 года, стоило Кремлю удержать КГБ и МВД от разгона демонстрации и ареста демонстрантов, требовавших освобождения узников совести в Москве в начале 1987 года, как последовали новые демонстрации в защиту прав национальных меньшинств в разных уголках советской империи, наиболее яркими из которых были июльские демонстрации крымских татар в Москве и Ташкенте, поддержанные узбеками, августовские демонстрации эстонцев в Таллинне, латышей в Риге, литовцев в Вильнюсе с лозунгами, требовавшими объявить недействительными пакт Риббентроп — Молотов, по которому Гитлер подарил Сталину независимые Эстонию, Латвию и Литву.

Именно дозированной гласностью (под негласным надзором КГБ) воспользовались и многие видные деятели национальных культур почти из всех республик, чтобы смело и открыто поставить вопрос об обреченности на исчезновение нерусских наций, если будет продолжаться нынешняя языковая политика партии. Таким образом, Кремль оказался перед неприятной для него дилеммой: либо исключить национальные республики из «перестройки» и «гласности», либо объявить во всеулышание, что партия возвращается к их полному внутреннему суверенитету, который им обещал Ленин в конституции 1924 года, а Сталин и его наследники полностью отвергли. Поначалу Кремль избрал первый путь — исключить национальные республики из «перестройки» и «нового мышления», сохранив в неприкосновенности послеленинскую политику русификации. Что дело обстоит именно так, свидетельствует постановление ЦК КПСС от 16 июля 1987 года «О работе казахской республиканской партийной организации по интернациональному воспитанию трудящихся» («Правда» от 16. 7. 87). В этом документе, составленном в стиле Лигачева, наивно отсутствуют как «перестройка», так и «новое мышление».

Не может быть более тяжкого греха для политического руководства, как самообман с целью обмана других. Так часто случается, когда оптимистические расчеты основываются на ошибочном анализе новой ситуации. Это, на мой взгляд, сейчас происходит с горбачевским руководством в оценке реального положения в национальных республиках. Несколько слов о внешней характеристике данного документа. Авторы документа, видно, никогда не читали работ Ленина по национальному вопросу, зато крепко запомнили и усвоили, что на этот счет писал Сталин. Сталинские установки, утверждающие, что в условиях советского многонационального государства главной и единственной опасностью является национализм малых народов, а опасности великорусского шовинизма вообще не существует, авторы выдают за ленинские установки. Ленин, конечно, великодержавник в глобальном масштабе, но он, как указывалось, не был русским шовинистом. В этом проявлялась его гибкость, это делало привлекательным его национальную политику для нерусских народов. Авторы постановления ЦК с головой выдают себя, сами не подозревая об этом, и как великодержавники и как русские шовинисты одновременно. Это заметит каждый, кто уместит читать партийные документы.

Постановление ЦК о национальной политике составлено по установившемуся трафарету — начать за здравие, чтобы кончить за упокой. При этом «здравие» — абсолютно трезвое, но оно находится в глубоком противоречии с выводами самого постановления.

Вот это «здравие»: Республика Казахстан «Является крупным индустриально-аграрным районом. Совершена подлинная культурная революция, оформилась научная и творческая интеллигенция... Прежнее руководство ЦК компартии Казахстана, партийные комитеты допустили серьезные ошибки... Не учитывался *быстрый рост национального самосознания*». Вся дальнейшая «заупокойная» часть постановления как раз противоречит этой трезвой констатации. Обвиняя ЦК компартии Казахстана, что он не учел «быстрого роста национального самосознания» казахского народа, сам ЦК КПСС грубо и демонстративно игнорирует именно «быстрый рост национального самосознания» всех нерусских народов, которое проявляется в нынешнюю эпоху «гласности» не только в разных демонстрациях, но и в многочисленных требованиях национальной творческой интеллигенции.

Обратимся теперь к существу документа. Буду говорить только о тех важнейших пунктах, на которых лежит не только стиль Сталина, но и которые насквозь проникнуты духом сталинщины. Оказывается, что у руководителей Казахстана появилось

чувство национального эгоизма, которое сказалось в том, что при подборе кадров в партийный и государственный аппарат Казахстана они предпочтении отдавали казахам, а «при поступлении в вузы для казахской молодежи создавались преимущественные условия» — так буквально сказано в постановлении ЦК. Что здесь речь идет не только об одном Казахстане, доказало выступление Лигачева в Тбилиси, когда он заявил, что в грузинском университете учиться слишком много грузин. Все это осуждается фальсифицированной ссылкой на ленинскую национальную политику. Но ведь суть ленинской кадровой политики, изложенной в его трудах, как и в постановлениях съездов партии при его жизни, сводится только к одному — к коренизации партийного, государственного, хозяйственного аппарата и культурных учреждений всех нерусских народов. Этот порядок отменил Сталин, да еще исключил слово «коренизация» из партийного лексикона. Это, конечно, право Кремля — следовать в данном случае политике своего все еще бессмертного учителя Сталина, а не Ленина, но тогда нельзя ли пожертвовать политическим лицемерием в интересах исторической правды?

В одном обвинении и в вытекающем отсюда выводе ЦК даже идет дальше Сталина. В постановлении сказано: «Не обеспечивалось должное представительство проживающих в республике наций во всех звеньях общественно-политической структуры. С националистическими перекосами формировались партийный и государственный аппарат, правоохранительные органы, учреждения науки и культуры». Если следовать точному смыслу такого обвинения и вытекающему из него выводу, то в Казахстане и Киргизии во всех органах власти, во всех учреждениях науки и культуры большинство должны составлять не представители коренной национальности, а славяне, ибо большинство населения в этих республиках составляют славянские колонисты, поселенные сюда в последние четыре десятилетия. Поскольку ЦК, судя по данному постановлению, полон решимости вести там политику «пропорционального представительства», ликвидирующую даже видимость «суверенной» национальной республики, то создается новая реальность, о которой не догадывались не только Сталин, но и Хрущев.

Вот что говорится в постановлении на этот счет: «Добиваться должного представительства в руководящих партийных и государственных органах всех наций, проживающих в республике». На простом языке это значит — отныне управлять будут не казахи, а пришлые. Понимая, что столь открытый курс на русификацию может встретить национальное сопротивление похлеще алма-атинского, постановление требует: «Убедительно объяснять объективный характер процесса углубления *интернационализации всех сфер общественной жизни*».

Другими словами, поскольку «объективный процесс» «интернационализации» — это неизбежный процесс, то казахи имеют все шансы стать первыми советскими «интернационалистами», управляемыми на всех уровнях пришельцами. Но чтобы стать доподлинными «интернационалистами», от казахов требуется, чтобы они отказались от своего прошлого — исторического, культурно-бытового и традиционно-религиозного. В самом деле, как иначе интерпретировать следующее место в постановлении: «В научных трудах, произведениях литературы и искусства нередко идеализировалось прошлое казахского народа, делались попытки реабилитировать буржуазных националистов... Усилилась тенденция к национальной замкнутости... Свернута борьба с феодально-байскими нравами, патриархальными обычаями... Неактивно ведется борьба по разоблачению реакционной сущности ислама, с его попытками сохранить отжившие традиции... Усилилось влияние служителей культа на различные стороны жизни и быта населения». Более того, оказывается, религию поддерживают и в религиозных обрядах участвуют даже руководящие коммунисты. Поэтому, говорится в постановлении, надо «вести активную борьбу с националистическими настроениями, феодально-байскими нравами, родо-племенными традициями, религиозными предрассудками». Мало-мальски знакомый с историей национально-колониальной политики партии понимает, что весь этот антинациональный словесный мусор взят из писаний Сталина и постановлений сталинского ЦК конца двадцатых и начала тридцатых годов. То, чего требует ЦК сейчас от своих функционеров в Туркестане, уже на протяжении шестидесяти лет практиковалось там не на словах, а на деле: физическое уничтожение баев, мулл, «буржуазных националистов», закрытие всех мечетей, перманентный террор против народа, наконец, многократные чистки даже против коммунистической интеллигенции по обвинению в том же «местном национализме». А итог? Итог тот, что отмечен в документе ЦК — «быстрый рост национального самосознания».

Это не локальное казахское явление. Рост национального самосознания есть явле-

нис всеобщее, ибо выросли, как правильно отмечает ЦК, национальные кадры, национальная творческая интеллигенция. Сталину было легче управлять национальными республиками, ибо он систематически и методически снимал их верхний слой — интеллектуальную элиту, пока в ней еще не пробудилось национальное самосознание, а Хрущев и Брежнев вынуждены были отказаться от таких сталинских методов. Вот в этом и кроется секрет появления нового феномена — возрождение всего комплекса, связанного с понятием национальной принадлежности, куда входят не только интерес к своей истории, культуре, языку, литературе, но и чувство гордости, что принадлежишь к данному самобытному и неповторимому народу. Игнорируя все это, Кремль воюет против знаменития времени, когда его орган «Правда» требует: «Воспитывать так, чтобы советский человек ощущал себя в первую очередь гражданином СССР, а потом уже представителем той или иной нации» (7. 4. 87).

Этому призыву суждено остаться гласом вопиющего в азиатской пустыне!

При всем моем пессимизме я все-таки склонен думать, что Горбачев и его руководство все еще не сказали последнего слова в национальном вопросе. Ввиду всевозрастающего давления национальной интеллигенции всех республик Кремль вынужден будет пойти на какую-нибудь «перестройку и демократизацию» и в своей национальной политике. Это вытекает из выступления Горбачева к 70-летию Октября, когда он заявил: «Национальные отношения в нашей стране — это живой вопрос жизни. Мы должны быть предельно внимательными и тактичными во всем, что касается национальных интересов или национальных чувств людей... Мы намерены более глубоко проанализировать эти вопросы в ближайшем будущем с учетом того, что вносит в жизнь страны перестройка, демократизация, новый этап ее развития» («Правда», 3. 11. 1987).

В связи с этим Горбачев заметил: «Мы все чаще обращаемся сейчас к последним работам Ильича». Так вот, предпоследней работой Ленина была цитированная выше статья «К вопросу о национальностях или об «автономизации». В ней Ленин предлагал вернуть союзным республикам их полный суверенитет. Если новое руководство в Кремле способно выполнить эту волю Ленина, то это действительно перестройка, а все остальное — косметика<...>

Проблемы новые, а решения старые

Поскольку статистические данные на этот счет являются величайшей тайной Кремля, то невозможно подсчитать, кто за счет кого живет в Советской империи — метрополия за счет советских колоний или советские колонии за счет метрополии. Но одно очевидно: важнейшее стратегическое сырье и ресурсы, их эксплуатация и переработка находятся в значительной части в нерусских республиках — на Украине и Белоруссии, в Прибалтийских республиках и Молдавии, на мусульманском Востоке и на Кавказе. Вся важнейшая продукция добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности поступает в централизованный «общесоюзный фонд» в Москве. На распределение доходов из этого фонда союзные республики не имеют ни малейшего влияния. Они, конечно, получают через общесоюзный бюджет обратно определенную часть, которая не находится в какой-либо связи с величиной их вклада в названный фонд.

Даже и этой частью фактически распоряжаются Госплан и московские министерства, поставленные над местными министерствами. Желание последних получить «побольше» Москва квалифицирует как «национальный эгоизм», «местничество» и «иждивенчество». Смысл этих ярлыков сводится к тому, что республики дают меньше, чем они могут, но стараются забрать больше, чем они заслуживают. Когда же центр отсюда делает свои выводы, урезывая бюджеты национальных республик, то республики отвечают молчаливым саботажем выполнения имперских хозяйственных планов. Яркие доказательства на этот счет содержатся в Постановлении ЦК КПСС от 20 июня 1987 года «О неудовлетворительном использовании природно-экономического потенциала аграрно-промышленного комплекса в Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР». Ввиду важности вопроса приведем из него цитаты. В постановлении отмечается, что «аграрно-промышленный комплекс Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР» занимает особо важное место в общесоюзном разделении труда

Колхозы и совхозы этих республик являются основными производителями хлопка... Однако созданный в этом регионе мощный производственно-экономический потенциал, водные ресурсы, а также благоприятные природные условия используются недовольствовательно... поставки многих видов продукции в общесоюзный фонд не выполняются... Продуктивность скота здесь одна из самых низких, а затрата кормов почти вдвое превышает затраты по стране... За десять лет производительность труда в Узбекской ССР не увеличилась, по Таджикской ССР и Туркменской ССР она даже снизилась при увеличении оплаты труда в 1,3—1,4 раза».

Такое плачевное состояние дел в среднеазиатских республиках сложилось несмотря на то, что в последнее десятилетие там было вложено в народное хозяйство в два раза больше денег, чем в предыдущее десятилетие, а именно 43 миллиарда рублей. Чем же Кремль объясняет такой не только застой, но регресс в поставке хлопка и другой продукции агропромышленного комплекса этих республик? Ответ, данный в Постановлении ЦК КПСС, повторяет то, что говорили на этот счет все генсеки от Хрущева и Брежнева до Андропова и Черненко. Вот, что он гласит: «Руководящие кадры республик подвержены *иждивенчеству*, развито стремление как можно больше получить материальных и денежных средств от государства» («Правда», 20. 6. 1987). «...»

Другими словами, в Советской империи обозначился, если верить Кремлю, феноменальный процесс, не известный западным империалистам: капиталистические империи богатели за счет своих колоний, а Советская империя, наоборот, нищает из-за своих «иждивенцев» — национальных республик. В основе этого феномена лежит тот же социальный закон, который действует в советском обществе — отсутствие личной материальной заинтересованности. Это в природе вещей — каждый человек стремится к материальной обеспеченности, а каждая нация — к богатству и изобилию. Но советская экономическая система лишила как отдельного человека, так и все нации в целом импульсов к свободному творчеству, а на его основе и к обогащению.

В союзных республиках прибавляются к этому и специфические национальные причины указываемого «Правдой» «механизма торможения». Как уже отмечалось, во времена Ленина национальные республики во внутренних делах были суверенны и развивали свою собственную экономику, основанную на использовании местных ресурсов в интересах данной нации.

Сталинский социализм, и поныне господствующий в СССР, радикально ликвидировал не только их суверенитет, но и их национальные экономики. Вместо национальных хозяйств начали создавать «всесоюзные стройки коммунизма», прямо подчиненные Москве. На «великие стройки» везли в порядке «оргнабора» из России мастеров всех ведущих квалификаций. Чернорабочих должны были поставлять местные правители в порядке создания «национального рабочего класса». Но никакие их усилия тут не помогли и не помогают до сих пор — националы в массе своей отказываются идти на производство, молодежь не идет в профессионально-технические училища, предпочитая им вузы, а взрослые умудряются строить свою жизнь так, что они живут materially лучше, чем колхозники и рабочие в Центральной России. Этот второй феномен, замеченный даже иностранными туристами, объясняется в разных регионах разными причинами. В Прибалтийских республиках, научно-технически высоко развитых, это объясняется способностью адаптироваться к существующим законам в своих национальных интересах, а в кавказских и мусульманских республиках — их удивительным умением обходить эти законы.

Я уже отмечал, что стратегический замысел «всесоюзных строек» сводился не только к тому, чтобы наиболее эффективно использовать сырье окраин, но и к созданию там важных опорных пунктов империи со славянским населением.

Массовая колонизация славянским населением мусульманских республик, не только промышленных районов, но и целинных, привела к резкому падению удельного веса коренного населения (например, в Казахстане и Киргизии коренные жители являются национальными меньшинствами). Когда обозначилось падение роста славянского населения СССР при продолжающемся росте мусульманского населения, то возник сразу двойной кризис: в славянских республиках не хватает рабочей силы, а в мусульманских республиках образовался ее опасный избыток. Отсюда и возникла новая «интернациональная» доктрина «обмена кадрами» — отныне Москва будет направлять в национальные республики только высшую бюрократию и технический командный состав, а эти республики должны поставлять России свою излишнюю рабочую силу. Как видно из текущей советской прессы, доктрина «обмена кадрами» тоже сработала

только односторонне — московские партаппаратчики массами двинулись в национальные республики занять места, ставшие вакантными после тотальной чистки от националов, обвиненных в коррупции. Однако встречное движение националов в Россию так и не состоялось. Наоборот, начался процесс, который не может не тревожить Москву: русские колонисты целыми группами возвращаются обратно в Россию ввиду растущей враждебности аборигенов к пришельцам.

Попытки заменить «реэмигрантов» на производстве аборигенами имеют мало успеха.

«Угнетенные» негры, «свободные» крымские татары и «бандиты» чеченцы и ингуши

На приеме делегации Американского конгресса в Кремле в апреле 1987 года Горбачев задал американцам вопрос.

— В Соединенных Штатах живет много разных народов, но почему у вас нет государственных образований в виде отдельных штатов, основанных на этническом и культурном базисе для черных, для поляков, для пуэрториканцев и других? — таков был вопрос. При этом Горбачев сослался на псевдоавтономию малых народов СССР.

Присутствовавший в составе делегации негритянский пастор Джексон, бывший и будущий претендент на пост американского президента, посчитал себя кровно оскорбленным как американец. Пастор, вероятно, вспомнил, что на Западе такие «государственные образования» для черных существуют только в одном государстве — в Южно-Африканской Республике с ее политикой апартеида, где созданы так называемые отечества черных, которые имеют столько же независимости от белых, сколько ее имеют советские союзные республики от Москвы.

По американской конституции все расы равны между собой. Америка не знает ни институциональной, ни территориальной сегрегации. Конечно, были и существуют расовые предрассудки у части населения, но как раз после второй мировой войны Америка сделала гигантский шаг вперед по их преодолению, чему способствовал массовый героизм негритянских солдат и офицеров в этой войне. Кому не известно, что даже такой маленкий — по количеству населения из аборигенов — штат Америки, как Гавайи (200 тысяч жителей), пользуется куда большей самостоятельностью по своему внутреннему самоуправлению, чем советская Украина с ее пятидесятиmillionным населением. Больше того — украинские правители, как и правители других советских республик, назначаются из Москвы, а гавайский губернатор, как и губернаторы во всех других штатах, выбирается на месте, совершенно независимо от Вашингтона и при действительно свободных выборах с участием нескольких кандидатов от соревнующихся между собой политических партий.

Горбачев только повторил ошибку Ленина, сравнивая национальный вопрос в Российской империи с процессом интеграции национальных меньшинств в Соединенных Штатах. Российская империя образовалась путем присоединения к России нерусских народов, которые никогда не хотели, как не хотят и сейчас, стать русскими, а Соединенные Штаты образовались из иммигрантов разных народов, которые хотели стать американцами и создали из бывших английских колоний в войне за независимость (1775 — 1783 годы) новую единую нацию — американскую.

В Декларации независимости от 4 июля 1776 года были провозглашены священные для демократии, не на словах, а на практике, принципы равенства людей всех рас и убеждений перед законом, их неотъемлемые права на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Не кто-нибудь другой, а сам Карл Маркс назвал американскую Декларацию независимости «первой декларацией прав человека», ибо она на двенадцать лет опередила знаменитую «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 года, с которой началась Великая французская революция.

Единственной этнической группой, которую против их воли привезли в Америку в качестве рабов, были негры из Африки, которые должны были работать на плантациях в южных штатах. Чтобы их освободить от рабства, понадобилась Гражданская война 1861 — 1865 годов. Созданная в 1854 году в северных штатах республиканская партия, одним из организаторов которой был Авраам Линкольн, поставила своей целью ликвидацию рабства в южных штатах. Когда в 1860 году Линкольна избрали президентом

Соединенных Штатов, южные штаты объявили о своем выходе из США и образовании собственного государства. Началась Гражданская война, принесшая победу Севера над Югом и полную ликвидацию рабства. Вспомним, что в то же самое время, когда Линкольн войной освобождал черных рабов от белых рабовладельцев, в России царь Александр II великой крестьянской реформой освободил белых рабов от белых же рабовладельцев.

Но вернемся к черным американцам, американским полякам, пуэрториканцам. С таким же правом сюда можно включить американских итальянцев, ирландцев, латиноамериканцев, евреев и других. Если бы случилось невероятное и американский Конгресс, следуя рекомендации Горбачева, издал бы закон о «перестройке» Соединенных Штатов по этническому принципу, то все названные американские «нацмень» первыми встали бы против такого закона. Все они одинаково горды, что они именно американцы, и только потом вспоминается романтика далеких исторических воспоминаний дедушек и бабушек о том, как их родители или прадеды когда-то прибыли в Америку из таких-то стран, имея в кармане пару долларов, а то и без цента. Дедушки и бабушки еще как-то изъяснялись на языке их бывшей родины, а их дети и внуки говорили уже только по-английски — не потому, что это навязывалось им правительством, а потому, что знание английского языка делало возможным добиться успеха в любой части этой страны.

Их новая родина — страна иммигрантов из самых разных частей мира — после Гражданской войны не знала и не знает национальной или расовой дискриминации. В Америке негров до сих пор линчуют только в фантазиях советских пропагандистов. Во многих городах с абсолютным большинством белого населения негров выбирают мэрами городов (например, в Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте и других городах). Количество людей из южноамериканских стран, которые нелегально переходят границы США, чтобы на всю жизнь обосноваться там, исчисляется миллионами. Недавно правительство приняло меры для их легализации.

Странно, что обетованная страна «советского образа жизни», которая гордо рекламирует себя «отечеством всех трудящихся мира», никогда не знала такой тяги к себе этих трудящихся. Наоборот, из нее стараются вырваться все, кому это удастся. Например, список «отказников» среди евреев включает сейчас около 400 тысяч человек. Десятки тысяч немцев и армян тоже находятся «в отказе».

Любой американец может выехать из Америки даже в Советский Союз. Якобы полноправные советские граждане крымскотатарской и немецкой национальностей не могут вернуться (внутри СССР!) на свои собственные территории, автономия которых на «этническом и культурном базисе» была признана еще при Ленине. (...) Татарам, шести-миллионному народу древней культуры, не дали ранга союзной республики на том основании, что он живет внутри России и не может, при желании, выйти из состава СССР, воспользовавшись конституционным правом союзных республик, будто Кремль разрешил бы это окраинным республикам. Что же касается евреев, то их в СССР живет около двух миллионов. Но им не дали даже «национально-культурной автономии», а дали автономию Биробиджану, где живет 60 тысяч евреев (после войны Сталиным были запрещены еврейские школы, театры, литература).

Крымскотатарский народ — единственный из малых народов бывшей Российской империи, которому автономия была дана по личной инициативе председателя советского правительства Ульянова-Ленина, поддержавшего предложение одного из руководителей Крымского обкома партии — его младшего брата Дмитрия Ульянова.

Дмитрий Ильич Ульянов, доктор медицины, был представителем большевистского партийного центра в Крыму до революции, в подполье, во время революции и после победы большевиков до 1921 года. Он высоко отзывался о национальной культуре, традициях, мудрости и трудолюбии крымских татар и имел среди них много друзей, которые оказывали ему помощь и гостеприимство в тяжелые годы его преследований. Я это хорошо знаю из первых рук: двоюродная сестра Ульяновых по матери — Залеская, урожденная Бланк, была моим профессором в Институте красной профессуры в тридцатые годы. Декрет об образовании Крымской АССР Ленин подписал 18 октября 1921 года, через одиннадцать месяцев после оставления Крыма белыми войсками генерала Врангеля.

Уже этот факт доказывает, что крымскотатарский народ был на стороне революции.

О к о н ч а н и е с л е д у е т

Тамара Чабан

Невостребованная поэзия



Счастливыми быть обязанные

«Дети застоя», «потерянное поколение», «стоячая волна», «поколение конформистов» — вот далеко не полный перечень «лестных» титулов «сорокалетних» литераторов, вышедших на сцену во время «антракта» в гражданской и духовной жизни страны, в 70-е годы, о которых горько и точно сказано поэтом: «Бывали хуже времена, но не было подлей».

А вначале нас всех называли иначе, громко и торжественно: «Поколение, которое будет жить при коммунизме». Да, это то самое поколение. От него не требовалось, как от предыдущих, героизма, аскетизма, самопожертвования, классовой непримиримости, ему вменялось в обязанность жить и быть счастливым. Ведь иначе зачем все это, полстолетия жестокой «классовой борьбы», миллионы жертв, и кровь, и пот, и ежедневное самоотречение предыдущих поколений, их беспримерный подвиг в страшной войне с фашизмом, если на этой, столь щедро удобренной почве не взрастет наконец прекрасный цветок — «поколение, которое будет жить при коммунизме» — и в нем не воплотятся все чаяния, надежды, мечты о счастливом будущем.

Мы ощущали своеобразный «исторический долг» — жить и быть счастливыми — «за себя и за того парня», за погубленных в сталинских тюрьмах и лагерях дедов, за погибших на войне отцов, за измученных, бесправных, беспаспортных матерей-колхозниц, отправивших нас в столичные вузы — пусть хоть дети проживут по-человечески...

И молодая белорусская поэзия 70-х, казалось бы, воплотила мечту о счастливом поколении. Как ярко, легко, красиво вхо-

дили они в литературу — Евгения Янищиц, Анатолий Сербантович, Алесь Рязанов, Юрка Голуб, Рыгор Семашкевич, Галина Корженевская, Валентина Ковтун, Раиса Боровикова, Ольга Ипатова, Владимир Некляев, Нина Матяш, Таиса Бондарь... Если русских поэтов 70-х называю еще «поколение, которое не печатают», то о наших, особенно в начале их творческого пути, этого не скажешь. Многие из них были замечены еще по школьным публикациям, а первые поэтические книги вышли в студенчестве и были тепло встречены читателями, критикой, старшими поэтами. Их ожидали, приветствовали, возлагали надежды, впереди был широкий ровный путь и ни одного облачка на горизонте. Правда, у некоторых из них такая легкость и безоблачность вызывала настороженность, тревогу:

А шлях раўняўкі, быццам лісцік,
ляшчэ, —
каб вецер у вушах!
Як гэта лёгка памыліцца
і па чужых
пайсці шляхах, —

предупреждал Алесь Рязанов. (А путь отглажен, словно листик, и ветерок попутный нам!.. Но как же просто ошибиться и по чужим пойти путям)¹. Но и в его первом сборнике «Адраджэнне» («Возрождение») преобладали, как у его сверстников, оптимистическое, радостное восприятие мира, лирически-светлое, мечтательное состояние души.

Хаджу па нівах, па лугах азерных
Начую летуценна ў будане
Я думаю, чаму мне так прасторна?
І песня прылятае да мяне

Е. Янищиц

¹ Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.

(Брожу по нивам, по лугам озерным, Ночью в позабытом шалаше. И на земле родюй мне так просторно. И песня просыпается в душе.)

Свежи подых туманоў начных
Граў буянне. Дальні бляск зарніцаў
Сэрца! Ты гатова ў гэты миг
Веснавай пупышкай распусціцца

Р. Семашкевич

(Свежий ветер туманов ночных... Буйство трав... Далекий блеск зарницы. Сердце! Ты готово в этот миг Почкою весеннею раскрыться.)

Чтобы не быть заподозренной в тенденциозном подборе этих цитат, сошлюсь на отзывы критиков и поэтов А. Пысина, Н. Гилевича, Д. Бугаева, О. Лойко, которые единодушно и с одобрением отмечали эту особенность поэзии молодых, в частности на мнение критика В. Бечика (статья «Обещание высоты»): «Праздничное, светлое чувство определяло тональность первых книг. Любовь к Родине и родным местам, чувство доверия к людям, восхищение жизнью выливаются в жизнерадостные молодые строчки, и эти строчки пленяют искренностью, тонким чувством поэтического, естественностью».

Хочется подчеркнуть, что это не было конъюнктурным бодречеством, исполнением социального заказа на радость, как, допустим, в поэзии 30-х годов. А если мажорные нотки слегка и форсировались, то «виновата» в этом лишь юность, когда можешь быть счастлив только оттого, что живешь, что молод, что все впереди...

Позже, как бы вина себя за это состояние, за то, что «счастливо была в лукавый час застолий и обмана», Е. Янищич вздохнет:

Наіўныя, ўлюбёныя гады,
Цвіццenne дрэў і лёгкая папўтка.
А заўтра вась нахлынуць халады —
Не знала я, што прыйдуць вельмі хутка.

(Наивные, влюбленные года. В цвету деревья, ветерок покорный. А завтра вновь нахлынут холода — Не знала, что придут они так скоро.)

Пришли холода, перед которыми они со своим счастливым доверием и приятием жизни во многом оказались беззащитными. Казалось бы, все самое страшное — сталинщина, война — было позади. Но мы еще не знали, что жить под неумолчный гул «бурных аплодисментов, переходящих в овации» не менее страшно, чем под грохот орудий. Что сооружается невидимый

идеологический Гулаг — из колючей проволоки догм и запретов, со стенами плакатов, диаграмм неуклонного роста народного благосостояния. Что такая естественная радость жизни и молодости станет невольной подпиткой державного «чувства глубокого удовлетворения» — чувства удава, переваривающего свою жертву. Что внешнее благополучие и спокойствие обернутся такими нравственными испытаниями, душевным расколом, духовными драмами, и «время жить» для многих из них станет «временем умирать».

Анатолий Сербантович, Симон Блатун, Владимир Лисицын, Леонид Якубович, Рыгор Семашкевич, Евгения Янищич — трагический, страшный мартиролог «счастливого», «благополучного» поэтического поколения, сравнимый разве что с мартирологом репрессированных в 30-е годы или молодых поэтов, погибших на войне... А кто подсчитал погубленные таланты, нераскрытые возможности, «тихие» трагедии... Уж не говорю о тех из поколения, кто исправно и безмятежно издает книгу за книгой, хоть давно «духовно навеки почил»...

Под знаком василька

Таков упрощенный «социологический» портрет поколения. Но они не вмещаются в жесткую социологическую схему. (А если бы вмещались, стоило ли о них и говорить?) Не находясь внешне в оппозиции к своему времени, они все-таки как бы выпадают из него, отстраняются от него, составляя своеобразную «внутреннюю эмиграцию».

Идя в литературу вслед за «шестидесятниками», своеобразным и цельным поколением, представленным такими яркими личностями, как В. Короткевич, А. Пысин, Р. Бородулин, А. Вертинский, Н. Гилевич, Д. Бичель-Загнетова, М. Стрельцов, Я. Сипаков, В. Зуснок, они, казалось, были осуждены на вторичность. Что нового, например, могли сказать поэты 70-х о войне после того, что сказано о ней Пысиным, о патриотизме и национальной истории — после Короткевича, о любви к родному краю после того, что сказано об Ушаччине Бородулиным и о Гродненщине — Бичель-Загнетовой, о духовном величии и трагизме человека — после «Чалавечага знака» Вертинского?

И все-таки даже о том же поэты 70-х говорили иначе, говорили прежде всего как поэты. Может быть, впервые в истории советской литературы над ними

не довольс пресловутый «социальный заказ» — ни внешний, ни внутренний (хотя, случалось, критики их и упрекали в мелко-темь, вяло призывая к «гражданственности»). Они не были поэтами ни революции, ни индустриализации, ни коллективизации, ни Отечественной войны, ни XX съезда и «оттепели», ни кукурузы, ни космонавтики, ни борьбы за мир, как не стали и певцами перестройки. Поэты 70-х воспринимали и переживали мир прежде всего как объект эстетический, как предмет поэзии. Тем самым я не хочу сказать, что их эстетический уровень выше, чем, к примеру, в поэзии 60-х. Но там преобладали, впрочем, как и у нынешних молодых поэтов, идея, тенденция, утверждение или отрицание, согласие или несогласие, стремление к преобразованию реального мира. В поэзии 70-х главное, на мой взгляд, стремление к сотворению своего мира по законам красоты и гармонии. Литература становилась собственно литературой, и это мог быть значительный художественный прорыв, будь он последовательно воплощен и понят.

Молодая уверенность в своем праве преобразования мира, лирическая дерзость творения «второй реальности» в творчестве одного из талантливейших поэтов поколения — Анатоля Сербантовича: «Я свет прымаў такім, як бачыў, а адпускаў — якім хацеў» (Мир принимал таким, как видел, а отпускал — каким хотел). Творение мира, по образу и подобию Божьего творения... А может быть, мир и природа созданы по образу творения художественного? «Огненные буквы молний гром сбивает в плиты весомых слов», айсберги — «листья огромной книги», «строчки — будто струйки воды», снег — «рулоны бумаги», и «не просто ступаешь, а пишешь и поскрипываешь вечным пером». Иногда создается впечатление, что эта творческая реальность действительно реальнее реальной, настолько она живая, небумажная, хоть поэт, казалось бы, нарочито подчеркивает сотворенность своего мира, его фантазийность: «Тыгра заўлю і ў клетку балады так, як самога сябе, зачыню... Доўгі. Гарачы. І — паласаты. Рыжы. Паджары, як свежы батон, будзе грызці ён чыгунныя краты. Зверху — железа! А знізу — бетон!» (Тигра поймаю и в клетку баллады, будто себя самого, заточу... Длинный. Горячий. И полосатый. Рыжий. Поджарый, как свежий батон, будет вгрызаться в чугунные прутья. Сверху — железо! А снизу — бетон!) Здесь не только метафорическое творение, но и раздумье — живой тигр, и одновременно

сам поэт, его поколение, которое, будучи, казалось бы, свободным, сохраняет в генах память о клетке, о рабстве: «Ды адчуваць пастаянна — на волі — тую руку, што на горле ляжыць!» (И ощущать постоянно — на воле — руку, на горле лежащую!)

Анатолий Сербантович и свою жизнь творил, как поэму («Поэмою дорога ляжет и я дорогой той пойду»), и, предчувствуя в своей поэме близкий трагический эпилог — «эпилог извечный наш — земля», рассчитывал свое время на художественное творение. Он мечтал создать «венки венков» сонетов — пятнадцать венков, соединенных как один. Только немногие, наиболее древние и развитые литературы мира — итальянская, английская, французская — освоили такую сложную классическую художественную форму. На эту работу, по его словам, поэту нужно было 10 лет жизни. Но жизни не хватило. В 29 лет он написал стихотворение «Там начинается поэзия», и поставил подпись: «Среда. 11.03.70. Последнее мое стихотворение». Он ушел из жизни с той же горячей жаждой — в последние минуты запомнить красоту живого мира и унести с собой, чтобы и там продолжать творить.

Пад бярозай, можа, ці пад вязам,
Кануўшы навечна ў забыццё,
Вечарамі буду я расказваць
Мёртвым пра вяслае жыццё.

(Под березой, может, или под вязом, Канув навсегда в небытие, Вечерами буду я рассказывать Мертвым о земном житье-бытье.)

И еще успел увидеть себя — оттуда — в пророческом стихотворении-реквиеме «Нет меня».

Няма ні тут, ні там, за дымкай,
Няма ў дзявках, няма ў акне,
Няма мяне ў тваіх абцымках...
Няма мяне... Няма мяне.

І толькі там, пазней, з палегкай,
У сне, што прыйдзе незнарок,
Убачыш, як душа далёка
Да зор ляціць, як матылек.

(Ни тут, ни там, в туманной дали, Ни на ветру, ни у огня И даже нет в твоей печали... Нигде, нигде уж нет меня. И только позже, ненароком, Во сне, что раны исцелит. Увидишь, как душа далеко На звезды бабочкой летит.)

Трагедия, преображенная искусством, отрицающим небытие высшей правотой творчества, вечной создающей красоты... Она приходила снова, возрожденческая идея искусства как сотворения мира, и перед ней понемногу отступали «воспи-

тательная», «социальная», «идеологическая» и иные навязанные ему функции вплоть до пресловутого «трэба, каб слова падносіла цэглу» (П Бровка).

«Хорошо быть колосом, но счастлив тот, кому довелось быть васильком». — писал в начале XX столетия Максим Богданович, отстаивая особую, неутилитарную роль поэзии. — «спажытку дзеля душы». Поэтам 70-х суждено было быть «васильками».

«И колосится мое поле под горним знаком василька». — пишет Нина Матяш, человек драматической судьбы, поэтесса высокой культуры, переводчица, знаток европейских языков и литератур. Символика — наиболее интересная, на мой взгляд, черта ее поэзии, одним краем скреплена с фольклорной национальной образностью, другим — с обретениями книжной культуры, в частности с поэтикой символистов: «Запоздалой дикой ежевикой взаимность наша дерзко расцвела», «твое смущенное признание — как новолуние после зноя»... Подобно А. Сербантовичу, поэзии она придает универсальное значение — само ее существование примиряет с миром, уравнивает его трагизм.

Ёсць адзінае выйсце — жыць.
Кожнай хвілечкай даражыць.
Журавінкай ірдзее пэўнасць.
Застанецца па нас — напеўным
Лёгкім клёнікам — цень радка.
Пад яго жыццядайнай галінкай
Пасвятлее хоць на краплінку
Сэрцу, бедамі спаласаванаму,
Неўміручаму, закаханаму.

(Есть единственный выход — жить. И секундой дорожить. Верить в то, что душа воскреснет: Коль останется отзвук песни Легким клёником — тень строки. И под этой живительной тенью просветлеет хотя на мгновение Сердце, бедами испепеленное, Но бессмертное, но влюбленное.)

«У нас была культура» — первое, что сказала поэтесса и прозаик Валентина Ковтун, когда зашел разговор о том, что же главное в поэзии ее поколения. Разумеется, под этим подразумевается не филологическое образование большинства поэтов 70-х, не большая или меньшая их начитанность. Дело в устремленности к культуре и духовности, сознательной или подсознательной установке на гармонию форм, образов, душевных движений. И в этом, на мой взгляд, объединяющая художественная идея поколения. Она проявилась у поэтов 70-х настолько по-разному — от ярко выраженного новаторства Алеся Рязанова до столь же яркой и последовательной традиционности Евгении Яни-

щиц. — что возникает сомнение: а есть ли оно вообще, поколение 70-х, как некая целостность? Но ведь сама художественная идея как раз и нацеливает на проявление индивидуальностей, а не на их унификацию.

У В. Ковтун, к примеру, она проявляется в своеобразной метафорической дерзости, позволяющей сближать образы далеких в пространстве и времени эпох и культур — античной, европейской классической, национально-фольклорной. В этом сближении, по традиции первых белорусских пародийных поэм «Энеида наыворот» и «Тарас на Парнасе», есть и элемент иронии, легкого шаржирования.

Я павяду цябе, надзея,
У свае глыбокае сяло
Там пыл.
Там квочкі, як цырці.
Шукаюць вечар ля варот
І ў свіраў парныя ліцэ
Вядзе звычайны цёплы кот
Ен, нувук, зноў перспектывы.
Як наш, сарваны з веку, двор.
І толькі блішчуць шыбы-грыўны.
Бы ўвесь рэмбрантаўскі «Дазор»

(Я поведу тебя, надежда. В свое глубинное село. Там пыль. Наседки, как цирцен. Пасут там вечер у ворот. В овинов парные лица Ведет обычный теплый кот. Он, неуч, вновь неперспективен. Как наш, забытый веком, двор. Где только блеск оконных гривен. Как весь рембрантовский «Дозор».)

У Владимира Некляева — эта же идея находит выход в подчеркнутом артистизме, театральности, открытости, раскованности душевного жеста (недаром о его поэзии говорят «театр Некляева»).

Галина Корженевская, напротив, сосредоточена, углублена в себя, в интимную жизнь человека и природы, но в изысканности полутонк, оттенков чувства, целомудренности душевных движений — все та же нацеленность на творение гармонии, красоты.

Наиболее цельный и гармонический образ мира и человеческой души создала в своей поэзии Евгения Янищиц. В его основе национально-фольклорная, песенно-мифологическая модель бытия с его органической цельностью, внутренней глубиной связью человека и природы. Но все это переосмысливается с такой силой вчувствования, глубиной сопереживания, что предстает как чистойшей воды лирика.

Включение в широкий контекст культуры, введения сюжетов, цитат, аллюзий, имен и образов мировой литературы, теа-

тра, музыки, живописи, присущее поэтам А. Рязанову, Р. Семашкевичу, В. Ковтун, Л. Филимоновой, Р. Боровиковой, Т. Бондарь, характерно не только для белорусской поэзии 70-х, но в еще большей степени для русской, украинской, литовской...

Гармония и химеры

Почему же все-таки это поколение в целом, за исключением Алесь Рязанова, не стало принципиально новым явлением в литературе, не выработало своего художественного стиля, направления?

Более того, за утонченностью поэтики, метафоричностью, нюансовостью переживаний, оттенков красок и звуков даже у талантливых поэтов скоро стала обнаруживаться истощенность, выработанность, игра на одном приеме, повторы и самоповторы. Об этом, в частности, писала в острокритической статье о своем поколении в «Литгазете» Таиса Бондарь, правда, взяв на себя лишь обличительную роль, хотя названные недостатки присущи и ей как поэтессе. И если одни поэты боролись с образами-стереотипами, орнаментальностью, красотой, по мере сил искали выход, то другие, как, например, очень галантно начинавший Юрка Голуб, «поплыли по течению», подменив поэзию профессионализмом, художественным приемом. Уже не говорю о Марьяне Дуксе, Геннадии Пашкове, Олеге Салтуке, которые всегда писали усредненно-ровно, прилагая.

Так в чем же причина всего этого?

Изведав короткий всплеск читательского интереса в конце 60-х — начале 70-х годов (конечно, не сравнимый с «эстрадным бумом» в русской поэзии, но все же), поэзия вскоре очутилась, как и белорусская культура в целом, в «зоне молчания». Она так и не нашла «своего» читателя. (Не буду подробно говорить о том, что это было следствием целенаправленной политики денационализации, об этом достаточно сказано.) Не было и «своей», заинтересованной критики, при помощи которой художественные искания могли бы оформиться в виде концепции. (Таким критиком мог бы быть поэт, прозаик и ученый Рыгор Семашкевич, рано и трагически ушедший из жизни...)

Культура не может вырастать только из самой себя, гармония не уживается среди химер, а реальный мир, тот, что называли «социалистической действительностью», становился все более антикультурным, антигуманным, антиприродным.

Но одна из главных, на мой взгляд, причин — прерванность национальной культурной традиции. Как бы ни стремилось поколение к подлинной культуре, оно все-таки выросло на культуре официальной.

Русская поэзия 70-х «наводила мосты» между культурами, обращалась к державинской традиции, к «серебряному веку» поэзии начала XX столетия, была знакома (хотя бы в списках и ксерокопиях) с поэзией эмиграции, творчеством репрессированных поэтов. В белорусской же там, где должны были быть «мосты», зияли провалы, бездна.

Национальный нигилизм, преобладающий в официальном подходе к белорусской культуре, игнорировал наличие древней белорусской культуры, литературы XVI—XVIII веков. В сущности, белорусская литература даже для филолога (!) начиналась с «Тараса на Парнасе», Дунина-Марцинкевича (усеченного, с ярлыком буржуазно-либерального националиста), социологизированных Богушевича, Купалы и Коласа. О Гаруне, Горечком, Ластовском, поэтах «Нашай Нивы» доходили редкие неясные слухи, так же как о репрессированных поэтах 20-х—30-х годов Ходыке, Жилке, Дубовке, Пуще и других. Надежно упрятана была в «спецхраны» богатая литература и периодика Западной Белоруссии, что и говорить о литературе белорусской эмиграции — Арсеньевой, Седневе, Соловье...

Литераторы 70-х пытались прорваться к этим сокровищам, остановить вымирание национальной культуры и языка и встречали при этом такие неадекватно грозные меры и санкции, будто задумывали по меньшей мере государственный переворот. В 1968 году за письмо с требованием преподавать гуманитарные дисциплины на белорусском языке на белорусском отделении филфака Белгосуниверситета (!) были исключены с пятого курса, высланы в сельские школы молодые поэты Алесь Рязанов, Виктор Ярац, Юрка Голуб. Филфак еще долго лихорадило от многочисленных проверок и комиссий, которые чистили «рассадник национализма». За чтение западнобелорусских изданий едва не был исключен из аспирантуры и счастливо отделался «вызовами» и взъясаниями поэт и ученый-филолог Рыгор Семашкевич. Ярлык националиста вместе с вытекающими отсюда последствиями был повешен на Сергея Панизника, и поэт надолго был лишен возможности печататься. А вся его вина — «излишний», по мнению ответственных товарищей, интерес к на-

циональной истории и культуры, выразившийся в его поэзии. Насколько я знаю, с этой же стеной запретов и «санкций» сталкивались, прорываясь к национальной истории, пытаясь сказать правду о ней, Ольга Ипатова, Валентина Ковтун, другие литераторы...

«Только через мой труп» — заявил партийный деятель, бывший член СП БССР на многочисленные просьбы интеллигенции об издании произведений Алесь Гаруна. Времна мсняются, и Алесь Гарун вернулся в нашу культуру, и «трупов», слава богу, нет. Но методы и ярлыки остаются все те же, и каждое «запрещенное» имя отвоевывается с огромным трудом. Сейчас, к примеру, в официальной печати ведется кампания против эмигрировавшей после войны поэтессы Натальи Арсеньевой, делается все для того, чтобы ее высокохудожественная, европейского уровня поэзия была закрыта для читателей.

Так что до «мостов» преемственности в белорусской культуре еще далеко, но все-таки «кладочка» проложена, и новому поколению поэтов легче ощущать себя звеном в культурной жизни нации.

Поэты же 70-х увлекались поэзией Блока, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, неплохо знали, насколько это было возможно, европейскую и мировую поэзию и о творчестве, к примеру, Габриэллы Мистраль имели больше представления, чем о замечательных национальных поэтах Наталье Арсеньевой и Ларисе Гениуш. Что ж, само по себе это будто бы и неплохо (каковы горизонты!), но, ловя ветвями животворные лучи иных культур, дерево национальной литературы должно расти корнями в своей земле, иначе — засохнет... Наши корни почти все были подсечены. Оживут ли сейчас?

Правда, говоря об объективных причинах кризиса в поэзии 70-х, как и кризиса белорусской культуры в целом, нельзя не учитывать, что многое все-таки зависело от личностей. Ведь смог же Алесь Рязанов вопреки всему преодолеть исчерпанность традиций, создать оригинальный поэтический мир, своеобразную поэтику, новые художественные формы — «квантемы», «верссты», «пунктиры»...

А. Рязанов очень остро ощущал прерванность национальной культурной, духовной, исторической традиции и сравнивал это с чувством людей после потопа: смутная память-боль о том, что было:

Баліць аднятая зямля.
Крычаць адцягатыя пачаткі...
Усе — вадзе.

Вада узяла.
Мы ўжо няіснага нашчадкі.

(Болит отнятая земля. Кричат обрубленные начала... Все — воде. Вода взяла. Мы уже — наследники без наследства.)

Поэт упорно возобновлял, восстанавливал «координаты бытия», в том числе бытия национального. «Каардынаты быцця» — так называлась и его третья поэтическая книга. Здесь поэт философски осмысливает «вехи», «координаты» нашей духовности — Евфросинья Полоцкая, Франтишек Богушевич, Кастусь Калиновский, Тетка, Максим Богданович. Воссоздает контекст культуры, осваивая библейскую традицию, поэтику притчи, философских максим, восточную поэзию, совмещая это с достижениями европейского авангардизма, постмодернизма... Заслуга Рязанова — прорыв к качественно новому соотношению формы и содержания, создание предельно сконцентрированной, «квантовой» внутренней формы, что для традиционно повествовательной, пластически конкретной белорусской поэзии открывает выход в духовную сферу, к философичности, сущности бытия.

Но вот парадокс. Поначалу открытия Рязанова были восприняты как нечто совершенно чуждое национальной традиции — модернистски вычурное, экспериментальное... И только сейчас, когда открылась полнее картина нашего литературного развития, стало понятно, как суждено она представлялась. Оказалось, что поэзия Рязанова наследует забытые традиции, возвращая нас к таинственному, неразгаданному, философско-символическому Купале, к «интеллектуальному» течению в нашей поэзии, которое шло от Богдановича, Ластовского, Свояка, Жилки, Дубовки... Что поэтика рязановских «версетов» берет начало от библейских предисловий Франтишека Скорины. (Кстати, выходит книга «Предисловий» Скорины в «переложении» Рязанова.) Что истоки многих «экзистенциальных» образов-символов рязановской поэзии в белорусских сказках, мифах, легендах...

Но горький опыт Рязанова показал, что даже в сфере эстетической над поэзией 70-х нависал «потолок» — некая стандартно-усредненная «норма», и все «сверх того», все принципиально новое даже в поэтике пресекалось, считалось «модернизмом», «формализмом» (по тому времени эти слова воспринимались как ругательные). Конечно, это не ярлык «врага народа», но оргвывод следовал один: не печатать! И следующая после «Каардынат быцця»

книга Рызанова «Шлях-360» не скоро и с огромным трудом пробилась к читателю.

«Меня отдайте мне!»

И еще один, начатый, но так полностью и не осуществленный «прорыв» в поэзии 70-х — прорыв к личности, к «я». Собственно, открытие и утверждение личности, лирического героя, права на самовыражение произошло еще в 60-е годы. «Адышлі ў нябыт панегірыкі сціплым вінцакам, спешнай сяўбе. Людзям хочацца шчырай лырыкі, не пра вінцакаў,— пра сябе» («Отошли в небытие панегирики незаметным винтикам, поспешному сеvu. Людям хочется искренней лирики, не о винтиках — о себе»), — так определял тогда Геннадий Буравкин новые веяния времени. Утверждение личности в противовес стандартному сталинскому времени герою-функции шло в борьбе, полемике. (Вспоминается полемика тех лет, где Ольга Берггольц вступила в борьбу с критиками за право на утверждение «я», на лирическое самовыражение, которое долго считалось «камерностью».)

Но если сравнить лирического героя поэзии 60-х и 70-х годов, то бросается в глаза явное отличие. Герои поэзии Короткевича, Бородулина, Вертинского при всей неповторимости — лирические типы, воплотившие не только индивидуальные черты, но в первую очередь черты национальные, общечеловеческие, общие черты, присущие поколению. «Поэтесса поколения» недаром называли Евдокию Лось.

О лирических героях поэтов 70-х этого не скажешь. Это прежде всего индивидуальности со своими неповторимыми биографиями, максимально (насколько позволяет природа поэзии) приближенными к реальной жизни самих поэтов. Утверждалось не только право на лирическое «я», но и право на личную, частную жизнь в поэзии. Видимо, недаром впервые в белорусскую поэзию пришло столько поэтесс, что поэзию 70-х называют даже «женским поколением». «Расцвет женской поэзии в белорусской литературе не случайность. — считает поэтесса Н. Матяш. — Нынешние мужчины-поэты забыли, что «зорко одну лишь сердце».

«Женская поэзия» раскрывала «жизнь сердца» «Слухаю сэра», «Каханне» — так называются лирические сборники Раисы Боровиковой, чья поэзия привлекает обаятельной манерой полного доверия к

читателю, безоглядной душевной открытостью, интимной исповедальностью.

Вы маю неспакойнасць уважце,
Людзі добрыя,
Гэта ж вясна.
Маладое, трывожнае шчасце,
Недапітая радасць да дна.
Ваши добрыя твары, — не маскі,
У вачах я вясну пазнаю.
Людзі добрыя! Нельга без ласкі,
Дык уважце ж пашчоту маю...

(Вы мое беспокойство уважьте, Люди добрые, Это — весна; Молодое, тревожное счастье, Недопитая радость до дна. Ваши добрые лица, — не маски. По глазам я весну узнаю. Люди добрые! Как же без ласки, Так уважьте вы нежность мою...)

В поэзии Боровиковой, Янищиц, Корженевской обретает статус жанр лирического дневника, в центре которого история любви. По принципу лирического дневника пишутся книги поэзии — «Каліна зімы» Е. Янищиц, «Каханне» Р. Боровиковой, «Жила-была» Г. Корженевской, «Одна» Т. Бондарь. В любовной лирике раскрывается уникальность личности, ее «самость», удивительное богатство чувств, неповторимые оттенки переживаний.

У Евгении Янищиц драматизм любовной лирики обусловлен «разрывом» между народным представлением о любви-судьбе, любви-верности («Пакахаю — не памілюю, сто гадоў не разлюблю!») — и современным текучим, непостоянным, «амбивалентным» отношением к этому чувству.

Извечный поединок сердца и разума — в лирике Н. Матяш.

В поэзии Г. Корженевской — затаенный глубинный драматизм борьбы-существования двух неразрывных жизненных начал — бытия и быта.

Спасцігаю жыццё мураша
Ні хвіліны няма, каб спыніцца.
Заклапочаная душа
Не лятаць прывыкае —
таміцца .
Кінуць, рынуць бы справы ўсе.
Убачок і звярнула б, можа,
Але хто на гарбе панясе
Мне адной дараваную ношу?

(Постигаю удел муравья: На минутку не остановиться. И душа — хлопотунья моя — Не летать привыкает — томиться... На край света от этих забот Без раздумий сбежала бы, может. Только кто на горбу понесет Дар судьбы, мою тяжкую ношу?)

Традиционный образ женщины — «хранительницы очага» вырастает в поэзии Корженевской до образа заботливой хозяйки общечеловеческого дома со всеми

его бедами, тревогами, неустроенностью: «неуладкаваны наш дом чалавсчы, ды ў гэтым доме і я — гаспадыня» («неустроен наш дом человеческий, но в этом доме и я — хозяйка»).

«Много еще в нашей поэзии приглаживания, прихорашивания, и не внешнего, а внутреннего, такого своеобразного кокетства души», — пишет Р. Боровикова. Все это действительно есть, и в «женской лирике» в особенности. Но при всем этом она остается неоценимым (и, к сожалению, по достоинству еще не оцененным) духовным запасом. Любовь, материнство, дом — вечные универсальные ценности, противостоящие тоталитаризму, обезличиванию человека, помогающие сохранить живую человеческую душу, отстаивают поэтессы 70-х годов.

Противопоставление внешнего мира внутреннему, отстаивание своего «я» («Меня отдайте мне!» — Г. Корженевская), своеобразная «эмиграция в себя» присуща поэтическому поколению в целом. Но вместе с лиризацией, приближением поэта к «обычному» человеку снижались в чем-то и критерии личности поэта, второстепенное выходило на первое место. Стремление сохранить вопреки всему свою живую душу, которая может спасти мир, определило ориентацию на внутреннюю жизнь, самосохранение, самосоздание души. «Я спасаю душу от распада, может, с ней уберется мир», — пишет Люба Тарасюк. Но белорусской поэзии 70-х при всем богатстве раскрытия «жизни сердца», душе в н о й жизни, недостает опыта созидания жизни д у х о в н о й. Опыт духовной борьбы и самосозидания, поиска своего имени, своей сущности мы находим, пожалуй, только в поэзии того же Рязанова.

Он же одним из первых отметил и разлад внутреннего мира с внешним, вынужденную изоляцию души, ее фатальное одиночество: «Зачыняюцца хаты, шкарлупіны, гнёзды, і нікому ніхто не патрэбны. Мож, нават сабе... Я крычаў, я спыняўся і грукаў ў дзверы: За якімі дзвярамі слова, чалавек — за якімі? Не дабудзішся, не дакрычышся...» («Закрываються избы, скорлупки и гнезда, И не нужен никто никому, Может, даже себе... Я кричал, я останавливался и стучал в двери: За какой дверью слово, человек — за какою? Не добудишься, не докричишься...»)

Расколотый мир

Задуманный и создаваемый поэзией 70-х мир гармонии рушился у них на глазах, и

рушилась надежда на то, что можно спасти его словом, искусством: «На островки раскалывается мир, какая ж красота его спасет?» (Е. Янищиц); «Сколько слов о любви и добре Озаряли бумагу!.. Бессильно отброшу перо — Сам себе уж не верю» (В. Некляев).

Сначала пришло предощущение утрат, неблагополучия во внутреннем мире, наслоение личных драм, разочарований, неустроенности, неосуществленности. «Што ж дзеецца у нас? Мы сябе не ствараем, — вымучываем. Закручвае час, як віры травяныя закручваюць» («Что происходит в нас? Мы себя не создаем, — вымучиваем. Закручивает время, как илистый омут закручивает»), — писал в конце 70-х В. Некляев.

Напрашивался вопрос: если все так хорошо вокруг, то почему несчастен человек? Источник несчастья не назван, неявен, предстает как некий рок, слепая, фатальная сила — «лабиринт Минотавра» у А. Рязанова: «Отсюда нам никогда не выбраться: обозначился в нас лабиринт безнадежный, — зловещий «список эретек», «куда внесен, кто подлежит уничтожению, кто жив еще, но это не имеет значения» и это создает ощущение придавленности, угнетенности: «Неосторожно поднимешь голову — и поранишься о беспросветность» — у Н. Матяш. Представление источника зла в символически универсальном плане было не только вынужденным поэтическим приемом, поскольку конкретного социального зла нельзя было назвать, но и потому, что зло скрывалось не только в социальном. «Состоит из человеческих трагедий Великая трагедия бытия», — афористически сказал А. Сербантович.

Личностная, человеческая трагедия как трагедия бытия предстает в лирике Е. Янищиц, в частности, в последней ее книге, в последних стихах. Ее поэтический мир, внутренняя гармония души лирической героини при всех испытаниях и перипетиях находили стойкую опору в деревне, в народной традиции, крестьянском мироощущении: «Мне мроілася: песняй, як радном, мяне заужды закрые у скрусе хата» («Мне чудилось, что песней, как рядом, меня всегда в тоске прикроет дом»). Ее видение деревни не конкретно-социологическое, а, если можно так сказать, онтологическое, сориентированное на изначальные архетипы бытия, в основе своей идеальные, освещающие ритуалом, обрядом, традицией.

Шастае вятрыска па дуброве
 Сонца летапада на нілью
 Залатой саломачкі карове
 Паўкапешкі шчыра расцяляю

Стане дзіўнай песні пераборы
 Варушыць зрадзелая радня
 Будзе ноч празрыстая І зоры
 І паўсюль на свеце дабрыня

(Ветерок гуляет по дубраве Солнце листопада — на ниле Золотой соломошки корове Полкопны от сердца расстелю Будет чудной песни переборы Трогать поредевшая родня Будет ночь прозрачная И звезды И повсюду в мире доброта)

Привычная буднично-реальная картина крестьянских забот но какая удивительная цельность и слаженность мира где все живет во всем теплая щедрость солнца — в золотой соломе человек — в щедром попечительстве о «братьях меньших» и все — от травинки до звезды проникнуто добротой Не потому что нет в мире зла а потому что мироздание держится на основе добра и гармонии

Но вот с исчезновением «крестьянской Атлантиды» идеально устойчивый мир теряет свое равновесие балансируя на грани небытия Под угрозой оказывается не отдельное и частное а всеобщее и сущностное — история и природа идеалы и традиции, нравственность и культура, сама человеческая жизнь «Мой милый дом, драуляны мой саколе паберажы свято паберажы!» («Мой милый дом мой сокол побереги свой свет побереги!») — заклинает поэтесса — «Але ляццяць в бездань коні І рас-сы па-еща авес» («Но влетают в бездну кони И рас сы па-ется авес») Рассыпается мозаикой гармоническая картина мира разрывается «перевясло» которое помогало во все времена сохранить душевную стойкость и цельность

Здесь — одна из причин внутренней драмы Евгении Янищиц, драмы ее поколения «Вместе с ней мы похоронили свою молодость, — говорит Г. Корженевская — Впервые так остро, так предметно мы осознали предельную беззащитность поэта — перед миром перед энергией зла перед собственной судьбой»

Вместо эпилога

Поэтическое поколение 70-х ушло в историю Ушло их время а с ним идеи времени формы времени его неповторимое мироощущение Десятилетие недаром называют «сакральной» цифрой именно за этот период как утверждают социологи изживают себя и изменяются идеи взгляды на мир формы общественной жизни

Что же осталось? Остались — поэты Не все Каждый из них идет своей дорогой говорит о своем Кто-то как Ольга Ипатова Валентина Ковтун Таиса Бондарь нашел себя в прозе кто-то как редактор журнала «Полымя» Сергей Законников и редактор «Крыницы» Владимир Некляев, — в плодотворной журналистской деятельности кто-то как Галина Корженевская и Раиса Боровикова, пробует силы в драматургии Видимо, один Алесь Рязанов остался верен избранному пути

Если глядеть теперь с расстояния времени на поэзию 70-х остается впечатление какой-то невоплощенности неосуществленности несбывшихся надежд Да и время теперь такое что вроде бы не до поэзии Но может быть когда мы исчерпаем митинговый публицистический путь и повернемся к человеку к его душе к высокой красе и духовности то вспомним и о ней — «невостребованной»?

Женские антиномии

1

Существует ли «женская проза»? Для меня она — понятие идеальное, гипотетическое. Отдельные узнаваемые приметы различаю то в одном произведении, то в другом.

Некая культурологическая и психологическая инерция всегда вытесняла специфически женское за пределы художественного интереса. Женский опыт попадал в литературу почти контрабандой, с периферии сюжетов, нередко из «вторых» рук (от мужчин писателей). Но только он способен сделать литературу, вышедшую из-под женских пальцев, подлинно самостоятельным явлением, едва ли не поворотным для эстетики. Мне порой кажется, что мужчиной в литературе уже все сказано. Не отсюда ли стихийная активизация «литературных» женщин, не ведающих, что творить?

А перед нами — все тот же окружающий мужской мир с его проблемами и заботами. В лучшем случае он увиден женщиной, но нередко и мужская точка зрения усваивается писательницами. Не случайно они так полюбили центральных мужских персонажей, которым часто передают ведение рассказа. Так художественно преломляется общее стремление побыть не женщиной, если не в жизни, то хотя бы в литературе. В повести М. Крашенинниковой «Прописка» (сборник «Женская логика» М. Изд-во «Современник» 1989) героиня, стареющая писательница, рассуждает: «Были женщины писатели — очень талантливые, но гениев женщин не было». Объяснение она видит в «женской сути», а путь к шедевр — в отречении «от женщины в себе». «Тебя никогда не тяготило, что ты родилась женщиной?» — спрашивает она у собеседницы, писательницы начинающей. И та в ответ вспоминает, что лишь «смирилась с тем, что она женщина».

«Женской логике» воинственно отвечает «Не помнящая зла», другой сборник прозы женщин (М. Изд-во «Московский рабочий» 1990). «Мы вовсе не намерены отрешиваться от своего пола, а тем бо-

лее извиняться за его «слабости», — заявлено в предисловии. Но уже в этой агрессивности чувствуется какой-то странный комплекс. Из предисловия далее выясняется, что «домашний» «круг занятий» женщины «вбирает самые разные точки приложения сил, вплоть... до станка». То есть и здесь самостоятельный путь парадоксально видится в отказе от женской особенности. Не удивительно, что авторы сборника представлены предисловием как «проводники (sic! — О. Д.) определенной социальной информации».

В Набоков напряженно переживал невозможность для живущего заглянуть в две бездны, две вечности: до рождения человека и после его смерти. Это типично мужская трагедия. Женщина самой природой поставлена на краю одновременно обеих бездн. Переплетение и периодическая смена рождения и смерти — содержание физиологического действия в ее организме. И к инструменту своего общения с инобытием женщина, даже совершенно здоровая, обращается постоянно. К изначальному, природному она прикосновена непосредственно. А мужчине практическую, не в воображении, возможность издала заглянуть в манящие «набоковские» бездны дают ситуации, в равной, может быть, степени экстремальные: половой акт и убийство (второе — не дай Бог! Значит, остается одно). Поэтому у современных писателей-мужчин важными элементами сюжета стали эротика и насилие.

Внутренняя связь через организм с природным, стихийным определяет женское сознание в целом. Отсюда и неперменный пантеизм, склонность к мистике, чертовщине, гаданиям, заговорам, и преувеличенное внимание к плотской любви, и чувственный интерес к быту, комфорту, материальному. В нем — отчаянное стремление закрепиться, зацепиться за нечто простое и кажущееся неизменным, внешне вопреки прущему изнутри стихийному, неконтролируемому. Если обратиться к классическому разделению мужского и женского начал, то Мужчина — это Человек дневной, явный, общественный, а Женщина — ночной, потаенный, природ-

ний. В мужчине есть стихийное, в женщине — общественное, историческое. Но стихийное, природное в ней максимально выявлено — и тем она интересна литературе. Поэтому название-формула замечательной повести Н. Сакур «Девочка ночью» распространяется далеко за пределы ее сюжета.

2

Одна талантливая молодая писательница (о ней тут в свой черед пойдет речь) как-то сказала: «Толстая берет сюжеты у Петрушевской и затем их обрабатывает в своем, таком образом, очень красивом, стиле, языке». Мнение, конечно, не слишком справедливое (естественно желание укусьть мэтра), но особенность замечена: вся эта фабульная атрибутика, материальные реалии безразличны Толстой. Какими бы они ни были, все равно приобретут под ее пером черты недостойности, убожества. Главный конфликт принадлежит языку: здесь разворачивается противоборство автора и центрального персонажа, их голосов. Произведение строится на их переплетании, частичном совпадении, размежевании и, наконец, авторской победе, вытеснении голоса героя.

Центральный персонаж Толстой — мечтатель, его глазами как бы дается окружающий мир. Однако герой и его автор совпадают только в одном — в неприятии мира. Он для них — «бренность», «пыль, прах и тлен», «грустное обстоятельство места, времени и образа действия», «тесный пенал», откуда герой и автор по-разному ищут «двери, щелочки... кривого прохода туда», в иную Вселенную. Перед нами — традиционный *Sehnsucht* романтической школы. То же, что автор и его герой видят вокруг себя, — хилые, больные дети; изможденные, некрасивые женщины; «дефектные» мужчины; прожорливые старые певицы; неприятно веселящиеся инженеры; завистливые модницы; расчетливые спекулянты...

Этот мир на удивление бесполой. Женщины здесь предстают то «бесполом брючным товарищем», то «пододеяльным, наволочным фантомом». Не лучше и мужчины. «Сомнительно. Чтобы ты. Был мужчиной», «да это не мужчина, а дядя», сетуют героини (рассказы «Круг», «Чистый лист», «Петерс»). Одним из таких недомужчин постоянно оказывается и центральный персонаж. То есть здоровье, полноценность не становятся альтернативой

хилости, бесполости. Напротив, ненормальность заявлена как условие мечтательности. Так, внутренняя цельность, нравственное «здоровье», приобретенные героем в результате гротесковой операции, сейчас же превращают его в бездушного эгоиста, хама, доносчика (рассказ «Чистый лист»).

Все нормальное, здоровое, укорененное в физиологии или в бытовом существовании человека, автором и его героем — романтиками не принимается. Эти «чужие люди» (из рассказа в рассказ кочующая формула), которые «рожают, размножаются, ходят друг к другу в гости». Неприятна их «оскорбительная» бодрость, то, как они моются, едят, любят. С неприятно смотрит Симеонов на бывшего своего кумира, старую певицу, которой здоровья «некуда девать» («Река Оккервиль»). Здоровье в рассказах Толстой — главный криминал, но не меньше достается быту — этому «пахнущему жильем скарбу».

В героини-мечтатели Толстая с трудом впускает женщин. Их фантазия сосредоточена обычно на выгодном замужестве, обмене квартир, каком-нибудь материальном приобретении. Но если уж женщина допускается в «героин», то право на это ей может дать только из ряда вон выходящая ненормальность: это «сумасшедшие», как их аттестуют окружающие (такова Светлана по прозвищу Пипка из рассказа «Огонь и пыль», Соня из одноименного рассказа).

Обычно женщина у Толстой — носительница и охранительница материального, действительного. Особое место занимает развенчание романтической концепции женщины. Очаровательная лилипутка оказывается злой уродливой карлицей, «томная наядя» — неопрятной старухой, «кудрявая сирена» и «белокурая фурия» сливаются с убогим интерьером парикмахерской, «шемаханская царица» заканчивает жизнь базарной алкоголичкой, «заколдованная красавица с волшебным именем» оборачивается неразборчивой с мужчинами («Круг», «Река Оккервиль», «Свидание с птицей»).

В героини-мечтатели Толстая избирает мужчину не из-за женских пристрастий. Здесь дело в самой грамматической обобщенности, нейтральности мужского рода. Отсюда постоянное сомнение в мужской состоятельности героя. Все, относящееся к физиологической стороне человеческого существования, будь это питание или размножение, для Толстой и ее героя прежде всего основа неприемлемой дей-

ствительности. Рецензент конца прошлого века как-то писал в «Вестнике Европы» (№ 10. 1884.): «...идеал Мопассана был бы достигнут тогда, когда между полами установились бы отношения... без их теперешней «грубости», без деторождения, без всех определенных природой особенностей». Это не слишком справедливое для Мопассана утверждение можно, думается, с большим основанием применить к Толстой и ее герою.

Другой носитель романтической идеи у Толстой — ребенок, опять-таки внеполовое сознание. Противоречий между мечтаниями мальчика и девочки в произведениях Толстой нет (ср. рассказы «Любишь — не любишь» и «Свидание с птицей»). Вообще инфантильность — определяющее качество и самых престарелых центральных персонажей Толстой — в них усиленно автором культивируется. Инфантильность в сочетании с беспорядочной мечтательностью выводят за пределы пола. Характерна и сюжетная асексуальность героя. Женщина интересует мужчин Толстой только как объект их трансцендентального поиска того, «кто выведет... из тесного пена».

Герой-мечтатель рассказов Толстой всегда терпит фиаско. Он оказывается генетически связан с отвергаемым миром, легко смиряется. Моет ли ванну за отвратительной старухой («Река Оккервиль»), соглашается ли на странную хирургическую операцию, возвращающую в лоно обыденности («Чистый лист»), или мирно мечтает о женитьбе на умершей бабушке («Петерс») — он всегда последовательно предстает псевдомечтателем. В отличие от его автора. Произведения Толстой могут быть сколь угодно грустны, но никогда не трагичны. Ведь у писателя всегда наготове могучее орудие его утопии — язык. То «чудо» романтического преображения мира, которого напрасно ждут герои, происходит для их автора. Приметы его голоса: усложненная, недоступная персонажу метафористика, культурологические и исторические ассоциации. Когда в повествование вторгаются «зубастый царь-плотник», Осирис, Тот или неожиданная в устах малолетнего рассказчика латинская поговорка, знайте: перед вами автор. Он располагает носки «на границе существования», то есть на ступнях («Река Оккервиль»); видит, как за увозимым трупом «летит маленький огорченный ангел» («Охота на мамонта»); слышит золотую Даму Времени («На золотом крыльце сидели»); сравнивает шестерки с рассыпан-

ым армянским виноградом («Чистый лист»). Герой же при всем этом только присутствует.

Вот откуда мажорные аккорды финалов: голос певички, льющийся над согнувшимся Симсоновым, «кухонной» Тамарой («Река Оккервиль»); «кубок жизни» («На золотом крыльце сидели»); снова чаша, на этот раз с цикуты (явно слишком лестная для героя ассоциация с Сократом), которую протягивают ему некие «ласковые руки» («Круг») и т. п. Перечитайте рассказы Толстой, и в каждом вы услышите этот аккорд, подводящий итог языковому преображению действительности.

3

Однажды Л. Петрушевская несколько несправедливо отозвалась о рассказе современного писателя: «Она уже и так-то у него, а он ее уж совсем». Петрушевская придирчива, если возникает хотя бы подозрение, что с героем «расправились». У нее он никогда не ничтожен. Человек для Петрушевской — вещь в себе (эта формула действительно появляется в рассказе «Бал последнего человека»), а мир предстает непознаваемым. «Чем были заняты ее мысли, неизвестно»; их свело «нечто, уму непостижимое»; «что он сам думал, нам неизвестно»; «как это происходит, никто не ведает»; «мы здесь заранее ничего не поймем» — такими оговорками настойчиво заполняется повествование. А самое тривиальное здесь всегда таинственное проявление чего-то «иного», глубинного. Ведь это лишь «говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело» (рассказ «Грипп»), а на самом деле все «с тайной и недоговоренностью», самое бытовое — «нечеловечески страшно», «чудовищно запутанно». Когда же ситуация разрешается буднично (или так кажется?), это воспринимается как нонсенс: «что-то тут не сработало, если все закончилось... просто так» («Смотровая площадка»).

В повествователе Петрушевская воплощает женскую точку зрения на мир. Осознание его таинственности вырастает из причастности к мировым тайнам. Зачатие, беременность, роды — все то, что юному герою из «Случая Богородицы» является сакрально «запретным, тайным, нужным» — становятся определяющим мотивом. Петрушевская редко не упомянет о — прошлой ли, настоящей — беременности героини. Ведь только после этого наступа-

ег «самое главное», «все начинается» («Скрипка», «Бессмертная любовь»). Настойчиво акцентируется живот женщины — принадлежит ли он толстухе, отвисая, «как у беременной на девятом месяце»: средоточие ли болезни, и героиня периодически прижимает к нему ладонь: «желудок» ли Лидки, наперсвее с которым она бежит по жизни («Рассказчица», «Козел Ваня», «Смотровая площадка»). Женская фигура с рукой на грузно пухнувшим животе маячит за всеми персонажами.

Поэтому в каждом подозревается невидное «дно». У персонажей «такой вид», как будто их действия имеют «какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл». Эта варьирующаяся из рассказа в рассказ формула прямое отношение имеет только к героине. Она связана с природным, изначальным. «Чувствительная, как амeba», «ленивое животное» — подчеркиваются дообщественные основы ее существования. Она же «стена», о которую разбивается рациональное познание: «пустое место», не заполненное «настроением момента», открытое разнообразному природному. Это женщина «сама по себе» (вариант формулы «вещь в себе»), «живущая своей жизнью», человек вообще, не зависящий от исторических, социальных, бытовых конкретизаций («История Клариссы», «Смотровая площадка», «Стена»).

Днем она делает как «полагается» («Страна», «Случай богородицы»), живет по законам внешнего, мужского мира. Болсе же всего «на месте» чувствует себя по ночам, когда ей снятся «божественные сны» и она не рассуждает, а устраивает как «лучше». Ведь она представляет потайную, ночную сторону человеческого существования, его истоки в «несознающемся состоянии расцвета, развития и безудержного роста» (из рассказа «Юность»). Эта укорененность в природном диктует своеобразное бесстрашие героини, общую ее устойчивость и защищенность в мире. Она, «не крикнув ни разу», переносит боль; всегда проворная, легкая, веселая. Это «мужественная девочка», «все принимающая... со счастьем». Ее никогда не посещает «даже тень отчаяния и сомнения» («Бессмертная любовь», «Смотровая площадка», «Отец и мать»). Из причастности к первоосновам мира вырастает осознание себя его «собственницей», как в рассказе «Слабые кости».

Этой укорененности лишен мужчина. Отсюда его «несдержанное, не стесняющее себя ни в чем», «свободное и легкое

временное прохождение» («История Клариссы», «Отец и мать»). Но отсюда же беспомощность и ужас перед всем, исходящим *de profundis*. Рождается ребенок, и герой «в отключке», заболсвает, и сразу же грозит гибель... «Неужели вам никогда не хочется радости, счастья, неужели вы не язычник, не поклонник земли и неба», удивляется женщина. Нст, признается мужчина, «я не умею радоваться». Ведь чужая и враждебная тайна человеческого рождения тяготеет над ним («Гость»).

Поэтому мужчина вызывает настойчивую жалость. То обращается внимание на его маленький рост, как в «Приключениях Веры», то на детскую беззащитность: «толстый ребенок», «наивный мальчик со рока двух лет»... Он изначально обречен. Постоянно ждет героиню, что дядя Гриша в одноименном рассказе упадет с крыши. Он погибает иначе, зато с крыши упал Павел из «Элегии», едва жена отвернулась. Другому герою, оставшемуся без женщины, грозит голодная смерть, он кончает с собой. В то время как его жена «щепкая, как все женщины-матери, как нибуь нашла бы выход из положения» («Грипп»).

Герой в отчаянии хватается то за бытовые традиции, как Андрей из «Смотровой площадки», то за искусственные математические построения, как Серж «Своего круга». Задача — организовать стихию мира, заменить непредсказуемое планируемым. «Можно ли по книгам изучать технику любви, да и нужно ли это», — сомневается героиня. Мужчина считает, что да («Удар грома»). Ему нужен мир внешних обстоятельств, поддающихся регулировке. И главное препятствие — женщина. Он то не прочь упрятать ее в колонию, то осуществляет хитрый план усмирения («Приключения Веры», «Сети и ловушка»). Он завоеватель, покоритель, полководец, как попеременно определяет его повествователь. А конечная цель — «освоить» мир.

Но, вытесняя из мира стихийности, герой оказывается разрушителем. И сам же переживает свое губительное влияние, «разбомбление жизни», потрясение основ бытия («Смотровая площадка», «Сережа», «Ночь»). «Освоенный» мир сейчас же приобретает черты неестественности, болезненности, неполноценности. Женщины теряют укорененность, как журналистка в рассказе «Слабые кости», чувствуют себя растерянными, нечастными тайне, как проститутка в рассказе «Дочь Ксении». Они теперь всего боятся (от мужчины до

атомной бомбы). как Раиса в «Такой девочке». «Что-то в ней было испорчено. какой-то инстинкт самосохранения» И женщины перестают рожать, как героини «Своего круга». И половые органы самого мужчины «истощаются» (там же). В этом рассказе целый паноптикум таких недомужчин-недоженщин. И вообще «проявления мужественности и женственности редки», вызывают «общее любопытство, граничащее с негодованием» («Смотровая площадка»).

Это те же болезненность и бесполость, окружающие героев Т. Толстой. Преодоление у Петрушевской связано с центральной героиней. Отсюда ее положение парии — обычная примета мессии. Мужскому «кругу» (мотив многих рассказов Петрушевской), ограничивающему стихийное, противостоит женская «сфера пола» (как ее называет повествователь), перед ней ничтожны чешские или польские «события», «такие-то» судебные политические процессы, христианство Зильберманов, научные изыскания Сержей, диссидентство Олегов («Свой круг»). Героиня (а рядом и окружающие) просто предает забвению все эти обстоятельства места, времени и действия, и они действительно перестают существовать («Юность», «Рассказчица», «Милая дама»). Вот откуда совсем иной, нежели стилический happy end Т. Толстой, трагический оптимизм: «Жизнь такова, что она все изворачивается, все поднимается после ударов, все растет и пучится» («Смотровая площадка»).

4

Передо мной сборник «Женская логика». Все дело в прописке, размышляет его героиня (рассказ М. Крашенинниковой «Прописка»). Как у Л. Качинской, Г. Скворцовой, Н. Моловцевой и других, дело в том, кому «определить» наследство, как выйти замуж, отстоять право «прохлаждаться» на старости лет — смотреть телевизор... Ничего «непредсказуемого, алогичного», как обещает аннотация и название сборника, в складе ума и характере поступков персонажей не проявляется. Это мир внешних, поглощающих человека обстоятельств. Его постоянное население — старики, старухи, а если женщины помоложе, то «вековухи». Последних объединяет то, что в них не осталось ничего женского, как говорится об эпизодической героине. Кулакам и плечам одной завидуют грузчики, другая в молодости «шла за мужика» (Н. Моловцева «Единственный шанс», «И

проснутся цветы подснежники»). Все они носители психологии «последнего рывка», связываемого с мужчиной, даже если когда-то у них уже была семья или они юны.

Героиня «Женской логики» всегда ощущает себя ущемленной, зависимой. А мужчина здесь — залетный гость, олицетворение надежды. Является ли он в образе «супермена с профилем гончей» (М. Ключникова «Сила») или начальника по работе, подходит ли случайно в аптеке, по дороге из кино, в комиссионном магазине, задача одна — «охмурить», удержать, понять, до какого предела можно перечить. «За детей, например, ей лучше не заступаться», — соображает Клавдия из «Единственного шанса». Женщине в этом мире всегда трудно, неудобно.

М. Крашенинникова рассказала, как фиктивный брак помог найти суженого. Но брак у героев «Женской логики» всегда фиктивен, то есть формален, как и отношения мужчины и женщины в целом. Здесь трудно представить себе любовь. Ее заменяет измученность «бездомовьем». К такой же фиктивности тяготест деторождение. Это лишь способ «обратить» мужчину. Так, Надя из «Прописки» «согрешила», сказала, что беременна, а после свадьбы — что ошиблась. Поэтому не удивительна общая неприязнь к физиологическому, телесному — неуправляемому. И если Изольду Иванову беспокоит, как ее дочь «без всякого стеснения» прижимается к мужу, то Иринка боится собственного тела, живущего «своей неизвестной» жизнью. (Л. Качинская «Листья желтые», М. Крашенинникова «Прописка»).

И этот мир на удивление тривиален. «Жизнь — это сплошная цепь утрат», или «работа от всех болезней лекарство» — делятся авторы открытиями героинь и добавляют от себя, мешая стиль «Родной речи» с романтическими штампами. «Галка читала много, удивляя молодого супруга книжной своей всеядностью», «новый семейный корабль поднимал совсем еще чистые паруса». Обида у персонажей «Женской логики» «царапает по сердцу», сердце «расходится от дум да от памяти». Весна «по-хозяйски» расчищает «залезжи снега». Солнце заливает «окрестности своим молодым блеском». И безлико-песенно-лубочен портрет героини в молодости. «...сияли ее глаза голубым огнем, а коса, спелого пшеничного цвета, свисала ниже пояса...» Может быть, эта неиндивидуализированность объясняет легкую утрату героиней женского и ее томительное положение в мире?

5

А сборник «Не помнящая зла»¹ отличается двоимирие. «Кто?! Кто прячется здесь?.. Кто-то здесь есть?» Кто «неведомый выкручивает» жизнь героини? — эти вопросы из рассказов И. Полянской — ключевые для сборника. Ответ всегда безнадёжен: «Я ничего не знаю. Не понимаю... Не могу вникнуть...» (как в «Площади» Полянской, «С чужих слов» Н. Кореневской). У С. Васильевой потусторонность ассоциируется то с ночью, где «под первым слоем» скрывается «другая ночь, развёртывающаяся голодными огнями... готовая для... расправы», то с морем: «...я плыла, но мне все труднее... становилось прорываться... к... главному высвобождающему броску, чтобы... оказаться внутри» («Отец умер», «Генуэзская крепость. 5»). Между мирами — постоянное общение. Оттуда приходят изменчивые красавицы, духи, привидения. Но это не приближает другой мир, своими явлениями он лишь дразнит. Общее в сборниках — невозможность преодолеть, если использовать слова Васильевой, совокупность окружающих условий. Отсюда «вечное раздражение» («Сельва» И. Полянской), устойчивая примета героинь.

Образ «круга» навязчив на страницах «Не помнящей зла». Он то узкий — ссыльных, то широкий — провинциальных знакомств, то оборачивается толпой политических демонстрантов, откуда рвется герой, а то возвращается к символическому истоку в полубредовых размышлениях героини: «порочный круг или камерный кошмар, как лучше?» (в рассказе Е. Тарасовой «Не помнящая зла»). «Мир» по-гречески означает ожерелье... круг, в котором ты сам», разъясняет С. Васильева («Генуэзская крепость. 5»).

Окружающий мир печален, бессмыслен, несправедлив. Его заполняет смерть. В обилии умирают, кончают с собой, гибнут животные, люди, деревья. Река подмывает кладбище, и плывут, покачиваясь, гробы (И. Полянская «Жизнь дерева»). В солнечных бликах на земле узнает героиня «трупные пятна» (С. Васильева «Отец умер»). В бессмертии отказано и душе, на нее распространяется тление больного тела («Не помнящая зла» Е. Тарасовой). Вопрос Полянской «неужели я умру?» из рассказа «Жизнь дерева» — сквозной для сборника. Как и варьирую-

щееся восклицание. «Господи, как нам хочется жить!», «А жить-то хочется!» (С. Васильева «Отец умер», Г. Володина «Всю жизнь испортил»).

Этот мир постоянно разрушающийся Бытовой мотив — дом, предназначенный на слом, — оборачивается символическим (Н. Горланова «История озера Веселого», Г. Володина «Всю жизнь испортил», «Выборы»). Но мир и мнимый. действующая больница на плане давно снесена, несуществующее озеро, напротив, обозначено на карте («История озера Веселого» Н. Горлановой). Отсюда «неистребимое недоверие к красоте» (Н. Кореневская «С чужих слов»), прямая к ней ненависть (Е. Тарасова «Не помнящая зла»). Ведь во временности, изменчивости красоты сконцентрирована эфемерность этого мира в целом. Красоте героиня Тарасовой противопоставляет вечную «гармонию безобразия», с возрастом усиливающегося. Она любит своим изуродованным болезнью телом, являясь себе в зеркале «тысячелетним идиолом». Безобразие пугает и тем оказывается сродни потусторонности, то есть миру подлинному, вечному.

Единение с ним в обеих его ипостасях остается невозможным. «Смерть — это недостижимость» (Н. Горланова «Старик»), но и тайна рождения для героини Тарасовой «страшная суть», едва ли не более, чем для «гостя»-мужчины Петрушевской. А любые физиологические отправления кажутся, как и героям Т. Толстой, связанными с «мнимой» действительностью мира. К его активному преодолению женщина в сборнике «Не помнящая зла» не склонна. Именно жены в социальном контексте рассказа Володиной «Выборы» тащат бунтующих мужей в агитпункт. Опыты же исключительных натур или обречены, как у Лены в том же рассказе, или ведут напрямик в «желтый» дом, как в рассказе Тарасовой.

6

Лариса Ванеева естественна в обоих сборниках: «Женская логика» — рассказы «Призрак одного таллиннца, или Гибель Одессы»; «Разведение рыбок (Модель)»; «Не помнящая зла» — рассказ «Между Сатурном и Ураном (тени)». Общие мотивы достигают у нее какой-то особенной безысходности. Используем также ее сольный сборник «Из куба», выпущенный в прошлом году.

«Замкнутый круг», «четвертый круг

¹ М. Изд-во «Московский рабочий» 1990

ада» и наконец «куб» (конструкция жеста), откуда рвется ванесевский персонаж в «надрсальность», строятся его же собственными силами. Духовные ориентиры, призванные вывести за пределы повседневности, оборачиваются лишь еще одним ее «внешним обстоятельством». Будет ли это крещение в православном храме, упражнение хатха-йоги или художественное творчество.

Вот характерная для ванеевской прозы проблема выбора. Пойти на богослужение, в кино или есть еще «вышибающее мероприятие», по определению героини, — пьянка. И напрасно здесь искать кощунства. Оно предполагает осознание святости оскверняемого. Вакхическая пляска на алтаре не обязательно противоречит вере. Но в прозе Ванеевой алтарь и бутылка водки уравниваются как средства вырваться из окружающего, что-то поставить между ним и собой. Так же писательство. Периодически монашествующая героиня вдруг начала сочинять «от ужаса» перед возлюбленным, «перед тем, что они тут творят» («Между Сатурном...»). Литература становится лишь препятствием для мужских приставаний. И мужчина свято блюдет неприкосновенность творчества, входит «на цыпочках».

Секс для героини — третья альтернатива (кино, как совсем несерьезную, мы не учитываем). «Дать или не дать» — здесь решающая, религиозно обоснованная дилемма. Воздержание и половая активность — для героини это два Пути, Запад и Восток, Христос и Кришна. Героиня то выбирает аскезу: «...после разных мистических штук этот путь (секса. — О. Д.) мне теперь... заказан». То путь к Богу ассоциируется с эротическим экстазом: «Если женщина не может отдаться мужчине, то как она отдастся Богу?» В рассказе «Взлет» Свен отказывается «любить» свою тетюшку-ровесницу Машку, когда рядом умирает его дед. Хотя в этом «не было бы греха». Намек на кровосмешение придает возможным отношениям особую прелесть в глазах героев и автора. Отказ от «хотевшей» Машки для них проявление неспособности «идти до конца». Здесь какие-то намеки на эротические тайные культы, связанные со смертью, но у меня ассоциация с шолоховской «Судьбой человека» (!). Там герой пьет предложенную фашистами водку, а от закуски постоянно отказывается, чем проявляет, согласно школьной трактовке, национальную гордость. Если подражать жаргону ванеевского персонажа: в одном случае — хав-

ка, в другом — трах... Мерила духовной состоятельности.

Для Ванесовой и для ее героинь Пол, как и Бог, — «вышибающие мероприятия». Поэтому преимущества у более сильных и экзотических переживаний: у Кришны перед Христом, у гомосексуализма перед гетеросексуальностью... Героиня то волнуется, что не может ответить на лесбиянские устремления подруги, то воображает любовника своим братом (опять искушение инцестом), а то выясняет: «может, с сукой тоже можно» («Сартр в русском варианте», «Между Сатурном...»). Вспоминается, как в чеховской «Дуэли» о Лаевском его антагонист фон Корен замечает: «Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла... спрашивает, что произойдет, если случить осла с верблюдом?»

Однако чаще и заурядный половой акт воспринимается героиней как нехорошее. Отказ от него видится более надежным путем к Богу. Смена пола персонажей в творчестве Ванеевой кажется последовательной. Преодоление женского — определяющий пафос героини. «Ты ведешь себя как мужчина», «подруга посматривала на женщин взыскующим мужским взглядом», «мы с тобой сбежали по-мужички» — отмечается медленный половой переход. И наконец упрек: «...оставалось в ней еще что-то женственно-человеческое». В. Розанов называл таких, с текущим полом, «людьми лунного света» и утверждал связь между тяготением к аскезе и тайной гомосексуальностью.

В мужском роде для Ванеевой, как уже было у Т. Толстой, привлекательна грамматическая обобщенность, всечеловечность. От преодоления половой заданности (не случайно уже героиня «Сартра» чувствовала себя «внеполовым существом») персонаж движется к неразличению жизни и смерти («что умрешь... не имеет значения»), прошлого и будущего (жить «без завтра... в одном настоящем»), человеческой личности (для него это все равно, с какой женщиной жить), «любовных отношений» (так мучивший героинь-предшественниц) к преодолению всей дробности мира.

У переодевшегося в мужское персонажа растет осознание своего избранничества. Если уже героиня «Между Сатурном...» обращается к Господу: «Ты приходил ко мне... это вера Твоя в меня», то Иван из «Разведения рыбок» сам выделяет из себя (!) Христа как свою эманацию. И опять здесь нет кощунства. Мотается ли герой

между «портовой шлюхой» Одессой и идеальным Таллинном или «сливается с Вышшим» на полиэтиленовой подстилке — это все та же охота к перемене внешних обстоятельств, которые, если использовать образ из пьесы Н Садур, соседки Ванеевой по сборнику, «не спасут и не накажут» (сценический вариант рассказа «Замерзли»). Характерны трагические финалы. «Таллинец», видимо, умирающий в подворотне, ощущает, как становится Городом, усваивает его стены, ступени, окна, крыши, «канализацию вен», «водопровод артерий».. Но «узкие стены» многозначительно склоняются над ним и возвращают нас к образу куба. И он же возникает, когда Иван, наполненный новым Знанием, отправляется с полиэтиленовой подстилки обратно в семью: «Мир сузится до размеров спичечного коробка, в котором загромождает жук»

7

Прозу Нины Садур не только невозможно представить в «Женской логике», но и в «Не помнящей зла» она чувствует себя неловко. Главной проблемы соседей по сборнику для садуровского персонажа не существует. Лейле из пьески «Замерзли» как-то приснилось, что ей «из смерти» звонит по телефону мама (в книге Садур «Чудная баба». Пьесы. М. В/О «Союзтеатр» СТД СССР. 1989). Общение садуровских персонажей с иным миром — всегда бытовое, почти семейное. Если герой Ванеевой, по самохарактеристике, — «дурак... набитый реминисценциями», то мистические прозрения садуровского человека не литературны, естественны. Не случайно Садур выбирает образовательно ограниченного. Сбывающиеся приметы, таинственные совпадения, предсказания и поверья, ведьмы и домовые — его привычная и естественная среда. С его уст в обилии сходят заговоры и заклинания. После чтения Садур всегда остается ощущение серьезной фольклорной работы.

«Это все время с нами и следит за каждым нашим движением», говорится о потустороннем в предисловии к «Проникшим». «Мы тут живем. а оно ворочается, и скрипит, и чавкает. Оно шарит липкими усами, кого зацепить отсюда». — вторит философ Хома в пьесе «Панночка». «Видишь, ничо же нету кругом. Одни стихии», преувеличивает Машинист из пьесы «Ехай». Убивают ли люди друг друга, окружают ли себя дорогими вещами — все это, объясняют герои, — от страха. «чтоб

стихии эти.. хреновые отодвинуть от себя», «чтоб человек не пугался неясных и неприменимых в жизни явлений» Потому что «не нужно живому заглядывать во мрак этот... у него свой закон, а у земли.. свой». Но герои только тем и занимаются, что заглядывают в «черную дыру» (любимый садуровский образ) и опаливают себе очи, по слову персонажей «Панночки».

С их глазами постоянно что-нибудь происходит. То затягиваются как бы бельмами, перестают различать и в том, и в другом мирах, как Гендос в рассказе «Две невесты» или Гарри из «Злых девушек», то в глазах отражается «одно только слепое небо» — «слепые безжалостные глаза», приспособленные лишь к потустороннему, как у Аллочки и Бори из пьесы «Уличная ласточка», а то приобретают способность по-волчьи загораться — это люди, причастные обоим мирам, как Егор из пьес-диалогий «Ублюдок», «Лунные волки». В последнем случае герой — посредник между мирами. Это «ублюдок», отпрыск собаки и волка (вспомним Сашу Соколова), приговоренный к двойной жизни. Волк-искуситель, представитель другого мира, появляется в произведениях Садур. Под волчий напоминающий вой нередко происходит их действие. Но «лунными волками» осознаются персонажи, полностью выпавшие из посюсторонней реальности. Луна и Солнце — светила, соответствующие двум мирам. В «Девочке ночью» (подробно я писал о ней в статье «Мир может быть любой» — «Дружба народов» № 6. 1990) героиня оказывается вне «дневных» чувств и привязанностей. И так же Лидия Петровна из пьесы-диалогии «Чудная баба» перестает существовать в «дневном» мире. Вновь вспоминаются розановские «люди лунного света». Там переход из одного мира в другой описывался в пределах розановской сексуальной тематики.

«Проникшие» у Садур — обычно женщины. За некоторыми исключениями мужчина — принадлежность «дневного» мира. В этом смысле он «мятежник» (его любимое садуровское определение), по отношению к стихиям («Девочка ночью», «Червивый сынок» — из цикла «Проникшие»). Его задача — «закрыть собой уродство мира, как герой» (у Петрушевской он — полководец, завоеватель). Потому что «если порядком нас не сковать... нам же хуже! Там же одни звезды и тьма-тьмущая» («Червивый сынок», «Ублюдок»).

Потусторонность героиню страшит, но и тянет, «аж нутро выворачивает», как ч

Наташки из рассказа «Миленький, рыженький» Для «проникшего» начинается новое существование. Аллочка прежде «все хватала, все бросала. Как ребенок в магазине игрушек». А теперь превратилась в «бесцельную жену», «беспамятное существо» («Уличенная ласточка»). «Раньше вы не задавали таких вопросов», подзревает юную сослуживицу Лидия Петровна после сельхозработ, где ей самой явилось персонифицированное «зло мира» («Чудная баба»). «Пан философ, как вы говорить стали?» — удивляется Хвеська, когда Хома вернулся после общения с мертвецом («Панночка»). Мир предстает «нежным, розовым, юным», возникает образ земли, с которой, «как кожа с ореха», сполз верхний слой («Чудная баба»). А обыкновенными горшками, сохнувшими на солнце, Хома любит, как открытием.

Заурядное у Садур всегда оказывается внутренне чудесным. Взаимопроникновение миров осуществляется на глазах читателя. Себя узнает Наташка Соловьева в крошечном существе, вползающем к ней на одеяло (ангел-хранитель, обернувшийся волосатой нечистью? — в «Миленьком, рыженьком»). Заснеженное лицо Бога с креста-декорации видит героиня рассказа «Замерзли» у пугающего ее театрального дебила, который, видимо, поэтому ведет себя, «будто он тут самый главный». Справедливый суд вершит над злой соседкой «синяя рука» в одноименном рассказе. И непонятно, то ли ею обернулась сама Валя, то ли рука затем прихватила ее с собой (в ее комнате наутро нашли только скомканную ночную рубашку). Лариса же из рассказа «Кольца» в загадочных снах «любит... такой любовью», которую ей «никогда не понять в жизни».

Любовь — основное занятие садуровского персонажа. Ванеевское «хорошо или плохо?» для него не существует. За освобождение от «дневных» запретов «проникшие» и попадают в положение изгоев. Они — «жавшие руку привидениям», по Ф. Ницше, среди обыкновенных людей. Если героиню повести «Юг» влечет к ребенку, то Хома из пьесы «Панночка» заглядывается на красоту не только земной Хвеськи. Не случайно в постановке студией «Человек» оттенено эротическое в отношениях Хома и ведьмы-мертвеца.

Рационализм Садур не жалуется. В не раз высмеянном мифе оказывается больше правды о бытии, чем в школьных знаниях, согласованных с наукой. В океане земля плывет, на трех китах, объясняет Баба —

«зло мира», а всякие там «космос», «галактика»... — это «чтоб вам не скучно было Игрушки вам давали» («Чудная баба»). И удивительное, почти дословное совпадение (потому что я не убежден, что Садур так подробно изучала и запоминала Льва Шестова): в «Апофеозе беспочвенности» он смеялся над «неправдоподобными» утверждениями, что земля не неподвижна, как об этом свидетельствует очевидность, что солнце не обегает землю и т. д. Шестов подобно садуровским персонажам любил заглядывать в «бездну», не боясь головокружений.

8

Два рассказа Светланы Василенко и Марины Палей как будто писались в сознательном взаимоотталкивании. Василенковская «Царица Тамара» вошла в «Женскую логику»; в пространном варианте, под названием «Ген смерти», — в более ранний «Встречный ход» (М. «Всесоюзный молодежный книжный центр» 1989). Палеевская «Кабирия с Обводного канала» существует пока в рукописи.

О работах друг друга писательницы, конечно, не знали. Их центральные персонажи — «беспутные», «непутевые», удивляющие сексуальной мощью. Стремление Тамары к калекам, убогим, униженным напоминает о древней священной проституции. Античные аналогии своей Моньке подыскивает Палей. Тамару «всю изрезали, живого места нет, а все туда же — скотила в больнице компанию, любовь, говорит, лучший врач. ..» Изношенная, разваливающаяся от многих болезней Монька, едва оправившись в очередной раз, сейчас же с девичьей пылкостью думает о мужчине. Повествовательница будто завидует ее любовной энергии, как героиня Ванеевой — подруге-лесбиянке В «беспутности» для них обеих — преодоление окружающего мира.

У Палей это мир прежде всего торжествующей социальности: лозунгов, плакатов, партсездов, теле- и радиопередач («что-то про космонавтов», «громыхает про Ленина», «наш новый руководитель обольстительно улыбался американскому...»); мир уличной «озлобленности средней руки», жилконтор, гардеробов, пунктов приема стеклотары.. и даже «фонда мира». Это я перебрался в уже опубликованную повесть «Евгеша и Аннушка» («Знамя» № 7 1990). Автор объединяет ее с «Кабирией» и неизданным «Поминовением» в трилогию — «...мимом, сквозным

образом повествовательницы, наделенной некоторыми автобиографическими приметами. В беспорядочной, — вопреки жизненному опыту, — доброте старушек соседок она видит то же преодоление «варева будней», их «слепого бесцельного механического завода». У нее же самой — другой путь: «скандальная неосведомленность», житейская неприкаянность, принимающие принципиальный вид. Характерно, что даже смерть окружена здесь социально-политическими ассоциациями. «Похожим на райком партии» видится морг. Его преимущество перед «жэком, поликлиникой, исполкомом, любой конторой» — нет волокиты. И естественно заключительное признание: «я не верю в загробную жизнь».

Но только она едва ли не единственная подлинная реальность для С. Василенко. Это «глухо ворчащая» бездна, «ворочающаяся чернота», которую Наталья из «Царицы Тамары» однажды увидела в собственной оплодотворенной утробе. Это бездна по одну сторону, а вот по другую: «холод ни на что не похожий, ни на холод живого, ни на холод навсегда мертвой материи» — в руках героини погибший птенец (рассказ «За сайгаками» — в сборнике «Женская логика»). У Василенко мир и человек в нем всегда повернуты своей вечной стороной. Ресторанная беседа оказывается имеющей «древний смысл», как деление клетки. Героиня принимает ванну, но входит в первоначальную среду, «туда, откуда пришла». Парковое колесо обозрения задает движение Вселенной («За сайгаками», «Звонкое имя» — там же). Поэтому так любит Василенко число 12 с его библейскими ассоциациями: десять мужчин и две женщины в зале ресторана «и есть человечество» («За сайгаками»). Двенадцать учеников в классе биолога Натальи Рожковой и двенадцать женщин в палате, куда попадает героиня, но в роли учителя ее сменяет Тамара («Ген смерти» — в сборнике «Встречный ход»).

Социальные, бытовые реалии агиографически деформируются. Плачут ли медсестры над тазами с нерожденными младенцами? — спросит чересчур реалистически настроенный читатель (или эта сцена «подсмотрена»?). Но для Василенко важнее сама фигура плакальщицы. Переживание смертности у нее на центральном месте. «Тошнотворно-сладкий» запах тления чувствует Натка в чужой квартире, а в метро у сумасшедшей бабки «белый палец, каких не бывает у живых». Во сне видит возлюбленного и радуется что жив,

хотя смерть ему непосредственно и не грозила. Вспоминает ли подурневшую подругу или школьный учебник, общо размышляет: куда девается красота? куда делись хазары, Золотая орда, Стенька Разин («Царица Тамара», «Звонкое имя»)?..

В повести «Шамара» (сборник «Не помнящая зла») Василенко дважды изображает изнасилование. Но ее больше интересуют глубинные основы человеческой сущности, само по себе страшное событие становится лишь катализатором. Восемь парней насилуют Шамару на снегу, а потом греют ей ноги о батарею. Ее же насилует позднее муж, но только после этого к ним ненадолго возвращается утраченная семейная связь. Над овладевшим ею мужем жена обретает древнюю власть. «Убей!» — с архаической властью велит она, и он, «как заколдованный», подчиняется. Любовь и ненависть, жестокость и доброта оказываются всегда взаимобратимыми, архаически нерасчлененными. Жесток и убог мир военного городка в повести, но пьянки в фабричном общежитии, лагерный развод, глумящиеся над девицей юнцы — только фон для первобытных страстей героев. Все это наполняет жесткую прозу Василенко буйной радостью жизни. Ее произведения уживаются в обеих сборниках, обманывая амбивалентностью, поворачиваясь то бытовой, тщательно выписанной стороной, то ее преодолением.

9

Героини Василенко — прежде всего метафизические сгущения. Отсюда их устойчивая парность. Это две стороны женской природы. С одной связывается любимое василенковское имя — Наталья (ей обычно придай и некоторый автобиографизм). Это представительницы цивилизации, разума, организующих стихийность. Они образованные, осмысляющие, пишущие. Противостоящие «сообществу... здоровых, улыбающихся людей» «с запахом счастья», их отчужденно наблюдающие в метро, парке, очередях, автобусах, на вокзале — как Наталья «Гена смерти» и «Звонкого имени». Фиксирующие их «местные обычаи» — как Наталья из «Шамары» (они для нее — «папуасы», а она для них — «Миклухо-Маклай»). Люди для Натальи живут по законам «плоти», «слепой тупой силы» инстинктов, не выделившись из природы. Наталья не любит тела и боится его — эти «размножающиеся клетки кожи на руках, ногах, шее, груди», биологию, с которой связывают смертность.

Другое имя — переменное: Юлька, Зина Шамарина (в ее прозвище — шаманство, колдовство, это имя волшебницы), Тамара (а она царица)... Это представительницы стихийного, неограниченной жизни плоти. Наталья и Тамара — это столкновение духа и тела, цивилизации и природы, христианства и язычества.

В Наталье как будто воплотила Василенко палеескую повествовательницу с ее «бунтом против заданного, как похоть, и узаконенного умирания» («Евгеша и Аннушка»). Физиология — ее другой, кроме социальности, враг. Победа духа над немощной плотью — главный смысл судьбы Моньки-Кабирии, ею самой, конечно, не осознанный. В «Евгеше...» — обратное: унижающие «доказательства последней старческой немощи» — оброненные под дверью экскременты. Палееской повествовательнице особенно близка Наталья из «Гена смерти». Им обоим сильно повредило медицинско-биологическое прошлое. «Анатомически ущербными» предстают у Палей души в «христианском раю». И так же анатомически мыслит Тамара: «в какой душе?! — вот здесь, в грудной клетке».

Палей и Василенко нередко «обмениваются» персонажами. «Бойкие шлюшки», «осмнадцатилетние девы, вырвавшиеся за шлагбаум деревни» и устроившие из Евгешинной комнаты «нескучный бордель», готовые для общежитейского мира Василенко. Но она бы различила в них что-то еще, кроме фривольной игривости потаскушек, как в Долбилкиной и Стукалкиной, вопреки фарсовым именам ревущих и разыгрывающих «мамочку» над бредящей Шамарой. Проза Палей в наше время воспринимается с любопытством. Я, например, думал, что литература приговоров окончилась. Но палееские персонажи не столько действуют, сколько разбираются. Как на традиционном школьном уроке: «отрицательные черты», «положительные». Героини Палей — «без слов», как в старой пьесе. Они порождение образованной мысли повествовательницы. Она окружает их «недоступными им» литературными и культурологическими ассоциациями. Всегда не забывает заметить: «таких книг она (героиня. — О. Д.); конечно, не читала», «таких слов не знала», «библейского оттенка не подозревала»... И пересоздает житейский характер, наполняет его собой.

Василенковские персонажи все «говорящие», они обмениваются ролью Учителя. И вот Наталья под влиянием Тамары прозревает путь к бессмертию в жизни

плоти, думает о «биологии» не как о «черной злой силе». Если при первой встрече она видит у Тамары «большой мужской кадык, который жил самостоятельной механической жизнью», то в конце рассказа он «будто удерживает эту голову, схватив за горло, чтоб... не улетела». В «Женскую логику» не вошел заключительный символический эпизод вознесения Тамары и Натальи, их полет среди звезд... «Тамара шагнула первая. Они входили в рай... как... к себе домой».

10

Пары «Петрушевская — Толстая», «Садур — Ванеева», «Василенко — Палей», пара сборников — сами по себе произвольные. Можно было бы предложить иные, чтобы выявить две тенденции в развитии литературы женщин. Валерия Нарбикова как-то веселилась, когда я рассуждал план будущей статьи: отчего это все так мыслят? Пушкин или Лермонтов, кто твой любимый поэт? Цветаева или Ахматова... Еще одну тривиальную пару обыгрывала она сама в «Плане первого лица. И второго»: Достоевский-Додостоевский — Тоестыльстой. Но, видимо, культура действительно движется сменой оппозиций и массовое сознание, любящее тесты, лишь отражает эту закономерность.

Однако для самой Нарбиковой пары не подобалось. Ей параллели следует искать скорее в традиции, чем в современности: Хлебников, отчасти Вагинов, может быть, Ремизов, хотя с последним она не согласится. Но главное, что в ее прозе преодоление окружающей конечной реальности является завершенным, принимает форму пересоздания. Может быть, от этой нарбиковской итоговости — стремление составителей заключить ею сборники. Так — в «Не помнящей зла». Почти в конце она и в «Женской логике». Когда я составил сборник «Видимость нас» — его судьба до сих пор загадочна, почти помимо моей воли Нарбикова заняла место в конце подборки.

Со времени моей статьи в «Дружбе народов» (№ 6. 1990) она еще опубликовала «Около эколо...» («Юность» № 3. 1990), «Пробег — про бег» («Знамя» № 5. 1990) — части единого повествования, его третья часть пока не издана; повесть «Ад как Да ад как дА» (в сборнике «Не помнящая зла»). Можно было бы предположить, что «Ад...» непосредственно предшествует «Пробегу...». Их объединяет прежде всего мотив, по происхождению необычный для

Нарбиковой Привычно обилие литературных и исторических имен, ассоциаций подвинуто современной реальностью: отделением союзных республик. Всегда такое аполитичное повествование до предела заполняет больной политический вопрос. «Наши республики, наша гордость», «языковые границы», «Москва столица... сделай Ташкент столицей», «всей душой присоединились к России», «на каком языке русские должны обсуждать свои проблемы», «от южных до северных морей», «феодалы растаявший узбек», «капиталистически ослотивший немец», «корона Российской империи», «Узбекистан... филиал России», «нет даже права на самоопределение» — эти обрывки бесконечного спора настойчиво врываются в действия, мысли и беседы персонажей.

Та «каждодневная жизнь», в которой «погряз человек» (из повести «Аде...»), здесь представлена в ее национально-политической модификации. И если в «Аде...» новогодний стол с разноплеменными гостями — обобщение российской действительности, то в «Пробеге...» сюжетный центр — конкретное отсоединение не менее условной республики, недолгим главой ее побывавший герой. И вот пример преобразования повседневности: республика отсоединяется «по вертикали», «взлетает в воздух», оборачивается «территорией-миражем», а политический факт поэтическим.

«Вечная жизнь» у Нарбиковой, как всегда, изначальная, оставленная, забытая. Возвращение к ней происходит через Поэзию (в широком смысле) и Любовь — два основных занятия персонажей. «...Жизнь ушла, а куда?.. И если мертвый вскочит и победит за ней, он поймает ее...» — это из «Пробега...». Но и все нарбиковские герои только и делают, что «бегут» за «вечной жизнью» («загробной?», как уточняется в одном месте). Ее приметы здесь — произвольность, необязательность, случайность, т. е. свобода — в отличие от исторической заданности: «страшно не то, что происходит, а то, что не может не произойти» («Пробег...»).

Произвольность обретается в любовной и поэтической игре. Каприз, прихоть утверждаются как закон. Формулу дает название (одно из его прочтений): «Ад как Да» и т. д. — с метатезой, положенной в его основу. Приятие мира становится возможным лишь при комбинаторной свободе в нем: «вдруг всегда так бывает, а в этот раз не будет» или наоборот. Например, известно, что «никогда у власти еще

не было хорошего поэта», но, а «вдруг он будет хорошим диктатором?» И в «Пробеге...» разрабатывается этот вариант.

Поэтому лицо героини тогда воплощает «чистую», т. е. вечную, красоту, когда благодаря освещению создается «иллюзия полной взаимозаменимости черт». А во время любви главным становится «момент наивысшего переименования органов» (в повести «Аде...»). Любовники изображают то двух королей, то пьяных монахов, короля и королеву, трех солдат со школьницей-восьмиклассницей — множатся, примеривают разные эпохи, костюмы, роли («Пробег...»). И та же свобода у Наполеона, Пушкина, декабристов, лиц поэтических, а не исторических, так как они делают «известными» место, время, образ действия. Зато Дантес — лицо историческое, его сделали известным обстоятельства (там же).

В этом мире все тяготеет к тому, чтобы происходить «наоборот»: «маленькое оказывается самым большим, а самое большое маленьким». Нарбикова решает тривиальную для литературы тему: личность и государство, частное и общественное... Но иное само представление об эпосе: не «на фоне всеобщего безумия» — «безумная любовь», а «на фоне безумной любви» — «всеобщее безумие». Государственное предстает мелким моментом личной жизни. Поэтому главный исторический указ героя, ставшего правителем, — запрещение возлюбленной танцевать с соперником, а когда герои разлучаются, время перестает «двигаться, и геологическое, и историческое... И если шла какая-то война, то она замирала...» Поэзия и любовь здесь сближаются как проявления внутренней, личной жизни, втягивающей, поглощающей окружающий мир. Тогда ад повседневности (в «Пробеге...»: «мы живем в аду») пресображается в «райскую жизнь», «ни добра, ни зла вокруг», «без времени» и с бесконечным пространством. Лингвистическая метаморфоза «ад-да» наполняется метафизическим смыслом.

В связи с Нарбиковой естественна мысль о Якобе Бёме. Каламбурное обыгрывание имени знаменитого метафизика в «Равновесии света дневных и ночных звезд» — лишь частное указание на его значение в повествовании. Оно пронизано явными и полужавными реминисценциями, образами, идеями Бёме, вплоть до его очень индивидуальной тесосфской терминологии. Отзвуки учения Бёме слышны и в других нарбиковских произведениях. Он, может быть, — главный их философский

источник. «Как все стало раздельным», «борющимися» (формулы, варьирующиеся в книге Бёме «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»), низойдя в «поверженный» (любимое бёмевское определение) человеческий мир, и как будет через восхождение к изначальному «восстановлено утраченное» (другое определение из «Авроры...») единство, целостность, — устойчивая нарбиковская тема.

В Боге, по Бёме, не было зла как такового, это было источником силы и движения. Только в мире людей он превратился в ярость, зло. В «Аде...» Нарбикова одна из заключительных сцен — в бассейне «Москва», где центральные библейские эпизоды как бы переигрываются. Тренер предстает Моисеем, правила поведения на воде — заповедями, окончание сеанса — исходом евреев из Египта и т. д. Но за совместно съеденное яблоко «уже никто не наказывал...». Нарбикова воспринимает метод Бёме говорить, по его собственному выражению, «подобиями»: когда обыденное трактуется аллегорически. «В бассейне плавал теперь один человек, а его продолжением были другие люди» — завершается в «Аде...» тема восхождения к изначальной слиянности.

Ориентация именно на Бёме отличает Нарбикова. Сама же тоска по восхождению разделяется ею с современниками. Но одни клянутся Н. Федоровым, другие — Вл. Соловьёвым. Об этом явлении за-

говаривает и литературная публицистика. В статье Ал. Архангельского с характерным названием «Умереть, чтобы воскреснуть» («Литературная газета» от 19 декабря 1990) — о возможном «федоровском культе», «федоровцах», «надеющихся усилием собственной воли и напряжением... **отменить факт смерти**». Правда, Архангельский ограничивается историческим и социальным «федоровством». Воскресение по Федорову разрабатывал Саша Соловьев. Он же художественно воплощал соловьевское бессмертное (в непосредственном физическом смысле) всечеловечество.

Я бы сказал, что сегодняшние многие представители литературы просто помешались на бессмертии. А кто не видит пути к нему, по-своему переживает его невозможность, погружается в круги бытового и социального ада, в «поврежденность», по Бёме, человеческого бытия. В этой обращенности к Федорову, Соловьёву (еще назовем Шестова, Розанова) я вижу перспективу развития литературы, не отражающей, а пересоздающей мир. И разве не женщина, с ее непосредственной прикосновенностью к первородному хаосу, может здесь сказать решающее слово? И не усвоит ли тогда художественное произведение роль магического заговора, изменяющего жизнь (не в риторическом, а в материальном смысле), вызывающего дождь, насылающего ветер?

Вниманию деловых людей!

Журнал «Дружба народов» при сотрудничестве с совместным предприятием «Рекламно-информационный сервис «Известия» — «Бурда» публикует на страницах журнала рекламные объявления и информацию по заказам советских государственных и общественных предприятий, организаций, кооперативов, совместных предприятий, иностранных фирм и организаций. Журнал имеет тираж 200 000 экз. В основном наши читатели, согласно социологическим исследованиям, — научно-техническая и творческая интеллигенция. Публикация Вашей рекламы на наших страницах гарантирует Вам продолжительность действия рекламы и информации, так как наши журналы есть во всех библиотеках страны.

Оплата публикации рекламы по договорным ценам.

Для оформления заказа Вам необходимо направить гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера, где указать размер и подтверждение оплаты публикации, указать свои почтовые и банковские реквизиты по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5, «Известия», СП «Известия» — «Бурда».

Телефоны редакции журнала «Дружба народов»:

202-52-03, 291-62-27

СП «Известия» — «Бурда»

телефоны: 299-36-74, 200-30-18

телекс 111129

Телефакс 0-095/230-23-03

*С уважением
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,
ДИРЕКЦИЯ СП*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

БУЛАТ ОКУДЖАВА	Пока я на волю отпущен... Стихи	3
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ	Дикий лес. Роман	7
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ	Звонница (из поэмы «Дашти Марго»)	98
А. ВОЛОС	Кто носится вскачь по джангалам. Рассказ	100
АРКАДИЙ ЛЬВОВ	Двор. Роман. Окончание	121
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН	Из воспоминаний	157

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОГДАН-ИГОРЬ АНТОНИЧ	Горенье душ, веселье тел и хмель влюбленных... Стихи. С украинского. Перевод и вступительное слово Е. Витковского	116
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ	Россия будет (интеллигенция и народ)	204

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭДУАРД КЛЯМКО	Тревоги правосознания... ...И муки права (комментарий Г. Резника)	170 182
ГРИГОРИЙ ХАНИН	От кризиса к катастрофе	188
АЛЕКСЕЙ СПЕШНЕВ	Портреты без ретуши	214

НАЦИЯ И МИР

А. АВТОРХАНОВ	Империя Кремля. Продолжение	224
---------------	--------------------------------	-----

КРИТИКА

ТАМАРА ЧАБАН	Невостребованная поэзия	248
ОЛЕГ ДАРК	Женские антиномии	257

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

АЛЕКСАНДР МАРГВЕЛАШВИЛИ	Рыцарь кисти	96
ВАДИМ ГОРЧАКОВ	Декоративная красота притчи	97

НА ОБЛОЖКЕ:

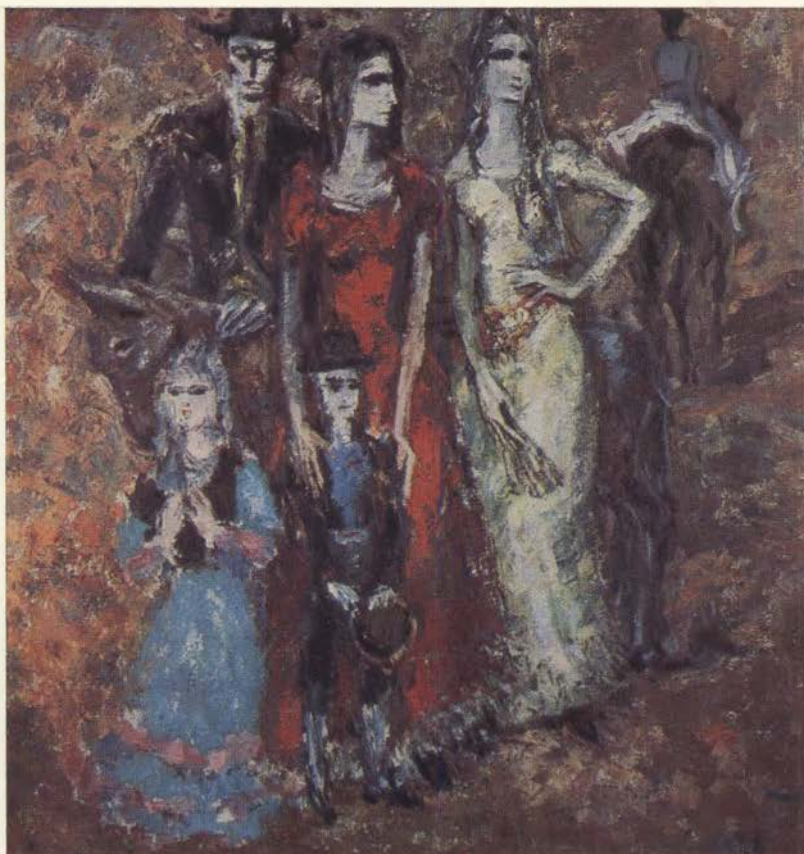
на второй и третьей страницах

Л. ДИНЕРЕ.
Цецелия Динере:
«Борозда в никуда».
Иллюстрации

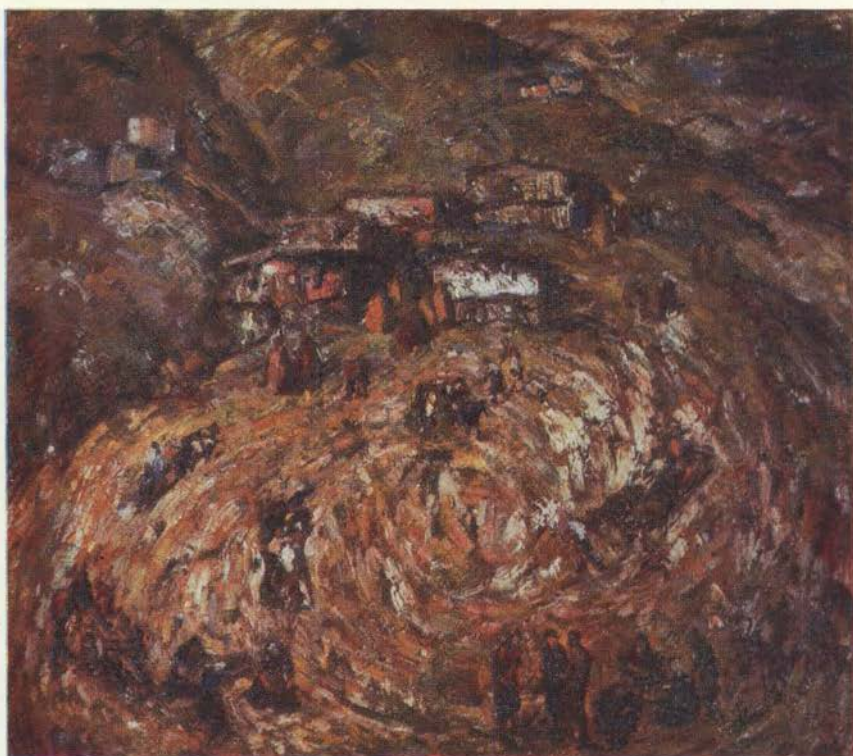
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.



По дороге в Севилью.



Молотоба в горах.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГИВИ ЦЕРАДЗЕ



Сванский дворик.



Дождь.



Праздник.



Городской пейзаж.



Встреча.



Женщина Апшерона.

ЛИЛИЯ ДИНЕРЕ



Лилия Динере известна прежде всего как книжный график, хотя несомненным успехом пользуются и ее акварельные, живописные работы. В 1980 году она окончила Государственную академию художеств Латвийской ССР имени Т. Запьялна, с 1981 года Л. Динере — член Союза художников Латвии. Она участвует в республиканских, всесоюзных и международных выставках, ее работы получают на них дипломы и премии. Графика художницы приобретена Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств имени А. Пушкина, Государственным музеем изобразительных искусств в Риге, многими другими музеями страны и зарубежными коллекционерами. Персональные выставки Лилии прошли в 1981 году в Риге и 1988 году в Джайпуре (Индия), в Киаде в 1991 г.

Л. Динере предпочитает технику шелкографии и цветное травление по цинку, в живописи и книжных иллюстрациях предпочитает пользование акриловыми красками. Работы художницы пронизаны вечной символикой с активным включением современных деталей. Перегруппировывая детали, которые нередко переходят из одной ее вещи в другую, Динере меняет смысл изображения, добивается новой выразительности и динамики.



Лилия Динере. «Борозда в никуда». Иллюстрация

2 р. 15 к.

Индекс 70250

ISSN 0012—6756. Дружба народов, 1991, № 4 1—272